ISSN 0130—6545

'83

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1959 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

1 январь 1983

Содержание

АНТАЛ ГИДАШ — Лирика *(Переводы с венгерского Н. Горской, Давида Самойлова, Маргариты Алигер, Е. Городневой. Публикация и редакция стихотворных переводов Агнессы Кун)* 3

АНГЕЛИКА МЕХТЕЛЬ — Другая половина мира, или Утренние беседы с Паулой *(Роман. Перевод с немецкого Н. Федоровой. Послесловие Нины Литвинец)* 9

НИКОЛАЕ ВЕЛЯ — Рассказы *(Перевод с румынского М. Кожевниковой и Ю. Кожевникова)* 110

АТ-ТАЙИБ САЛИХ — Свадьба Зейна *(Повесть. Перевод с арабского И. Ермакова)* 129

Критика

Сопоставляя точки зрения. «Молодежная революция» 60-х и ее сегодняшние ровесники.

Ю. ДАВЫДОВ — Трагедия позднего повзросления 163

«Молодежный роман» 70—80-х годов на Западе. Эволюция и перспективы *(Беседа в редакции)* 170

УВЕ ТИММ: «Литература как фрагмент действительности — вот мой способ участия в дискуссиях нашего времени» *(Интервью еженедельнику «Зоннтаг» (ГДР). Перевод с немецкого Н. Л.)* 182

Культура и современность

Т. Коробкина — Там, где Камоэнс умер от голода... 186

Дневник писателя

Н. ФЕДОРЕНКО — Море и берега *(Сквозь время)* 189

Антирубрика

СТЭН ДРАЙЕР — Покорение монумента Вашингтону *(Перевод с английского Михаила Загота)* ◆ ДЖОНАТАН СВИФТ — «...Кого свирепый бог огнем поэзии обжег» *(Перевод с английского Альфреда Солянова)* ◆ ВАСИЛ СТАНИЛОВ — Рассказы *(Перевод с болгарского Евгении Ризкиной)* 232

Среди книг

Издано в СССР

Натэлла Башинджагян — В зеркале общности и своеобразия ◆ Д. Урнов — Основа народного сознания ◆ Ю. Архипов — Смутная весна над Рейном 239

Издано за рубежом

Г. Ратгауз — «Трепет жизни молодой...» ◆ Л. Злобина — «Страницы не написанные, а записанные...» 244

Из месяца в месяц 248

Авторы этого номера 255

На 1-й и 4-й страницах обложки — работы норвежского художника ЭДВАРДА МУНКА (1863—1944) «Белая ночь» (масло, 1901) и «Волна». Витстен (масло, 1921).

© «Иностранная литература», 1983.

АНТАЛ ГИДАШ

Лирика

■

С венгерского

Публикация и редакция стихотворных переводов ***АГНЕССЫ КУН***

Рядом

Милость окажи,
милая, ответь:
нам теперь — куда?
Друг без друга
впредь
нам заказан путь
навсегда.

Мы с тобой — волна с волной.
Две волны в одну слились:
я — с тобой, а ты — со мной.
Вместе вниз и вместе ввысь.

Перевод Н. ГОРСКОЙ

Разговор по телефону

Как хочешь!
Могу и ласково сказать:
«Ну, приезжай скорей...»
Могу и заорать:
«Черт побери,
куда запропастилась,
когда все небо
навалилось
и воздух так тяжел,
что хоть умри!»

То так, то эдак

Пеняли мне
из-за того,
что я
изменчивое существо,
а не один
все тот же человек,
то озеро среди плотин,
то океан, дробящий брег.

Перевод ***ДАВИДА САМОЙЛОВА***

Что еще надо мне

Сижу за столом и гляжу в окно.
Утро. Рано. Туманно.
Ноябрь.
А я все помню тот майский лес,
полный трепета и чудес,
и влажный привкус твоей щеки,
и напряженье твоей руки
в моей молодой руке.

Все миновало?
Нет, почему?
Другие бродят, как мы с тобой,
между высоких дерев
и чувствуют влажный привкус майского леса.

Гром порази того,
кто выдумал старость,
а заодно и того, кто уверен,
будто бы никак невозможно
изобрести такие таблетки,
которые очень просто сглотнуть,
а стоит сглотнуть, и опять отправляешься в путь,
и капли роняют лесные душистые ветки,
и полны черемухою овраги,
и на губах остается вкус
майской, немного горчащей влаги,
и снова сердце трепещет,
и снова глаза горят,
ах, эта единственная улыбка,
этот единственный взгляд,
который не оставляет сомнений в том,
что ты меня любишь.

Перевод МАРГАРИТЫ АЛИГЕР

■ ■ ■

Все беспокойнее
покоя
ищут люди.

Перевод Н. ГОРСКОЙ

Еще бы мне жить

На двадцать четыре года быть старше Владимира Ильича.
Пережить Бела Куна на двадцать пять.
Прожить три жизни Шандора Петёфи.
Чего еще я мог бы пожелать?

Темный корабль плывет,
темный буксир за ним держит путь,
за буксиром — скрипучий плот,
знаю, мне нужно на плот шагнуть,
но, однако...

Я был очевидцем великих дел,
я мог бы прекрасней прожить свой век.
Они свершили все, что могли,
а я не сумел!
Увы, это так.

Еще бы мне жить хотелось и жить,
и если по-честному вам сказать,
я не хочу и боюсь умирать,
и сколько б ни прожил, я мало жил
и с каждым годом сильнее страх,
что мне недостанет ни лет, ни сил,
ни вдохновенья...

Куда же тогда
поденутся те, что каждый мой день
родиться хотят,
о прошлом жужжат,
и не горят ни в каких кострах,
и жадно ищут достойных слов, —
и распускаются, как цветы,
столько надежд моих и стихов,
которые я еще не сложил.

Перевод МАРГАРИТЫ АЛИГЕР

Снежный вихрь и ностальгия

То мчится вниз, то вкось, то вверх,
то по спирали,
то дикий ветер взнуздывает с ходу,
то боль итожит судорожной дрожью —
как рассеченный нерв,
то снова рвется к небосводу!
(Как будто там найдет свободу...)

Перевод Н. ГОРСКОЙ

Борьба

I

Да, есть такие времена,
когда душа угнетена —
вскипает лавой,
но у вулкана рот зажат,
и вырваться она,
увы, не может.

И я усталостью объят,
мне напряженье побороть
не хватит сил.

Спасибо порошкам стократ,
они спокойный сон сулят
глазам усталым.

II

Сквозь скалы долгих лет моих
я материнский голос слышу:
«Спокойно спи, сынок!
Не для того ли в путь ты вышел,
чтоб люди, кончив труд дневной,
спокойно спали?»

III

Желанья плоти усмирив,
я заключил с собою мир
нерасторжимый,
но сделки я не совершу
с тем миром,
чей приближается распад
неотвратимо.

IV

Тот, кто понять меня не мог,
еще поймет
в тот миг, когда и у него
рванется почва из-под ног.

Перевод Е. ГОРОДНЕВОЙ

О стихи...

О стихи, придите, помогите!
Добрые, родные, дорогие!
Где же вы?
Спасите,
милые товарищи-стихи.

Неужто я разбит и все пропало?
Неужто я не прав, что небо ало,
и отречься должен от него?

Мне в ответ кричат: «Отныне, и доныне,
и навеки небо сине, небо сине!»
Разумеется.

Перевод МАРГАРИТЫ АЛИГЕР

Безнадежно

Весь год зима,
в агонии природа.
Уж хоть бы вены вскрыть
истерзанному году!
Дрожим, и тело стынет,
синея до синюшной сини,
и посиневший рот
бормочет о теплыни.
Мороз — не продохнуть.
Деревья — словно трупы.
И в градуснике ртуть
опять упала круто.
Стал декабрем июнь,
июль стал январем —
расстрелянное лето!
И сердце под ребром
заледенело насмерть,
надежды больше нет,
и на озера глаз
ложатся слезы настом.
Зима калечит нас
и скручивает в жгут.
Мосты в такие зимы жгут.
И ничего не ждут.

Перевод Н. ГОРСКОЙ

■ ■ ■

Говорят,
к исходу второго тысячелетия нашей эры
на земле будет шесть миллиардов человек.
Но молчат
о том, сколько миллиардов будет под землей.
И к чему толковать об этом?
Огорчать живых?
У живых и без того предостаточно огорчений.

Перевод МАРГАРИТЫ АЛИГЕР

Не сержусь

Из-за шпилек —
что валяются повсюду
в нашем доме и все время исчезают,
потому что не умеют сами лечь на место
в час вечерний,— я сегодня не сержусь.

В ящике стола, где мирно дремлют
Морицовы «Барские затеи» в русском переводе,
я их нахожу среди страниц и нежно глажу —
потому что больше не сержусь на них.

Месяц как уехала хозяйка шпилек,
и по ней я так тоскую, что боюсь заледенеть.

Страх

Ты цветы поливала.
На балкон наплывала
необъятная полнолунность.
Одурманена светом
инопланетным,
ты в испуге ушла с балкона
и луну погасила
в проеме оконном.

Перевод Н. ГОРСКОЙ

Элегия

Первый,
один лишь седой волосок
искоркой
озарил твой висок.
Чужой.
Ты его не ждала,
а когда увидала,
вырвала,
положила на ладошку
и долго за ним наблюдала.
Он лежал один, как сиротка,
и вздрагивал от твоего дыхания.
Потом таких искорок вспыхнуло много,
одна за другой, одна за другой,
но ты их больше не вырывала,
вспомнив, что я ведь давно седой.

Ты тревожно и преданно
следом за мной шагала,
стараясь ни в чем не отстать от меня
на закате нашего дня.
Наши темные кудри-антенны
светили когда-то друг другу,
издали и вблизи,
разгоняя тревогу и мрак,
и последним сияньем
они подают нам спасательный знак:
принимаем и это!
Пусть будет так!

Перевод МАРГАРИТЫ АЛИГЕР

Осень

Огонь рябиновых костров
уже багров —
как будто он...
Сравненье нужно — а зачем?
Скорблю без слов:
не лес теряет свой покров,
а я — по прихоти ветров.

Не дерева
склонились до земли —
моя склонилась голова,
и не листву с ветвей —
меня швырнула осень вдаль
от юности моей,
от зрелости моей.

Перевод Н. ГОРСКОЙ

■ ■ ■

Как человек, чье взорвано жилье,
полубезумный, я, среди руин,
пытаюсь отыскать остатки стен,
но, горю не сдаваясь в плен,
я строить вновь начну —
на годы, —
вовек не рухнут эти своды.

Перевод Е. ГОРОДНЕВОЙ

■

АНГЕЛИКА МЕХТЕЛЬ

Другая половина мира, или Утренние беседы с Паулой

РОМАН

Перевод с немецкого Н. ФЕДОРОВОЙ

Изображенные здесь события, быть может, протекали так, а быть может, совсем иначе.

Паула — это литературный персонаж. Воссозданная в романе атмосфера городка Д. опять-таки характерна лишь постольку-поскольку. Эта книга не документальна и не имеет целью умалить достоинства города и его обитателей, городской библиотеки и ее заведующей.

Часть I. Зимняя встреча с Паулой

ПЕРВАЯ УТРЕННЯЯ БЕСЕДА С ПАУЛОЙ

Я предложила Пауле самое удобное место. Сказала «садись» и налила себе кофе.

По утрам мне стоит большого труда провести четкую грань между днем и ночью. Для начала пусть она расскажет про Феликса. Так легче всего запустить машину. Взять да и подпалить домишко со всех четырех сторон.

Нет, Паула протягивает руку и берет из корзиночки ломтик хлеба, нет, Феликс меня не бросил.

В моем представлении они — пальцы у Паулы — более длинные, белые и холеные, чем у меня самой.

Что же он тогда сделал?

Просто уехал к себе на родину, объясняет Паула.

Вернулся, поправляю я, на родину возвращаются.

Ну хорошо, если для тебя это так важно, пусть вернулся, соглашается Паула. Он тосковал и никак не мог привыкнуть к климату. Под конец я сама еле-еле его выносила.

Климат?

Вот ты, спрашивает Паула, ты можешь себе представить, что живешь с человеком, который круглые сутки готов рассуждать об «отечестве»?

Ясно: проблемы взаимопонимания.

Феликс говорил, что если мне претит мужское начало в слове «отечество», то я должна называть его «родной страной», «метрополией». А у метрополий бывают одни только колонии. Что, прикажете мне считать себя колонией?

Он понимал тебя?

Язык он знал превосходно. Но если посмотреть правде в глаза, то он вовсе и не покидал это свое отечество. В конце концов приехал сюда как стипендиат и в любое время мог вернуться.

Он тебя раздражал.

Меня раздражало его отношение к собственной национальности —

© 1980, Paul List Verlag, München.

он принимал ее как должное, говорит Паула. А я вот принимаю только свой родной язык.

Может быть, вставляю я, мы не испытали пока тоски по стране, в которой родились, потому лишь, что ни разу всерьез с нею не разлучались?

Разве что выезжали куда-нибудь по неккермановским путевкам[1], сказала Паула.

Ни разу всерьез с нею не разлучались, повторяю я и мысленно вижу, как она пьет мой кофе и хвалит мой домашний джем. Вот у эмигрантов нет обратного билета. Слушай, а когда я говорю «эмигранты», ты кого себе представляешь — отцов или матерей?

Отцов.

Значит, все-таки мужское начало.

Само собой, говорит Паула, или ты почерпнула из наших учебников по истории другие сведения?

А как насчет родины?

Не могу вообразить, говорит Паула, чтоб меня тянуло на родину. А ты?

Как хочешь, а у меня на душе было бы неспокойно. Просто так взять и собрать чемодан? Я бы, наверно, еще подумала, хотя нет-нет да и мелькает пугающая мысль, что, скорей всего, давно пора это сделать.

Она сможет жить где угодно, настаивает Паула. Я упрекаю ее: хочешь, мол, увильнуть от размышлений, сбежать, смыться.

Ты облегчаешь себе жизнь, говорю я.

А ты? — опять спрашивает Паула.

Я?

Да, ты. Ты хоть раз задумывалась об этом серьезно?

Пора зашишаться. И я защищаюсь — что-то признаю, с чем-то соглашаюсь. Но Пауле этого мало, она еще со мной не разделалась.

Ты играешь, объясняет она, на самом деле ты просто-напросто играешь понятиями, не делая никаких выводов.

1

Я уверена: не приди она к этому выводу, я бы не стала о ней писать. Уж от нее-то я ничего подобного не ждала.

И как это она умудряется — раз, два и нету: мосты сожжены, а мы еще только раздумываем, жечь их или не стоит.

Когда через десять лет после окончания школы она вдруг появилась передо мной в воскресный день на книжной ярмарке и спросила «помнишь?», я не вспомнила ничего.

Только позднее забрезжил смутный образ: длинные косы, предпоследняя парта у окна. В пятнадцать лет косы исчезли.

Отрезать косы — это символ. Да не все ли равно? Нам же не дано отпустить себе бороду. Раз, два — и нету.

Срезанные волосы надо хранить в сухом проветриваемом месте. Можно сделать из них шиньон. У меня, например, была кукла с прической из бабушкиных волос.

Интересно, смогу я узнать ее на какой-нибудь из ежегодных классных фотографий или нет? Но к альбому я не прикасаюсь. Мы с нею не дружили.

Значит, только косы. Полной картины нет. Может, я вообще путаю ее с кем-то.

Во Франкфурте она, должно быть, инстинктивно почувствовала мою тревогу — еще бы, меня узнала совсем чужая с виду женщина! Потому и не стала навязывать мне свое общество. Только после ее отъезда пришло письмо. Будто она хотела оставить след.

---

[1] «Неккерман» — торговая фирма и туристическое агентство в ФРГ. *(Здесь и далее прим. перев.)*

С тех пор как она уехала, я потихоньку начинаю пересматривать свои представления о ней; сперва-то я думала, что все просто, нашла ей как будто бы подходящее место среди одноклассниц и успокоилась: отнесла ее к тем, кто приспособился, по доброй воле обкорнал свою индивидуальность,— такие люди принимают все, вперед не лезут, на групповых снимках их не найдешь, они согласны затеряться навсегда.

На вечерах встречи их никто не узнает.

Жизнь ее текла, наверное, совсем не так, как думала я. Она заморочила мне голову. Я называю ее Паулой, мне слишком мало известно, чтобы описать ее жизнь, потому я и выдумываю, ищу, домысливаю. Домысливаю внутренний мир Паулы. Возможно, этот мир был совершенно иным. Я придаю ему сходство с моим собственным.

Ну кто мог подумать, что Паула поведет себя необычно?

Как эта Паула смеет собрать чемоданы, в то время как мои еще лежат на шкафу? Ведь косы она отрезала, когда остальные давным-давно с этим покончили. И в классе с нею никто особенно не считался.

В ее письме масса недомолвок. Намеки библиотекарши, у которой были неприятности из-за кое-каких книг,— с трудом сумела оправдаться. О Феликсе почти ни слова, хотя одно время они жили вместе. Этот человек мне совершенно незнаком.

Ничего бунтарского в Пауле никогда не было.

Можно ли предположить, что общение с Феликсом сделало выпускницу монастырской школы, дипломированного библиотекаря тем, кого, не долго думая, провозглашают бунтарем? Кому теперь придет в голову употреблять такое слово?

Утром, за завтраком, я вскрыла ножом ее письмо, и первые строки еще вполне соответствовали моим представлениям о Пауле.

Маршрут определен, писала она, еду поездом. В письмо была вложена карта европейских дорог, путь обозначен зеленым фломастером. Любовь Паулы к порядку ничуть не противоречит образу, который сложился в моем воображении.

Киль — Мюнхен или Мюнхен — Мадрид. Я прямо воочию увидела, как она провела пальцем по карте, сначала по обычной географической, а затем по карте дорог. Для Паулы Европа поделена, разграничена, нанесена на карту. И ни единого белого пятнышка на карте нет. Никаких приключений. Каждый населенный пункт на своем месте — существует. Упорядоченная земля.

Мне кажется, Паула уже не раз наводила в Европе порядок. Словно картограф, раскладывала по местам страны, провинции, регионы. Аграрные и промышленные зоны, хранилища ядовитых веществ и атомные электростанции.

Любой маршрут можно разметить, выделить туристские тропы и скоростные магистрали, дороги для пешеходов, велосипедистов, автомобилистов. Мотели, заправочные станции, пограничные пункты, вокзалы, увеселительные парки, пригородные зоны отдыха, памятники старины, живописные ландшафты, аэропорты и автостоянки — там все указано. Люди пересекают границы. Идет пограничный контроль, проверяются полицейские списки. Транспорт общественный и индивидуальный.

В учебниках географии Европа простирается до Урала. Где же он, этот Урал?

Паула никогда не отрицала, что любит порядок. Атомные электростанции, склады промежуточных материалов и отходов на карте не помечены. Эти объекты показывают только по телевизору.

Уникальные проекты — на стадии планирования, строительства, эксплуатации, временно приостановленные, остовы зданий ценою в миллиард, смертельная опасность которых неизменно ставится под сомнение.

Европа — мультимиллионерам. А что Пауле?

Красоты природы.

По воскресеньям — на велосипед и к болоту.

А потом, значит, она собрала чемоданы. Письмо утром принесла курьерша — слишком тяжелое и поэтому доплатное.

Я представила себе Паулу: вот она, позавтракав, встала из-за стола, прошла в спальню, сняла со шкафа чемодан; услышала щелчок замка и увидела, как ее пальцы оставили след на пыльной крышке. Постель еще теплая от сна. Интересно, сколько у нее комнат?

Две или три, а вдобавок кухня и ванная. Жалованье вряд ли большое. Может, ей еще разрешили пользоваться садом.

Из библиотеки она ушла чин чином, скрупулезно высчитала, когда истекает срок расторжения договора, и вычла неиспользованный отпуск; свой стол освободила в самый последний день — ни раньше, ни позже,— на прощанье даже собственноручно подклеила корешок Фонтане, хотя это вовсе не входило в ее обязанности. Вместо Паулы они наверняка наймут покладистого мужчину лет сорока пяти, который не будет устраивать неприятностей.

Перед отходом поезда она зашла в привокзальное почтовое отделение и опустила письмо. Почтальонша со срочной депешей позвонила у моей двери, а Паула тем временем уже оставила позади Францию, направляясь к своей цели — Мадриду. Там она думает встретиться с Феликсом.

Я встала из-за стола, открыла дверь, взяла письмо, вручила почтальонше доплату.

Как это Паула смеет неправильно оплачивать письма?

По утрам мне стоит большого труда провести четкую грань между днем и ночью. Нож медленно разрезает бумагу.

Обмеренное, взвешенное, слишком тяжелое — я читала письмо Паулы, а ее самое не понимала.

2

Вполне возможно, истинный виновник ее поступков — мужчина.

Отрезанные косы хранятся не у нее, она отдала их матери.

Каждое утро она ехала автобусом через деревни — в школу, в город; окончив школу, регулярно ездила домой на рождество.

Кроме одного раза: она целых два года работала тогда в Нью-Йорке, в немецкой библиотеке тамошнего филиала Института Гёте [1]. Очень уж далеко от дома, из Киля до Франконии куда ближе.

Мужчина рядом с Паулой — это вообще невозможно...

Она всегда отличалась непритязательностью. Кто был ее партнером в танцклассе?

Учитель танцев ростом был ниже своей жены, подвижный такой, а на заключительном балу все девочки красовались в тюлевых платьях.

Во время полонеза среди других была, кажется, и Паула — рука об руку с парнем, который изучал греческий и латынь, мазал прыщи специальной мазью и норовил украдкой вытереть потные ладони о штаны. Мать Паулы нарядилась в узкое парчовое платье.

Когда Паула подала заявление насчет работы в Д., все документы у нее были в полном порядке. Городу требовался молодой квалифицированный специалист.

О Феликсе пока речи не было. Для Паулы он оставался памятью об отдыхе, однако в ходе долгой переписки о чувственном, о смерти, о свободе и терпимости все это приняло совершенно неожиданный оборот.

---

[1] Организация, созданная в 1952 г. в Мюнхене для пропаганды немецкого языка и культуры за рубежом. Имеет филиалы во многих странах мира.

Феликс писал о взаимоотношениях полов, рассуждал о своем преклонении перед немецкими писателями, которое Паула не так уж и разделяла.

Твой язык, писал он, я люблю как свой родной; вы — народ педантичный, по-моему, даже мысли у вас разложены по полочкам, раз и навсегда.

Смелость бунтовать он называл смелостью жить.

И просил: напиши мне о своем отечестве. На это Паула не ответила.

Ночи у вас наверняка светлые. А вот у него дома ночи темные, сверканье дня их выжигает. Южане, писал он, тесно связывают свою жизнь с семьей. Какая-нибудь провинность не забывается целыми поколениями. Летом мы вообще не открываем ставен, из-за жары. Во внутреннем дворике — ящики с цветами и фонтан. В горных селениях одетые в черное женщины сидят у приотворенных дверей. Люди строят резервуары для воды, чтобы выжить.

Как ты смотришь на терпимость к жестокости и насилию?

Паула вовсе не собиралась давать ему место в своей будничной жизни.

Встретив его на вокзале, она почувствовала, что он очень рад. А на работе упомянула о Феликсе, только когда фройляйн Фельсман первая высказалась о нем.

Южанин, сказала фройляйн Фельсман (в свои шестьдесят лет она была в подчинении у Паулы), итальянец, испанец или что-то в этом роде. Помоложе Паулы. Так она сказала девушке, которую Паула летом взяла на работу.

Испанец, попыталась уточнить Паула. Они как раз вешали плащи в гардеробе; фройляйн Фельсман кивнула и одернула задравшийся джемпер.

Пауле нелегко было добиться понимания. Но, возможно, отношения с Феликсом склоняли ее к бунтарству. Она столкнулась с человеком совершенно иного склада.

Про испанцев говорят, что они презирают смерть и помешаны на мужской гордости. Твердят, мол, viva la muerte[1], что уже само по себе абсурдно. А библиотекарши славятся любовью к порядку и дотошностью.

Паула не отрицает, что первые годы регулярно видела во сне каталожные ящички и с мужчинами тоже встречалась,— впрочем, она никому не навязывалась.

Факт остается фактом: прежде чем попасть в Д., Паула целый год работала в Киле под началом мужчины-заведующего. Там она впервые в жизни увидела подводные лодки, которые оказались куда меньше размером, чем она думала.

Лодки она заметила случайно, когда была без очков и вода на миг изменила цвет.

Разрешено ли подводным лодкам заходить в гавани, нет ли — Паула не знает. Людей на палубе она не видела.

Феликс, который воображал, будто разбирается и в этом, по недоразумению решил, что Паулу можно чему-то научить.

Он старался быть нежным и ласковым, а она даже не удивлялась, что и вдали от Киля, стоит лишь прикрыть глаза, ей видится подводная лодка; она позволила лодке исчезнуть, только когда Феликс нашел к ней правильный подход.

Она вежливо слушала, как Феликс перечисляет смертоносные орудия, способные убивать людей под водою, а после сказала ему, что самый любимый ее автор — Габриэль Гарсиа Маркес и что она заказала его книги для библиотеки в Д. Феликс упорно твердил, что рыжевато-русые волосы достались ему в наследство от готских предков.

[1] Да здравствует смерть *(исп.)*.

Разговорами меня не застращаешь, говорила Паула. А ему бы ничего не стоило задушить ее в своих объятиях.

Засыпая с ним рядом, Паула порой сворачивалась клубочком и прижималась к его груди — такая маленькая, что он волей-неволей откидывал край одеяла: не дай бог задохнется.

В воду для купанья она добавляла растительное масло, решив, что с годами бедра становятся дряблыми.

Будь Феликс постарше, вполне возможно, Паула меньше пеклась бы о своей фигуре. Зато невозможно, чтобы она сказала: «Он или вообще никто» — и уперлась на этом. Она всегда держала других на расстоянии. Выходные, отпуск — но не больше. Она вовсе не горела желанием заниматься стиркой и мытьем посуды.

Или все-таки? Феликс безропотно взял на себя ту часть домашних хлопот, которую она спихнула на него в первый же день. Быть может, сама того не сознавая. Просто из безотчетного стремления отдать одну половину своих дел. Ей нравилось, что он рослый и крупный, только временами казалось, будто она, Паула, никуда не годная малютка. Вечером, отрывая ее от книги, он первым делом снимал с нее очки.

По обличью фройляйн Фельсман никогда бы не признала в нем испанца.

Усики, за которыми Феликс тщательно ухаживал, цветом напоминали морковь. Он успешно боролся с этим недостатком, слегка их подкрашивая. К своему телу он относился как к фактической форме существования, хотя само по себе существование оценивал скорее отрицательно и еше не вышел из того возраста, когда задаются вопросом о смысле жизни.

Смотри, будь осторожна, говорила Пауле сестра, не то он тебя мигом ребеночком наградит. Ну что бы ему поискать девушку себе под стать!

Значит, не по обличью, а скорее по акценту. Может, что-то в его манерах побудило фройляйн Фельсман к неодобрительному отзыву, ведь она принципиально сопротивляется инстинктам пола и уже не способна жить без слабительного.

Когда он появился между стеллажами и спросил о Пауле, Фельсманша тотчас смекнула, что он нездешний и моложе Паулы. С некоторых пор Феликс и Паула жили вместе, и он не видел ничего предосудительного в том, чтобы зайти за нею.

Паула сидела у себя в кабинетике, дверь была открыта, и Феликс с независимым видом направился туда.

Она увидела его. Сперва ноги.

И подумала: не обольщайся, ты бы никогда не сумела так уверенно зайти в кабинет к мужчине. В тот вечер она собиралась еще внести в каталог новые поступления.

Слишком много Бёлля и Вальрафа, сказал коротышка советник по культуре, кто станет это читать? На будущее постарайтесь запомнить: мы — город среднего сословия.

Вечером положено кончать работу. Но Феликс воспринял это слишком уж буквально. Паула сердито сгребла в кучу свои бумаги. Он по-прежнему улыбался.

Пойдем? — спросил он.

Когда ты получаешь из прачечной рубашки, спросила она, тебе не приходит в голову, что их вдруг возьмут и не выдадут?

С материнской стороны Феликс, по его словам, вел родословную от гóтов, а с отцовской — от ближних дворян католических королей[1] Он утверждал, что отец его по сей день готов защищать инквизицию.

Сама же Паула могла сослаться всего-навсего на франконских

---

[1] Имеются в виду Фердинанд и Изабелла, правившие Испанией в эпоху Колумба.

предков. Справку об арийском происхождении ее мать спалила в день капитуляции.

А кроме того, говорила Паула, ей противны люди, которые кичатся своей родословной, будто это их личная заслуга.

Возможно ли, что белокурый испанец, отдающий крахмалить и утюжить свои рубашки, внушил Пауле бунтарские мысли?

Зимой Феликс уехал. На рождество Паула побывала дома; извещение об увольнении уже лежало у нее в чемодане.

Почтальонша, вручившая ей письмо от Феликса, была в меховых полусапожках с разводами от воды и в черных чулках.

ВТОРАЯ УТРЕННЯЯ БЕСЕДА С ПАУЛОЙ

Я не приглашала ее к завтраку. Она сама явилась.

Сегодня дождливо. Проснулась я с головной болью. Не вставать, ничего не начинать, не варить кофе, не планировать день, не писать ни строчки, не готовить еду, никогда больше не включать посудомойку. На что мне люди? Ни писем больше, ни телефонных звонков. Все. Конец. Два дня в машинке торчит одна страница — и ни слова.

Ты неважно выглядишь, говорит Паула. Она неожиданно возникает на пороге кухни, входит, переступает через скомканные газетные листы, которые я бросила на пол возле стула. Что случилось?

Можно бы, конечно, ее выпроводить: сослаться на дождь или на то, что надо помыть окна — мухи засидели.

Но я человек вежливый, вот и говорю, что ждала ее.

Паула улыбается. Это даже не улыбка, а только намек на улыбку, от нее чуть-чуть поднимаются уголки губ и приоткрывается рот — будто вовсе и не хочется улыбаться.

Сложности в личной жизни? — любопытствует она.

Да уж не без этого, думаю я.

Нет, отвечаю, но прежде чем писать о тебе, я должна знать, что тобою движет. Мне нужны простые, ясные и понятные причины. Четкие объяснения. Пока я не вижу четких объяснений твоим поступкам.

Паула села на свое прежнее место. В таком случае уточняй, выявляй, вычленяй отдельные поступки.

Я зажимаю уши. Паула грохочет в моей утренней голове.

Ее здравомыслие действует мне на нервы. Точь-в-точь такими, по-моему, и бывают библиотекарши. Я этого не вынесу.

Со скальпелем, вызывающе говорю я, похоже, за тебя надо приниматься со скальпелем. Вот и отлично. Начнем с конца. Ты, значит, ушла с работы, собрала чемоданы, сдалась — прощай, карьера, всему конец. Я спрашиваю себя, как ты вообще допустила до этого. Ведь такой конец можно было предвидеть. Я видела, что за город этот твой Д.: провинция, косная, узколобая провинция. Неминуемо надо приспосабливаться. Разве ты этого не понимала? Или понимала и сознательно ринулась навстречу катастрофе?

Катастрофе? — переспрашивает Паула.

Ведь у разбитого корыта осталась.

Нет, отвечает она, ничего подобного.

Тогда почему ты уехала?— допытываюсь я, и тут меня осеняет: бегство! Конечно же, она просто сбежала! А что за этим кроется? Банальная любовная история — ты это хочешь мне внушить?

Ну вот, снова здорово, терпеливо говорит она, опять ты играешь понятиями, шаблонами, готовыми схемами.

Банальную любовную историю я беру назад.

А без нее не обойтись, говорит Паула.

Я могу по крайней мере утверждать, что все началось в Д.?

Или еще раньше, отвечает Паула, с Феликсом я познакомилась раньше.

Пожалуй, лучше принять сразу две таблетки аспирина, оглушить себя химией, пока я не стала совсем задиристой.

Нервничаешь, замечает Паула. Пожалуйста, если тебе так хочется, пусть все началось в Д., с переговоров о зачислении на работу.

Ее взгляд падает на кухонное окно, на мушиные следы.

Отчего ты не поставишь стол к окну? Тогда за завтраком можно будет смотреть на улицу.

Часть II. Весна

1

Когда-то она видела в хронике Геббельса...

Чем раньше вы начнете, тем лучше, сказал советник по культуре.

Паула сидит напротив него. Когда она вошла, он только привстал, протянул ей через стол руку и предложил стул.

Садитесь, пожалуйста. Думаю, вы именно та, кого мы ищем.

В районный центр Паула приехала на машине, мимо бумажной фабрики поднялась вверх по холму в старый город. Дождь, шины скользят по брусчатке, белый указатель приглашает туристов в замок.

Мы — город среднего сословия, говорит он. Да вы и сами знаете, что это такое.

Киль немного покрупнее, вставляет Паула.

В кабинете жарко. Стены увешаны видами окрестностей Д. в простеньких паспарту. Окно закрыто, с улицы слышно, как шлепают по слякоти колеса автомобилей.

За основу возьмете фонды приходских библиотек, говорит он.

Жарко тут у вас, замечает Паула. Надо бы подрегулировать отопление. Она встает, снимает вязаную кофту, расстегивает верхнюю пуговицу на блузке, проветривает шею. Или, может, окно открыть?

Советник по культуре вылезает из-за стола. Он маленького роста. Меньше ее.

Когда она шла по линолеуму к столу, ей уже бросилось в глаза некоторое сходство. Фрагменты старой кинохроники. А теперь он идет к окну, и Паула радуется: хорошо, хоть не хромает.

Мы кое-что делаем ради престижа. Он поворачивает оконную раму. Пусть в конце концов люди смогут вновь выезжать за границу с нашим номерным знаком, не привлекая к себе ничьего внимания... Так лучше?

И тот, из Киля, выглядел похоже. В таких количествах реальность просто нереальна. Шея Паулы в вырезе блузки смуглая, загорелая.

Она всегда была смуглая, даже зимой. Я вновь в состоянии мысленно увидеть кожу Паулы.

Девичьи фигурки, девичьи тела в раздевалке гимнастического зала.

У вас отдохнувший вид, говорит он, однако Паула даже не думает застегивать пуговицу. В отпуске были?

Up, up and away [1]. Сверху все кажется таким чистеньким. Против вращения Земли. Сесть в самолет, подняться в небо, улететь. Острова в иллюминаторе.

Внизу ждут автобусы. В здании аэропорта неккермановские и прочие гиды, с папками под мышкой и самодельными табличками в руках.

Документы предъявлены, люди пересчитаны и разбиты на группы.

---

[1] *Здесь:* раз, два — и нету *(англ.)*.

Сесть в чужой автобус немыслимо. Где-то здесь и Паула. До самой гостиницы все идет как по маслу.

Иногда, сказала Паула соседу в самолете, достаточно одного-единственного незакрепленного болта или крохотной трещины, чтобы двигатель развалился.

Сосед вежливо засмеялся и как бы невзначай накрыл ладонью руку своей спутницы. За отдельный номер надо доплачивать.

Потом на пляже она долго следит за немецкой овчаркой, которая без устали роет ямы в песке. Испанцы тоже с собаками, собаки бросаются в воду и плывут вдогонку за хозяевами.

Лансароте, пишет «Мериан» [1],— самый своеобразный из Канарских островов.

Я здесь! — кричит Паула, когда в автобусе руководитель отмечает в списке прибывших.

Посмотрите направо, слышится голос гида, и вы увидите типичное для острова средство передвижения — осла. Обратите внимание: мужчина едет верхом, а женщина шагает следом. Гид издает горлом смешок; шея у него тщательно выбрита.

В автобусе Паула устроилась на заднем сиденье, впереди — затылок «веселого крестьянина», которого она приметила еще в самолете. В первом отеле всех бесплатно угощают вином — с приездом! — и заверяют, что все будет в полном порядке.

На Лансароте самолеты садятся вечером, когда солнце еще палит вовсю и ветер отдыхает.

Сумерки здесь недолги, а в глубине острова спрятан лунный пейзаж.

Паула заказывала два билета, но полетела одна.

С кем ты едешь? — спросила сестра, оставшаяся во Франконии.

Ни с кем, ответила Паула, не рассчитывая на сочувствие.

Заказывая билет, она придумала себе мифического спутника, а потом сослалась на то, что он якобы внезапно захворал.

Нет, добавила она, перебронировать не надо. Я уплачу за двухместный номер, а билет вы наверняка успеете продать.

Быть может, как раз сейчас краснолицего голштинца определили в отдельный номер, глядящий окнами в световую шахту и полный запахов кухни, да еще содрали с него наценку. В своей двухместной спальне Паула занимает кровать у окна.

Потом выходит в гостиную, самостоятельно, без мужской помощи включает газовую плитку; из балконного окна виден кусочек пляжа и море. У берега, рассказывал гид, вы увидите резвящихся дельфинов.

Паула насчет дельфинов не поверила.

С Феликсом она познакомилась позже.

Здравствуйте, благослови вас бог! — сказал советник по культуре, когда Паула вошла в кабинет. Он встал, протянул Пауле через стол руку и предложил стул. Обер-бургомистр, к сожалению, занят.

Благослови вас бог, машинально ответила Паула.

В четырнадцать лет мы еще подумывали о монастырской жизни.

Паула в крылатом чепце. Птичьи чучела не летают, стеклянные глаза слишком тяжелы...

Паула внимательно посмотрела на него.

Рад вас видеть, сказал он.

В кабинете жарко. Свои документы Паула прислала еще раньше, почтой. Фото, автобиографию, нотариально заверенные копии свидетельств и удостоверение о квалификации.

---

[1] Издаваемый в ФРГ географический журнал.

Вы знаете наш город? — спросил он.

Весь путь из Киля в Д. Паула проделала на машине. Маршрут она наметила заблаговременно. Д. уютнее Киля.

В таком случае, продолжал он, познакомьтесь с Д. теперь же. Все зависит от первого впечатления.

Вам известно, что Шпицвег[1] писал своего «Книжного червя» в нашем замке? Мы кое-что делаем ради престижа. И он сообщил Пауле, что наблюдает не только за созданием городской библиотеки, но и за реконструкцией спортзала и стадиона для конькобежного спорта.

Вид у вас отдохнувший, заметил он, а потом добавил, что муниципалитет и районный совет придерживаются единого мнения: комплектование библиотеки следует доверить молодому квалифицированному специалисту. Фройляйн Фельсман вам поможет. Много лет, с самого окончания войны, она руководила приходскими библиотеками и знает своих читателей.

Наконец разговор окончен, Паула застегивает ворот блузки, и советник помогает ей надеть кофту и пальто.

Он провожает ее до двери.

В феврале Паула пытается назвать Фельсманшу не «фройляйн», а «фрау». Но та неколебимо убеждена, что «фройляйн» подходит ей больше. Здание, о котором шла речь в объявлении о найме, уже достроено.

Город Д. приглашает хороших архитекторов. Библиотека разместится в первом этаже новой ратуши. Тот же архитектор строил и гимназию.

Замыслы у него один другого смелее.

Просто диву даешься, как великолепно вписалась его ратуша в ансамбль старого города.

Паула без труда решилась переехать из Киля в Д.

Зарабатывать ты будешь, конечно, побольше — вот что она слышит на рождество от матери. И потом близко, сможешь приезжать к нам на выходные.

Паула молча кивнула, глядя, как мать отламывает половинку коричной звездочки. Ответила за нее сестра.

Думаю, заработок для Паулы не так уж и важен. Какая разница — сотней больше, сотней меньше. Положение здесь лучше, солиднее — вот в чем дело.

Мать отправляет в рот половинку звездочки. Паула смотрит на нее и говорит: самое лучшее на рождество — это твое печенье.

Под елкой дочка сестры раздевает куклу. Брат вырваться домой не сумел: ситуация у них там, на строительстве атомной электростанции у Персидского залива, складывается неудачно.

Кильские коллеги смотрели на Паулу с завистью.

Ведь это же целина, сказал Пауле шеф. Об этом всякий мечтает! Ничейная земля в библиотечном деле. Новехонькие стеллажи, и вообще — с первых шагов все своими руками.

В послужном списке он подписью заверяет, что Паула — специалист серьезный и квалифицированный.

Зятю Паула привезла в подарок книгу, хотя прекрасно знает: в его семье это не оценят. Одно рождество у них как две капли воды похоже на другое... Нет, правда, слыханное ли дело: большой районный город — и без библиотеки!

Внешняя серьезность и респектабельность послужили для Паулы отличной рекомендацией: ее кандидатуру одобрили. Библиотекарям

---

[1] Карл Шпицвег (1808—1885) — немецкий живописец и график.

не обязательно отчитываться в своей работе. Отчитываться необходимо лишь в использовании бюджетного фонда.

Там нет знающих людей, сказал ее начальник, вы сделаете глупость, если откажетесь.

Попади он в дорожную аварию, Паула смогла бы опознать его по родимому пятну.

К матери у нее двойственное отношение... На красной картонной тарелочке миндальные пирожные; она их не любит и все-таки берет одно.

В выходной, говорит мать, сядешь в машину и через два часа будешь у нас.

Нет другого места, где ей было бы лучше, чем здесь. «Нет места. Нигде» [1] — эту книгу она привезла в подарок зятю. А сестра вот считает, что она одна видит Паулу насквозь: зловредной была, зловредной и осталась. Она-то и объясняет матери, что значит «более солидное положение».

Я люблю Кристу Вольф, оправдывается Паула.

Как же так? — растерянно вопрошала мать, когда Паула собралась в Мюнхен в библиотечное училище. Неужто дочь решила стать библиотекарем, а не учительницей?

Возможно, она бы сумела стать и директором школы, говорит сестра. Зато теперь у нее в подчинении целая библиотека.

Это уже кое-что, вставляет зять; по профессии он каменотес, а заодно торгует надгробными памятниками.

Паула смотрит, как он вновь аккуратно заворачивает книгу в подарочную бумагу. Старшая сестра всегда за ней следила. Едва выучившись читать, Паула увлеченно и без разбору принялась глотать книги и каждый раз будто сама участвовала в описанных там событиях.

Когда умер Виннету [2], девочка в слезах бросилась на кровать, хотя стояла зима и в спальне не топили. Уроки Паула делала на кухне.

И до сих пор, когда умирает Криста Т. [3], у нее тоже всякий раз перехватывает горло. Объективную оценку книг, которые она предлагает купить для библиотеки, по ее словам, можно заимствовать из «Франкфуртер альгемайне».

Ей придется растолковать коротышке советнику, что значит объединить несколько приходских библиотек в одну городскую.

Кукла такая нарядная. Зачем ты ее раздеваешь? — слышит она голос зятя.

Мать на кухне выпотрошила и зажарила рождественского гуся.

Когда Паула перебирается в Д., новое здание уже готово.

Фройляйн Фельсман выписывала католическую газету и знала о существовании Михаэльсбунда [4]. Намерения у Паулы с самого начала были наилучшие.

Встречают ее с полным пониманием, приглашают познакомиться с отцами города. На сей раз и обер-бургомистр не увиливает. Его секретарша заказывает столик, и Паула угощается жарким по-цыгански, которое ей усиленно рекомендует приходский священник.

Наши фонды, говорит он, составляют ныне около шести тысяч томов, включая книги, хранимые в ящиках.

---

[1] Повесть-эссе Кристы Вольф, современной писательницы ГДР.

[2] Индеец, герой приключенческих романов немецкого писателя Карла Мая (1842—1912).

[3] Героиня повести Кристы Вольф «Размышления о Кристе Т.».

[4] Организация, объединяющая церковноприходские библиотеки.

ТРЕТЬЯ УТРЕННЯЯ БЕСЕДА С ПАУЛОЙ

Начинается день: переставляю стол к окну, пододвигаю туда же два стула; я уговорила себя встать, одеться, сварить кофе. Фильтр прохудился. А потом вдруг рядом оказывается Паула, выкуривает мою первую сигарету, ведет себя как дома.

Мне ничего не остается, кроме как достать из посудомойки еще один прибор.

Ты всегда была склонна к покорности? — спрашивает Паула, подставляя свою чашку.

С чего бы это мне быть покорной?

Наливаю кофе.

Гуща в конце концов достанется мне, Паула ее не выносит.

Мы ведь не неуязвимы, говорю я.

Ну разве что если вовремя смоемся, говорит Паула.

И чтоб нигде не иметь корней?

Пустить корни, объясняет Паула,— значило бы стать на якорь, осесть.

У дерева есть корни. Как же дерево убежит?

Мне по душе образ дерева. За него можно ухватиться.

Съежиться, пригнуться, спрятаться, не подчиниться, говорю я, а в голове мелькает: без страха и упрека.

Нет, сняться с места, упрямо возражает Паула.

Лучше бы мне сегодня позавтракать одной.

По милости Паулы я становлюсь колючей, задиристой.

Куда? — спрашиваю. Может, в Д.? Смех по утрам так утомителен.

А почему я должна была бояться Д.? — удивляется Паула.

Да и в Киле тоже нечего было бояться. Может, разве только в Нью-Йорке.

Д. был тебе знаком?

Провинциальная тишь да гладь. В Д. не затеряешься.

Еще буквально на днях я была уверена, что ты давным-давно затерялась. Когда ты начала подумывать о Д.?

Позже.

Стало быть, Д. привлекал тебя с чисто профессиональной точки зрения? За двадцать лет твой стиль поведения ни капли не изменился. Ты всегда знала, чего хочешь?

Только не неудачи, безмятежно отвечает Паула.

Удивляюсь людям, которые всегда знают, чего хотят. Они для меня загадка.

Раз тебе так угодно, замечает Паула, считай, что мысль поселиться в Д. была изначально окрашена некоторой сентиментальностью. Д. был мне ближе, чем Киль. Вот я и постаралась не упустить случая.

И ни малейшего опьянения служебным успехом?

Пожалуй, было и это.

Право руководить городской библиотекой. Что хочу, то и делаю. Женщина на руководящем посту.

Или лошадь, на которую сделана ставка, невозмутимо произносит Паула. Все зависит от первого впечатления.

Выходит, начало было иным?

Возможно, говорит Паула, тогда я лишь отметила, что в кабинете жарища, и молча обливалась потом.

Мне необходимо знать, настаиваю я, вправду ли ты полностью отказалась от мысли произвести нужное впечатление, ведь тебе же хотелось выглядеть серьезным специалистом. Много ли в тебе было самоуверенности?

В городских библиотеках тоже предпочитают нанимать мужчин.

Вот я и добралась до кофейной гущи.

Знала ведь, что Паула от нее откажется. И все равно сержусь.

Сломать, говорю я, перевернуть, раскопать, подновить, перестроить, расширить, разровнять и преодолеть!

Насилие, коротко бросает Паула и просит сварить еще кофе.

По-настоящему мы никогда силу не применяли, говорю я.

Паула меняет тему.

Ты знаешь, до французской колонизации население Алжира умело читать, писать и считать, рассказывает она.

У них это называется «усмирить»: безграмотность принесла в страну спокойствие.

Наливаю ей свежего кофе. К завтраку ее никто не звал.

Почему, напрямик спрашиваю я, нас не предупреждают, что библиотекари — народ опасный?

Опасный? — переспрашивает Паула. Нашего брата водят на длинной сворке.

Ты и раньше это знала?

Просто не думала об этом.

Тогда перемены в тебе начались в Д.

Какие перемены?

Городов наподобие Д. пруд пруди, замечает она, значит, по твоей мысли, историй вроде моей должно быть много. Если бы вправду так было и люди, вот как я, в растерянности уезжали из этих городов, то в конце концов весь наш порядок пришел бы в расстройство — сперва бы началась неразбериха с уровнем квартирной платы из-за вдруг опустевших квартир, а там и вся экономика пошла бы к черту.

Я представляю себе обезлюдевший город вроде Д.

Можно было бы объявить его музеем. Интересно, кто поедет туда на экскурсию?

Смотри на вещи трезвее, говорит Паула. В городской библиотеке и следа нет того бунтарского духа, каким были проникнуты читальни прошлого века. Списки приобретаемых книг теперь не надо утверждать у начальника полиции. Нынче у нас действует принцип свободы выбора. Книги без опаски выдаются всем и каждому. Точнее, мы больше не держим их под спудом, не подбираем литературу специально — скажем, для посыльных, для подмастерьев и для солдат.

А есть ли у нас право на такую свободу выбора?

Это нам гарантируют.

Что, право?

Свободу выбора, говорит Паула.

Итак, прямиком в Д. Отказаться от кильской квартиры и переехать в Д.

Багажа немного: на севере она снимала меблированную комнату, а в глубине души постоянно жила мысль о том, чтобы не устраиваться как следует.

Может, и в Д. для начала снять комнату. Работа с первых же дней заладилась. Идет подготовка к официальному открытию. Фройляйн Фельсман рядом, помогает. Все еще впереди; желать чего-то большего — в ту пору у Паулы такого даже в мыслях не было.

Поэтому необходимо обзавестись настоящим жильем. Не в самом Д. За городом. Утром — на машине через деревни. Мимо двух бензоколонок на городской окраине — в центр. Брусчатка на холме. Белый указатель отсылает туристов направо.

На улице дождь. Фройляйн Фельсман ждет. Для Паулы забронировано место на автостоянке.

Без зонта она идет под дождем к Фельсманше. Если б не тонкая сетка морщин, той никто бы не дал шестидесяти лет.

Паула отпирает стеклянную дверь. Фельсманша тем временем стоит сзади, держит над ней зонт.

Паула толкает дверь, фройляйн Фельсман несколько раз складывает и раскрывает зонтик — капли летят во все стороны. Звук такой, будто птица хлопает крыльями.

У нас в классе на шкафу стояло чучело птицы. Паула придерживает Фельсманше дверь, глядя, как та напоследок резко встряхивает зонтик и скрывается вместе с ним в вестибюле.

Плащи они вешают в гардероб. Библиотека еще пахнет свежей краской и синтетическими коврами.

Вы уж простите, говорит Паула, что я заставила вас мокнуть под дождем.

Фельсманша аккуратно сует мокрый зонтик в подставку, острием вниз в круглое отверстие. Потом кивает и снова одергивает задравшийся джемпер.

Если не возражаете, я опять займусь инвентаризацией, с этими словами она проходит мимо Паулы и исчезает среди пустых стеллажей. Упреки остались невысказанными, но как бы витают в воздухе, Паула живо чувствует их присутствие, только не знает, чем Фельсманша этого добивается — взглядом или всей своей повадкой.

Неприветливый лунный пейзаж спрятан в глубине острова. Самолет садится под вечер.

Лишь забор из проволочной сетки отделяет аэропорт от моря. Прямо из самолета можно пойти купаться.

Волны не выше, чем на Средиземном море. Легкий прибой — в самый раз для туристов.

А по ту сторону острова — Атлантика. Лавовый поток рухнул в море да так и застыл.

По утрам, если удается встать с рассветом, Паула видит рыбачьи суденышки на яркой открытке балконного окна.

К пляжу надо спускаться по осыпи. Банки из-под кока-колы в каменных кавернах. В гавани Пуэрто-дель-Кармен вечером все по-другому. Двое мужчин выносят из лодки на берег черепаху.

Когда случается заплыть слишком далеко, Паула вспоминает об акулах.

Говорят, море между островами очень глубокое. А на суше чуть ли не десятиметровый слой вулканической породы завалил плодородную почву.

Крестьяне бог весть откуда привозят землю, выращивают на крохотных участках лук, помидоры, виноград.

Птиц очень мало.

Деревьев тоже. Лишь специально высаженные в парках для туристов. На стенах домов в Арресифе Феликс показывает ей лозунги компартии. Неподалеку от аэропорта находится кладбище.

Рассказывают, что иной раз из-за моря сюда добираются песчаные бури Сахары. Феликс прилетел из Лас-Пальмаса. В ту первую встречу он был не один, а с каким-то парнем.

По желанию Паулы мебель доставляют прямо в деревню.

Против дома — церковь с византийским куполом. Если поглубже утопить голову в подушку и взглянуть наискось вверх, то можно увидеть высоко на карнизе голубей. Поодиночке они не летают.

Справа и слева сохранились большие крестьянские дворы. Пауле так и кажется, будто она дома.

Значит, опять в родном краю. Все по-старому. Только дети выросли. Вечерами возле телефонной будки собираются четырнадцатилетние подростки. По воскресеньям они ходят в церковь. И тогда

девочки вместо джинсов надевают юбки, а мальчики-служки облачаются в кружевные стихари; когда в деревне бывают похороны, они идут по улице во главе траурной процессии и несут распятие.

На окраине — несколько коттеджей, есть в них и комнаты для детей, только вот ребятишки рождаются редко. Дом священника недавно заново покрасили, водосточный желоб блестит медью, на окнах — кованые решетки. В дверь этого дома надо звонить, все прочие день-деньской открыты. Свадьбы здесь обычно играют в начале лета; покойников провожают колокольным звоном; хлопот у свадебного распорядителя поубавилось, но говорит он все, что положено.

Когда Паула впервые приехала сюда после работы смотреть квартиру, деревня еще утопала в подтаявшем снегу. Она миновала автобусную остановку, почту, сберегательную кассу и освещенную витрину единственного магазина, поставила машину на стоянку возле трактира, недалеко от почты. Кто здесь родился, тому здесь самое место. Комнаты смотрят на улицу. А еще можно из окна полюбоваться кладбищем.

Северная сторона, без балкона, разрешено пользоваться садом. Только кухня и ванная выходят на восток. Квартирная плата невелика.

Паула живет на втором этаже. Первый занимает какая-то семья. Хозяева въехали в новый дом. Теперь там, где раньше был хлев, поднялся особняк, совсем как в городе.

Летом хозяйка стрижет газон. Есть у нее и куры, и огород. Кладбище Паулу не смущает. Снег сменяется слякотью. Лишь мертвые уходят отсюда, да и то не покидая живых.

Отец Паулы погиб не на войне. Он скончался в разгар учебного года. Утром мы молились за упокой его души. Паулу отпустили на похороны. Вернулась она в черном платье. Интересно, долго ли она носила траур?

Две комнаты, говорит Паула, с кухней и душем.

Мать обиделась: дочь теперь живет близко, а не заезжает.

А как же ты думала, говорит Паула, у меня ведь работы по горло. Священник передал нам ящики с книгами.

По воскресеньям дома пьют сладкий кофе с пирогом. Мать, подперев голову руками, сидит напротив нее за кухонным столом и ласково смотрит, как дочка завтракает. Она по-прежнему спит на двуспальной кровати, застилает опустевшую половину, будто он еще может вернуться. В супружеской спальне все как раньше. Утром она встряхивает подушки, взбивает их и аккуратно укладывает одну на другую. В холодную погоду берет в постель грелку. По мнению Паулы, мать не страдает. Крыша над головой есть, в соседнем доме живет сестра с зятем.

...Почему ты хочешь уехать? — спросила мать, когда Паула решила учиться на библиотекаря...

Брат стоял в кухне возле раковины и держал голову под краном. Сколько раз Паула видела эту спину, эти плечи в шрамах от тракторных потасовок. Время от времени он встречался с девушками, но невесты у него не было. В ванной отец тоже сделал умывальник, правда, пользовалась им одна только Паула. По субботам мать топила колонку. Очередность купания была установлена раз навсегда. Первым неизменно мылся отец.

Мать подливает кофе, Паула окунает в чашку пирог. Вчера, когда она приехала, весь дом благоухал пирогами. Мать заслышала шум мотора и прямо в фартуке вышла на улицу, на ходу вытирая руки.

Если б ты жила здесь совсем одна, говорит Паула, я бы еще поняла тебя. Но ведь тут и Сюзанна, и Герберт, и малышка Сабина.

Разве я жаловалась?

Паула видит свою мать насквозь. Упреков вслух от нее не до-

ждешься. Но Паула чувствует их, даже не глядя. Ей почему-то страшно смотреть на старую женщину, на ее лицо, руки. Раньше она пряталась в нетопленой спальне.

Матиас пишет что-нибудь? — спрашивает Паула.

Мать качает головой: твой брат очень занят.

Паула хвалит пирог. И мысленно спрашивает себя, заведется ли мотор, ведь всю ночь лило как из ведра.

Сюзанна зайдет ненадолго после церкви, говорит мать. Тебе нравится в Д.?

Пока у меня нет ни минуты свободного времени, терпеливо отвечает Паула. Она уже попросила нанять помощницу.

Надеюсь, замечает мать, ты не станешь хоронить себя среди этих книг.

Паула обещает почаще бывать на воздухе, когда будет теплее.

Как только устроюсь, говорит она, ты обязательно приедешь ко мне в гости. Вокруг деревни до самого леса — сплошные поля. Погуляем в свое удовольствие.

Часть книг, сказал священник, конечно, уже попросту макулатура.

Паула между тем нацепила на вилку одну из домашних клецок по-швабски и старательно макала ее в охотничий соус.

Но там есть и очень хорошие вещи, ценные, добавил он, пристально глядя на Паулу.

Коротышка советник очень хвалил Пауле хорошую провинциальную кухню. Они уже договорились о сумме, которая будет отпущена на приобретение книг,— сумма была не маленькая. Обер-бургомистр интересовался в первую очередь фонотекой. О создании библиотеки он заговорил, вернувшись из какой-то командировки. Пауле дано право организовать ее — в разумных пределах. Все должно быть как везде.

Официант приносит сладкое, и мужчины, словно по уговору, пододвигают свой десерт Пауле.

В наших фондах вы найдете и литературу времен третьего рейха, говорит священник, надеюсь, вас это не смутит. Так уж вышло, хочешь не хочешь, а деваться некуда.

3

Утопив голову в подушку и глядя наискось вверх, она видит из своей новой спальни красный огонек ночного сигнала для самолетов. Утром она любит для развлечения посмотреть на церковь и вспомнить о Феликсе. На карнизе сидят голуби. Поодиночке они не взлетают.

Днем Паула работает, и успешно. Приходят все новые и новые книги, местный книжный магазин считает барыши. Все запасы пошли в ход. В читальне она расставляет справочники по отраслям знаний. Единственное местное издательство дарит библиотеке произведения здешних авторов. Для Д. пора расцвета канула в прошлое вместе с первой мировой войной, люди искусства тут почти не селятся. Как говорят, поздние полотна Шпицвега обязаны коричнево-синим колоритом именно пребыванию художника в Д.

Из соседней комнаты доносится голос Фельсманши: привезли ящики с книгами, и Паула спешит туда.

Вы непременно должны пойти, сказала фройляйн Фельсман, приглашая Паулу на вечернюю лекцию о местной колонии художников (с демонстрацией диапозитивов).

Луговое болото и какой-то совершенно особый свет придают деревне неуловимое очарование.

Паула купила себе велосипед. И по субботам ездит за холмы,

которые с шоссе кажутся пологими, на болото, умирающее вот уже целый век.

Там, где оно еще не погибло, намечено проложить автостраду. Серьезного сопротивления проектировщики не встретили.

Одному из городских печатников Паула заказала бланки формуляров. А вечером женщины в первый раз пылесосят расставленные книги.

Дома она садится за стол, включает лампу и разрабатывает систематический каталог — в дополнение к алфавитному.

Кухонный стол она придвинула к окну и теперь видит, как соседи снуют из дома в сарай и обратно.

Еще дальше виднеется шпиль ныне бездействующей церкви, куда прежде стекались тысячи паломников. Иссякло чудо, а с ним и людской поток. Когда снесут расположенную рядом старую халупу (сосед уже выхлопотал разрешение на слом), обзор у Паулы станет шире. А пока в халупе живет какой-то югослав, чьи земляки давным-давно высланы домой по причине засилья иностранцев.

Паула не чувствует себя здесь посторонней. Она купила мебель. По воскресеньям иной раз обедает в трактире. Тамошняя хозяйка прекрасно готовит жаркое из свинины.

Вы любите рыбу? — спросил Феликс.

Паула взглянула на него. Парню, приехавшему сюда вместе с Феликсом на выходные, Паула не понравилась. В каникулы они оба работали на острове Гран-Канария с туристами, которым вполне по карману поторчать здесь недельку-другую, глазея на море, потягивая «Куба либре»[1] и отнюдь не заглядывая в словарь.

Она не стала отказываться от приглашения. Феликс сказал, что изучает германистику. Проблемы взаимопонимания для него не существовало.

Иногда, сказала Паула, мне до смерти охота жареного мяса.

Ветер из пустыни приносит порой и саранчу. В то утро Паула взяла напрокат машину — просто так, поколесить среди песчаного бездорожья. Когда путь ей преградил брошенный кем-то автомобиль, повернуть назад было невозможно. Так бы и пришлось топать пешком по карстовым горам, по жаре, без воды. Кругом ни единого дерева. Глухая пустыня, хотя Паула и привыкла к одиночеству. На заднем сиденье пустой машины валялась шляпа от солнца. Оглядевшись, Паула заметила Феликса и его спутника. Феликсов приятель тащил бензиновую канистру. Они шли вниз по косогору, и из-под ног катились камни. От зноя блузка у Паулы липла к телу.

Феликс так и не понял, зачем она поехала одна. Остров, конечно, невелик, но ведь машина могла угодить в осыпь и сорваться в пропасть. До конца отпуска ее бы никто не хватился.

Ну уж нет, запротестовала Паула, с машиной я как-нибудь справлюсь! Она не стала отказываться, когда молодые люди пригласили ее на ужин.

Boquerones [2], сказал Феликс, совсем как у нас дома!

Он пошептался в дверях кухни с хозяином и заказал рыбу. Паула сидела за столом наедине с Феликсовым приятелем. В памяти жалкие обрывки испанского. Кожа горит от зноя.

Феликс выкладывает со сковороды в тарелки панированные анчоусы. Паула смотрит, как он ест: двумя пальцами берет рыбку за хвост и отправляет в рот, прямо с головой. Паула вооружается ножом и вилкой. На тарелке у нее глазастые рыбы. Она клюет, как птичка.

Парень следует примеру Феликса, а Паула сдвигает на край тарелки кости, головы, хвосты.

[1] Крепкий коктейль.

[2] Анчоусы *(исп.)*.

По дороге в гостиницу Феликс рассуждает о конце света. Они вдвоем: приятель Феликса еще раньше ушел в туалет и больше к столу не вернулся. За ужин расплачивался Феликс.

Человечество вовсе не вымирает, возражает Паула, мы-то ведь живы. Среди погибели.

Сквозь ресницы она видит белый готический собор. Известняк очищен пескоструйкой. В открытые двери вливается поток туристов. Феликс хотел было попрощаться, но она не отпускает его, тащит за собой, а возле купальни вдруг ойкает: в воде плещется рыба.

Нет, я все-таки предпочитаю мороженую рыбу, говорит Паула. Другую я и готовить-то не умею. Парные кролики и цыплята тоже не моя стихия. Порционное быстрозамороженное мясо — вот это по мне.

Да разве ты ела? Так, поклевала чуть-чуть, говорит Феликс. Хозяин был разочарован.

И слышит в ответ, что Паула с удовольствием зажарила бы мороженого цыпленка и съела аппетитную хрустящую кожицу.

Сбрызнутую коньяком?

Нет, апельсиновым соком.

Лучшие коньяки у нас делают в Хересе.

Наутро Паула стоит, прислонясь к окну. Феликс объяснил ей, до чего коварны испанские газовые горелки, и не позволил включать их самой. Она сказала ему, когда улетает.

Это не для меня, говорит фройляйн Фельсман. Кофе она пьет лишь изредка, к примеру утром, когда неважно себя чувствует. Паула хотела угостить ее кофе, а теперь уходит в кабинет одна, садится за стол, на котором громоздятся книги, полученные с сегодняшней почтой; дверь приоткрыта — вдруг кто-нибудь позовет. Паула наблюдает, как варится кофе: шипит пар, поднимаясь над кипящей водой, и вот уже капли одна за другой падают на кофейный порошок в фильтре, а потом превращаются в струйку, и темная густая жидкость стекает вниз.

Поискать на карте необозначенное белое пятно?

Фельсманша объяснений не требует, но Пауле почему-то кажется, что объяснить надо. С какой стати она, разбирая сундуки, одни книжки бракует, а другие нет? «Листья и камни» Эрнста Юнгера [1] (издание 1941 г.) — в каталог, а «Дивизию «Кондор» — в макулатуру.

Забивать себе голову книгами. Мытье головы и укладка в последнее время опять подорожали. Купить дом на Лансароте — вот бред!

Шестьдесят миллионов, представляет себе Паула, шестьдесят миллионов скажут «нет», поставят точку, не купят ни дома, ни «фольксвагена», ни «форда», ни престижной стиральной машины и вообще больше ничего такого, что, как известно, полезно и хорошо. Отказ от потребления ударит по барышам. Кто не желает работать, все-таки должен есть. А кто хочет есть, тому нужен холодильник. Кому нужен холодильник, тот должен за него платить. Кто не платит — не имеет права есть... У Северного моря семь жизней. Когда выловят всю рыбу, его можно будет использовать как бассейн для сточных вод. Интересно, долго еще будут паковать книги в поливинилхлоридную пленку? Нефть-то на исходе. Фройляйн Фельсман зовет Паулу.

От пыльных книг кончики пальцев становятся грязными и шершавыми, но лицо Фельсманши непроницаемо. Вы давно здесь живете? — как-то раз спросила Паула.

---

[1] Немецкий писатель и философ (род. в 1895 г.).

Что значит «давно»? Она всегда жила здесь. По свету мотаться незачем.

Может, стоило бы пригласить фройляйн Фельсман в гости: испечь пирог, накрыть в гостиной стол для кофе, вместе посмотреть на памятники за кладбищенской стеной. В субботу к вечеру местные жительницы бросают свои огороды и приходят на могилы. Но в конце концов она отказалась от этой мысли. Едва ли они поняли бы друг друга. Лучше уж пойти с фройляйн Фельсман на эту лекцию. Переодеваться ни та, ни другая не стали, только руки отмыли да причесались. Потом фройляйн Фельсман скрылась в туалетной кабинке, а Паула с мокрыми руками покинула умывальную. В лекционном зале ее встречают приветливо. Фройляйн Фельсман знакомит Паулу с директором гимназии и одним из членов правления Музейного общества, который преподает также химию и физику; Фельсманша занимает сумкой сразу два места, пожимает руки. Паула искоса разглядывает ее — эту женщину, состарившуюся без ласки. Пухленький химик едва достает ей до подбородка, но настроен дружелюбно. Фонды краеведческого музея, рассказывает он, из-за нехватки помещения так и лежат, упакованные в ящики.

С появлением ландрата[1], обер-бургомистра и советника по культуре воцаряется тишина; только фотоаппараты щелкают.

Репортеры — в темных костюмах и джинсовых туфлях на мягкой подошве.

Ступают они почти неслышно.

4

Independence for Canary — tourists, go home![2] — читает Паула на стене полуразрушенной сторожевой башни у моря.

В эту пору, говорит Феликс, становясь по просьбе Паулы как раз между двумя написанными на стене словами, в эту пору у нас дома вообще не открывают ставен, из-за жары.

Паула на глаз устанавливает выдержку и диафрагму, наводит аппарат на Феликса и щелкает спуском.

Ветер, гуляющий по крепости, взъерошил ему волосы. Некогда там, внизу, рухнул в море лавовый поток. В казематах человеческие экскременты.

Свет на Лансароте, узнала Паула, меняет привычный облик вещей, скрадывает расстояние.

На рассвете рыбачьи лодки в бухте были совсем рядом — кажется, только высунь руку из окна — и дотронешься. Перешагивая через ржавые банки из-под кока-колы и бутылочные стекла, Паула спускалась к пляжу. А лодки отступали все дальше, хотя на самом-то деле не трогались с места.

Паула бросается в волны, и тотчас у нее захватывает дух. Море холодное.

Вернувшись, она застает Феликса в ванной: он старательно бреет щеки. Чтобы пропустить ее в душ, он выпрямляется, а после продолжает свое занятие. Усы он подправляет маникюрными ножницами Паулы. За завтраком Паула уверяет его, что видела резвящихся дельфинов.

А что? — спрашивает она. Есть тут дельфины или нет?

Должно быть, есть, раз ты их видела, говорит Феликс и, помолчав, продолжает: ребенком я много лет думал, что у меня в голове сидит инородное тело. Чем старше я становился, тем отчетливее представлялась мне его форма и состав. Я ужасно страдал, уверенный, что в мозгу у меня — острый граненый кристалл. И боль была, причем настоящая, а не мнимая. До самой операции. А когда я очнулся с забинтованной головой, всю боль как рукой сняло.

---

[1] Начальник окружного управления в ФРГ.

[2] Независимость Канарским островам — туристы, убирайтесь домой! *(англ.)*

Ну а кристалл? — спрашивает Паула наверху, в крепости, облокотясь на парапет, коленки ее упираются в букву «u» слова «tourists».

После мне показали кристалл, похожий на тот, какой я себе представлял, ответил Феликс.

Стало быть, сегодня я видела дельфинов, решает она. Скажи, кто это гонит туристов домой? — спрашивает она немного погодя и велит ему стать между «Canary» и «tourists». Прислонясь к парапету, Феликс скрещивает руки на груди, солнце пока еще слева от объектива. Паула отходит назад

Канарское движение за независимость, объясняет Феликс. Оно требует отделения островов от метрополии.

Паула нажимает на спуск.

Потом они бродят среди скалистого лунного ландшафта, и Феликс с жаром доказывает, что упрямство, с каким островитяне обрабатывают залитую лавой почву, досталось им от испанцев. Гуанчей[1] здесь уже нет — смешались с пришлым людом. Почва без лавы сохранилась только на севере, где, как говорят, жил гётевский Клавиго. Паула прямо воочию видит книги, которые Феликс как бы постоянно держит в голове. Положив палец на спуск фотоаппарата, она старается отогнать неприязненное чувство.

Насилие?— спрашивает она, пытаясь сохранить беспристрастность.

Нет. Не противно, пока даже не надоело.

Ну, может быть, неприятное чувство — отодвинутое подальше, запрятанное поглубже, замаскированное.

А внешне — полный восторг. Кругом большущие плакаты — муниципалитет агитирует читателей. За год библиотечный фонд увеличится до двадцати тысяч томов. Предусмотрена фонотека. В уютном уголке советник по культуре намерен организовать встречи с писателями.

Вечером — торжественное открытие библиотеки, играет городской струнный квартет, советник выступает перед гостями с речью.

Наша библиотека, говорит он, должна стать для читателей родным домом. Он благодарит Паулу и ее помощницу за самоотверженную работу.

Фройляйн Фельсман стоит у Паулы за спиной; ее гладкое, почти без морщинок лицо прячется в тени, Паула отступает чуть в сторону, и фройляйн Фельсман протягивает руку для пожатия. После обеда складные стулья из бежевого пластика расставлены ровными рядами, чтобы гостям было удобно следить за церемонией.

Тут и там мелькают поношенные темные костюмы — репортеры местных газет бесшумно снуют по залу. Советник по культуре все-таки не удержался от намека, хоть и не собирался говорить об этом публично: Паула, конечно, женщина, но они не жалеют, что выбрали именно ее. Затем скромное угощение: бутерброды, вино. На случай похорон в шкафу у репортеров висят черные галстуки.

Мимоходом Паула отмечает: фройляйн Фельсман совершенно счастлива. Жуя бутерброды и потягивая вино, Паула раздумывает об этом здешнем счастье, вернее о гордости, в которой сама себе отказывает. Наглядные итоги проделанной работы. Вот же они, тут: книги, стеллажи, ну и ковровые полы, за которыми легко ухаживать.

У входа, справа от стеклянной двери, скульптура — мать и дитя. В зале — веселые, возбужденные люди, привыкшие относиться друг к другу по-приятельски. Книжные пожертвования от прихожан фройляйн Фельсман добросовестно сдала Пауле. Да, поработали на славу. Паула молодчина. Кивок, чужая рука, словно невзначай лег-

[1] Коренное население Канарских островов.

шая на плечо, мимоходом, по-отечески. Ни малейшего повода для беспокойства.

Среди стеллажей читального зала, там, где выставлены справочники по всемирной истории, Паула натыкается на ландрата. Со спины — вылитый «веселый крестьянин». А на деле — ровесник Паулы. Молодое поколение, новые кадры. Его, видно, смущает, что сзади кто-то есть. Когда он поворачивается, на лице у него высокомерная улыбка — никаких фамильярностей.

Солидно, говорит он, весьма солидно.

Пока мы только начинаем, говорит Паула.

Может быть, даже слишком солидно, продолжает он. Поймите меня правильно, я имею в виду не сам Д., а аграрный уклад здешнего края. Близость к земле. Исстари крестьянское население.

Наконец все позади, и Паула собственноручно наводит последний блеск. С малых лет от нас неукоснительно требовали чистоты под партами: ведь дома тоже не швыряют под стол апельсиновые корки. Неопрятные девочки авторитетом не пользовались. Паула носила в будни клетчатое платье, а после уроков меняла его на другое, более старое. Остроносых туфель на высоких каблуках Паула не надевала никогда. Ботинки монахинь по утрам сверкали, надраенные черной ваксой.

После торжеств Паула уходит из библиотеки последней. Д. точно вымер.

Паула сует ключ в замок, размышляя об уже описанных и еще ждущих описания женщинах, которые вместе с мужем получали своего рода ключ ко всему в доме. Право пользоваться домом и следить за тем, чтобы не нарушался мир и покой. Школьных порядков Паула не нарушала никогда.

У себя — она воображает, что эти две комнаты с кухней и ванной ее настоящий дом,— Паула обычно идет с востока, из кухни, на север: слева спальня, справа гостиная. Включает повсюду лампы. Сегодня ей хочется любви.

Сознание, что она трудилась не покладая рук, почти до изнеможения и в конце концов добилась успеха, ничуть не утешает ее.

Поэтому она ищет утешения в другом. Пробуждает в душе нежность и ласку, будто этим можно размягчить толстую корку былых ощущений и проникнуть в суть своего «я».

Что там Фельсманша вчера говорила о многоликости счастья, если, конечно, допустить, что она счастлива.

Рассуждать вперемежку с бутербродами и то полными, то неполными бокалами вина о единственном и совсем другом счастье. Маркузе или Блох?[1] Нет, сказал обер-бургомистр (человек нервный, астенического склада, от Паулы он все время держится на некотором расстоянии), он считает, что покупка таких книг себя не оправдывает. Уборщицы спозаранку уничтожили последние следы праздника.

В самом деле счастье. Она в самом деле счастлива, что выдает книги,— фройляйн Фельсман. После обеда придут первые читатели.

Предъявят документы, получат формуляры, заполнят карточки. Новые лица, множество молодых женщин, школьники.

Сидя за столом, Паула в открытую дверь наблюдает за происходящим. Будь что будет, а справляться надо. Как они снуют среди стеллажей, нерешительные и все же готовые жадно схватить книгу, ведь она сама просится в руки. А вон Фельсманша, время от времени она встает из-за машинки, в которую заправляет формуляры, и объясняет, как пользоваться каталогом, столь тщательно составленным Паулой. Добросовестно. Добросовестно и педантично.

Любой посетитель, кроме детворы, может удостоверить свою личность и действительно так и делает. Никого не прогоняют, тут рады всем. Гонят и высылают только иностранцев.

[1] Современные буржуазные философы.

Вечерами теперь смеркается позже, погода налаживается; таинственные знаки на карте погоды — такое впечатление, будто от них зависит жизнь. В вечерних теленовостях — приветливый диктор в галстуке; облачные фронты и границы снегопадов сместились к северу.

С востока, из кухни, на север — в гостиную. Поглядеть на соседа, который еще до последних известий отправился мимо старой халупы через дорогу, в трактир. Изредка подъезжают автобусы, привозят пассажиров.

В это время года народ начинает, потягивая пиво и раскрыв окна, напевать под гармонику песни своей юности, которых Паула терпеть не может. Сосед идет дальше, покуда не исчезает из поля зрения своей жены. В освещенном кухонном окне новенького дома на фоне гардины виднеется ее силуэт.

Отлично, сказал на открытии коротышка советник и нисколько не возражал, когда Паула заговорила о том, что намерена более или менее регулярно знакомить читателей с новинками, чтобы снабдить их путеводной нитью в книжном лабиринте и таким образом направлять формирование читательских привычек и склонностей, которые до сих пор ориентировались на фонды приходских библиотек. Может быть, стоило бы организовать и передвижку для домов престарелых и для больницы. Грандиозные планы, сказал он. Не порицая, а скорее сомневаясь в деловой хватке своей собеседницы, которая так хорошо работает.

Только бы не хватить через край. Может быть, мы в куда большей степени, чем Киль, город среднего сословия.

Как везде, так будет и у меня.

То есть никаких экспериментов. На уроках физики мы работали с железными опилками и горелкой Бунзена. Горелку доверяли только надежным ученицам.

Нет, не противно. Человеческие экскременты в казематах — тоже неизбежность, особенно в укромных местах. Того парня Феликс отправил назад, а себе продлил выходные на понедельник и вторник. В наемной машине — по острову. На юге песчаные дороги, а в конце путешествия — древняя сторожевая башня.

Призывы на обветшалых стенах в Арресифе кажутся Пауле более вызывающими, чем здесь. Сюда давным-давно никто не ходит пешком.

Довольно воинственно, роняет Паула среди отпускной безмятежности.

Не исключено, что когда-нибудь она все же угодит в заваруху,— мысль об этом пробуждает в ней тревожное чувство.

Malpais. Дурной край. Застывшая лава похожа на черепаший панцирь. Но местами уже вновь пробивается зелень.

Крестьяне, говорит Феликс, не падают духом.

По утрам Паула спускалась вниз по круче, а он еще спал. Широко раскинув руки, вытянув одну ногу и поджав другую, голый, только живот прикрыт одеялом, он лежал на спине и крепко спал, с непроницаемым лицом, под надежной защитой (так думала Паула) своих грез — или беззащитный, если сны страшные?

Он и брился нагишом. Паула любовалась его большим красивым телом. С удивлением, а может, и с гордостью, что она желанна.

От прозрачного света все здесь кажется рельефнее и ближе, чем на самом деле.

Одна половина мира лежит снаружи и совершенно другая — внутри. Вернувшись с пляжа, Паула идет под душ.

Феликс... Временами он раздражает Паулу. Пляж за окном только с виду золотой и чистый, песок пропитан черной вулканической пылью, которую Паула смывает под душем.

ЧЕТВЕРТАЯ УТРЕННЯЯ БЕСЕДА С ПАУЛОЙ

Итак, удача, говорю я, с первых шагов удача. Не вполне по сердцу, городок мещанистый, несколько ограниченный, даже туповатый быть может, зато тебе предоставлена свобода действий. Почти ни тени недоверия — жить, во всяком случае, можно.

Сегодня я сходила за свежими булочками, заодно прихватила газету, сварила кофе, открыла банку джема. Сегодня я чувствую себя отлично. Паула поджидала меня у двери, когда я вернулась с покупками. На этот раз она явилась совершенно зря. Мне и без нее хорошо, работа спорится.

Дело не в моих человеческих качествах, отвечает Паула, профессионализм — вот что было главное.

И только?

В известном смысле да. Я вовсе не помышляла о каких-то там коренных новшествах.

Под утро мне приснился сон. Будто я в Венеции и разгуливаю в чем мать родила. Солнце уже пригревало, но зловонного удушья в городе пока не чувствовалось; и впервые в жизни я думать забыла про стыд. В соборе святого Марка служили раннюю обедню, я выхватила у какого-то мужчины шляпу и устроила сбор пожертвований.

Я обязательно расскажу тебе свой сон.

После, отмахивается Паула. Я пришла, потому что наконец уяснила себе одну штуку, которая, пожалуй, тебя беспокоит.

Иной раз я просто не знаю, какую половину считать лучшей: ту, что существует ночью, или ту, куда попадаю, проснувшись.

Да выслушай же меня, говорит Паула, я ведь поехала в Д. до некоторой степени по простоте душевной.

Не хочу слушать. Не хочу забыть сон, утратить то ощущение.

Разрезаю булочку. Раньше булочки пахли не так. Паула берет меня за кисть и держит крепко-крепко.

Мое простодушие не укладывается у тебя в голове, говорит она, вот в чем загвоздка.

Ей и правда как будто бы очень важно внести ясность. А кофе стынет.

Я, конечно, не берусь утверждать, что знать ничего не знала, продолжает она. Но меня это не трогало, понимаешь? Меня лично не трогало.

Она прямо как в лихорадке.

Успокойся, говорю я. Не надо оправдываться. Что я, судья, что ли?

А может, все дело попросту в том, что подходящих случаев больше не было. И распрей никаких не было. В пределах возможностей, какими располагает Д., мне дали полную свободу действий.

Вообрази, перебиваю я, в соборе святого Марка я даже пела. Нет, ты представляешь?! Церковь битком набита людьми, а я иду себе нагишом, собираю денежки в черную мужскую шляпу да еще распеваю, как соловей! Притом я ведь никогда не умела петь, даже на рождество рта не открывала.

В ответ Паула лишь роняет: хотелось бы мне попасть в страну, где жить не страшно.

Жаль. Я так радовалась свежим булочкам. А теперь весь аппетит куда-то пропал.

Смотрю на Паулу: хрупкая, темноволосая, маленькая — еще меньше, чем запомнилась мне,— она сидит за столом в моей кухне; я обнимаю ее за плечи, вообще-то она — полная моя противоположность, но мне все равно кажется, будто я утешаю себя.

Как ты относишься, скажем, к таким понятиям, как исполнение долга, корректность, самопожертвование, порядочность? — спрашивает она.

В памяти тотчас оживает школа, где изо дня в день все шло как по нотам. Порядок, чистота, аккуратность.

Всего лишь функции, обязанности, давным-давно окостеневшие во имя гладкого течения жизни.

Окостенения я не замечала.

Выходит, ты просто-напросто функционировала, как машина.

Не знаю, отвечает Паула, позже я, бывало, не раз стояла у окна, глядела на кладбище и думала: интересно, как там чувствуют себя покойники. Глупо, да? Покойники ведь не чувствуют ничего.

5

Ну с какой стати ему хромать? Чепуха и вообще навязчивая идея. Нельзя доверять первому впечатлению, оно может и обмануть. Да-да, и для беспокойства тоже нет ни малейшего повода.

Унять тревогу, всему виной особенности психики. А объективно оснований тревожиться нет.

Паула соглашается: женщины, как известно, больше мужчин склонны к депрессии. И проявляется это в снах, в мечтах. С такими вот мыслями Паула сосредоточенно прислушивается к себе: что-то не ладится с внутренней секрецией. Переутомилась — ведь первые месяцы дел было невпроворот. А в общем — можно быть довольной. Молодец!

Итак, можно быть довольной. На стенде у входа она разместила первую тематическую выставку.

Эмансипация? — спросил коротышка советник.

Наутро после открытия он заглянул в библиотеку, случайно, просто так, по пути — его контора в том же здании, вот и зашел на минутку.

Женское движение, ответила Паула. Она заранее просмотрела, отобрала, систематизировала литературу — книги крупных фирм и небольших женских издательств. Конечно, сомнение в голосе советника от нее не укрылось. Скорее, сомнение мужчины, а не политика. Нет, возражать он не возражал. И правильно — ведь тут командует Паула, ей виднее. День и ночь усердно стуча на машинке и ни на грош не выйдя из бюджета, она подготовила для читателей тоненькую брошюрку по теме: обобщила весь материал, какой сумела найти, и коротко, двумя-тремя фразами, рассказала о книгах, находящихся в открытом доступе.

Женский вопрос, говорит она и жестом просит фройляйн Фельсман передать ей один экземпляр брошюры из стопки, что возле картотеки, сует этот экземпляр советнику, который уже отошел к стеллажам с беллетристикой и внимательно разглядывал новинки. Он небрежно перелистал брошюру, на губах поощрительная улыбка — дескать, хорошо! — спрятал ее в карман и заметил: прежде всего вам, конечно, надо ближе узнать здешних читателей. А в общем, поглядим, как они к этому отнесутся.

Потом, во время завтрака, приходит почтальонша со срочной депешей. Субботнее утро. Паула на кухне. За окном, к северу от церковного шпиля, стоит солнце. Внизу дребезжит звонок; почтальонша ездит по деревне на велосипеде и, поскольку настала весна, уже не носит полусапожек на меху. Паула отодвигает чашку, кладет недокуренную сигарету в пепельницу, встает, спускается на первый этаж и забирает письмо. На обратном пути разглядывает коллекционные испанские марки.

На кухне вскрывает ножом конверт. Феликс пишет часто, порой и не дожидаясь ответа. Я ходатайствовал насчет стипендии, читает

она, и получил согласие. Теперь он продолжит изучение языков в университете города М.

Паула никогда всерьез не думала, что будет встречать его на вокзале. И вот — срочное письмо. В субботнем гороскопе она вычитала, что для Девы важнее всего нежность. Ночью ей снился стадион: поле представляло собой подобие шахматной доски, по которой сновали белые и черные игроки, погибая за королей.

Надеюсь, сказал священник (Паула между тем старательно макала клецки в охотничий соус), вы не будете шокированы. Отдайте кесарю кесарево, мелькнуло у Паулы в мозгу...

Утром, когда она проснулась, мысли не двигались. Пустоты в голове. Пустая фабрика. Раз, два — и все разбежались.

Конечно, говорил на пляже Феликс (дул ветер и без устали бросал в спину пригоршни песка), можно проснуться утром и начисто забыть все слова. Раз, два — и онемел, будто язык упорхнул из памяти.

И родной язык тоже? — спрашивает Паула. Она примостилась у самой воды, положив голые ноги на влажный песок.

Родной язык забыть нельзя, уверяет Феликс, как нельзя разучиться есть ножом и вилкой.

Выходит, ты не боишься забыть родной язык, хотя изо дня в день пользуешься чужим?

Феликс стоит на своем: проснуться утром и начисто забыть все слова — такое возможно лишь с иностранным языком.

Паула читала, что Лансароте — самый своеобразный из Канарских островов. Странно.

Up, up and away. Сверху все выглядит совершенно по-другому. Сесть в самолет, подняться в небо, улететь. Но прежде паспортный контроль.

Проверяют, нет ли Паулы в списках разыскиваемых лиц, записывают ее данные — на всякий случай и на случай необычного поведения,— а может, и не записывают, потому что люди, едущие по путевкам, обыкновенно следуют в общем порядке, не нарушая правил организованного массового туризма. Сверху так приятно увидеть землю в разрывах облаков, картину, не похожую на иллюстрации из каталогов.

Перед отлетом на поле — вооруженные солдаты для охраны самолета с немецкими туристами; таможенники роются в багаже. В зале аэропорта легко отличить уезжающих от вновь прибывших по цвету кожи.

Загорелые гордятся своим загаром.

У одного из туристов отбирают кухонный нож, найденный в ручной клади. Ведь им можно не только чистить картошку.

Две недели «Куба либре», говорит Феликс, и ни разу не заглянуть в словарь.

Послушаешь тебя, отзывается Паула, и поневоле решишь, будто ты фантазер.

Феликс не отрицает, что ночами предается фантазиям... Паула идет купаться, а он сидит на песке, ветер дует ему в спину, неподалеку все так же копает ямы овчарка; Паула знает: стоит только позвать, и он немедля бросится к ней.

Паула долго гуляет с матерью; ведет ее через деревню в поля до самой опушки леса.

Как у нас дома, говорит Паула. Мать не соглашается. Взбираясь на холм, она дышит учащенно, с трудом. Надо бы помочь ей, поддер-

жать, но Паула не вынимает рук из карманов, ей страшно ощутить материнское тело совсем рядом, и обе все так же шагают по проселку, каждая по своей колее, разделенные полосой травы.

Твой брат прислал письмо, слышит она голос матери и спрашивает, как у него дела, спрашивает скорее машинально, стараясь выказать надлежащее внимание.

В воскресенье они с матерью катаются на машине по окрестностям. Неподалеку есть озерцо, уцелевшее после прокладки шоссе. Чтобы удить рыбу, нужна лицензия. Весной и осенью воду из озера спускают и чистят дно. Чего там только не увидишь — из ила торчат обрезки труб, жестяные банки, горлышки бутылок.

Вода здесь потому такая бурая, говорит Паула, что идет из болота.

Островки пены у берегов едва ли как-то связаны с загрязнением среды.

У воды им попадается снулая рыба. Паула объясняет, что рыболовы уходят отсюда с порядочной добычей. Она знает: мать умеет готовить свежую рыбу — и голову отрежет, и почистит, и выпотрошит, да и не только рыбу, но, скажем, и зайца (брат однажды привозил зайца после ночной поездки).

Гляди, говорит Паула, с гармонией в природе полный порядок. И кивает на стрекозиную парочку. Водомерки скользят по озеру, туча комаров примеривается напасть на женщин. Когда станет по-настоящему тепло, вечером после работы буду ездить сюда купаться.

Водоем совершенно безопасный, но мать не верит.

Лишь бы тебе здесь нравилось, говорит она, намекая, что Пауле пора бы бросить кочевую жизнь и где-нибудь осесть. В твои годы человек уже должен понимать, где его место.

Сами увидите, как к этому отнесутся читатели, сказал он, беря с полки репортажи Вальрафа. Боюсь, со временем вам придется несколько умерить свои запросы. Но я убежден: мы не ошиблись в вас.

Садитесь, сказал он при первой встрече, рядом на столе лежали документы Паулы. Она села, мельком взглянула на развешанные по стенам виды окрестностей, поинтересовалась, каковы будут ее обязанности.

Не бойтесь, сказал он. Доверие за доверие. Думаю, мы полюбовно договоримся обо всем. И начал толковать о новых способах организации досуга в большом, динамично развивающемся районном центре, о целине, какой является городская библиотека, о растущих запросах населения и информационном голоде. В Д. две гимназии, реальное училище и профессиональная школа, к тому же неподалеку расположен крупный город, а стало быть, есть студенты и преподаватели; не раз упомянул он и среднее сословие.

Паула согласилась. Муниципалитет — вот кто дал ей работу. Она говорила о подборе, освоении и плане использования книжных фондов; поле ее деятельности было четко размечено — по образцу других городских библиотек, с которыми ознакомилась комиссия муниципалитета и районного управления.

Никакого диктата сверху не будет, заверил советник по культуре. В пределах вашего ведомства можете поступать по своему усмотрению.

Наша новая библиотека, сказал он на открытии, должна стать для всех друзей книги родным домом...

Так что причин для недовольства нет. Она правильно решила переехать в Д. Тут вполне можно жить.

С Фельсманшей общаться трудновато, сказала Паула матери, но, наверное, со временем все уладится. Во-первых, мы работаем вместе без году неделю, а во-вторых, я пришла со стороны, как говорится, перебежала ей дорогу. Иного я и не ожидала.

Тебе здесь нравится? — спросила мать.

Работа — вот что мне нравится, ответила Паула.

Видите ли, говорит советник по культуре, ставит Вальрафа обратно на полку и, хотя ростом он меньше Паулы, заботливо, по-отечески кладет руку ей на плечо, я не очень разбираюсь в вашем деле, но, честно говоря, как читатель, я бы не стал искать книгу репортажей в разделе беллетристики. Смешок он подавил, только улыбнулся и руку с плеча Паулы убрал.

Ну как, привыкаете понемножку? — любопытствует он, уходя.

Паула признается, что видела пока мало, из-за нехватки времени. Но работа мне очень нравится, добавляет она.

Насчет комнаты в М. Феликс не писал ни слова. Паула готовится к его приезду. Стадион ей больше не снится. Теперь она видит эротические сны.

Феликс приехал мадридским поездом. Шагая ему навстречу по платформе, Паула чувствует, что он рад ей.

Ей хотелось снять эту сценку. На фоне черных силуэтов вулканических скал верхом на осле едет мужчина, впереди себя он усадил маленькую девочку — когда она вырастет, то будет идти следом, пешком. На шее и крупе животного толстые охапки бамбука.

Паула берется за аппарат, но Феликс ее останавливает. От изумления она даже не упирается. Надо же, что́ он себе позволяет — кто дал ему такое право?!

Ты бы оскорбила его достоинство, объясняет Феликс.

ПЯТАЯ УТРЕННЯЯ БЕСЕДА С ПАУЛОЙ

Нет уж, извини, синдром Ромео и Джульетты тут ни при чем, протестует Паула. На первых порах Феликс был для меня принадлежностью отдыха, и не больше.

Попросту ублажал тебя?

Паула хитрит и вместо ответа спрашивает, отчего я не посажу вдоль забора вечнозеленые вьющиеся розы.

Сегодня ночью меня напугал сигнальный фонарь. Мне почудилось, будто луна горит огнем.

Паула смотрит в окно, провожает взглядом соседа, который идет из дому в сарай.

Значит, мой Феликс тебе не по нраву? — спрашиваю я. Что ж ты не выкинула его из головы? Он ведь всего-навсего принадлежность отпуска.

Паула предлагает устроить огромную живую изгородь из роз.

А ты, отвечает она вопросом на вопрос, ты выкидываешь из головы приятные воспоминания?

Я уверена, что давным-давно ее раскусила. Это страх, говорю я.

Страх?

Тебе страшно сознаться в своих чувствах. Боишься потерять себя?

Паула молчит.

Жаль, говорит она немного погодя, кухня у тебя на первом этаже, и соседский дом слишком близко. Со второго этажа вид был бы лучше.

Я уже готова поверить, что Паулу можно чему-то научить.

Тебя страх задавил, говорю. И давно ты живешь с этим страхом?

Она все еще прикидывается безучастной.

Наверно, ты сама себе кажешься быстрозамороженной и упакованной в целлофан.

Очень уж сурово судишь, отвечает она, глядя мимо меня на холодильник. Терпеть не могу фанатиков. Кроткие святые всегда были мне симпатичнее.

Я упрекаю ее в романтичности, и вообще она, мол, рассуждает

о фанатизме и кротких святых таким тоном, будто должна выбирать между сахаром и сахарином.

При мысли о сахарине к горлу подкатывает тошнота. Да, сурово, говорю я, но я хотя бы надеюсь, что есть еще сила, достаточная, чтобы спастись от вечного холода.

Теперь она смотрит на меня в упор.

Как же ты намерена бороться с зимой? — любопытствует она. Только не говори, что будешь топить.

Насмешка?

Затопить, говорю я, натопить, сжечь.

Сахар, отвечает Паула.

Она меня раздражает.

Что делать, каждому охота, чтобы повествование продвигалось вперед так же быстро, как его собственная жизнь, говорит она.

Я протестую: ты ведь тоже не сидишь, пригорюнясь у камина, живот в тепле, спина в холоде, руки на коленях — как твоя мать. В конце концов ты извлекла для себя урок!

Сугубо личный, замечает Паула.

Раньше, объясняю я этой Пауле, которую ничему не научишь, в поисках безопасности бежали в монастырь. Не умея совладать с одной половиной мира, искали убежища в другой. Ты это имеешь в виду?

Или покупали билет на корабль и отправлялись в эмиграцию за океан, отвечает она.

Стало быть, только безрассудная надежда? Я почему-то ору.

Назад в скорлупку!

Самовлюбленная эгоистка, отгородилась стеной от внешнего мира? Что ты там делаешь, в своем коконе? Вяжешь накидочки на душу?

Я давно уже не в коконе, говорит Паула, словно я вовсе и не орала. Я теперь снаружи.

Часть III. Лето

1

В принципе возражений нет. Напротив. Он даже приветствует ее начинание.

Она заблаговременно предупредила советника, что хочет к нему зайти, договорилась, когда это можно сделать, и в назначенное время поднялась этажом выше — разумеется, отнюдь не мимоходом, не случайно, ведь ей не по чину устраивать проверки.

Когда она появилась в дверях, он, явно нервничая, скрестил руки на груди. Паула села на стул для посетителей.

Где-то она читала, что есть такая болезнь, которая судорогой сводит мышцы, корежит суставы и в конце концов обрекает человека на полную неподвижность. Климат в Д., как говорила Пауле мать, очень сырой, часто бывают туманы.

На кашель Фельсманши следовало бы обратить внимание пораньше.

Я помню, говорит он, вы упоминали об этом еще несколько недель назад.

Кабинет не похож на прежний, мебель тоже новая. Лишь пейзажи в рамках перекочевали сюда из старой ратуши.

Тот, кто родился и вырос не здесь, мигом начинает хворать. Все-таки есть на земле места, таящие опасность для здоровья.

Итак, ваш план обрел конкретную форму?

Паула навела справки. Задуманная ею библиотека-передвижка могла бы обслуживать три дома престарелых в городе и еще два за городом.

На этот раз в кабинете жарко потому, что жарко на улице. Мебель дорогая. С годами у Паулы вошло в привычку замечать ценные вещи.

Если закрыть окно, говорит она, в кабинете станет прохладнее.

Взял бы да попросил вентилятор. Еще с утра Паула засучила рукава блузки, а под низ надела майку, чтобы впитывала пот.

Одна только фройляйн Фельсман высказалась скептически: не знаю, но, по-моему, едва ли старики встретят вас с распростертыми объятиями. Они не любят новых лиц.

Паула достает из кармана бумажную салфетку и промокает шею и лоб. Ей необходима поддержка муниципалитета. Вряд ли будет легко убедить руководство домов для престарелых в пользе чтения.

Придется, скорее всего, повоевать, говорит она, ведь любое новшество встречают с недоверием.

Советник даже не думает закрывать окно.

Так странно, в эту пору — и жара, говорит он и, конечно же, обещает Пауле поддержку. Социальная благотворительность — вот как я представлю ваш план, когда буду знакомить с ним руководство.

Он больше не спрашивает, хорошо ли ей в Д. Здесь — ее место. Нет, «прижилась» не то слово. Так теперь не говорят. Она влилась, интегрировалась, вот.

Он с удовольствием обсудит ее план с обер-бургомистром и ландратом. Им часто приходится выступать на всяких мероприятиях и торжествах, произносить поздравительные речи — с девяностолетием, с бриллиантовой годовщиной, со служебным юбилеем, по случаю вручения Баварского ордена за заслуги — пусть и заинтересуют влиятельные круги библиотекой-передвижкой.

Как говорится, сделаем почин. От воодушевления советник ерзает на стуле, наконец-то расцепляет руки. Ладони потные. А под пиджаком он, наверное, мокрый, как мышь. Этак и простыть недолго.

У Паулы першит в горле. С детских лет она склонна к простудным заболеваниям.

Блестящая идея. С этими словами советник достает из кармана тщательно отутюженный носовой платок и вытирает руки. Превосходная.

Ходить по путям запрещено. Да, впрочем, и невозможно — из-за высоких платформ. Пассажирские поезда идут строго по расписанию.

Очень может быть, что Паула воображала, будто Феликс из тех, кто двинется прямо по путям, не обращая внимания на запрещающие знаки.

Но он вместе с другими идет по перрону, а она между тем еще всматривается в незнакомые лица и фигуры — чужие люди встречаются после разлуки — и все не может решить, как с ним поздороваться.

И вот он уже перед нею — в одной руке светлый чемодан, в другой парусиновый рюкзак. Только теперь Паула спохватывается, что не достает ему и до плеча. Возможно, она целует его. Наспех, при всем честном народе.

Первый раз Паула целовалась с мальчиком за углом, через две улицы от школы. В ту минуту она была похожа на птичку, пьющую нектар. Мне почему-то казалось, что от нее непременно должно пахнуть корицей.

От Феликса пахнет потом и пластиковой обивкой железнодорожного купе. Усталый, небритый, грязный с дороги, он выглядит старше своих лет.

На Лансароте он был ей как-то ближе и родней. Здесь, в незнакомой обстановке, Феликс робеет. Паула целует его, а он стесняется на людях ответить ей тем же. По перрону шагает осторожно. Ей приш-

лось стать на цыпочки, обнять его за шею и пригнуть к себе — иначе бы она нипочем не дотянулась до его щеки.

Ты смотри, как тебе удобнее, в случае чего я могу снять комнату в М., писал он.

О любви ни слова. Паула везет его к себе, и он принимает это как должное.

Дома она молчит, не предлагает ему распаковать вещи: чемодан и парусиновый рюкзак остаются пока в передней. Вид на кладбище Феликса ничуть не смущает, он хвалит квартиру, расспрашивает о церкви и византийском куполе, слушает ее объяснения. А Паула, мечтая поскорее очутиться в его объятиях, ведет его в ванную, дает ему стакан для зубной щетки и полотенце.

За завтраком он сидит напротив нее, пьет сладкий кофе с горячим молоком. Паула сходила за булочками, открыла джем и смотрит, как он ест.

Большим и указательным пальцами Феликс отправляет в рот кусочки булки. За белой полоской зубов мелькает язык, мягкий, розовый.

Слово «человек», рассуждает он, в военном словаре отсутствует. Зато есть «людские ресурсы». Боевые машины.

А что ты знаешь про подводные лодки? — спросила Паула.

Он дожевал и зачастил: «глубинные бомбы», «торпеды», «мины», «торпедные взрыватели» и «многоствольные минометы», словно в угоду Пауле вызубрил наизусть не только Рильке, но и военный словарь.

Она-то ждала, что Феликс будет ласковее.

Сейчас он стоит у окна, у нее за спиной. Паула чувствует тепло его бедра. По улице движется свадебный кортеж. Все как полагается: впереди оркестр играет марш, за ним жених об руку с невестой, потом гости — процессия в шикарных, заказанных по каталогу нарядах шествует по деревне. А вечером тут прогонят коров.

Феликс считает, что духовой оркестр как-то связан с обрядами плодородия.

Оркестранты — сплошь коренастые здоровяки в национальных костюмах. Лицо невесты Пауле незнакомо. Женщины изредка выбиваются из маршевого ритма.

Торпеды, объясняет Феликс, стараясь ответить на вопрос Паулы, бывают противолодочные, рассчитанные специально на надводные цели и самонаводящиеся.

Вчерашняя натянутость почти совсем развеялась. Хотя накануне все произошло слишком быстро.

Если оставлять его здесь, то обязательно надо предупредить — торопливость лишь вызывает досаду.

Засыпает она с мыслью, что в шкафу висят его брюки, а в ящике рядом с ее собственными лежат его носки. Итак, мужчина в доме. Отпускной знакомец в ее собственной, а не в гостиничной постели. Вообще-то он для нее пока не более чем воспоминание, чужак, только тело его близко и знакомо, как уютный ландшафт с деревьями. В детстве ей ужасно нравилась гладкая кора буков.

Она не отказала ему, даже встретила на вокзале, ничем не нарушила правил приличия, равно как и сам Феликс — он ведь не кинулся напрямик по рельсам.

Не отвергла. Отвечала на его письма. Впустила в дом. Впустила... Может быть, и она нуждается в защите, только не хочет в этом сознаться?

Паула, такая крохотная рядом с Феликсом, неприметная и в уличной толпе и на предпоследней парте,— до сих пор эта Паула ревностно оберегала цельность своих чувств. Не нарушая привычного ритма

жизни, тихо, без шума, стала старше, тридцать пять — это ведь не старость... или все-таки? Она неколебимо верит, что перед ним у нее есть преимущество. И не только возрастное. Если надо, у нее достанет сил обуздать свои чувства. Всю жизнь исправно тянула лямку, владела собой — так думает Паула, которая носит очки и ненавидит контактные линзы. Вся ее жизнь четко распределена между книгами, отпуском и выходными.

Утром по радио воскресное богослужение — это Феликс включил: Паула просыпается в испуге, когда он заключает ее в объятия, а через дорогу под византийским куполом звонят колокола, созывая прихожан. Феликс ласкает ее и рассказывает о юных девушках, которых приносили в жертву дождю.

Ну и как, шел дождь? — допытывается Паула. А если не шел, что же — новая жертва?.. Хотела бы я знать, что они при этом чувствовали.

Кто?

Палачи, поясняет Паула, удивляясь, что он не спешит.

Короткий удар колокола знаменует пресуществление. Потом из нефа доносится музыка. Тебя, бога, хвалим... В школе они до изнеможения пели эту молитву в конце каждой службы..

По радио выступает проповедник. Феликс замирает, прильнув к ней. Здесь, внутри, живые, а там, снаружи,— мертвые?

Она бы нисколько не возражала, будь он восприимчив к религии, склонен к воздержанию во время мессы и к импотенции во время молитвы. Однажды Феликс написал ей: человеку необходима вера. Но тотчас же оговорился, что не имеет в виду бога, и упомянул о разуме.

Разум, ответила Паула, давно загублен.

На полный отказ Паула не рассчитывала. Ну разве только на скепсис, а это пустяки, с этим она мигом справится.

Немецкие города, говорит Феликс, на первый взгляд напоминают яркие лакированные игрушки из дорогой коробки.

Не вижу, почему бы наш план должен потерпеть неудачу, сказал коротышка советник.

Вид из окна тоже не такой, как в старой ратуше. Паула глядит поверх крыш на холм, увенчанный за́мком. Все крыши целехонькие. Чистые, будто вылизанные.

Как только Паула наладит работу, продолжает советник, он сразу же публично объявит о создании передвижки для домов престарелых: вот, мол, вам образец, достойный подражания. И он принимается разглагольствовать насчет делегаций работников культуры, которые валом повалят в Д. перенимать опыт.

Паула не перебивает, не говорит, что в других местах издавна практикуют передвижные библиотеки.

Позднее, говорит она, мы сможем обслуживать и больницу.

В качестве транспортного средства она предлагает свою машину. Багажник просторный — вполне поместится ящик-другой книг.

На прощание советник вскользь упоминает о финансовой проблеме. Строительство спортивных сооружений дорожает, поэтому он не может выделить Пауле ни одной лишней марки из культурного фонда.

Я уверен, добавляет он, что, планируя передвижку, вы исходили из собственного бюджета.

Паула сосредоточенно подсчитывает крыши на холме.

Ты знаешь, что мне тебя вправду очень не хватало? — говорит Феликс, выпуская Паулу из объятий.

Писал он часто. И временами не мог отделаться от ощущения, что его письма раздражают Паулу.

Надо будет поговорить с ним, пусть не терзается. Ей вовсе не к чему его утешать. Лучше уж полюбоваться окрестностями. Тропинок здесь сколько угодно, природные красоты в краю болот.

Нет, не знаю, отвечает она.

Прежде о любви речи не было. Он и в письмах о ней не упоминал. А вот теперь он заговаривает о любви, и Паула поворачивается спиной к стенке.

ШЕСТАЯ УТРЕННЯЯ БЕСЕДА С ПАУЛОЙ

Теплее не становится. Я напяливаю на себя все что можно. И опять коченею.

Холодно. Внутри. В доме.

Изредка по ночам, когда ни детям, ни мужу не требуется мое присутствие, я украдкой выбираюсь из супружеской постели и спешу воспользоваться тишиной и покоем.

Мерзнешь, говорит Паула.

Я не смею до нее дотронуться.

Еще напугаю — такая я холодная.

Замуровалась в четырех стенах, продолжает она. Ты хоть когда-нибудь выходишь из дому?

Каждый день, в магазин, отвечаю я.

Недолгий путь по улице. Стоя у прилавка, кладу в сумку колбасу, ветчину, печеные яйца, а попутно слышу: мол, тот-то и тот-то умер. Порой такие новости застают меня на садовой дорожке.

На вечернем горизонте голые деревья.

Не могу же я бросить дом, объясняю я Пауле, младшая дочка должна сперва подрасти. Она засыпает, а я считаю говорящих кротов, которые живут под землей, или рассказываю про вишню, которая день и ночь в бегах, но непременно возвращается...

В детстве мне ужасно хотелось иметь много зверей, говорю я. Когда мы учились в школе, ты ни разу не бывала у меня в гостях. В нашей квартире можно было держать разве что волнистого попугайчика. Ты остепенилась, роняет Паула, и насмешка, звучащая в ее голосе, окончательно выбивает у меня почву из-под ног: родила дочерей, обновила дом, огород посадила.

Паралич, рассказываю я, шел у него от лапок к сердцу: бедняга наклевался оконной замазки, а она ведь со свинцом. Так и умер в клетке, в детской.

Что ты заладила про попугая! — сердится Паула и объявляет, что я попросту гоню от себя мысли, замазываю, заглушаю. Притом нарочно.

В те годы, продолжаю я, летом еще было тепло. Теперь у нас кошки. Но я бы все-таки завела попугайчика.

Паула, смеясь, кладет ладонь на мою холодную руку. В такую рань, еще до рассвета, мне ли тягаться с нею. Ты, говорит она, кутаешься не только от холода.

Симптомы, которые я толкую как признаки болезни, по словам терапевта, остаются необъяснимыми даже после троекратного рентгена.

Меня бесят книжки с картинками, внушаю я Пауле, отсюда и проистекают мои непонятные недуги.

Что же ты делаешь с внешним миром, спрашивает Паула, раз у тебя внутри пустота?

Летом отворяю окна и двери, отвечаю я.

И ты никогда-никогда не бунтовала? — допытывается она.

Боль, с которой нет сладу, — дело прошлое, притупилась.

Меланхолия?

Иногда ярость, но за ночь она утихает.

Стало быть, покорное отречение, говорит Паула.

Я не спорю. Какой смысл доказывать ей, чего стоит свить гнездо: ведь она же вымысел. Между нами только стол у окна.

Я воображаю, что Паула возьмет и подаст мне руку. Если она только постарается, ко мне вернутся тепло и бодрость.

Слишком холодно, сказала Паула еще с порога, от твоего многословия слишком холодно. Все в тебе будто сковано льдом. Отчего ночи с Феликсом не видятся тебе более раскованными?

Так проще в эксплуатации, отвечаю я. Когда дети были маленькие, я покупала им только вещи, «простые в эксплуатации»... И летние месяцы тогда были жарче, и чувства сильнее.

В доме у меня холод и тишина. Пока остальные спят. Снаружи мир давным-давно замер в недвижности.

Днем я живу не так, как ночью. Иногда я гашу себя. Утром встает одно только солнце.

С таким видом, будто ничего не изменилось.

Меня перехитрили.

Паула была здесь, хоть я и села к столу задолго до завтрака.

Ты во власти иллюзии, говорит Паула. Бежишь среди ночи к пишущей машинке, прячешься в коконе фантазий и думаешь, что этим жива.

Паралич, говорю я, прогрессировал медленно. Сперва я думала, что сумею прогнать смерть, и взяла его к себе в постель. Но когда паралич захватил сердце, даже тепло моей груди оказалось бессильно.

2

Ты изменилась, твердит Феликс.

Нет, возражает Паула, просто мы живем не так, как ты думал.

Внешне холодноватая и даже рассудочная, скупая на ласку и нежность (зачем растрачивать свое достояние?), вбившая себе в голову, что урон тем меньше, чем ниже ставка в игре (то ли дело долгосрочный вклад — надежно и выгодно), Паула покуда держит Феликса на расстоянии. Но прочь не гонит, не настаивает, чтобы он искал комнату.

И Феликс больше не заикается об этом.

Предпочитает мириться с неудобствами дальнего пути. Если утром Паула не подвозит его на своей машине, то немного позже он едет автобусом через деревни в Д., из Д. электричкой в М., а там на метро до университета.

Давай рассуждать трезво, сказала ему Паула в первый же день, на дорогу тебе понадобится почти два часа.

Теперь она нет-нет да и спрашивает, освоился ли он здесь, и Феликс признается, что пока ему все в новинку, но уверяет, что со временем привыкнет.

Знание языка — вот что поможет ему найти ключик, повторяет он.

Без всякой задней мысли, вовсе не желая его смущать, Паула возражает: язык-то, дескать, книжный. Конечно, он хорошо изучил Новалиса [1], но разве это гарантия, что он приживется здесь и сейчас?

Я знаю, вы своих писателей не любите.

Он уверен, что разбирается во всем, и даже мысли о неудаче не допускает. Паула просто диву дается.

Неужели ни капли сомнения?

Глядя на тебя, можно подумать, будто твоя вера и впрямь способна горы двигать, говорит она.

А чего она, собственно, ожидала? Что Феликс явится в Германию,

---

[1] Немецкий писатель-романтик (1772—1801).

как она сама в Нью-Йорк, с потными от страха руками и бешено колотящимся сердцем, напуганный и готовый в любую минуту забиться в норку, которая укроет его от всех бед?

Вполне возможно, коротышка советник вызвал к себе тогда фройляйн Фельсман точно так же, как теперь ее вызывает Паула; на столе лежат фото, копия свидетельства и автобиография Анетты Урбан, выпускницы библиотечного училища, которая предлагает городу свои услуги.

Фройляйн Фельсман садится только после особого приглашения.

Не поймите меня превратно: фройляйн Урбан нисколько не претендует на ваше место, объясняет Паула.

Еще бы, говорит Фельсманша, пряча руки в складках серой вязаной юбки. Она и не может претендовать. У меня контракт до самой пенсии.

Садитесь, пожалуйста. Паула пристально посмотрела на новенькую. Вроде бы не нервничает. Скорее насторожена.

Когда Анетта Урбан появилась на пороге, Паула улыбнулась. «Благослови вас бог» она не сказала. Только отметила внимательный взгляд, скользнувший по комнате: полка на стене, шкаф с документами, кофеварка. Окно закрыто, несмотря на жару. Пейзажам места не нашлось, впрочем, в них тут нет нужды. Пишущая машинка и неразобранные письма. На столе кипы газет, журналов, бумаги соискателей.

В первый раз устраиваясь на работу, Паула с потными руками сидела напротив какого-то мужчины, а было ей в ту пору столько же лет, сколько этой девушке.

Значит. не просто помощница, как было указано в объявлении, а молодой образованный специалист. Паула подробно рассказывает о работе. Тесное сотрудничество, заинтересованность и целеустремленность — вот залог успеха, говорит она; с губ ее так и сыплются расхожие словеса вроде «переоснастить», «оснастить», «привести в порядок», «создание», «расширение», «система», «передача фонда», «знания» и «деловые справки», «требования» и «жалованье», «все зависит от вас, от вашего опыта».

Разумеется, в меру своих сил она поможет молодой сотруднице включиться в работу.

И освоиться. Вы бывали в Д.?

...Худо-бедно подготовился, сказал Феликс, открыв чемодан и вынимая из-под рубашек брошюры и туристические проспекты. Не только о Д., вообще о Федеративной Республике. Рубашки, как заметила Паула, были белые, отутюженные. Может, и крахмальные. Мать постаралась, говорит он.

Интересно, спросил Феликс, как люди тут относятся к прошлому?

Как везде, ответила Паула. Твердят, будто знать ничего не знали.

Урбан кажется, не столь эмоциональна. Бывала, говорит она, в замке на экскурсии. Правда, очень давно. И добавляет: провинция есть провинция.

Паула разглядывает руки девушки, спокойные, сухие. Улыбка ее гаснет, ведь Урбан вовсе не стремится любой ценой произвести выгодное впечатление.

Тебе хорошо здесь, сказал Феликс воскресным утром.

Да, конечно. Уважение, профессиональный опыт, ежедневные планы и спокойное течение жизни, несомненно, создают чувство уверенности, которое необходимо Пауле как воздух.

Освоилась, значит?

Устроилась, ответила Паула.

Ты стала другая.

Из кухонного окна виден ветхий домишко, который скоро снесут. Глянешь на него, и сердце вдруг сожмется от печали: ведь придет день — обязательно придет, хоть и неизвестно когда,— и хибара исчезнет с глаз.

Фройляйн Урбан не отказалась выпить с Паулой чашечку кофе.

По телефону, говорит она, речь шла о самостоятельной работе.

За первый же год, отвечает Паула, наливая кофе, решено увеличить основной фонд до двадцати тысяч томов.

С помощью компьютера, надеюсь, говорит Анетта Урбан и берет у Паулы чашку.

Нет, без компьютера... Молоко? Сахар?

Приблизительно твоя ровесница, рассказывает она Феликсу в машине, встретив его на вокзале в Д. Солнце светит прямо в ветровое стекло.

Девушка отнюдь не робкого десятка, весьма самоуверенная. Твердо убеждена, что имеет хорошую квалификацию и во всем разбирается.

На коленях у Феликса пластикова́я сумка: оливковое масло, вино и гофио[1]. Эти испанские деликатесы он обнаружил в одной из лавчонок университетского квартала. Солнце слепит Паулу.

Я встретил друзей, зимой они уедут в Испанию.

По пути Паула урывками ловит впечатления внешнего мира. Поля уже не пахнут фосфорными удобрениями, как весной.

Нет, сказала она по телефону матери, на эти выходные я не приеду. И коротко добавила: у меня гости.

Ни слова о Феликсе, никаких признаний. Сдаваться на милость победителя она не будет. Только ночью приходит нежность к его телу, а он — он готов утопить ее в своей страсти.

В эту самую минуту Феликс перечисляет содержимое пластиковой сумки. Что гофио действует возбуждающе, он внушал Пауле еще на Лансароте.

О Лансароте у нее остались приятные воспоминания. А вот общаться с Феликсом изо дня в день — это совсем другое дело. С каким вкусом он произносит слово «возбуждающе». Добавить гофио в суп. В памяти мелькают отпускные слайды.

Так хочется быть откровенной, откровенной без слов. Просто ехать. В глубь страны. Отыскивать новый путь? Как полярная экспедиция.

На самом же деле Феликс сидит рядом, на соседнем сиденье, с сумкой на коленях, ноги у него чересчур длинные, поэтому коленки торчат высоко вверх; они вместе едут по дороге, которую Паула наверняка с легкостью одолела бы теперь и во хмелю, и во сне.

Смелость бунтовать означает смелость жить, писал он однажды.

А ты-то сам бунтуешь? — спросила она, когда он выкладывал из рюкзака белье. Ослепительно белое, как и сорочки. Трикотажные трусы и майки.

Уход из дому стоил ему долгой борьбы с самим собой, ответил Феликс.

Мятеж в родительском доме?

Я удрал, упрямо повторил он. Смылся тайком, забрал вещи и смылся.

Но дверью не хлопнул, весело заключила Паула. Ни скандала, ни споров. Вместо этого спокойно, исподволь ходатайствовал о стипендии, выискал предлог и даже о приятельнице вспомнил, чтобы наконец-то раз навсегда перерезать пуповину.

---

[1] Испанская приправа.

Слушай, говорит она, когда ты, собственно, подал прошение насчет стипендии? До нашего знакомства или после?..

Феликс твердит, что она теперь и машину водит иначе: мчишься прямо как в лихорадке. Паула пугается, когда он без обиняков говорит, что она боится всякого проявления чувств.

Ужасно, а главное, безотрадно — то ли дело, когда все аккуратно завернуто в пластик. В боковое окно вливаются запахи. Летом в природе царит идиллия. Словно так будет во веки веков и никогда не придет сюда ни погибель, ни разрушение... Безумная гонка среди палисадников, петуний и ящиков с бегониями.

Паула жмет на акселератор. Феликс растерянно цепляется за крышку перчаточного отделения. На всякий случай. Держится за жизнь.

Извини, говорит Паула, переключает скорость и тормозит.

Не надо волноваться. Ничего страшного. Она его просто напугала.

Что случилось? — спрашивает он.

Только не темнить. Она еще никогда не теряла присутствия духа. Вот и сейчас предлагает ему погулять. Пройтись по земле.

Ели, как повсюду в немецких лесах. Деловая древесина, притом не дешевая.

Забавно, говорит Паула. С тобой тоже так бывает? У меня, например, есть воспоминания, от которых я не в силах отделаться. Скажем, запах болота. Я буду чувствовать его, даже когда от болота не останется следа.

Феликс что-то рассказывает о квадратном стеклянном ящике, в котором иногда видит себя самого.

Но только я один себя и вижу. Другие не глядя проходят мимо.

А как вы хотели? — сказала фройляйн Фельсман в ответ на сетования Паулы, что этажом выше до сих пор помалкивают насчет передвижки для домов престарелых. Старая дева раскраснелась: от жары у нее поднялось давление. Все идет своим чередом, по инстанциям. Нельзя же рассчитывать, что такой вопрос решится с бухты-барахты.

Непонятно, почему в эту жару Паула не открывает окна; на улице поливочная машина разбрызгивает воду по булыжной мостовой, а тут, в комнате, фройляйн Фельсман еле дышит.

Вижу, очень вас жара донимает, сказала Паула.

Нет-нет, что вы! — энергично запротестовала фройляйн Фельсман, отвергая, отметая всякое сочувствие. Скоро пройдет.

Ей бы хорошо подержать руки в холодной воде.

Случись с Фельсманшей обморок, от Паулы толку не жди: она понятия не имеет, что́ надо поднять вверх — голову или ноги.

Видимо у вас нелады с давлением, заметила Паула.

Я совершенно здорова отрезала фройляйн Фельсман, но больше уже не заикалась о том, чтобы открыть окно предпочла говорить, что она в полном порядке. Беспокоиться не о чем. Почту я положила вам на стол, добавила она.

Нет, она не прогнала его.

Пока можешь, конечно, пожить у меня, сказала Паула.

Мало-помалу жизнь у них наладилась. Феликс слишком порывист, но от этого она его отучит, думает Паула. Должен же он в конце концов понять, что одно дело — ночь и совсем другое — день.

Утром она начинает его тренировать. Спрашивает: как ты спал?

Хорошо, отвечает Феликс; ей хочется, чтобы он держался на расстоянии, но не тут-то было: он так и норовит невзначай прикоснуться к ней или подойти да обнять, когда она стоит у плиты и варит кофе.

Обнимая ее за шею, упершись подбородком ей в волосы, он наблюдает, как она льет в кофейник кипяток. Ты красивая, говорит он.

Может статься, он с радостью улегся бы у ног Паулы, как некогда Руфь у ног Вооза[1]. Но Паула такого не допустит. На отдыхе она, конечно, слегка расслабилась, поддалась скороспелому чувству и теперь просто обязана добиться, чтобы он вел себя так, как она требует того от других.

В душе он на нее обиделся.

Стеклянный ящик? — переспрашивает Паула.

За стеклом мы держим драгоценности. Безделушки. Или рептилий, в террариумах. А иной раз и чучела хищных птиц на шкафах в классной комнате. Прямо как живые — срисовывай и описывай. Наглядное пособие: вольные охотники за дичью, выпотрошенные, вычищенные, обезжиренные, обработанные инсектицидами.

Как он только до этого додумался — видеть себя со стороны, да еще в стеклянном ящике?

3

На ней цветастая блузка с воротником-стойкой. В ушах клипсы. На груди — эмалевая рыбка. Подбородок хищно выдвинут вперед.

Старики, говорит она, в прошлом много выстрадали.

Под окном бегонии. В комнате ветка сирени и запах мастики.

Вы слишком молоды и не помните, продолжает она.

Да, соглашается Паула, мои воспоминания начинаются с денежной реформы[2].

В общем, нельзя сказать, чтобы у наших подопечных с возрастом уменьшались культурные запросы, но вот живость и энергия год от году притупляются. А кроме того, глаза слабеют, добавляет она, и пальцы ее тянутся к рыбке. Кстати, муниципалитету известно про ваш план? Мы ведь как-никак учреждение городское.

Я знаю, отвечает Паула, терпеливо, упрямо. Потом рассказывает о советнике по культуре, о своих полномочиях. Нет, качает головой директриса, муниципалитет меня пока не информировал.

Вы не думайте, я ничего вам не навязываю, говорит Паула. Просто вношу предложение, и все.

Провожая ее к двери, директриса рассуждает о Фонтане, которого время от времени перечитывает.

Руки у нее такие же хищные, как подбородок. Паула исчезает в ее когтях.

Мой муж, сообщает директриса, был пастором. Мы приехали сюда в тридцать пятом, из Шлезвига.

Тоскуете по небесному простору? — спрашивает Паула.

В войну она так намучилась, рассказывает пасторша: и дочку потеряла в первые же дни, и угля не было, а тут еще беженцы весь дом заполонили.

До неба ли тут?

У молодых, говорит она, сил хоть отбавляй.

---

[1] Руфь — в ветхозаветных преданиях моавитянка, прабабка царя Давида. Вторично вышла замуж за богатого вифлеемлянина Вооза.

[2] Денежная реформа была проведена в Западной Германии в 1948 г.

Паула смотрит, как Феликс в ее тесной кухоньке принимается чистить овощи.

На что ты, собственно, рассчитывал, когда ехал сюда? — спрашивает она.

Он повязал ее фартук с таблицей калорий на животе и фруктовым орнаментом. Этот фартук Пауле подарила сестра на новоселье. Она прислушивается к кухонному шуму, к плеску воды, бегущей по зеленому луку и моркови, к стуку ножа, режущего картофель и луковицы.

Твоя страна, говорит он, дольше моей сражалась со смертью... А дома меня в кухню не пускают, роняет он немного погодя. Сама Паула стряпать не любит, хотя чужое кулинарное искусство приводит ее в восхищение.

У вас, у немцев, писал он, наверное, все мысли аккуратно разложены по полочкам.

Ночи, когда он приехал, и вправду были светлые — лето как-никак.

Феликс натирает оттаявшего цыпленка чесноком. Руки его до утра сохранят этот запах. Паула внушает себе, что ей это совершенно безразлично.

Осталось добавить в суп шафрана.

И украсить салат консервированными сардинами и ломтиками крутого яйца.

Ностальгия? — спрашивает Паула.

Ностальгический обед, отзывается Феликс. Пока не настоящая ностальгия.

Отгоняет тоску?

За обедом он кладет ей в суп две полные ложки гофио, рассуждает об Испании.

Паула ничего почти толком не знала. Франкистская диктатура ее не коснулась.

По-твоему, выходит, вся страна давным-давно была против Франко. Почему вы тогда ждали, когда он умрет своей смертью? — спрашивает Паула.

Легко сказать, отвечает Феликс, это вы тут за тридцать лет привыкли к демократии.

Фантазер, говорит Паула, все в облаках витаешь?

Ты никогда не сталкивалась лицом к лицу с насилием, говорит он, и ей чудится, будто весь мир тяжким грузом давит ему на плечи.

Даже об изнасиловании знаю только понаслышке, нарочно бросает она, чтобы остудить его пыл. Твоя горячность просто пугает меня.

В угоду Пауле он сбрызнул цыпленка коньяком. А хладнокровия нет и в помине, он горячится все сильнее.

Они пытали узников в тюрьмах, всего за два месяца до смерти Франко расстреливали осужденных, не оставляя им никакой надежды на пересмотр приговора.

Слушай, говорит Паула, тщетно пытаясь проглотить кусок, ну почему надо непременно рассказывать о таких вещах за едой?

Будь он старше, он бы волей-неволей контролировал свои поступки. Годы притупляют чувства. Естественный износ.

Доверие за доверие. Советник положил руку Пауле на плечо. Они стоят у входа, возле статуи матери с ребенком. Прохожие один за другим спешат мимо витрин сберегательной кассы, точно автоматы.

Нам бы следовало кое-что обсудить. Первым делом надо заручиться поддержкой, а уж потом браться за осуществление нашего

плана. Иначе мы только создадим себе неприятности. А кому это нужно?

Рука, лежащая на плече Паулы, влажная, хотя жара к вечеру спадает.

Такого зноя, говорят, не было лет сто.

Он застал Паулу врасплох. Неслышно подошел сзади, как раз когда она запирала стеклянную дверь. Фельсманша до смерти обрадовалась, по ней видно.

Вы слишком нетерпеливы, продолжает он. Всему свое время. Не стоит забегать вперед начальства. Не дай бог, рассердится.

Мы что же, так и будем здесь стоять? — говорит Паула.

Он убирает руку.

Машина его на стоянке, там же, где машина Паулы; двор сплошь залит асфальтом. Паула почти не слышит шагов советника, а ведь он идет рядом.

Долго ли мне еще ждать? — спрашивает она.

В таких делах сплеча не рубят. Паула открывает дверцу машины, кладет сумку на заднее сиденье.

Вы не думайте, я не забыл, говорит он. Пока можно заняться другими мероприятиями. Мы ведь как будто намечали провести летом первые писательские чтения?

Летом? Паула опускает боковое стекло.

Я хочу сказать... Вы же не откажетесь от этой привилегии. Кстати, вам известно, что у нас в муниципалитете есть настоящий поэт? Он и родом отсюда, и живет здесь, и чины имеет. Неплохо для начала, а?

Мы работаем не ради галочки в отчете, тут нужна серьезная подготовка, отвечает Паула, садясь в машину.

И все-таки обдумайте мое предложение, говорит коротышка советник, прежде чем захлопнуть дверцу, которую Паула вообще-то хотела закрыть сама. Я слыхал, что обер-бургомистр, как патриот родного города, согласен выступить безвозмездно.

С запада мчатся большие пассажирские лайнеры. Сесть в самолет, подняться в небо, улететь?

Не торчать по субботам у пруда. Не стоять по щиколотку в иле, рядом с консервной жестянкой. С высоты все кажется таким чистым.

Против вращения Земли. Острова в иллюминаторе. Не то что здесь — сидишь с Феликсом среди липких оберток от мороженого, смотришь на купающихся ребятишек, на парней и девчонок, которые сбегают с откоса и плюхаются в воду прямо в майках и джинсах, оглашая воздух громкими криками.

Ветер прибил хлопья пены к другому берегу. Под майками у девчонок круглятся груди. Паула глядит на мокрых до нитки ребят. Феликс шевелит рукой.

Паула не говорит: давай и мы тоже, как они,— кто его знает, вдруг Феликс заартачится, да и самой что-то не слишком охота скакать в воду в юбке и блузке.

Годы не те, чтоб сидеть в мокрой блузке, которая от воды липнет к телу и становится прозрачной. А вот девчонки — все не старше семнадцати,— девчонки в себе уверены, да еще как.

Зайдя в воду, можно украдкой прижаться к Феликсу. При мысли об этом ей становится весело. Солнце — это вам не гофио.

Она кладет руку Феликсу на бедро, гладит его кончиками пальцев.

Адриатика, говорит Паула, тоже не больно чистая.

СЕДЬМАЯ УТРЕННЯЯ БЕСЕДА С ПАУЛОЙ

Неужели я вправду ждала, что она без приглашения явится к завтраку, будет есть мои булочки, пить мой кофе, курить мои сигареты и не станет впутываться во все остальное?

На ней мои тапки. Меховые, которые я купила, чтобы спастись от холода в доме, и тщетно искала сегодня утром возле кровати.

Ты извини, говорит она, но у меня закоченели ноги.

Можно сказать и так, роняю я, как мне кажется, с насмешкой.

Паулу это как будто бы забавляет.

Не понимаю, говорит она, отчего ты встречаешь меня в штыки. Так нужно?

Вчера перед сном я спросила себя: интересно, перед тем как принять Паулу на работу в Д., проверяли ее, как всех государственных служащих, на предмет благонадежности или нет? Это очень важный момент, его нельзя просто взять и опустить.

Вот и спрашиваю теперь: они проверяли, в ладах ли ты с нашей демократией?

Возможно, отвечает Паула, даже не думая возвращать мне тапки. Только все равно ничего не нашли.

Значит, и в демонстрациях не участвовала, и против атомных электростанций не выступала, ни в коммуне, ни в жилтовариществе не состояла, регулярно платила за квартиру и за электричество — конечно, отнюдь не вперед и не за других?

Возможно, говорит Паула. Но меня ведь взяли на работу. Выходит, ничего у них против меня не было.

Только раз в самое что ни на есть мирное время были у меня странные разговоры с одним коллегой из Рима, продолжает она. Ты знала, что когда искали похитителей христианского демократа Альдо Моро, генеральное консульство ФРГ в Италии потребовало, чтобы филиал Института Гёте оказал помощь в розыске и ежедневно подавал отчеты о деятельности своих сотрудников?

И как же?

Мне известно только об этом требовании, говорит Паула. Разве кто может с уверенностью сказать, следят за ним или нет? Ты можешь?

Нет, вынуждена признать я. Правда, вот с телефоном бывают неполадки. То эхо в трубке, то щелчки, то вообще мертвая тишина, впрочем, ненадолго.— когда поговоришь с кем-нибудь и тотчас звонишь в другое место.

Ты еще ни разу не попадала в облаву?

Когда похитили главу Союза предпринимателей [1], говорю я, помнишь — на каждом шагу пулеметы и полицейские патрули, магистральное шоссе точно вымерло, зато по деревне в объезд шли колонны автомашин; я тогда носа из дому не высовывала.

Значит на дороге тебя не задерживали и не проверяли.

И в доме ничего не искали. Да и зачем?

Должна ведь соображать, что мне никак нельзя студить ноги. От холода я заболеваю.

Куда ты пойдешь, если однажды тебя все-таки выгонят из норы, как крысу?

По слухам, Франц Йозеф Штраус иначе представляет себе «красных крыс» нашего века, говорю я.

Куда же?

Есть у меня план воплотить в жизнь одну утопию: купить землю, скажем, где-нибудь в Ирландии построить там деревню и поселиться вместе с людьми которые пишут или занимаются живописью, или сочиняют музыку или вообще просто думают.

---

[1] Имеется в виду Ганс Мартин Шляйер, похищенный и убитый террористами в 1977 г.

Все-таки скажи куда.

В Роттердам, говорю я (до смерти хочется обратно в теплую постель!). В Роттердаме у меня друзья, они меня приглашали. Голландия и раньше кое-кому давала пристанище.

Куда? — упрямо твердит Паула.

Ты стараешься запугать меня. Так нельзя, говорю я.

При чем тут запугивание? — спрашивает она. Ты же понимаешь, что все это приметы безумия. Тебе поэтому страшно? И продолжает: в Д. про террористов никто не заикался. Произнести это слово вслух и то уже считалось неприличным.

Наконец я спрашиваю Паулу, не поменяться ли нам обувью: я отдам ей уличные туфли в обмен на тапки.

Шевелюра ее напоминает темные густые волосы моей бабушки, которые она подарила мне на рождество для фарфоровой куклы. Я уронила куклу, и голова ее разлетелась вдребезги, но — без единой капли крови.

Почему ты не сказала, что тебе плохо, когда мерзнут ноги?

Она встает, обходит вокруг стола, садится рядом со мной на корточки, велит снять туфли и чуть ли не любовно помогает надеть теплые меховые тапки. Что это с ней?

Официально они на тебя, стало быть, не давили, говорю я. Не преследовали.

Нет, отвечает Паула.

Она быстро поднимается с колен, будто поймала себя на неблаговидном поступке.

Впрочем, уволить куда легче, ни забот, ни хлопот, вставляю я.

Верно.

И что тогда?

Откажусь увольняться, объясняет Паула. Я имею на это полное право.

Демократическое?

Последнее, на крайний случай.

4

Авторские чтения. Надо успеть провести их до каникул. Пока народ не разъехался.

Вообще-то Паула хотела начать осенью, заняться внедрением культуры, когда дни станут покороче.

Но коротышка советник настаивал, пришлось согласиться.

Лучше уж сразу взять быка за рога, не то останешься с пустыми руками. А тогда — прощай самостоятельность.

Значит, нужно внести свое предложение. Почему обязательно кто-то из местных? Лучше пригласить какого-нибудь крупного писателя. М. рядом, так что организационные вопросы можно утрясти очень быстро.

Практически рукой подать, улещивает она по телефону, объясняет ситуацию: библиотека новая, только-только открылась. С литературной точки зрения у нас тут самая настоящая целина.

Она призывает оказать содействие. Помочь делу.

И впервые слегка запинается, прежде чем выговорить название города.

Почти с беглостью германиста-немца Феликс процитировал Генриха Бёлля, которого проходят в университете. Насчет сопричастности истории народа, которым ты рожден.

Паула взъерошилась. Заговорила о случайности. Дескать, нечего тут кивать на родителей.

Все оборудовано, устроено, отлажено — Паула отнеслась к фонотеке и авторским чтениям не просто как к любимому детищу своего

кормильца, обер-бургомистра, она и сама увлеклась. Определенную роль сыграло здесь и честолюбие.

Поначалу еще неуверенно, опершись свободной ладонью о стол, стараясь скрыть робость, она спрашивает о гонораре.

По книгам она представляла себе его голос совсем иначе.

Он явно помедлил, услышав, что речь идет о Д., но, должно быть, то ли голос Паулы, то ли ее решительное согласие на гонорарные требования настроили его на дружелюбный лад.

Как и следовало ожидать, она мыслила себе авторские чтения вовсе не так, как советник.

Нет, возражала она, все будет как обычно. Без музыки. В крайнем случае цветы. На столе. В сочельник можно зажечь свечу. А летом отворить только одно из окон, чтоб проезжающие грузовики не очень мешали.

Паула впервые устраивает авторские чтения самостоятельно. В Киле она этим почти не занималась. Только изредка помогала шефу. Вечером сидела с ним рядом.

Как была неприметная, так и осталась. Что тут, что там. Выбиваться из бюджета она себе не позволит. Надо просто по-умному скалькулировать расходы. Лишь бы не сорвалось.

Рисковать не стоит. И горячиться тоже. Хотя Паула всегда была достаточно хладнокровна.

В это время года, как обычно, большой наплыв иностранных туристов. Феликс теперь привлекает внимание разве только в деревне. Паула чувствует, что на них обоих глядят неодобрительно.

Надолго ли останется ваш гость? Паула знает, хозяйке трудновато выразить свои мысли. Ей привычны лишь слова из повседневного обихода. Летом она подстригает газон для жильцов, ноги у нее в комариных укусах, на голове платок. С виду она старше мужа. Даже когда по воскресеньям надевает выходное платье.

У Паулы и в мыслях нет сознательно бросать вызов привычному окружению. Даже то неодобрение, которому она нечаянно дала повод, оставляет у нее в душе скверный осадок.

Выходит, сама себе устроила неприятность? Но так или иначе надо решать, и она принимает решение наперекор скверному осадку — это ведь просто чувство. В провинции все на виду, и хочешь не хочешь, а придется с этим считаться, не то уронишь себя в глазах соседей.

Спокойно и трезво перечитать квартирный договор, ведь не исключено, что по какому-то пункту она не права. В договоре, однако, нет ни слова про запрет сдавать угол.

Чужих встречают недоверием, и недоверие это тем сильнее, чем большее расстояние отделяет чужого человека от его родины,— вот в чем штука. Фройляйн Фельсман воспринимает туристов как обузу. А Феликс твердит, что со временем к нему тут привыкнут.

Паула могла бы научить его играть в «дурака», чтоб в трактире за картами он подружился с крестьянами. Но она в этом ничего не смыслит.

До самого вечера она изнывает от страха, что публики не будет. Вновь бежевые пластиковые стулья, на сей раз их ровными рядами расставляет Анетта Урбан под надзором фройляйн Фельсман.

Молодая сотрудница — человек деловой и здравомыслящий. Инициативы у нее хоть отбавляй. Она убеждена, что компьютеры необходимы и в небольших библиотеках. Настало время разделить каждодневный труд с компьютером. Работать с Анеттой легко.

Изредка заходит разговор о том поколении библиотекарей, кото-

рые во имя дотошного порядка в каталоге взваливали на себя неимоверный труд.

А ведь эти задачи вполне поддаются программированию, заметила Урбан.

Паулу не оставляло ощущение, что деловитость этой девушки не что иное, как пренебрежение к человеческому труду.

В конце концов Паула поручила ей отдел детской и юношеской литературы: пусть накапливает практический опыт.

Поставить шпюриевскую «Хайди» [1] рядом с Розой Люксембург?

Будьте осмотрительны, посоветовала Паула, но не сказала: будьте осторожны. Читательские привычки надо менять исподволь, а не наскоком. Максимализм тут неуместен.

Нет, Урбан не максималистка. Она целеустремленна. Утопий, с которыми носится Феликс, эта девушка себе не позволяет.

Фройляйн Фельсман отнеслась к новенькой настороженно. Ошибок за девушкой как будто пока не замечается, но нужен глаз да глаз.

Придется фройляйн Фельсман по-иному взглянуть на нашу общую профессию, сказала Анетта Урбан, проработав в Д. всего дня два-три. Чем больше библиотекарь заботится о читателе, тем труднее ему самому. Она хоть когда-нибудь интересовалась новинками, читала крупные ежедневные газеты, следила за критикой? Я имею в виду не обязательно Райх-Раницкого [2].

Да ведь он единственный, отвечает Паула, наблюдая за Фельсманшей; та вновь проводит ладонью по спинкам стульев, проверяет, ровно ли они стоят. Одного промаха Урбан ей будет вполне достаточно.

Читала она его или нет?

Ну как же, читала — с благоговением и восторгом впитывала каждое слово: кого он погладит по головке, обласкает, кого накажет. Вот это техника, говорит Паула, с ума сойти!

Обер-бургомистр и советник по культуре, конечно же, не преминули явиться вместе, притом раньше гостя. Анетта Урбан держится с ними на равных.

Значит, вы и есть молодая сотрудница, которую мы приняли на работу, слышит Паула голос обер-бургомистра, он обращается к Урбан.

Нужные сведения об авторе Паула распорядилась передать советнику еще несколько дней назад. Короткое вступление, которое познакомит публику с гостем. Фельсманша стоит в коридоре; здравствуйте, здравствуйте, повторяет она, кивает, смотрит, как люди вешают на крючки в гардеробе свои зонты. Под вечер погода испортилась.

Автора сажают за украшенный цветами стол; окно распахнуто, на улице шумит дождь.

Наперекор всем традициям публике его представляет не Паула, а обер-бургомистр, который изо всех сил старается пробудить в согражданах благожелательный интерес. Именно его огромные фотопортреты глядели с афиш, призывая обитателей Д. посетить писательские чтения. Но когда на организационном совещании Паула предложила в конце устроить дискуссию, он сказал, что не стоит портить вечер пустыми разговорами.

Или, по-вашему, в этом есть необходимость?

И вот поднимается девушка лет шестнадцати, самоуверенная, как Урбан; она интересуется подоплекой событий, подробностями отечественной истории, которых не нашла в романе, а в ответ слышит о

---

[1] Имеются в виду сентиментальные романы о девочке Хайди, принадлежащие перу швейцарской писательницы И. Шпюри (1829—1901).

[2] Известный западногерманский литературный критик, сотрудничает в газете «Франкфуртер альгемайне цайтунг».

литературной обработке исторических материалов и о том, что главное внимание уделяется судьбе отдельного человека, а не невзгодам людских сообществ... Не так давно, когда они ели цыпленка, Феликс объявил, что страх смерти на Западе сильнее надежды на жизнь.

На какую жизнь? — спросила тогда Паула...

Под конец обер-бургомистр говорит, что вот, мол, и в Д. есть вдумчивая молодежь, которая не боится открыто поднимать сложные вопросы.

Когда Феликс неожиданно появляется среди стеллажей, Фельсманша отрывается от книги, смотрит на него и заключает: чужой.

Она сидела за украшенным цветами столом, раскладывала по алфавиту книги писателя, которые скоро вновь вернутся на полки.

В руках у Феликса аккуратный белый сверток с синей надписью — рубашки, он взял их сегодня из прачечной.

Я за тобой заеду, предупредила его Паула, жди меня лучше на вокзале.

Стулья убраны; фройляйн Урбан давно ушла домой.

Чересчур много Бёлля и Вальрафа, сказал на прощание советник, уже были нарекания. Видимо, вам бы следовало поменьше ориентироваться на свой кильский опыт... Яркий конус света от настольной лампы выхватывает из темноты лицо Паулы; Феликс подходит ближе.

Я успел на более ранний поезд, объясняет он.

У дверей гардероба их поджидает Фельсманша.

Пожалуй, я задержусь, если вы не против, говорит она, расставлю книги. Чтобы в понедельник все было на своих местах.

Да-да, конечно. Паула протягивает ей ключ. Руки у Фельсманши белые-белые.

Город будто вымер.

Только светятся витрины магазинов, мимо которых с наступлением темноты никто почти и не ходит.

В первый раз, когда Паула через безлюдный город везла Феликса к себе домой, он даже рассердился. Добро бы зима — тогда понятно: люди попрятались от холода.

Теперь же пустынные улицы напоминают ему о комендантском часе, город словно бы на военном положении. С каким, наверное, ужасающим грохотом катились некогда во мраке по брусчатой мостовой чумные телеги.

Ботинки у Феликса с подковками.

Давай немножко пройдемся, предлагает он, спустимся вниз по холму. Феликс берет Паулу под руку, вернее сказать, за плечо, ведь рядом с нею он такой огромный — прямо медведь на задних лапах.

Он уверен, что этот город можно полюбить.

Старый город еще куда ни шло, говорит Паула, это почти музей.

Не как у нас.

Среди желто-бурого ландшафта — каменная громада мавританской крепости.

Оборонительные стены срыли, говорит Паула. От Бастилии тоже ведь следа не осталось.

Бастилию снесли французы, говорит Феликс, и Паула слышит в его голосе легкую иронию. Вы-то, по-моему, совершенно не способны до такой степени потерять голову, чтобы снести какую-нибудь бастилию? У вас даже революции не было.

Предметы живут долго. Тебе нравится островерхая безмятежность старинных домов? — спрашивает Паула.

На рыночной площади ни души. Только плещется вода в фонтане.

В витрине магазина — дорогая стереоустановка.

Почему ваша фройляйн Фельсман так не любит туристов? — неожиданно спрашивает Феликс.

Пауле хочется назад в машину.

Стук подковок в ночной тишине раздражает ее.

5

У Паулы все в порядке. Правда. В порядке ли?

Ее будущее точно определено. Доподлинно известно, чего она хочет. Поразить влет птицу, которая и не птица вовсе.

Нет, пока она не чувствует себя пленницей. В замкнутом пространстве. Дышится ей легко. Разве что изредка теснит грудь, но, вполне возможно, тут виноваты микробы.

Дремать, как дремлют устрицы... Феликс, стоя перед зеркалом в ванной, вооружился маникюрными ножницами и цитирует «Смерть Тициана» [1].

Покорно ждать, что будет, говорит он и, перед тем как подровнять усы, проводит по ним гребешком. И примириться с тем, что наступит. В здешнем окружении ты временами видишься мне именно такой.

Один ты, конечно, не устрица?! — огрызается Паула.

Ровненько подстричь усы маникюрными ножницами — задача не из легких.

У нас дома, замечает Феликс, мама покупает перекись водорода. А эта твоя краска только все испортила.

По-моему, цвет тебе к лицу, утешает Паула.

Немного погодя она завтракает на кухне, одна. Съедает бутерброд, выпивает две чашки кофе, прочитывает изрядный кусок газеты — наконец из ванной выходит Феликс.

Замечательно, одобряет она. Может, все-таки возьмешь мою машину? На велосипеде и прическа и усы опять растреплются.

А почему бы им не съездить к мемориалу вместе?

Нет-нет поезжай один, говорит она, у меня нет времени.

Суббота, небо за окном синее-синее.

В ракушку прячешься? — спрашивает Феликс.

Паула привезла домой из библиотеки газеты и журналы и теперь стоит на своем: как она решила, так и будет.

Отговорка, машет рукой Феликс.

Она поставит на лужайке за домом шезлонг, вынесет газеты, какое-нибудь питье, вооружится карандашом. Словом, воспользуется своим правом на сад.

Отговорки, повторяет Феликс.

Боится?

Ты ведешь себя точь-в-точь как сотни и тысячи других туристов.

В конце концов он едет один и машину не берет. На велосипеде по холмам, которые с шоссе кажутся такими пологими.

Зря упираешься, сказала ему Паула, по-прежнему ощущая свое превосходство. Ведь вернешься совсем разбитый.

Не так уж это и далеко, возразил Феликс.

Все равно намаешься.

А указатель там есть?

Феликс минует окружное управление. Указатель, говорила Паула, не белый, как те, что ведут к замку или к вокзалу. Он желтый, территория бывшего концлагеря обозначена желтой табличкой, словно все это не имеет к городу ни малейшего касательства. Вне стен.

Среди кустов черной смородины, чьи толстые ветки тяжело свисают до самой земли, Паула просмотрела рецензии на первые осенние новинки, уже вышедшие летом. Она не обедала, решила дождаться Феликса.

---

[1] Одноактная пьеса Г. фон Гофмансталя (1874—1929).

Вот и он, брюки и рубашка мокрые от пота. Над головой рев авиационных моторов. Истребители прочерчивают узорами инверсионных следов небо, розовое в лучах заката.

Так они беснуются лишь в погожие дни. До двадцати двух ноль-ноль слушатели близлежащей военной академии преодолевают звуковой барьер: на земле шлифуют их умственные способности, но ведь и летную квалификацию надо сохранить.

Сюда! — окликает Паула; Феликс втаскивает велосипед во двор. Ей хорошо видно, как он ступает на дорожку, ведущую от дома к лужайке.

Ужинают они на кухне. Окно закрыто. Полицейскую машину, которая под рев истребителей неслышно въезжает на соседний участок, Феликс замечает первым. Ведь темнота сгущается медленно.

Пауле странно, что он пугается. Это на него не похоже.

Что случилось? — спрашивает она, идет к окну и долго смотрит наружу, хотя то, что она там видит, отнюдь не ласкает взор.

Непривычное зрелище. Даже гротескное. Она с радостью цепляется за первое, что приходит в голову. Всего-навсего съемка безобидного эпизода на фоне густеющих сумерек. Теперь часто снимают по деревням. Сцены из истории крестьянства. Для вящей достоверности — именно там, где все когда-то происходило.

Паула — сторонний наблюдатель — чувствует себя здесь, под прикрытием стен, в полной безопасности, смотрит: вот они растекаются по участку, с пулеметами, со слезоточивым газом. С овчарками на поводке.

Как обухом по голове — мысль, что происходит что-то не то. Внезапное ощущение опасности, угрозы. Точно прикованная, не в силах оторвать глаз от окна, Паула растерянно следит, как полиция окружает хибару, предназначенную на слом.

Это ученья, твердит она себе, эта Паула, которая в детстве пела, спускаясь в погреб. Конечно же, ученья — отработка облавы на террориста.

Тихо в деревне — никто не шумит, народ не сбегается. Только дети поодаль, наблюдают: полицейские — воры...

Но ведь там живут, говорит Паула. Югослав пока не уехал.

Главное — не паниковать. Это же только статисты у кулисы реальности, вдруг попавшие в поле зрения.

Может, югослав за деньги согласился им подыграть, гадает Паула.

Как в кино, приказ: выходи! руки вверх! Паула слышит эту команду сквозь закрытое окно.

Кому-то придется изображать врага.

Потом — слезоточивый газ. Отступили и швырнули в окно гранату.

Ученья? — переспрашивает Феликс, на этот раз держась подальше от Паулы. Ты уверена, что это ученья?

К чему ты клонишь?

Внизу какой-то человек выходит из хибары. Прикрывает глаза локтями. Это он от газа.

Ты уверена, что они сюда не придут? — спрашивает Феликс.

Паула смотрит, как того парня уводят. Потом оборачивается.

Конечно, не придут, говорит она, мы-то с тобой им на что?

Феликс зябко ежится.

Ежится? В разгар лета?

Холодно здесь, говорит он, вот уж не думал, что у вас такой холодище.

У нас не замерзают, отвечает Паула.

Она тащит его в ванную, ставит под горячий душ, намыливает, смывает пену. Докрасна растирает его тело, которое кажется ей таким красивым, а сама вымокла до нитки — брызги от душа летят во все стороны. Груди под блузкой напряглись.

Лава рухнула в море — и застыла.

Представь, что мы не здесь, а там, говорит Паула. Закрой глаза и живи воображением.

Или давай заведем ребенка.

Нет, говорит Феликс, никаких детей.

Никогда Паула не сковывала себя привязанностями, она ревниво оберегает свою независимость и готова скорее оттолкнуть мужчину, нежели принять его как должное, ей ничего не стоило сказать: «Ну чего ты ждешь, святая простота?» — затем только, чтобы он утратил ощущение своей исключительности; она сделала из любви всего-навсего чувственное наслаждение — и вот эта Паула ловит себя на том, что простая симпатия переходит в нечто куда более сильное, что ей нравится властвовать над этим парнем, которому она могла бы быть старшей сестрой; он устало замирает у нее на груди, а она, та́я от нежности, сжимает коленями его бедра, словно тесным объятием.

Наверное, так и было.

Вначале изумленно, потом испуганно глядит она на себя — разбирается в нежданном чувстве. Выкапывает его, очищает, как древнюю реликвию, найденную при раскопках.

Паула — всегда разная: в библиотеке, в постели, ночью, среди дня,— Паула забыла обо всем, уронила себя.

Это настигло ее в одно из тех редких мгновений, когда их с Феликсом уже ничто не разделяет, когда наслаждение, точно откуда-то извне, огненным вихрем вторгается в мозг, вплавляется в обе половинки ее существа, в ее цельный мир. Внутреннее и внешнее совмещаются и перемешиваются — она убегает из-под собственного контроля, безвозвратно.

Возможно, что она, птица в полете — на сей раз и вправду птица,— идет на риск, которого с шестнадцати лет избегала.

Променяв порядок на хаос, она едва ли будет теперь регулярно видеть во сне каталожные ящички. Феликс, сонный и умиротворенный, поворачивается на бок, с брезгливым смешком, как и еженощно, забирается под перину, которую Паула, кстати сказать, могла бы на лето заменить шерстяным одеялом, подоткнув его в ногах и с боков под матрац.

Испанец, объясняет Паула Фельсманше, когда обе они вешают в гардеробе мокрые плащи. Вы уж извините, но в пятницу я никак не могла задержаться, добавляет она.

Фройляйн Фельсман никакого отчета не требует, кивает и аккуратно одергивает задравшийся джемпер. Ее не проведешь.

Думаете, она отперла нынче утром к приходу Паулы стеклянную дверь? Как бы не так. Ждала у входа и отдала ключ Пауле, потому что именно та несет материальную ответственность.

Ей бы не стоило мокнуть под дождем.

Извините, повторяет Паула.

Вам совершенно не в чем извиняться, отвечает Фельсманша, и Паула смотрит, как она чуть ли не любовно опускает зонтик острием вниз в круглое отверстие подставки. По утрам библиотека пахнет чистотой, сухим воздухом и немножко книгами. Проходы между

стеллажами заполнятся читателями лишь к обеду, когда в школах кончатся уроки. Литературы они теперь выдают гораздо больше.

Пауле хорошо среди книг. Прямо как дома.

Может быть, вы все-таки утвердите мой выбор? — еще задолго до обеда спрашивает Анетта Урбан; ей хочется показать Пауле книги, которые она отобрала для выставки новинок детской и юношеской литературы.

Может, все-таки лучше «Хайди» в картинках и куперовского «Охотника» в новом издании?

Паула изумленно поднимает на нее глаза. Девушка охрипла. Неужто действует климат? Так скоро? Чтобы смягчить боль, Урбан обмотала шею шелковым шарфом и завязала его узлом; лицо правильное, почти лишенное выражения; немного косметики. Только морщинки в уголках глаз. А в остальном — будто сошла с журнальной фотографии. Блондинка. Постройнее Паулы, выше ростом и носит обычно широкие платья. Испытательный срок установлен до осени.

Ответственности боитесь? — спрашивает Паула.

Книжка по вопросам полового воспитания шокирует одну только Фельсманшу.

Нет, ответила Анетта Урбан, просто я готова идти на компромисс, во избежание неприятностей.

Жара миновала, зарядили дожди, но Фельсманшу по-прежнему донимает давление. Паула смотрит, как она сортирует возвращенные книги. Кажется, будто ей очень трудно управлять движениями собственных рук. Будто что-то в ней разладилось. Свои недомогания — ломоту в суставах, шейный прострел, воспаление миндалин — Урбан объясняет вирусной инфекцией.

Температуры нет. Зато какой-то холод внутри.

Паула наливает фройляйн Фельсман чаю, пододвигает сахар и лимон. Та кладет одну-единственную ложечку сахару — чтобы не полнеть; вообще-то лучше бы сахарин, но говорят, теперь и от этого тоже рак бывает.

Паула старается не смотреть, как пожилая фройляйн тщательно размешивает чай.

Вы когда-нибудь выезжали за границу? — спрашивает Паула. Например, в отпуск.

Фельсманша бросает на нее взгляд, полный недоверия, как на чужую.

Нет, не выезжала.

Значит, и с автомобильным номером хлопот не было.

Так сказать, вросла корнями.

К лагерю, говорит фройляйн Фельсман, мы отношения не имели, никогда. И потом, он ведь находился за пределами города, горячится она. А сам Д. всегда был обителью искусства.

Она ставит чашку на стол и поднимается, резко отпихнув стул коленом.

От второй чашки она отказывается. У нее все по плану, пора работать.

Расстройством движений Фельсманша напоминает Пауле птицу с подрезанными крыльями, которая тщетно пытается взлететь на карниз, изо дня в день, как только хозяева выпускают ее из клетки, предварительно заперев окна и двери.

Вполне возможно, фройляйн Фельсман находит усладу в незыблемом. Наслаждается пленом? Суетится в замкнутом пространстве. Отсутствие свободы стимулирует уход в себя. Вполне возможно, что из этого удается извлечь усладу. Только неясно для чего — для глаз или для нёба. Пауле становится страшно.

Нет, об этом он не говорит. Ни слова о контроле или о бдительном присмотре, под которым надо бы держать Паулу, покуда она не представит доказательств в том, что не является инакомыслящей оппозиционеркой.

Он забежал на минутку. На сей раз *он* — это обер-бургомистр. Пошел по стопам своего советника по культуре.

Наши новинки, сказала Паула, встретив его у стенда в отделе детской и юношеской литературы. Он листал книгу с картинками.

При виде его Пауле почему-то каждый раз приходят на ум огромные зерноуборочные машины, на которых крестьяне выезжают в поле. Дома они долго-долго выплачивали рассрочку за трактор.

Прекрасно, роняет он и едва ли не равнодушно ставит книгу на место. Потом продолжает: кто с детства не сохранил в себе ощущения цельности и здоровья окружающего мира, тот не устоит перед реальностью.

Умолкнув, он выпячивает нижнюю губу и прикрывает ею тонкую верхнюю, в углах рта — энергичная складка. Деловой мужчина.

Нет, «Хайди» рядом с Розой Л. ставить не надо, сказала Паула, хотя Урбан еще колебалась...

До Розы он не дотрагивается, скрещивает руки на груди (он скрещивает их на груди до странности часто), отходит от стенда, чтобы полностью охватить его взглядом. Надеюсь, вам понятно, что я имею в виду, говоря о цельном и здоровом мире детства? Нельзя изображать мир этаким уродливым чудищем. Нельзя пугать ребенка.

Да кому же вздумается пугать детей!

Не надо вносить в ребячьи головы сумятицу. Дети ведь вырастут, станут взрослыми людьми.

Книги, говорит Паула, и детям служат для развития творческой фантазии и способности суждения.

С этим обер-бургомистр соглашается, но Паула понимает, что он-то имеет в виду книжки с картинками; снимая их со стенда, он непритворно восхищается оформлением и яркостью красок.

Недавнюю встречу с писателем он называет отрадным явлением. Только вот дискуссия едва не вышла из-под контроля. сетует обер-бургомистр (Урбан со свойственной ей безапелляционностью приписывает ему непомерное тщеславие и жажду прослыть авторитетом буквально во всем) и заключает: впредь мы от дискуссий воздержимся.

Так и не прикоснувшись к Розе, он уже на пути к выходу замечает, что при отборе книг для юных читателей Пауле опять-таки надо избегать диспропорций, в наше время это самое благоразумное.

Я хочу знать о тебе все, говорит Феликс в темноте.

Не все.

Не все, то есть почти ничего.

Утопив голову в подушку, Паула смотрит на красный огонек сигнала для самолетов. Только изредка доносится шум проезжающего автомобиля.

По словам Феликса, в деревне царит кладбищенский покой. Как будто люди заползли в дома умирать. От ног к сердцу поднимается оцепенение — медленно, но верно.

Должно быть, та деревня, которую его отец во время гражданской войны [1] сровнял с землей, была точь-в-точь такой же.

У нас, объясняет он Пауле, жизнь каждого человека до сих пор тесно связана с семьей. Мы верим, что вина отца падает на сына.

А ты, ты сам веришь?

С того дня, как умер Франко, отец трусливо держит на запоре

[1] Имеется в виду гражданская война в Испании (1936—1939).

все окна и двери. И я тоже боюсь, хоть и ненавижу отца. Только это не в счет.

В Германии холоднее, чем он думал. Незыблемый порядок в людских головах до крайности чужд ему. Он тянется к Пауле, нащупывает в темноте ее теплое плечо — она не отзывается. Оба долго молчат, наконец она спрашивает: чего ты боишься?

ВОСЬМАЯ УТРЕННЯЯ БЕСЕДА С ПАУЛОЙ

Ты, говорю я, в сущности, эмансипированнее меня.

Нет, качает головой Паула.

Ты не связана, твержу я, то есть в конечном счете не пленница своего чувства к мужчине.

Я ей не мешаю: пусть располагается как дома. Она быстро освоилась, уяснила мою систему, знает, где найти кофе, масло, хлеб, сигареты. Когда кофе варит Паула, фильтр не рвется.

На ней мои туфли и вязаный жакет. Издали и со спины я бы даже спутала ее с собою. Только волосы другие.

Нет, я не Паула.

Поверь, говорит она, ты ошибаешься. Я никогда не стремилась к эмансипации. Осталась одна по чистой случайности — просто в нужную минуту рядом никого не было. Ну а после привыкла к независимости — стало быть, обзавелась привычками, которые для других весьма обременительны. Отдала свою жизнь на волю случая. По сути, я всегда жила как бы с краю. Даже в конце шестидесятых годов, когда казалось, что необузданный мятеж нашего поколения все-таки хоть что-то изменит, что-то сметет с лица земли, как полярную шапку, даже тогда я держалась с краешку, а ты между тем уже подвергала себя опасности.

Написав книгу, говорю я, легче подвергнуть себя опасности, чем стоя на выдаче в библиотеке. Это заложено в самой природе вещей, хотя вовсе не доказывает, что я была не с краю.

Задатки у нас были разные, говорит Паула. Я изначально примирилась с тем, что не устою перед требованием приспособиться.

Она наливает мне кофе, и я вдруг понимаю, что завидую ее рукам, ее черным волосам, маленькой груди, узким бедрам. Желание быть Паулой — какая нелепость! Вот если бы она опять надела на меня тапки. Взяла бы мою руку. Или обняла за плечи.

Почему она не может просто обнять меня за плечи?

Феликсу было с тобой нелегко, говорю я, ты держалась независимо и вовсе не жаждала непременно иметь рядом с собой мужчину.

Ты, говорит Паула и берет сигарету из пачки, которую я положила на стол, ты можешь, конечно, исходить из того, что Феликсова манера выставлять напоказ свои чувства действовала мне на нервы, можешь говорить о разном темпераменте и разном воспитании, можешь утверждать, что моя беда — в неспособности любить, в том, что я свожу любовь к одному только чувственному наслаждению.

Я щелкаю зажигалкой, подношу ей огонь. Феликс, говорю я, должно быть, вконец растерялся.

Я тут ни при чем.

Ошибаешься! Я начинаю горячиться, ведь все это очень мне знакомо, испытано на собственном горьком опыте, в семье, и в принципе понятно — душевные муки мужчины, когда его притязания на власть ставятся в конце концов под сомнение.

Именно Феликс, говорю я, выходец из культурной среды, где главенство мужчины от веку не подвергалось сомнению и, что называется, вошло людям в плоть и кровь — кстати, мы никогда не были настолько ортодоксальны,— Феликс, наверное, был совершенно выбит из колеи, обнаружив, что против отцов восстают у нас не сыновья, а дочери.

Думаешь, он до этого докопался? — спрашивает Паула.

Я смотрю, как она несет ко рту чашку. Губы ее приоткрываются, еще не коснувшись края. Мизинец по привычке отставлен.

Гораздо больше, говорит она, его смутило то, что он не нашел здесь той Германии, которую знал из литературы. Она существует только в книгах.

6

Погода резко меняется. За стеклами гостиных голубовато мерцают телеэкраны,

Если нет дождя, люди сидят вечерами на крылечках, кивают Пауле, которая время от времени прогуливается по деревне.

Феликс хоть и чувствует настороженность, которой его встречают до сих пор, но упрямо твердит, что теперь ему стало здесь намного уютнее.

Сердцевина не подпорчена. Только пятна на кожице выдают, что это — падалица.

Кто бы мог подумать, говорит коротышка советник, что вы с такой легкостью освоитесь в нашем городе. Ведь поначалу были опасения: дескать, вдруг вы из породы этаких завзятых спорщиков.

Но он за нее поручился. Старательная, эрудированная, вдумчивая — вот как он оценивает Паулу. Можно только поздравить себя с такой сотрудницей.

Нет, Паула никогда не была настолько наивна, чтобы принимать красивые слова за чистую монету.

Лицо и вся фигура фройляйн Фельсман прямо лучились немым удовлетворением, когда она сообщила, что советник по культуре желает побеседовать с Паулой.

В кабинете советника она застала и обер-бургомистра. Этот шьет свои костюмы на заказ, и сидят они лучше, чем у его советника. Только плечи у обоих одинаково подчеркнуты. С Паулой он держится строго официально.

Левые тенденции? — удивленно переспрашивает она.

Есть нарекания.

Роза Люксембург была коммунисткой, верно? — говорит обер-бургомистр.

Паула быстро догадалась о его беспомощности: он брал в руки только книжки с картинками, а ко всем прочим даже не прикасался, лишь украдкой пробежал глазами заголовки на корешках.

В мое время, говорит он сейчас, было значительно больше приключенческих романов. Но молодежь, как видно, стала разборчивее.

Нет, это не вмешательство. Не регламентация. И тем более не допрос.

Паула хоть и не готова к таким нападкам, но может ответить цифрами. Чем-чем, а цифрами она всегда оперировала с легкостью.

Среди примерно четырех тысяч томов, составляющих отдел детской и юношеской литературы, говорит она, найдется максимум десяток книг так называемого левого толка. Что же касается произведений явно коммунистической направленности, то в предметном каталоге они так прямо и обозначены: тенденциозная литература. Что же тут неправильно?

У вас могут возникнуть неприятности с родителями.

В принципе все мы, конечно, на вашей стороне, уверяет обер-бургомистр. Только говорит он чуть громче обычного и, сам того не замечая, нервно тискает в кулаке собственный большой палец. Вспышек варварства нет и в помине.

А нравится ли Пауле здешняя жизнь?

Конечно, отвечает она, я люблю жить в деревне. Переехала сюда по своей воле. Спряталась в скорлупке, где все спокойно, все идет своим чередом, говорит она Феликсу. Пока на дворе день, кажется, будто жизнь тут еще не обкорнали, не выхолостили.

А ночью... Что же, он сам говорил насчет кладбищенского покоя.

Так вот я и росла, говорит Паула, франконские деревни только чуточку тусклее, бесцветнее баварских.

О своей семье она почти не рассказывала, и Феликса это удивляло.

Нельзя же весь век быть пришпиленной к материнской юбке, заметила она однажды. Зато о младшем брате рассказывает охотно. По ее словам, он рано выплыл на вольный простор и удалился от берега намного дальше, чем рискнула она сама. Еще мальчишкой взбунтовался. Паула уверена: будь у отца хоть малюсенькая надежда, что сын когда-нибудь образумится, он бы нипочем не продал усадьбу.

Когда звонит мать и сообщает, что брат вернулся, Паула больше не отнекивается. На этот раз время у нее есть.

Сестра стоит на пороге, за спиной у нее, в передней, включен свет; лицо тонет в тени.

Это Феликс, говорит Паула и делает шажок в сторону, чтобы сестра могла увидеть его. Феликс протягивает руку, здоровается. Они входят в дом. Сумки им велено оставить в передней, у вешалки. Все семейство сидит в гостиной перед телевизором. Старый стоял на кухне, а этот — цветной. Прежде чем поздороваться с Феликсом, мать на миг прижимает руки к коленям. На экране — реклама какого-то стирального средства.

Приятно познакомиться, слышит Паула голос матери и обводит взглядом комнату: зять с дочкой на софе, а дальше — брат, встрече с которым она так радовалась.

Он не встает, только поворачивается в кресле, весело улыбается. Чем-то он отдаленно напоминает Феликса.

Садитесь же, говорит мать Паулы. В серо-голубом платье вид у нее отечный и нездоровый.

Сестра усаживает Феликса рядом с собой на софу. Девочка придвигается ближе к отцу.

Привет, Матиас! Паула быстрым движением ерошит брату волосы.

Позднее, за ужином — в честь Матиаса мать выставила обильное угощение,— Феликс сидит далеко от Паулы, между сестрой и ее дочкой.

Черный стал, как негр, говорит Паула брату, но выглядишь здорово.

Матиас поместился во главе стола, на отцовском стуле. В свое время он куда решительнее матери противился намерению Паулы стать не учительницей, а библиотекарем. Сам он читал только спортивный раздел в газете да грошовые романы с продолжением, сидел с ними в уборной, пока Паула не начинала стучать в дверь.

Вышвырнули нас, говорит он, и стройку прикрыли. Так-то вот: вчера на Персидском заливе, а нынче — у мамы в квартире.

Уйдя из дому, Паула особенно остро тосковала по брату.

Вполне возможно, она гуляла с деревенскими мальчишками и разрешала им себя тискать. Примятые колосья среди хлебного поля — может статься, там попросту отдыхала красная дичь. Мальчишки кулаком вбивали в столбы ограды на выгоне жестяные крышки от пивных бутылок, тайком курили, а по воскресеньям прятали свои

обгрызенные ногти под кружевами стихарей — прислуживали в церкви. От исповедника они выходили по пятницам с пылающими ушами.

В огороде завелись полевки, слышится голос матери. Ставить капканы брат на Персидском заливе не разучился. Завтра же и посмотрит, что там такое.

Вы работали инженером? — спрашивает Феликс.

Нет, говорит Паула, он квалифицированный рабочий.

Каменщик, уточняет брат.

И добился всего своим трудом, гордо вставляет Паула.

Раз фирма нарушила контракт, пускай теперь раскошеливается и платит неустойку нашему Матиасу, говорит мать, а деньги-то, между прочим, немалые.

В кухне пахнет тушеным мясом, красной капустой, пивом и пирогом, который еще сидит в духовке. Зять Паулы, до сих пор не проронивший ни слова, откупоривает бутылку пива.

Твоя сестра, говорит он наконец, прочла ту книгу, которую ты подарила нам на рождество.

Паула не спрашивает у сестры, понравился ли ей роман, и смотрит на Феликса: он опять одиноко уткнулся в тарелку и глаз не поднимает, а сидящая рядом девочка отчаянно старается не обращать на него внимания.

Никакой это не служебный юбилей, не девяностая годовщина, не вручение Баварского ордена за заслуги или медали за спасение на водах — просто вдóвой пасторше исполнилось шестьдесят лет.

На последнем заседании муниципалитета обсуждался один-единственный вопрос — учреждение премии в области культуры.

Паула обнаружила советника в фонотеке, которая официально еще не открыта. И фройляйн Фельсман, и Урбан суетятся вокруг, ищут нужную пленку с языковым курсом.

Испанский? — удивилась Паула.

Это не для меня, пояснил он, а для матери — иначе ведь ей не договориться с продавцами. Мы впервые рискнули снять квартиру. И питаться будем дома.

Нет, Паула наотрез отказалась давать советы насчет отпуска и сердито отослала Урбан в абонементный зал: люди стоят в очереди, ждут, я не понимаю, почему вам обеим надо быть здесь; потом она полюбопытствовала, как обстоят дела с проектом передвижки для домов престарелых.

На этот раз они сидят не друг против друга. И Паула внезапно замечает, что из-за своего маленького роста — он ниже ее — советник все время упорно глядит ей на нос, чтобы не возникло впечатления, будто он смотрит на нее снизу вверх.

Обер-бургомистр, разумеется, сам вручил юбилярше корзину цветов.

Очень жаль, говорит он, но ваш визит туда произвел не настолько благоприятное впечатление, чтобы вас приняли безоговорочно.

Один вопросительный взгляд на Фельсманшу — и та с готовностью подает ему нужный лингафонный курс.

Уже в дверях он роняет, причем не без намека: Вальраф-то по-прежнему в отделе беллетристики.

Читательский формуляр ему заполнять не надо.

Сыро, потому что здесь никогда как следует не топили, холодно — на улице дождь. Феликс — среди ореховой мебели, в окружении которой прошло детство Паулы. Вещи разномастные — достались по наследству от родных.

Детскую она делила с сестрой. Теперь на сестриной кровати бу-

дет спать Феликс. В детстве, говорит Паула, я в эту пору помогала на току. Мякинная пыль проникала всюду, лезла в рот, в нос, в глаза, в уши. Потом участок сдали в аренду и в конце концов продали.

Феликс изучает себя в зеркальце, которое Паула когда-то давно повесила над изголовьем своей кровати.

Не думаю, чтобы мои родители приняли тебя сердечнее. Может, разве что церемоннее.

Она никогда не водила в дом парней. Не звала к себе подруг. На прощальном балу в танцклассе встретилась с партнером у входа в зал. А теперь вот привела Феликса в эту мансарду, в эти четыре стены, где умерла бабушка. В погожие летние дни старушку выносили на крыльцо, она грелась на солнышке и мурлыкала свои собственные, никем не записанные песни.

Прямо как оттепель среди зимы, а ведь на самом деле должно быть лето!

Нет, привезти Феликса без всякого предупреждения — это не в ее характере.

На бабушкиной кровати спала сестра, на дедовой — Паула. Дед умер еще раньше. Что ж, смерть — дело житейское. Вот и мебель никто не меняет. Просто дети перебираются из родительской спальни наверх, под крышу. Мертвые здесь не расстаются с живыми... Все как раньше — те же пестрые обои, те же старые пестрые занавески.

Неожиданно Паула — впервые не взвешивая каждое слово — рассказывает Феликсу обо всем, что ей сейчас вспоминается. Снимает с полки свое детство.

Феликс слушает, не двигаясь с места. Паула даже в лице переменилась. И сердце спешит, быстро гонит кровь к голове, вроде как у Фельсманши.

Сядь, велит ему Паула. Дощатые половицы пружинят под ее ногами. Матиас тоже выглядел здесь грузным и широким.

В этой комнате всегда было тесно, говорит Паула, тут я бродила ночами по голой равнине, зная, что конца моему странствию не будет, хотя мечтала только об одном — прийти к цели.

Мать суетится возле дочери, заваривает кофе. Окно полуоткрыто, трава в лугах густо-зеленая от влаги. На завтрак будет пирог, тот самый, что вчера сидел в духовке.

Феликс спит, сказала Паула, войдя в кухню.

Она села к столу. Мать молча налила ей кофе, отрезала пирога. Потом сложила руки на столешнице и смотрит, как дочь завтракает.

Думаешь, он тебе подходит? — наконец спрашивает она.

Брат стоит у раковины, сунув голову под кран, хотя спокойно мог бы умыться в ванной. Его спина, плечи, руки — все это так знакомо.

Вот Матиас натягивает белую майку и тоже садится к столу, от него кисловато пахнет мокрыми волосами и пивным солодом, что выходит наружу вместе с потом.

Нет, говорит он, для семейной жизни наша Паула давно уже не годится. Тем более для жизни с парнем, у которого в голове сплошной туман. И если хочешь знать, он тоскует по дому, чертовски тоскует. Поверь, меня тут не обманешь.

Ты надолго сюда? — спрашивает Паула.

Сюда?

Домой, уточняет она, глядя, как брат окунает в кофе пирог.

Оставь мальчика в покое, внезапно говорит мать, вечно ты подзуживаешь его уйти.

Она сняла руки со стола и скрестила их на груди, обхватив локти ладонями.

Обычно, внушает себе Паула, библиотекарям не снятся крепостные сооружения.

Им бы скорее пристало видеть в кошмарах сокращение бюджета или порчу книг.

Ничего подобного Пауле в жизни не снилось.

Столь же нелепа и мысль о том, будто из-за книг, которыми она уставила муниципальные стеллажи, ее станут преследовать, устроят на нее облаву. Загонят в угол пулеметами и слезоточивым газом: дескать, серьезная опасность. Увидев направленное на себя оружие, она тотчас притихнет, как мышка. Вдруг какой-нибудь слабонервный вообразит сдуру, что надо защищаться, возьмет ее на мушку да ненароком спустит курок, как в кино.

В конце концов она оказалась права: облава действительно была учебная.

От жары в этом году даже воспоминания не осталось. Паула вешает в гардеробе мокрый плащ. Среди дня Фельсманша нет-нет да и заглянет туда: как бы чего не унесли.

На столе — вчерашняя работа. Сверху записка из муниципалитета. О передвижке ни гугу. Обер-бургомистр шлет ей привет и предлагает приурочить открытие фонотеки к началу больших школьных каникул — назначить День открытых дверей и ознакомить граждан с новшеством.

Паула звонит ему, но не застает: он где-то на важном совещании, трубку снимает секретарша. Да, она слышала о затее с передвижной библиотекой... Нет, подробности ей неизвестны. А вот Дню открытых дверей шеф придает весьма большое значение.

Надо бы это обсудить, говорит Паула.

Текст афиши, продолжает секретарша, уже готов, лежит на столе. Хотите, прочту?

К сожалению, в ближайшие дни он никак не сможет принять ее, очень занят. Вот если Паула оставит записку...

Обеденный перерыв Паула обыкновенно проводит среди книг. Феликс взял за правило готовить по вечерам. Поэтому днем только йогурт и фрукты.

Но сегодня она зверски проголодалась. Вышла на улицу и спустилась вниз по холму. С двенадцати до двух дороги запружены машинами — часы пик. Многие здешние мужчины ездят домой обедать.

Она вовсе не рассчитывала столкнуться в крохотном кафе с Анеттой Урбан. Ее вообще никогда не заботило, чем эта молодая особа занята с двенадцати до часу. Фройляйн Фельсман — та живет в двух шагах от библиотеки, в переулке за приходской церковью.

Паула хотела было расположиться у окна, как вдруг встретилась глазами с Урбан. Она сидела по соседству, за таким же длинным дощатым столом.

Мужчины в зале на миг подняли головы и с любопытством уставились на обеих женщин. Прямо ожившая иллюстрация к рассказам Людвига Тома[1], мелькнуло в мозгу у Паулы.

Уютно здесь, говорит Анетта, когда Паула подсаживается к ней. В иные дни я даже склоняюсь к мысли, что в этих старинных домах впрямь можно жить.

Она устроилась у самого окна, сложенного из разноцветных стеклянных квадратов. На подоконнике — горшки с цветами. Свинцовой замазкой, наверное, давно уже не пользуются... Рядом со стойкой, у двери в кухню, красуется большая печь из светло-коричневых изразцов.

[1] Немецкий писатель, автор юмористических рассказов (1867—1921).

Сентиментальная пятиминутка — скользишь взглядом по поверхности и забываешь, что идиллия обманчива, говорит Анетта, не дожидаясь ответа Паулы.

Хозяин подает Пауле меню, опечатки там исправлены от руки.

С виду — точь-в-точь деревенский трактир. Уборная во дворе, ключ от нее берут на кухне.

Выбор небогат, зато все вкусно, говорит Урбан.

Вы совсем не любите маленькие городки? — спрашивает Паула.

К счастью, каждый вечер я возвращаюсь электричкой в М. Нет уж, среди мещан жить нельзя.

А вы суровы, замечает Паула.

Нет, ее упрек адресован не одному только Д. Дома, запертые наглухо, как и их обитатели, мнимая защищенность — этого по всей стране хватает. Внешне полное благополучие, а вот внутри...

В перерыве между лапшой и свиной котлетой Урбан неожиданно говорит: мне очень жаль, что у вас были неприятности из-за детских книг.

Неприятности? — переспрашивает Паула. По-моему, все уладилось. Есть еще недалекие люди... Пустяки, не стоит и говорить. И ничуть это не показательно, зря вы так... Кстати, успели уже посмотреть что-нибудь кроме замка?

Шаг за шагом, по плану. Изо дня в день возвращалась с обеда в библиотеку другой дорогой.

Вообще-то не мешало бы и мемориал посетить. Но я боюсь.

Я тоже, коротко роняет Паула.

Этому кошмару поддаваться нельзя.

Расплатившись, обе встают из-за стола, берут с вешалки у входа плащи; Анетта Урбан между тем рассуждает о ханжеском духе мелких городишек — по ее разумению, именно он и порождает тоталитарные устремления; Паула вдыхает запахи пищи, табачного дыма, пива, кисловатого фруктового шнапса и спертого воздуха, торопливо открывает дверь — скорее на улицу! — и вдруг в какую-то ничтожную долю секунды ее мозг пронзает дотоле неведомая боль. Нет, отчаянно твердит она себе, я уверена, повторение невозможно.

Он близорук, оттого и глядит на нее так пристально. В прошлый раз, увлекшись жарким с охотничьим соусом, Паула не обратила на это внимания.

Да, сказал он, я, разумеется, поддержу ваш план перед обербургомистром, только вам не следует переоценивать мои возможности. Священник в наше время не пользуется таким весом, как бывало раньше.

У него в кабинете ей по-домашнему уютно. И дело тут не в нем самом, а в книгах. Темные шкафы с книгами, по всем стенам, от пола до потолка.

Миры счастливые и кошмарные, слышится его голос, это он о книгах. Что касается книг, мы, наверное, думаем почти одинаково. Но заводить сейчас речь о кошмаре, пожалуй, не к месту.

Паула смотрит, как он выдвигает стул из-за письменного стола, ставит его против гостевого кресла.

Чтобы массивный дубовый стол не мешал разговаривать.

Да, он наслышан о затее Паулы.

Вы даже не представляете себе, говорит он, какому великому множеству стариков вы бы скрасили жизнь. Видите ли, с тех пор как упразднили приходские библиотеки, я лишь в редких случаях могу удовлетворить ту или иную читательскую просьбу — из моей собственной библиотеки. Но у меня на полках нет книг, которыми интересуется большинство.

Комната тонет в полумраке, как и гостиная. Сколько же тут

старинных кожаных переплетов! Паулу так и подмывает подойти к ним и потрогать. Но она сдерживается.

По-моему, вам ни в коем случае нельзя падать духом, говорит священник. Паула смотрит на его руки, сложенные на коленях: под морщинистой кожей проступают жгуты вен. Не падать духом, повторяет он, мы не вправе допускать и мысли о том, что наши чаяния могут потерпеть крах. И, провожая Паулу к двери, добавляет: кстати, смею надеяться, что наши ящики в свое время причинили вам не слишком много хлопот. Я ведь уж подумывал не трогать их, но, в конце концов, всему свое место, верно?

Слушай, говорит Паула, хватит. Хватит то и дело потчевать меня экскурсами в военную историю Испании. Я эти битвы во сне вижу.

С бутылкой растительного масла она идет из кухни в ванную.

Феликса смешат глазки жира на воде, которые якобы помогут ее коже остаться упругой.

Очень может быть, говорит она, передавая ему купальный халат, который он вешает за дверью на крючок, очень может быть, что твой отец хоть сейчас с радостью возродил бы инквизицию, как во времена Изабеллы. Но разве за это обязательно так люто его ненавидеть? Он старик, одержимый вздорными идеями. Только кто нынче примет их на веру?!

Масло жирным кольцом оседает прежде всего на шее. Ладонями Паула стирает его по ключицам на грудь.

Феликс сидит на бортике ванны, в такую воду он даже кончик пальца ни за что не окунет.

У нас дома, говорит он, в масле консервируют рыбу, овощи, но уж никак не женщин.

Ты когда-нибудь видел свою мать в ванной?

Что же тебе снится?

Крепостные сооружения, отвечает Паула. Каменные страшилища в чистом поле.

Ты попросту насмотрелась всяких картинок, решает Феликс. А знаешь, как в средние века штурмовали крепости?

С помощью приставных лестниц, отвечает Паула. Отсюда, кстати, и взялось слово «эскалация»[1].

Пауле снятся иберийские твердыни, это верно, незачем только делать отсюда вывод, что у библиотекаря есть кое-что общее с комендантом крепости. Хотя это нелепость, только если вдуматься, как и ходячее представление о том, будто защитные установки ядерного реактора и с объективной и с субъективной точек зрения вполне надежны. До сих пор любая крепость рано или поздно покорялась. Вернее будет сказать, кровавая история Испании не выходит у Паулы из головы просто оттого, что она полюбила Феликса. Она видит мир его глазами, и потому даже во сне ей не вырваться из этого плена.

Теперь любовь к Феликсу не гаснет в ней и днем. Не зря же природа наделила его красотой, повторяет Паула.

Раньше она чувствовала себя как в осаде, а сейчас это ощущение пропало.

Выходит, отдала ключи от города?

Решительно поломала солидный, устоявшийся порядок, не заметила грозной опасности и, глянув на себя самое, от испуга сникла?

Мой почерк, уверяет Паула, со школьных времен ни капли не изменился. Буковка к буковке, одна к другой.

Раз есть масло, мыла не надо. И без полотенца обойдемся. Пусть

[1] От лат. scalae — лестница.

кожа обсохнет в тепле ванной комнаты. А капельки воды смахнем ладонями к щиколоткам.

Объясни, будь добр, просит Паула, почему ты, собственно, рассказываешь мне про все эти завоевания, отвоевания, притеснения, жестокости и жажду власти? Никак не отрешишься от них, что ли? Неужели нельзя просто жить как живется и предоставить миру идти его путем? Ведь миру-то безразлично, размышляешь ты о нем или не размышляешь, довольствуясь своим личным счастьем.

Паула знает, что Феликс глаз с нее не сводит, следит, как она, обнаженная, с блестящей от масла и воды кожей, нагибается над ванной, сыплет туда порошок, влажной тряпкой стирает грязный налет, включает душ и промывает все дочиста.

Обними он ее в этот миг, и она была бы совершенно счастлива.

Ты отдаешь себя на произвол судьбы, говорит Феликс.

Она заворачивает краны.

Просто не хочешь понять, что и ты причастна к судьбам мира, продолжает Феликс.

Я родилась здесь по случайности, вставляет Паула.

Нет, возражает Феликс, ты все-таки разберись, ветряную мельницу останавливают изнутри, а не снаружи...

Он так и сидит на бортике ванны. Паула позволяет себе ощутить легкое разочарование.

Знаю, у вас и в литературе был золотой век, говорит она. Ты хоть заметил, что от солнца моя кожа быстро стареет?

Она снимает с крючка халат, надевает его, запахивает на груди, завязывает пояс. Тщательно присматривается в зеркале к своему лицу.

Феликс, конечно же, уверяет, что она ни капельки не стареет. У истины нет никаких шансов.

Паула поднимает руку, гасит лампу над зеркалом.

Быстро ты постиг науку, говорит она, бурных вспышек теперь не бывает. А знаешь, где-то в Южной Америке каждый год устраивают торжества в честь древней морской богини и каждый год утром после празднества на одной из пустынных улиц находят мертвого юношу. Задушенного. Принесенного в жертву богине. Паула услыхала шорох — это Феликс шевельнулся во мраке. Она протягивает руку и в краткий миг, пока глаза привыкают к темноте, уверенно нащупывает его плечо.

ДЕВЯТАЯ УТРЕННЯЯ БЕСЕДА С ПАУЛОЙ

Паула уговаривает меня сесть на то место, которое кажется ей самым удобным. Потом наливает кофе и подает мне хлебницу.

И все-таки я с нею не соглашусь.

Почему, спрашивается, я должна собрать чемоданы и уехать, бросить дом, за который ежемесячно выплачиваю ссуду, и огород, и привычку к зиме, идущей на смену осени?

Не говоря уже о дочерях и о муже, насмешливо добавляет Паула.

Или о моем банковском счете, который я в любой момент могу превысить, потому что банк мне доверяет. Чего ради зубрить чужой язык, жить среди чужих? С какой стати? Не вижу причин. Не вижу, чтобы мою свободу здесь ущемляли.

Выходит, тебя лично насилие не коснулось, заключает Паула.

Нет уж извини перебиваю я. Меня закодировали, зарегистрировали обработали и выпустили в свет — по-твоему, это и есть причина?

А Паула продолжает: вернее сказать, работая над книгой, ты уже невольно заранее кое в чем себя обуздываешь, чтобы потом тебя не обуздал кое-кто другой.

Да, соглашаюсь я, они взломали контору, где на двери значится и мое имя, ворвались туда с автоматами, сославшись на якобы чрезвычайную серьезность обстановки, сломали замок — и ладно, пусть кто-нибудь другой ставит новый, а прокуратура палец о палец не ударила, как будто так и надо.

Что ты себя взвинчиваешь? — спрашивает Паула, глядя, как я намазываю маслом хлеб и нож дрожит в моей руке.

Хорошо, если уж тебе так хочется, изволь, скажу: я безумно испугалась. Втолковала детям, как им себя вести если отца с матерью арестуют. Но за нами не пришли, оставили нас в покое. Что ж тебе еще надо? На государственную службу я не стремлюсь, никакие судебные органы мною не интересуются, не разбирают, всерьез ли мои книги зовут к насилию или же это просто художественный прием, а значит, пока у меня все в порядке, верно? Или я ошибаюсь?

Впору на стенку лезть. Меня трясет от злости. Как это Паула смеет доводить меня до белого каления?

Я люблю свои книги, защищаюсь я.

Как это я смею защищаться?

И мебель свою люблю. В какой-то мере и дом, и свои планы превратить его в настоящий семейный очаг, чтобы и внуки были, и все прочее. Сделать его убежищем, какого у меня никогда прежде не было. Чтобы забрать все это с собой, никаких денег не хватит.

Достаточно одного чемодана, замечает Паула.

Что уместишь в одном-единственном чемодане? Да и есть ли такая земля, где лучше?

Ты права, соглашается Паула, и я едва не клюю на ее примирительный тон. Но вовремя спохватываюсь: хитрит она, ой, хитрит.

Конечно, ты права, говорит она и пододвигает мне густо-алый клубничный джем. Подумаешь, походить немного на костылях — другие-то и вовсе калеки, в инвалидных креслах ездят!

Я в растерянности. Похоже, Паула вдруг взяла надо мною верх, и это сбивает меня с толку. Ведь я думала, что во всем разобралась.

Отмахнуться от нее, что ли, как от навязчивой идеи?

Сдать Паулу в архив? Найти подходящую папку, пробить дырочки, подшить и отправить в архив. И пусть она там лежит. Незавершенная рукопись. Недописанная. Впрочем, обойдусь и без папки. Сложу в коробку из-под туфель, перевяжу бечевкой и отнесу в чулан. Спустя годы найду и стану удивляться: что же могло меня когда-то привлекать в этой особе?

Я сердита на Паулу. То дружеское расположение, то неприязнь— она столкнула меня в омут сумбурных чувств. Без всякого предупреждения.

Да и как ей было меня предупредить? Она ведь выдуманный персонаж, ее легко и просто подшить в дело.

Ты хоть понимаешь, свирепо говорю я и только теперь замечаю, что сегодня она облачилась в мои джинсы (они ей широки), ты хоть понимаешь, что я в любую минуту могу заставить тебя исчезнуть? Уберу — и все тут. Поверь, освободиться от тебя проще простого.

Паула кивает, словно мои аргументы вполне для нее убедительны. Стало быть, акт освобождения, подытоживает она, не проявляя ни малейшего беспокойства.

И как же ты освободишься — объективно или субъективно? — вкрадчиво любопытствует она.

Я начеку. Ишь, норовит выпихнуть меня на скользкий лед. А он еще не застыл как следует.

Страх тебя мучит? — слышу я. Голос у нее и в школе был глубже и приятнее моего. Нет уж, больше я ни во что не ввязываюсь. Страхов и без того хватает.

Ты когда-нибудь чувствовала себя в безопасности?

Я имею в виду тот ужас, продолжает Паула, который тебя охватывает, когда ты задумываешься о былых страхах родителей, дедов, бабок, об их поступках и вдруг осознаешь, что теперешние люди поступают так же: они, как и раньше, отсиживаются в своих четырех стенах. Предают, вместо того чтобы протестовать. И тут тебе не увильнуть: надо сделать выбор.

Но не обращаться же в бегство, говорю я. Нельзя ведь бежать в личное счастье, прятаться от ответственности.

Нет, нет, говорит Паула. Она таки добилась своего: я опять против своей воли ввязалась в серьезный спор. Нет, выбрать надо дерзкую мечту.

Утопию?

Дерзкую мечту о счастье.

О каком счастье? — спрашиваю я и подставляю ей свою чашку. По утрам со мною можно разговаривать лишь после третьей чашки кофе.

Паула наливает мне кофе и замечает вскользь: ты слишком много куришь.

А что, это запрещено?

Пока нет, отвечает она.

8

Паула с Феликсом сидят вовсе не в том зале, где, по рассказам, во времена Баварской советской республики заседали красноармейцы,— тот стол в соседней комнате не обслуживается,— они сидят у окна, за которым открывается чудесный вид на Д. Паула посоветовала ему заказать жаркое из дичи.

Давно уже нет той походной кухни, что прямо на рыночной площади кормила из трактирных котлов солдат республики. И дарового пива, которым красные угощали горожан, тоже нет, зато есть домашние клецки по-швабски.

Что ни говори, а Д. всегда был крепостью.

Под стенами этого города закончилась для Баварии Тридцатилетняя война; красным в этих стенах не на что было рассчитывать.

В хорошую погоду, говорит Паула, ты бы мог полюбоваться чудесным видом. Но сегодняшний денек подкачал, и туристу не видать обещанных проспектами красот, а ведь как ему хотелось взглянуть с холма старого города на черепичные крыши, на каменистую желто-зеленую равнину, бегущую до М. и дальше, к самым Альпам. Летом теперь стало холоднее.

Небо висит низко-низко над землей. И кажется, будто Д. конца-краю нет.

И все же только люди, отроду склонные к преувеличениям, считают, что технический прогресс ведет человечество к новому ледниковому периоду, говорит Паула.

Феликс не прочь полакомиться десертом. Карточка блюд здесь громадная, внушительная, прямо исторический документ.

По дороге в ресторан им встретилась оружейная лавка: пистолеты и ружья среди птичьих чучел.

Горячая малина, алая на белом мороженом, уже чуть остыла, и Паула придвигает свою порцию Феликсу.

Сначала она звала его подняться к замку, но теперь ей уже не хочется лезть наверх. Как ты понимаешь, объясняет она, сегодня вид оттуда нисколько не лучше.

Она не скрывает, что заленилась и разомлела от еды. Так приятно посидеть тут, у окна. Подробно описать Феликсу дворцовый парк. Правда, в памяти сохранилась лишь тенистая аллея из подстриженных лип.

Ни одного значительного памятника культуры, ничего такого, что вызывает удивление просто оттого, что еще существует на свете.

Лучше наблюдать, как небо за окном мало-помалу набирает высоту, как обретают четкие контуры кровли домов и деревья между ними, что-то сдавливает голову и неожиданно распахивает кругозор, даль становится совсем близкой, облака — вот они, рядом, лохматятся, точно старая краска после протравки, смахни ее щеткой — и обнажится рисунок древесины.

Приближение фёна, говорит Паула, я узнаю по Альпам: они вдруг вырастают на горизонте, словно декорация, назойливая до головной боли.

Феликс съел и малину и мороженое, обе порции; вазочки, запотевшие снаружи и клейкие внутри, сдвинуты на середину стола, к цветам.

В последнее время у него как будто наметился животик, думает Паула.

Ты бы все-таки взяла машину, а? — говорит Феликс, внимательно глядя на поднявшиеся вдали горы.

Возьму, если поедешь со мной, отвечает Паула.

Видать, работа в Д., нравится тебе куда больше, чем старое место в Киле, говорит ее мать. Вон как посвежела-то.

Паула молча кивнула. Мать между тем вооружилась серебряной вилочкой, которая появляется на столе в торжественных случаях, подцепила с парадного блюда кусочек торта «Принц-регент» и медленно понесла его ко рту.

За Паулу ответила сестра.

Думаю, дело не только в работе.

До чего же вкусный у тебя торт, говорит Паула матери, украшение любого дня рождения.

Она наконец-то приехала на такси с вокзала, когда дочка сестры уже задула все десять свечек на шоколадной глазури, а мать, окунув нож в горячую воду, собиралась резать торт. Вот и хорошо, в самый раз успела, похвалил зять, но почему ты одна?

А что, надо было и его привезти? — спросила Паула. Зять встретил ее в передней, помог снять плащ, на секунду она ощутила прикосновение его пальцев к шее — он слишком рано потянулся за воротником. А что бы они ему сделали? — отозвался он, и на миг Пауле показалось, что временами ему до смерти охота подложить им хорошую петарду, тайком, конечно.

Девочку она обняла и расцеловала, вручила подарок — книгу и немного денег в конверте — для копилки. Конверт, как был запечатанный, так и исчез среди груды подарков, а вот книгу, завернутую в голубую шелковую бумагу, Сабина из рук не выпустила до тех пор, пока бабушка не позвала к столу.

Не скучно ребенку справлять день рождения в компании взрослых? — спросила Паула.

Теперь она сидит на софе возле брата. Матиас обнимает ее за плечи. И ей уже не одиноко.

Вот и я считаю, что малышке надо было устроить настоящий день рождения, а не такое занудство, поддакивает брат.

Мама так захотела, слышит Паула ответ сестры.

А мать аккуратно подбирает с тарелки остатки крема.

Девочка доела торт, выпила какао и тихонько вышла из-за стола.

Она не уверена, что хотела неприятно поразить сестру, но, как бы то ни было, когда девочка снимает белую ленту с голубой обертки, на лице у сестры появляется выражение досады. Уж ей-то зловредность Паулы с малых лет знакома.

Сабина хорошая девочка, говорит мать. Никого не огорчает. Зачем ей праздновать день рождения по-другому?

Ни к матери, ни к отцу она с книгой не побежала, развязала белый бантик, сняла голубую бумагу, села на стул у окна, раскрыла первую страницу, начала читать. И читает, не отрываясь, уже давно.

Может быть, раздумывает Паула, снять с плеча руку брата, подойти к окну, сесть рядом с этой худенькой девочкой, у которой ее, Паулины, волосы и точно такой же рот, слишком тонкогубый для узкого личика; но вместо нее встал зять, отворил окно. Ну-ка, что тебе подарила тетя Паула? — спрашивает он.

Книжным червем станет, как Паула, говорит Матиас (в голосе его Пауле слышится ирония, вовсе не подходящая силачу-работяге, какого он из себя разыгрывает), сманит она книжками вашу Сабину.

«Когда Гитлер украл розового кролика», отвечает зятю Паула. Девочка даже глаз не подняла.

...Хотела бы я знать, как тебе удается всем внушить, что ты уж очень умна? — спрашивала сестра, когда Паулу послали в монастырскую школу, а сама она нанялась конторщицей. По наущению Паулы, Матиас изловил тогда лягушку и подбросил ее старшей сестре в постель...

Она умышленно так поступает, говорит сестра, только мы с Гербертом постараемся отвадить ребенка от этого вздора.

Мать достала из буфета коньяк и предлагает выпить за виновницу торжества, которая не трогается с места, хотя в дождь у окна холодно.

На кухне сестра спрашивает о Феликсе. Пока сидели в гостиной, никто слова о нем не сказал. Паула объяснила, что оставила ему машину и поехала поездом, а они тут же наперебой затараторили, что вот, мол, осенью Сабиночке идти в гимназию, а дорога-то утомительная, дальняя.

Я, замечает сестра, слыхала, будто меланхолики очень уж ласковые. Он-то как, ласковый?

И продолжает: только вот легкомысленные, не для семейной жизни.

За окном догорает у горизонта небо. Феликс отрывает Паулу от «Недоброго часа». Сперва снимает ей очки, и она сразу же поднимает глаза, сердито морщит лоб, щурится, заново привыкая к своему окружению. Стул она придвинула к окну. Переворачивала страницы и мельком поглядывала через улицу на бетонную стену, соединяющую царство живых и царство мертвых, кладбище. Или скользила взглядом по фаллическому куполу церкви.

Феликс подошел к ней вплотную, в просвете между его ногами виднеется кусочек ковра и стеллаж. На уровне Паулиных глаз — его живот, серые брюки, металлическая пряжка на ремне.

Белая сорочка измята.

По-моему, говорит она, этого Маркеса в нашей библиотеке еще нет; уносит книгу в спальню, кладет ее, раскрытую, на пол возле кровати смотрит, как Феликс неторопливо, одну за другой, расстегивает пуговицы, и ни с того ни с сего спрашивает: тоскуешь по дому?

А потом ласково проводит пальцем по его гладкой груди.

9

Обер-бургомистр в окружении репортеров местных газет. Анетта Урбан за пультом фонотеки — она управляется с переключателями куда более ловко, чем Паула и Фельсманша.

В ситуациях вроде нынешней Пауле уже незачем озираться по

сторонам, высматривая знакомые лица, теперь она и сама принадлежит к избранному кругу. Никуда не денешься.

Отвечая на вопросы журналистов, обер-бургомистр старается придать беседе одновременно официальный и непринужденный характер, но ни на минуту не забывает о своем превосходстве.

Да, говорит он, быть может, и создается впечатление, что мы идем вперед семимильными шагами.

И продолжает: надо, так сказать, наверстывать упущенное, город современный, растущий, находится на подъеме. Пора открыть людям глаза. На свете есть и иной Д., не только тот, где топтали человеческое достоинство.

Потому-то и родилась мысль учредить большую премию в области культуры.

В области изобразительного искусства, уточняет коротышка советник (он держится в тени обер-бургомистра), ведь к литературе Д. почти не имел касательства.

А не развиваете ли вы сейчас столь бурную деятельность затем, чтобы уйти от прошлого? — спрашивает один из репортеров. То есть, поясняет он, вовсе не новая форма самосознания, а просто-напросто попытка изжить старый комплекс? И Паула с удивлением ловит себя на том, что уже сочувствует ему в его дерзком бунте; пульс ее учащается, ладони мокры от пота.

Если мне не изменяет память, слышится голос советника, вы новичок в здешней редакции? Сегодня я вижу вас впервые.

Не согласиться было нельзя, и Паула согласилась. Она одобрила текст объявления, извещающего о Дне открытых дверей в фонотеке (от муниципалитета его подписал обер-бургомистр), и около четырех — перед самым закрытием — сходила в сберегательную кассу напротив, проверила там начисление месячного жалованья, взяла немного денег на текущие расходы, поговорила с кассиром, вполне дружелюбно — ведь и он к ней привык, и она знает его в лицо,— а когда вышла на улицу, впервые увидела на стене дома невзрачную табличку, прикрепленную там в память о восстании жителей Д. и узников лагеря против эсэсовцев. Почему же здесь нет настоящего большого памятника? Вот на этом самом месте, где сейчас стоит Паула, сжимая в руке банковскую книжку, и деньги — сумочку она забыла в библиотеке,— на этом самом месте были расстреляны трое заключенных и трое граждан Д.

Твой приятель — невыносимый гордец, говорил Пауле младший брат. Ты-то сама его выносишь?

Себе Паула запрещала и гордиться, и быть не в меру счастливой. Какой смысл болтать о счастье?..

Фройляйн Фельсман приносит газеты с сообщениями о Дне открытых дверей. Она не поленилась отметить страницы, наполнившие ее гордостью, ведь вся здешняя библиотека — предмет ее гордости.

На одной из фотографий — Паула, чуть позади обер-бургомистра, нос и рот — на уровне его плеча в центре снимка, но немного в глубине.

Он говорил тогда и о проекте передвижной библиотеки. Паула, видно, не сумела скрыть удивления; ей вдруг вспомнился священник, и она привычно подумала, что он, наверное, любит украдкой поглаживать кожаные корешки своих книг.

Вот видите, на нас можно положиться. Эти слова обер-бургомистр адресовал Пауле, а на лице его играла легкая усмешка, от которой он выглядит проще и человечнее.

В собственной библиотеке ею овладело чувство заброшенности. Она потихоньку выбралась из толпы чиновников и гостей и ушла к себе в кабинет, к знакомому столу.

Противно. и вдобавок уже до боли надоело. Вполне возможно, что в Пауле от рождения затаился еще один человек и все поджидал удобного случая, чтобы оглушить ее ударом по голове. Самое важное тут — время и место. А также климат. Лишь здоровые натуры находят в нем хоть какое-то удовольствие.

Холод вправду усилился и явно застиг Паулу врасплох, но пока еще есть надежда или хотя бы шанс обрести надежду.

На фотографиях нет одной только фройляйн Фельсман. Она скромно расхаживала среди стеллажей, присматривая за посетителями; зато фройляйн Урбан, которая сидела за пультом фонотеки в комнате рядом, попала-таки в кадр. Что говорить, газетный материал и подан умело, и дозирован четко, отмечает Паула. Слева критика упомянутого комплекса забвения, справа местный хор мальчиков — посланец Д. на гастролях в Езоло. Передвижную библиотеку хвалят как замысел городских властей.

Местный поэт, читает Паула, ратовал за то, чтобы поделить будущую премию между художниками и литераторами, но муниципалитет успешно отбил его атаку: литератор может столкнуться в Д. с большими трудностями, чем живописец.

Нет, взять отпуск она не сумеет. Надо было планировать заранее. С бухты-барахты и в растрепанных чувствах решений не принимают, даже если допустить, что ей бы дали полную свободу решать.

И привычный ход вещей ломать нельзя. В конце концов есть еще ответственность, и лежит эта ответственность на ней.

Все ж таки, говорит Паула Феликсу (руки ее нежно скользят по его телу, а напротив звонят колокола и хлопают дверцы автомобилей), все ж таки я, конечно, не вправе удерживать тебя от поездки домой на каникулы. Но мне до смерти не хочется тебя отпускать.

Нет, тихонько смеется она, гофио тут определенно ни при чем. Откуда ты взял, что всему виной гофио?

Проникнуть Феликсу в самое нутро. Ведь там внутри спрятан лунный ландшафт. Вторгнуться.

И снова отступить, откатиться камнем.

И так каждое воскресное утро, воображает Паула, хотя прекрасно понимает: не дано ей обнять Феликса так, как он обнимает ее, не дано брать, ее удел — отдавать себя. А что, кроме наслаждения, она получает взамен?

Банальная мыслишка, ни разу не додуманная до конца. Без конца. Вновь и вновь сначала. Может, просто чтобы не думать о другой истине.

Не думать.

Не думать, что любое плотское наслаждение стихийно и беспорядочно.

Пока не думать.

Мне кажется, говорит она этим воскресным утром, я в самом деле люблю тебя.

В самом деле она выпалила это единым духом, будто составила свою фразу на чужом языке и затвердила на память, чтобы ее поняли — ее ту Паулу которая не имеет никакого отношения к другой, считающей любовь не более чем приятным развлечением.

10

Он посвежел и загорел, этот коротышка советник. К концу августа большинство горожан возвращаются из отпуска. Домой, в Д. Вот и фройляйн Фельсман тоже вернулась.

Слишком жарко, говорит он, мы с мамой ужасно страдали от жары.

Нынче утром Паула заглянула в сентябрьский гороскоп. На первые десять дней влияние Марса сулит Девам большие встряски.

Самолетом летели? — спрашивает Паула советника.

Застигнутая над гороскопом, она слишком уж горячо оправдывалась перед Феликсом. Некоторые, как там было написано, нежданно-негаданно найдут счастье своей жизни.

Конечно нет, сказала Феликсу Паула, я читаю гороскоп для смеху.

Феликс объявил, что у нее завелось тайное пристрастие. К иррациональному. Бегство в хиромантию?

Загорелый и внутренне пообмякший, советник в разговоре с нею на этот раз даже жестикулирует.

Руки его не жмутся суетливо к краю стола. Линии на ладонях четкие, без тоненьких ответвлений — до сих пор ей не случалось видеть ничего похожего.

А вы, значит, на посту, говорит он, тем завершая экскурс в приватную сферу; теперь, встречаясь с Паулой, он допускает подобные вольности, ведь она обжилась, устроилась, закрепилась в Д. и как авторитетом, так и всей своей деятельностью отвечает в целом его представлениям о библиотекаре.

С новыми силами за работу, сказал он, когда Паула вошла в кабинет. Увидела она его не за столом, а вовсе даже у окна: он стоял, потирая руки, деловой, энергичный,— ни подспудные, загнанные внутрь фантазии, ни мысли о жизни за стенами ратуши не омрачали его лица.

Я тут кое о чем поразмыслил на досуге, сказал он. Как идут дела с передвижкой для домов престарелых?

И прошелся по кабинету. Неужели все-таки чуть приволакивает ногу?

Плохо?

Да нет, отвечает Паула, неплохо.

Возможно, окостенение коленного сустава.

Но пока нам еще не слишком доверяют.

Впрочем, говорит он, если меня правильно информировали, вы побывали у пенсионеров всего только дважды.

Информировали вас правильно, отзывается Паула. Опустившись в черное кресло-вертушку с высокой спинкой, он жестом предложил сесть и Пауле; на этот раз она села так, чтобы, не поворачивая головы, просто скосив глаза, смотреть в окно. И теперь глядит на облепившие холм крыши всех мыслимых оттенков красного цвета. Крыши были мокрые от измороси и потому яркие.

Еще в отпуске, говорит он, я набросал доклад о нашем проекте. Вы же знаете, я с самого начала содействовал вашему замыслу и по мере сил поддерживал его.

Приятный оттенок, тихонько бормочет Паула.

Простите, как вы сказали? — растерянно переспрашивает он.

Она бы давным-давно обнаружила эту другую половину, если бы не видела его изначально с одной только стороны. Утром проснешься, а в голове — ни слова.

Фантазер, заранее решила Паула, ты правда фантазер. В это слово она не вкладывает ни порицания, ни одобрения, просто делает вывод, раз и навсегда.

Нет, домой он не поехал. Остался на лето у Паулы. Так и сказал: не уеду. Но днем уезжал.

В университете каникулы, а он каждое утро садился с Паулой в машину и ехал через деревни в Д., а оттуда электричкой в город.

Какой смысл весь день торчать одному в квартире? — говорил он.

А какой смысл, спрашивала Паула, изо дня в день проделывать такой длинный путь, раз тебе не нужно в университет?

Может, спрашивала она, Феликс работает в государственной библиотеке? Читает книги, которых у нее в муниципальном фонде нет, поскольку в интересах широкого читателя она обязана избегать диспропорций.

Там мои друзья, отвечал он.

Иной раз он уезжал в М. лишь под вечер, садился после обеда на автобус, идущий через деревни в Д. И тогда августовскими вечерами, больше похожими на ноябрьские, Паула засиживалась в библиотеке, чтобы заехать за ним на вокзал.

Нет, вопросов она не задавала. И не ставила ему в упрек, что он столько времени проводит с друзьями. Не упрашивала взять ее с собой — зачем навязываться, создавать впечатление, будто любой ценой хочешь им завладеть.

Феликсова лютая ненависть к отцу испугала ее.

В детстве, говорит Феликс, мне казалось, что он крадет у меня душу. Я боялся проснуться утром и — онеметь.

Фантазер, говорит Паула. Ты фантазер?

Нет, коротко отвечает Феликс, однако же Паула пропускает жесткость его тона мимо ушей: право на такую жесткость он получит, лишь когда повзрослеет. Да, повторяет он, необходимо преодолеть кастрацию.

Эдипов комплекс? — спрашивает Паула.

Надо занять какую-то одну позицию, говорит Феликс, это куда лучше, чем оправдываться отсутствием системы, обеспечивающей удовлетворительный конечный результат. Решиться надо. Лучше уж я решусь выступить против отца с открытыми глазами, чем вслепую.

Что произошло? — испугалась Паула.

Паула глаз не поднимает, когда фройляйн Фельсман опять спешит мимо ее двери в туалет. Козни дурного пищеварения и избыточной дозы слабительного, думает она.

В любой другой день Фельсманша была бы рада-радехонька до вечера одна хозяйничать в библиотеке. Сегодня же просто жалко смотреть, как она, побагровев то ли от натуги, то ли от стыда, возвращается из туалета; Паула с Анеттой Урбан между тем пакуют книги в квадратные картонки.

Фройляйн Фельсман с гордостью отметила, что в первую очередь читатели спрашивают книги из фондов бывших приходских библиотек.

Это ее немного утешило.

Возможно, Паула потому и не стала возражать, когда после первого же выезда в дома престарелых молодая коллега предложила возить туда не только уже заказанные книги, но и другую литературу, чтобы показать и рекомендовать ее читателям.

Вдвоем они несут картонки к машине. Паула открывает багажник, попутно рассказывая про вдо́вую пасторшу, любительницу Фонтане, как вдруг Анетта Урбан говорит, что по истечении испытательного срока, скорей всего, не продлит контракт.

Значит все-таки не прижилась?

Да не прижилась.

Я понимаю, говорит Паула, вам привыкнуть еще труднее, чем мне. Может, стоило бы запастись терпением.

Дожидаться, пока дерево, давно омертвевшее внутри, пустит новые побеги?

О дуплистых деревьях Пауле разговаривать не хочется, в дороге, под мерный шорох «дворников», лучше вспомнить о собственном нетерпении, которое она в возрасте Урбан нещадно подавляла в себе.

Анонимное письмо, найденное сегодня на столе в куче корреспонденции, Паулу не пугает.

Забавно, что ее остерегают от распространения коммунистических идей среди детворы. С тех пор как стала совершеннолетней, Паула неизменно голосует за либералов.

Ей бы следовало слушать повнимательнее.

Не возглашать, что, мол, сновидения, мечты и фантазии ни к чему не обязывают. Не делить мир на две половины — мир грез и фантазий и мир дневной. Не заносить задумчивого меланхолика по привычке в разряд романтических натур, которые любят изображать из себя этаких донкихотов... Жизнь в односторонней системе?

Его жизнь с нею, должно быть, вопреки ее представлениям шла еще как-то иначе.

Сейчас по стеклам барабанит дождь. Капли ползут по окошку гостиной. Надо было окна мыть, а она ждала Феликса, сидела в вокзальном кафе среди мужчин, совершенно напрасно подозревая их в едва смирённой похоти, пропустила одну за другой две электрички, а Феликса в толпе пассажиров на перроне так и не углядела. И в конце концов поехала домой.

С телефоном в руках — благо шнур длинный (удлинен, конечно, за особую плату) — мыкалась из передней в кухню, из кухни в гостиную, по пустой квартире с востока на север, пока не позвонила мать, разговаривать с которой Пауле невмоготу.

Да, хватит разговоров.

Натянуть на голову простыню и шерстяное одеяло, подвернутое, как он привык, в ногах и с боков. Покончить с внешним миром. Назад к варварству любовной связи.

Ускользнуть от его рук, ищущих примирения.

Она отперла Феликсу дверь, впустила его в дом как чужого, как жильца-пансионера. Внизу послышался шум отъезжающего автомобиля.

Не слушать его. Слишком уж он много говорит. Ну как ей вынести мужчину, который говорит без умолку. Не закрывая рта. Даже когда они любят друг друга.

Зачем он говорит о друзьях, которые якобы обязались на деле осуществить то, что левые сулят испанцам вот уже сорок лет?

Ведь, чтобы выстоять, нужна опора, говорит Феликс. Только когда есть опора, можно вынести тяготы жизни.

Слишком он молод. Слишком молод для Паулы. У нее это — пройденный этап. Она давным-давно вышла из того возраста, когда задаются вопросом о смысле жизни.

А теперь он ринулся в атаку. Кричит. Кричит как сумасшедший.

Не кричи так, просит Паула, возьми себя в руки.

Необузданный, дикий, несдержанный, запальчивый.

Как ты смеешь так на меня орать? Паула садится в постели, прямая, точно свечка.

Я не такой, как вы, кричит Феликс, не искалеченный, не ущербный, не перекроенный! Я не могу держать все это в себе, не могу, как ты, забиться в скорлупку и окаменеть!

Ты совсем обезумел и не владеешь собой, говорит Паула.

Да, обезумел, отвечает Феликс, потому что мне страшно.

Хоть бы позвонить догадался.

Нет, уверяет он, другой у меня нет.

Страх ослепляет, говорит Паула, чего ты боишься?

Страх идет от инстинкта, говорит Феликс.

Он успокоился, едва Паула перестала сопротивляться его ищущим примирения рукам.

Как же ей сопротивляться его замыслам и не ставить на карту все, что приобретено таким трудом и составляет ее нынешнее положение?

Нет, прекословить не будем. Он ведь и ждет другого. Скорее, лояльного скепсиса. Избитая похвала — то есть Паула без своего скепсиса — вызвала бы подозрение, говорила бы о равнодушии, о замаскированном, но глубоком пренебрежении.

Разумеется, без вашей помощи мне не обойтись, замечает он. Хотелось бы получить кое-какие цифры, первые итоги, отзывы.

Паула внимательно наблюдает за ним. Руки его уже не участвуют в разговоре, пальцы теребят шариковый карандаш.

Цифровые сводки о работе передвижной библиотеки подготовит фройляйн Урбан, Паула ее попросит. Забота о престиже, говорит советник, а ее мысли уже далеко отсюда.

Ты не знала, сказал тогда Феликс, что задолго до смерти Франко в М. возникла антифалангистская группа, объединяющая испанских студентов и рабочих?

Какое ты имеешь отношение к политической группе? — спросила она. Ты же занимаешься немецкой литературой, верно?..

Забота о престиже, звучит его голос на фоне красных крыш; она все-таки взобралась тогда на холм, к замку. Но, чувствуя на плече руку Феликса, не обратила внимания, что за походка была там у людей — скованная или нет.

Вы ведь не откажетесь дать делегации подробные разъяснения?

Вы ждете делегацию? — спрашивает Паула у советника.

Оконная замазка с примесью свинца. Он отравился свинцом и умер от паралича.

Я уже завязал кое-какие контакты, объяснил он.

Как только паралич поднимется к сердцу, даже тепло ее груди будет бессильно. Позволит ли он прижать себя к груди?

У вас непорядок с коленными суставами? — спрашивает она, застегивая верхнюю пуговку на блузке.

Не понимаю, слышится в ответ; он в полном недоумении.

ДЕСЯТАЯ УТРЕННЯЯ БЕСЕДА С ПАУЛОЙ

Из кухни она пришла в спальню. Я проснулась мокрая от пота, на плече у меня лежала ее рука.

Завтракать пора, говорит она.

За окном брезжит рассвет. Гомонят птицы.

После кошмарного сна сердце мое колотится точно у бегуна на короткие дистанции. Что Пауле надо у меня в спальне?

Возможно, она и ночи проводит здесь, в доме, без моего ведома раскладывает в гостиной пасьянсы, а радио тем временем сообщает о чокнутых водителях, которые вопреки всем правилам едут навстречу движению, и угли в камине уже не дымятся, погасли. Или она не восприимчива к угару?

Надо бы вызвать печника.

Но теперь здесь сидит Паула. Что-то говорит, и голос ее звучит так, словно она приближается в сапогах-скороходах из дальней дали.

Глаза у меня слипаются, я с трудом удерживаю в памяти ее слова, а ведь они, наверно, образуют фразу. Какое там молодое вино — всего-навсего ветхий мех. Опустевший после пробуждения. Родной язык и тот улетучился.

Проснись, говорит Паула, а я спрашиваю: что тебе здесь надо?

Совсем рядом спит муж — он храпит, только засыпая, а утром похож на обиженного ребенка. Паула у кровати как будто нисколько ему не мешает.

Лучше спать мертвым сном, чем видеть такие кошмары. В конце концов я выпустила диких охотников, да только все впустую.

Вставай, слышится голос Паулы, ее ладонь гладит мое сведенное судорогой плечо. И сердце сдерживает свой безумный перестук. Я слишком устала, чтоб сдержать и дыхание.

Часть моего мозга я вновь убаюкала. Откуда взять силы подняться, если даже солнце только-только начало вставать?

А Пауле невтерпеж. Она стаскивает с меня одеяло, спихивает с кровати мои ноги, даже тапки мне надевает, потом берет под мышки и усаживает.

В кухне уже готов кофе. Для булочек пока рановато.

Летаргия, говорит Паула, надо бороться с сонливостью, тогда будет легче вставать по утрам.

Бороться?

Ты же выучилась бороться, говорит Паула и сыплет мне в чашку две ложки сахару, хотя в принципе я пью несладкий кофе. Правда, если она не станет размешивать, то еще куда ни шло. Я обманулась: она тщательно рамешивает сахар.

Только не говори, что не усвоила урока, бодро продолжает она.

Возможно, ей бы следовало подыскать для утренних бесед другого партнера, который способен разговаривать в этакую рань. Вот критики, как я думаю, продирают глаза ни свет ни заря. А она все говорит, говорит.

Нас ведь приучили бороться, говорит она, за личное счастье, за возможность сделать удачную карьеру, за машину повместительнее и побольше денег, против конкуренции. А для ясности выставили повсюду фотографии противников и футбольных звезд. Нет Thule ultimo[1] для экономической экспансии, и основа этого убеждения — непрерывно растущий валовой общественный продукт.

Если хочешь знать, говорит Паула, видимо от души потешаясь за мой счет, мы бы никогда не стали одной из богатейших наций, если бы каждый прокисал, как ты, поутру над своей чашкой кофе в надежде, что, уповая на господа бога, можно будет ничем себя не утруждать.

На какого еще бога? — недоумеваю я.

На бога противогазов и противоатомных убежищ, отвечает Паула.

Это уж чересчур, а вообще-то, сладкий кофе довольно быстро поставил меня на ноги.

Что же это за Паула, скажите на милость, которая вот уже сколько дней только и знает, что дерзит? В моем представлении Паула совсем не такая.

Пошла ты к дьяволу, говорю я, даже не пытаясь заставить свой вялый язык четко выговорить «ш». Что ты мне тут подсовываешь? Уж не сомнительный ли призыв «назад к природе»?

К какой природе? — коротко спрашивает Паула, и я вижу, как она встает из-за стола и направляется к двери.

Что это ты задумала?

Судя по ее виду, она и впрямь решила бросить меня на произвол судьбы.

Не может она так со мной поступить.

Слушай, говорю я, стараясь не впадать в интонацию маленькой девочки, на которую невольно сбиваюсь в таких ситуациях. Слушай, ты ведь должна понять. Я устала защищаться, потому и вела себя так. В конце концов, с твоей стороны тоже нехорошо говорить, будто единственная непреложная истина, с детства вдалбливаемая нам в стране, которую мы можем звать отечеством или родной страной,— это валовой общественный продукт. Подобные заявления граничат с кощунством.

Она остановилась, положив ладонь на ручку двери.

---

[1] Крайнего предела *(лат.)*.

У меня в голове вертятся начальные строки песни, исполняемой женским ансамблем: «На дороге под булыжником песок, вырви же камни из песка...»

Передали один раз по радио и хватит: лучше что-нибудь в мужском вкусе.

У Паулы и в мыслях нет вернуться на свое место.

Слушай, говорю я, ты уж прости.

Она по-прежнему не трогается с места, и я спрашиваю себя, не подарить ли ей примирения ради что-нибудь из моего гардероба.

Наконец она опять усаживается за стол и говорит, что хотела бы получить мои волосы. Одежду мы уже и так делим.

Я, мол, должна отрезать волосы для ее куклы с фарфоровой головкой и прической из синтетики.

Знаю, когда-нибудь она эту куклу уронит.

Часть IV. Осень

1

Смирилась перед жизнью, как перед необходимостью кастрации.

Ни разу не задумалась над тем, что, возможно, скована в своих движениях. Теперь, осенью, став впечатлительной, обретя восприимчивость, Паула склонна к преувеличениям.

Спущенный пруд еще далеко не смертельно отравленная планета.

У нее словно отравлен мозг.

Не одни только книги оказывают громадное воздействие. Кухонные ножи тоже полагается изымать из ручной клади авиапассажира, и пользоваться ручными гранатами дозволено лишь посвященным.

С трудом Паула выучилась разбирать буквы, усвоила алфавит. Теперь она читает бегло — впрочем, для человека ее профессии иначе и быть не может.

Книга — это ведь не граната, верно? Не может она быть гранатой. Да у Паулы и книги-то нет, есть только Феликс.

Он стал холоднее. Рассудочнее. Однажды взял ее с собой. Действительно, другой женщины он не завел.

Ужас перед кастрацией донимает его все сильнее, и Паула объясняет это тем, что он находится так далеко от своего настоящего дома. Для тревоги нет причин.

Ничего такого, что могло бы подпалить ее дом разом со всех четырех сторон.

Она хоть и принадлежит к поколению, которое намеревалось стать на баррикады, но политикой никогда всерьез не занималась. А поэтому чувствовала себя неуютно, придя с Феликсом к его друзьям, да и в чисто языковом отношении было трудновато.

Сегодня они у озерца возле автострады. Конец сентября. Феликс за рулем. По радио — сообщение об уровне рождаемости, который продолжает падать.

Вымирающий народ, говорит Феликс непривычно саркастическим тоном, и Пауле это нравится.

Человечество пока не вымирает, отзывается она, мы-то ведь живы.

Вода, уверяла она, здесь оттого бурая, что течет из болота. Хлопья пены у берега никак не связаны с загрязнением окружающей среды.

Дохлая рыба на берегу явно смердит.

Ранним утром и вечерами по выходным у воды на складных стульчиках сидят люди с рыбацкими удостоверениями — пытают счастья. Во время соревнований рядом толкутся жены и дети с термосами и бутербродами. Часами никто не произносит ни слова.

Что вы задумали? — спросила Паула, когда они возвращались от его друзей.

Заново начать историю Испании, ответил он, порвать с прошлым. Нет, никаких покушений на туристов. Мы выполним обещание свободы.

Дерзкая мечта о счастье.

Идея меж двух войн.

Кто ее не защищает, заявил Феликс, тот ее предает. И незачем тут болтать о счастье.

Надежда? — любопытствует Паула.

Вечером они увозят рыбу, и удочки, и складные стулья, и жен, и детей, и пустые термосы, замораживают улов, так же как зайцев, попавших под колеса на шоссе. Какой же дом нынче без морозильника.

Уровень воды сегодня низкий. Раздолье для пиявок. Бутылочные горлышки, жестянки, обрезки труб в иле. Болотная вода полезна для здоровья.

Но летом, говорит Паула, природная гармония была в полном порядке. Я сама видела стрекозиную парочку. Знаешь, недавно мне приснилось море. Чтобы попасть на берег, нам пришлось несколько километров идти пешком и перебираться через сточную канаву. В море была не вода, а прямо клоака. Я полезла в нее только потому, что, когда приезжаешь на море, положено окунуться в прибой. Я начинаю побаиваться, говорит Паула, хотя все время твержу себе, что мы не умрем, пока живы.

Ты жива?

С запада по небу, которое теперь бледнеет уже к шести, летит пассажирский самолет. Упершись затылком в подголовник, Паула недвижно сидит рядом с Феликсом.

Самолет почти недвижен в рамке ветрового стекла.

На первый взгляд мысль о том, что Паула — как раз такой случай, который никому не уладить, кажется нелепой.

Обычно библиотекари не склонны нарушать порядок. Во все тяжкие пускаются, как правило, представители других профессий. Правда, успел уже появиться плакат, намекающий, что чтение оглупляет и воспитывает жестокость, ибо наш президент — тогда он еще не был президентом — ошибочно заключил, будто Генрих Бёлль написал некую книгу под псевдонимом Катарина Блюм [1], однако же библиотекарей пока особо не прижимают. Население остерегают от них редко.

Паула достаточно долго была счастливым образчиком молодой женщины, которая не привлекала к себе внимания. Совершенно необъяснимо, как она вообще умудрялась функционировать.

И вдруг ее прорвало — прорвало, и выплеснуло наружу, и опустошило; она стала впечатлительной и больше не объясняет свою впечатлительность одним только расстройством внутренней секреции, больше не воспринимает себя как вещь. Взглянула на себя со стороны — и удивилась.

Пока только удивилась. Противодействия еще в помине нет. Есть разве что тенденция, легкая склонность. Склонность? Например, к некой дисфункции, хотя все должно быть превосходно.

Мать она больше не навещала. О брате почти думать забыла. Вальрафа с полки не убрала.

Отмахнулась от неприятностей, которыми обязана Урбан. Только сказала: ну что может случиться. Ведь они без меня как без рук. Нет, с истерией семидесятых годов даже в Д. покончено.

Откопать другую Паулу? Зарытую, засыпанную, заросшую тра-

---

[1] Героиня повести Г. Бёлля «Поруганная честь Катарины Блюм».

вой вредину, что таилась в ребенке, бледную немочь, что в нетопленой спальне зачитывалась всякими чудными книжками.

Может, надо было поменьше читать? Не забивать себе голову книгами. Мытье головы и укладка волос в последнее время вздорожали, равно как и бензин.

Но есть и такие библиотекари, которые работают с книгами без ущерба для себя.

Паула аккуратно наклеила букву за буквой на белый картон: «НОВИНКИ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ»; с помощью Феликса неумело пристроила эту надпись на верху стенда, где собирается регулярно раз в месяц выставлять новые книги.

Могли бы и рабочего пригласить из ратуши, заметила Фельсманша.

А разве тут есть рабочие?

Как же, здание дало трещины.

Но ведь сеньор Перес сделал все как надо, ответила Паула, идя на поводу у собственной гордости, с тем чтобы смутить пожилую фройляйн. И добилась-таки своего.

Или, по-вашему, у него плохо получается?

Фельсманша чуть скривила губы в усмешке, повернулась и исчезла между стеллажами, хотя делать ей там было совершенно нечего.

Как хорошо внести ясность, говорит Паула Феликсу. Она меня ненавидит. Зачем же я стану этому мешать?

Второй раз Феликс согласился помочь с большой неохотой.

Позвала бы рабочих, сказал он, что старуху-то провоцировать. Что она тебе сделала?

Ничего. Явного повода вроде бы и нет. Разве только неодолимая потребность глубоко вздохнуть, покончить с одышкой. Оградить себя от астмы и окостенения суставов, регулярно при открытых окнах делая утреннюю зарядку.

В принципе ей бы не стоило давать возможность копаться в себе.

Не привыкшая иметь дело с чувствами, Паула доходит до нелепостей. Нелепо думать о покупке дома в Испании. О том, чтобы хоть зиму проводить на юге. Да разве она сумеет вырваться зимой на юг? Зимой ей положено быть в городе, среди муниципальных стеллажей. И осенью, когда появляются книжные новинки, она должна быть здесь. Разве она посмеет послать к черту свою работу и удрать, смотать удочки? Лишиться счета в банке и поставить крест на будущей пенсии.

Прыгнуть вниз без всякой страховки, без сетки. Кто же прыгает, пока как следует не допекло?

Во всяком случае, не Паула.

До поры до времени она еще варит в кабинете утренний кофе, который Фельсманша не пьет, а скоро и Урбан не составит Пауле компании: в октябре она уходит.

Нет, сказала Урбан Пауле, более выгодных предложений она не получала. И вообще ни о каких библиотеках речи нет. Поедет с друзьями в Грецию, они арендуют там землю, станут ее обрабатывать — начнут новую жизнь.

А как же компьютеры? — спросила Паула.

Пройденный этап, ответила Урбан.

В один миг беспощадно все поломать? Переметнуться от компьютера к другой крайности?

Это возраст виноват? — спросила она у Феликса. Вы другое поколение, так, что ли?

Я все взвесила, уверяла Анетта Урбан, разобралась в своих неприятных ощущениях и сделала вывод.

Лучше все-таки укрыться в привычном? Варить кофе и смотреть, как струя кипятка льется на порошок в фильтре. С какой стати отказываться от этого.

Только Фельсманша, сославшись на давление, может с полным правом не пить кофе.

Ну и уродина. Гладкое лицо, на котором годы не оставили следов, выглядит нелепо. Жизни-то не было. Жизнь потихоньку прошла мимо. Ей не вынести этого. Ненависти, которую держат в узде.

Возьмешь меня с собой в Испанию? — спрашивает она. Феликс сидит в гостиной над учебниками, готовится к новому семестру.

Если я тебя попрошу, продолжает Паула, заметив, что он мнется. Когда же его чувство к ней переменилось? Она в смятении. Нельзя допустить, чтобы он зарылся в свои книги. Он сидит за ее столом, спиной к двери, в конусе света от настольной лампы; другая половина комнаты тонет во мраке.

Паула пересекает гостиную, подходит к нему сзади, обнимает за шею, упираясь подбородком ему в волосы, заглядывает через плечо: он занят писателями-романтиками.

По-старому оставлять нельзя. Но ведь непонятно, как иначе. Никакой резкой ломки, лучше исподволь, сперва чуть заметно, даже вовсе незаметно, лучше изнутри, чем извне.

Знаешь, сказала Паула Феликсу, когда они вышли из квартиры его друзей и спускались вниз по тускло освещенной лестнице, знаешь, в детстве я плакала так же редко, как и мой младший брат. Я презирала соседских девчонок, которые старательно плели из желтых одуванчиков венки, ожерелья и браслеты. Мне их занятие казалось глупым, я знала, что все увянет еще прежде, чем будет готово.

Вероятно, ты и в куклы не играла, отозвался Феликс.

Я и сейчас иногда плачу над книгами, добавила Паула.

Нет, Феликс ничегошеньки не понял. Паула ждала понимания, сочувствия, а вышло, что с пониманием туго.

Теперь, сказала она, я все-таки возьмусь за испанский. Не сказала: по-старому нельзя, но как иначе? Принесла из фонотеки домой пленки с курсом испанского языка, терпеливо принялась заниматься, просила Феликса исправлять ошибки в произношении и не замечала, что ее рвение утомительно для него.

Да, нет у него навыка ловить камень так же легко, как мяч.

Мотор выключен, но он пока что сидит в машине.

Если хочешь знать, говорит он, то, по-моему, воду необходимо спустить, ведь она такая грязная, что рыбы, того гляди, передóхнут. Неужели ты вправду намерена тут купаться?

Вероятно, другого случая в нынешнем году уже не представится, отвечает Паула; она выходит из машины, снимает через голову джемпер, расстегивает джинсы, сбрасывает туфли. На ней бикини, тот самый, что она носила на Лансароте; отойдя подальше от машины и от Феликса, она останавливается на берегу, кидает в озеро камешек, а потом и сама осторожно спускается в воду.

Под ногами ил. Рот лучше не открывать. В извечном страхе перед заразой она выплывает на середину.

Вдалеке маячит автомобиль: обе дверцы распахнуты, точь-в-точь птица с подрезанными крыльями.

Среди своих друзей Феликс чувствовал себя превосходно. Был оживлен, как в первые недели после приезда.

Все мы тоскуем по дому, сказал кто-то Пауле, привыкнуть трудно: климат другой, люди. И начал рассуждать о родине. Понимания

он у Паулы не встретил. Скорее заинтересованность, сочувствие. Что это, увлеченность?

Кожа у нее зудит, когда, обогнув хлопья пены, она вновь карабкается на крутой берег, цепляясь за пучки травы, чтобы не сорваться в воду.

Машет руками, отгоняя комаров.

Как известно, в Средиземном море отравы куда больше, чем в этом пруду. С этими словами она берет с заднего сиденья полотенце и, поеживаясь, вытирается — когда солнца нет, теперь быстро холодает.

И все-таки купаться можно.

Феликс слушает радио и Паулу. По радио передают что-то латиноамериканское.

Он только кивает, когда Паула обертывает бедра полотенцем и переодевается под прикрытием дверцы.

Знаешь, говорит она, в последнее время со мной творятся странные вещи. Я все чаще ловлю себя на том, что воспринимаю процессы, происходящие за пределами моего мозга, как обман чувств. К примеру, давешний самолет. Он что, вправду полз по ветровому стеклу?

Нет, не по стеклу, сухо отвечает Феликс, а Паулу коробит: в его голосе не осталось и тени меланхолии.

Она надевает джемпер прямо на влажное тело, снимает полотенце, застегивает молнию на брюках.

Псевдодвижение, говорит она, мнимая подвижность, на деле ничего не меняется.

Феликс молчит, и она наклоняется, заглядывает в машину. Он сидит совершенно неподвижно. Словно кукла.

ОДИННАДЦАТАЯ УТРЕННЯЯ БЕСЕДА С ПАУЛОЙ

Накрыв стол к завтраку, я принимаю ванну. Размышляю о себе. В теле пустоты. Только о себе. Но в голове — дети. Кошка окотилась. И бегония что-то слишком разрослась — почему? Я купаюсь в масле и уксусе. Запираю дверь, хотя муж и дочери еще спят. Шесть квадратных метров для меня одной. Вообразить, будто других людей на свете не существует. Масло и уксус полезны для кожи. Я мысленно представляю себе гладкую кожу, опять как у молоденькой девчонки. Моей коже всегда не хватало гладкости. Думать о начале. Руки не шершавые. Любоваться фотографиями. Лицом, которое было моим. Погрузиться в воду. Запереть дверь и размышлять.

Порой я вижу сны. Вечно одно и то же: дом, который ломается, будто игрушечный. Я говорила, что люблю его. И говорю, что люблю,— ведь я живу в нем. Но комнаты мне незнакомы. Снаружи дом не такой, как внутри. Из-за масла вода не смачивает кожу. Искупаться в молоке ослицы. Сменить кожу. Руки плавают на поверхности, точно совсем не мои. Средние пальцы на обеих руках заклеены пластырем — нарывают. В кухне у меня прорастают подсолнухи, а по почте я выписала вьющиеся розы, чтобы прикрыть ими сетку ограды. Порой я мысленно покидаю свою оболочку: что-то пребывало в покое и вот шевельнулось, ожило. Ростки мне хорошо знакомы. Длинные, бледные. Если я пересажу их из плошки с водой в землю, то, наверное, вырастут подсолнухи. Я их люблю, а может, и нет. Что-нибудь да будет.

Нет, не будет ничего, так как я боюсь одиночества.

Паула где-то прячется. Ее место в кухне свободно. Нельзя допустить, чтобы она меня бросила.

Как я тогда во всем разберусь?

«Песни птиц» я никогда не слыхала.

Пабло Касальс[1], говорила Паула, гимн свободы испанских республиканцев.

Где-то я читала, что у иберов несчастная любовь к свободе. Свою врожденную склонность к полнейшей анархии они неуклонно возмещают требованием полнейшего единодушия.

Феликс для меня чужой. У меня были только очень-очень скудные сведения о некоем мужчине, на которого я должна ориентироваться.

И все же бегство не в частную жизнь, говорила Паула, а скорее к душевному оздоровлению. Здоровье индивида — основа здоровья общественного.

Нельзя подставлять в уравнение половинку и ошибочно выдавать ее за целое.

Уйти от духовного умерщвления.

От ледяного забытья, которое вовсе не сохраняет тебя в живых, как обещано, а просто позволяет с легкостью тобою манипулировать.

Наверное, я была глуха и слепа. Нельзя путать внешнее и внутреннее.

Этого мужчину я вижу только снаружи. Каков он изнутри — неведомо.

Может, вдобавок еще и тайное желание провести с Феликсом ночь — как Паула. Ориентироваться на собственный текст, как на реальность.

Вода в ванне мне по шею. А в кухне на столе лишний прибор — для Паулы.

Лежу, смотрю в потолок и замечаю там трещинки. Распада не остановить.

Зимою этот дом выглядит не так, как летом. Ранней осенью на стене огнем пылает дикий виноград, а в ноябре все уже голо.

Сжимая дом в объятиях, виноград его пожирает.

Почему я непременно должна любить этот дом? Только потому, что он — мой?

Нет, Паула, говорю я, тебе только кажется, будто я по внешнему виду сужу о внутреннем мире. В действительности я гляжу внутрь, а потом наружу. Все остальное — иллюзия.

Я вдруг замечаю, что впервые назвала Паулу Паулой. Когда я вышла из ванной, она сидела в кухне. Я даже вздрогнула от радостного испуга, какого не испытывала уже целую вечность.

Я засыпаю ее вопросами, точно она сбежит, если не удержать ее этой атакой: что ты на самом деле знаешь о Феликсе? Он в партии? В какой? Может, я чересчур уж прямолинейно выпихиваю его в политику?

Паула — само спокойствие, не то что я. Нет, говорит она, он беспартийный.

А его друзья?

Большинство, думается мне, такие же, как Феликс. Двое-трое, возможно, состоят в Испанской социалистической рабочей партии.

Феликс, благодушно говорит она, по-моему, до сих пор ни разу еще не видел ветряной мельницы изнутри.

2

Летом в природе еще царила полная гармония. Так казалось Пауле. Октябрь нынче золотой, как реклама вина. Целыми днями сияет солнце, будто земля сбилась с пути. Или в воздухе избыток лака для волос, атмосфера склеилась.

Только солнце и выглядит как всегда. Немыслимо, чтобы оно было смертоносно.

Все планы насмарку — во Франкфурт на книжную ярмарку Паула не поехала. А ведь на этот раз ей бы не пришлось отпрашиваться у начальства. Но обстоятельства вынудили ее остаться. Как только за-

[1] Испанский виолончелист, дирижер и композитор (1876—1973).

кончился испытательный срок, Урбан немедля собралась и была такова, а фройляйн Фельсман серьезно расхворалась. Вопреки всем медицинским канонам, она подхватила менингит, которым обыкновенно болеют весною и летом, но уж никак не осенью.

Впустив в библиотеку свежий ветер, Паула теперь в одиночестве сидит на сквозняке. Скучливая досада подступает к горлу, словно отрыжка. Нет, она не жалуется. Да и на что жаловаться-то?

Она все еще старается внушить себе, что тревожиться незачем, так как пока не уверена, вправду ли ошиблась временем и местом. Не допустить распада: пока надежда крепка, обойтись мелким косметическим ремонтом, а не сносить всю постройку.

Сносят только лишь соседскую халупу, давно обреченную на слом. Внешне в деревне кое-что меняется. И сломали, и вывезли еще до наступления зимы. Разбили, как игрушку, и ветер гонит по улице облако цементной пыли.

Глядя на падающие стены, старуха, родившая в этом доме сына, жмется поближе к невестке.

Не такой уж он был и старый. Лет восемьдесят простоял, не больше. На кирпичах — клеймо итальянца-подрядчика, который обосновался со своими работниками в здешних краях. Почему он уехал из Италии?

Осталась куча мусора, из которой торчат остовы кроватей, что некогда были частью приданого.

Напротив, в старом школьном здании, разместилась мастерская, где шьют блузки. Самое позднее часа в четыре вспыхивают лампы дневного света; работают там женщины, они очень рады, что нашли место поближе к дому, к детям и в город мотаться не надо.

Позднее Паула видит в окне соседа: направляясь в трактир, он делает крюк через кладбище — ведь лачугу снесли и спрятаться негде. Возможно, этот путь знаком ему с детства. Хоронясь от родительского глаза, он таким манером до самой еженедельной исповеди крался от дозволенных свобод к недозволенным.

Деревенские своих домов еще никогда не поджигали.

И Феликс уедет не вдруг. Он как-то незаметно повзрослел, думает Паула. Она, конечно, понимает, что их отношения изменились, но мысли о разлуке не допускает.

Не допускать, чтобы тебя покинули.

Когда Паула, нагруженная книгами и ящиком формуляров, появляется в доме для престарелых, там пьют кофе. Уже знакомые старческие лица склонились над чашечками кофе и тортом. Угощает стариков весьма общительный муниципальный советник, которому никак не откажешь в оптимизме. Небесные кущи здесь никому сулить не надо, старикам и без того до неба рукой подать, окончательно и бесповоротно. Вот он и держится с ними как сын, только, конечно, не блудный.

От кофе с тортом Паула не отказывается. Очищенный от кофеина напиток безвреден для изношенных сердец.

Заведующая, у которой хищные руки под стать подбородку, опять в цветастой блузке с эмалевой рыбкой. Но на сей раз запах кофе перебивает запах мастики. А уж о сирени и вовсе думать нечего.

Один из стариков спрашивает Паулу, может ли она объяснить, почему он, железнодорожный рабочий, целых тридцать лет, пока не вышел на пенсию, должен был молотком простукивать на станции вагонные колеса.

Вы никогда не спрашивали у своего начальства, в чем смысл этого занятия? — осведомился муниципальный советник, дорожащий каждым избирательным голосом.

Вначале она не хотела его удерживать. А теперь покупает ему на зиму свитер, шерстяной шарф, пальто и перчатки. Как он ни упирается, она настаивает на своем и платит сама. Хотя знает, что денег у него вполне достаточно. Зимой он должен быть именно таким: в свитере, в шарфе, пальто и перчатках, думает Паула. Только от сапог на меху он отказывается наотрез: они, мол, без подковок.

По субботам за булочками ходит Феликс, а Паула отсыпается; в деревенской лавке он забирает всю сдачу до последнего пфеннига.

Сапоги он сравнивает с периной — слишком тяжело для любви и для легкой походки.

Паула наконец-то надумала его закрепостить — не слишком ли поздно?

Его мать представляется ей этакой матроной. Низенькой, толстой, черноволосой и бледной. Письма от нее приходят теперь чаще. Пока Паула за столом, письма так и лежат возле тарелки, Феликс к ним не прикасается. Читает он их потом, в спальне.

Пауле он рассказывает о влюбленных из Теруэля. Бездыханные, изваянные в мраморе, покоятся они на своих каменных ложах, рядом, но не вместе, и рукам их вовеки не соединиться.

В эту пору у нас дома море еще теплое, говорит он. Только летом воздух над Малагой стоит без движения. Осенью он поднимается к крепости, руины которой сейчас как раз реставрируют. Видно далеко-далеко: от бухты — поверх башен — до самых гор, играющих всеми оттенками синевы. Малага у него с языка не сходит. Хотя есть места и получше.

Моя мать, говорит он, высокая блондинка. И насчет сестры ты ошиблась: она очень похожа на отца.

Паула рассказывает свой сон: как она ночью идет по какой-то местности, идет и знает — ей только снится, будто она идет и никогда не достигнет цели.

Ты была голая? — спрашивает Феликс.

В пути ей повстречался он. Стал расспрашивать, и она ответила, что не знает, куда идет. Нельзя, сказал во сне Феликс, от этого падать духом.

От чего «от этого»?

А вот от чего, говорит Паула. Во сне ты сказал, что придумываешь, как бы меня покинуть.

Он — тот, что во сне,— был очень уверен в своей правоте. Ты ведь уверен в себе или нет? Твой мир по швам не затрещит.

Их два, поучает он ее.

Два мира?

Твоя половина и моя, говорит он.

Нет, если б было две половины, они бы обе разладились.

Твоя половина, говорит Паула, тоже должна бы испортиться, раз моя сошла с рельсов. Но я этого не замечаю. Ты от меня уходишь?

Ты могла бы уйти со мной, роняет Феликс без всякой горячности в голосе, и она понимает, что отучила его от чрезмерных эмоций.

Куда уйти?

Анонимные письма приходят теперь регулярно, однако это не очень ее трогает. Задевает, конечно, но только иногда вызывает страх, что если анонимщик перейдет от слов к действию, то она и впрямь столкнется с жестокостью и насилием.

Куда важнее упрек советника по культуре, что-де от граждан поступают все новые жалобы, так как Паула не исправляет ошибок Анетты Урбан. Распростившись с этой девицей, любой бы на ее месте вздохнул с облегчением и вернулся к старым испытанным методам.

Ведь самое главное в том, чтобы дети изначально составили себе правильное впечатление о мире. Нельзя вносить сумятицу в головки малышей, которым еще жить да жить.

На этот раз Паула не теребит ворот блузки, не садится, стоит у окна, скрестив руки на груди.

Кто же именно нажаловался?

Это роли не играет, тут важен сам факт, говорит он. Как вы знаете, мы всецело вам доверяем и надеемся на вас.

...Лицо Фельсманши за стеклом изолятора показалось Пауле бледным и осунувшимся. Смотреть жалко.

Возможно, она умрет, так и не пожив по-настоящему. Или она слишком дорого заплатила...

Приобретением книг занимается теперь, понятно, только одна Паула. Быть может, фройляйн Урбан, с виду такая хладнокровная, на самом деле была довольно пылкой натурой.

Нет, говорит Паула, пытаясь найти оправдание; она объективно выявила недостаток и постаралась хоть как-то его устранить. Городская библиотека не чета приходской, объясняет она. Мы обязаны знакомить читателей со всеми книгами, которые можем им предложить.

Тем не менее вам следовало увязать предложение со спросом.

Да ведь так и есть, замечает Паула, не будь спроса, эти книги стояли бы себе, нечитанные, на полках и волноваться никому бы не пришлось.

Как библиотекарю, ей действительно хочется воспитывать читательские вкусы, формировать литературные привычки, непринужденно признается она.

Ночами глаз не сомкнуть. Рядом с Паулой Феликс, спит крепко, точно никогда не видит снов. На церковной башне каждые пятнадцать минут бьет колокол, к концу часа все громче. А в полночь уже кричат петухи.

В конце концов Паула встает, заслышав, как под окнами почтальонша прислоняет к забору свой велосипед и сует в жестяной ящик газету.

Мало-помалу деревня оживает. Из птиц в эту пору остались одни воробьи. Все другие улетели. Кто остался, тот уж не поет.

Машина проехала, в такую рань они еще редки; потом прошла какая-то женщина — видно, торопится на первый автобус.

Заваривая кофе, Паула читает: цыгане объявили на территории мемориала голодовку, чтобы привлечь внимание к дискриминации, которой их подвергают по сей день.

Вот, думает Паула, другая возможность для Д.— не говорить больше, что, дескать, и не видали ничего и не слыхали. Не заметать сор под коврик, не ставить поверх диван.

Сказать: да, так было, но пусть это никогда больше не повторится; сделать символ попранного человеческого достоинства символом протеста. Символом защиты прав человека.

Не говорить, какое, мол, нам дело до остального мира, пока работают колбасный завод и бумажная фабрика, а автомобильные приемники находят покупателей. Да, мы *были* городом художников, но этого мало. Нельзя прикрывать вчерашний день позавчерашним, замазывать, затирать, словно все еще живо.

Положить конец и начать сначала — вот как надо.

Почтить сопротивление шестерых погибших не просто табличкой на здании сберегательной кассы, нет, отмечать это сопротивление как праздник, а не вспоминать тайком о дне рождения Гитлера, тогда лицо города станет иным, новым. И сердце забьется быстрее, отгоняя подползающую смерть.

Да у какого бога найдется на небесах место для воинства слепых и глухих, которым не дано ни видеть его, ни воспевать?

Торт, кофе и порозовевшие лица стариков. Кое-кто радуется, когда Паула приходит с книгами.

Многие понимают: торт — тоже всего-навсего подачка. До сих пор Паула не приводила сюда делегаций работников культуры.

Лишь на пути к машине ей становится ясно, что этот советник представляет в муниципалитете оппозицию. Он ступает чуть ли не с робостью, потому что ботинки у него скрипят.

Слишком уж мало она интересовалась коммунальной политикой. Забилась в скорлупу, а оттуда видно не бог весть сколько.

К своему изумлению, Паула обнаруживает, что по симпатиям ее причисляют по меньшей мере к социал-демократам. В расчете на соответствующую реакцию с ее стороны заводят речь о собрании горожан и присылают приглашение от обер-бургомистра.

В приглашении он упоминает об инициативах, с которыми его граждане могут выступить на собрании, но не о запросах, хотя отец города обязан реагировать только на формальный запрос.

Паула вдруг замечает, что ее стараются вовлечь в местную политику.

Нет, говорит она, я живу не в Д.

Стало быть, на собрании горожан у нее нет права голоса, и вообще она не уверена, хватило ли бы ей смелости выступить, даже будь у нее такое право.

Наконец совсем рассвело; Паула возвращается в постель. Феликс лежит на спине, комком прижав к животу одеяло и простыню. На лице обиженная гримаса — ему снится что-то нехорошее. Он не просыпается, когда Паула тщательно укрывает его и ложится рядом. Она юркает под одеяло, не оставив себе даже отдушины, сворачивается клубочком, обнимает Феликса и засыпает, как в детстве, когда уставала бороться с собой и все-таки опять совала в рот большой палец.

3

Досада и омерзение. Выходит, переезд в Д. все-таки был ошибкой?

Утопив голову в подушку и глядя наискось вверх в окно, она видит под куполом церкви красный сигнал для самолетов.

Я задыхаюсь, говорит Паула, в горле у нее першит от сухого кашля. Феликс молча лежит рядом. Отметить все признаки болезни. Лежать в темноте и слушать шорох автомобильных шин по мокрой мостовой. И испытывать чувство, будто видишь сон: вот она ползет на четвереньках по длинному подземному ходу и знает, что выхода нет. Рассчитывать, насколько хватит воздуху. Но не останавливаться, стремиться вперед. Безрассудная надежда.

Хоть бы я ошиблась, говорит Паула, хоть бы ошиблась. Ты спишь? Нет, отвечает Феликс.

После второй пункции у Фельсманши появился свист в ушах. Ее подлечили, поставили на ноги, но на работу пока не выписали и из-за свиста направили к психиатру.

Может, тебе страшно? — спрашивает Феликс.

Я уверена, говорит Паула, она в жизни к себе ни одного мужчины не подпустила. Временами мне кажется, что она — пустыня, существующая лишь для порядка, потому что в атласе тоже есть пустыни... Если бы можно было сказать, что собственный порядок уже не порядок, что происходящее у нее в голове день ото дня становится все непонятнее.

Феликс поворачивается на бок, пододвигается ближе. Чего ты боишься?

Все так перепуталось, говорит Паула, надо разобраться, а я не знаю, с чего начать.

Он неудержимо проникает в нее.
Тогда бросай все и едем вместе, говорит Феликс.

Да, он улетает с легким сердцем. Из немецкой зимы в южноамериканское лето.

Паула отпросилась на день, чтобы проводить брата на аэродром.

Почему, спрашивает он Паулу в кафетерии, где они перед самым вылетом пьют кофе, почему бы мне не строить атомную электростанцию, если за это платят?

Почему ей никогда не приходило в голову участвовать в демонстрациях против атомных электростанций. Аварии на реакторах упоминаются разве что в сводке утренних новостей. По крайней мере такие, как в Харрисберге. Всего лишь сочувствие к демонстрантам, но и упрек брату; а собственную инертность так и не одолеть?

Если не он, то другие это сделают. В Ландсхуте в окрестностях реактора птенцы у воробьев сплошь альбиносы и уроды.

Давно ли ты так наивна? — спрашивает он сестру. Мать осталась дома. Прощальных сцен не будет.

Нет, какие там сомнения. Для него это непозволительная роскошь, если охота уцелеть. Жизнь, говорит он,— штука простая, только жить надо одним днем. Детей он заводить не хочет. Он знает, о чем говорит.

Сходства с Феликсом Паула больше не видит. Будь осторожен, говорит она. В сущности, брат уплыл тогда вовсе не сам, его попросту унесло течением.

Смотри не заразись, говорит она и удивляется собственной жестокости: раньше она запрещала себе так относиться к Матиасу.

Чем не заразись?

Испанским вирусом.

Что ты имеешь в виду? — недоумевает брат. В лагере у нас все будет как в Европе, надо быть полным идиотом, чтобы по неосторожности подцепить такое.

Испанский вирус, насмешливо объясняет Паула, перекинулся уже и на Южную Америку и жаждет свободы, совсем уже близкой свободы.

Она бы предпочла попрощаться с ним по-доброму.

На секунду Матиас усомнился в рассудке сестры.

Этот парень забил тебе голову всякой ерундой, говорит он наконец, отошли его домой, пока не разочаровалась.

•

Знаешь, говорит Феликс, у нас дома кое-кто уже снова с восторгом толкует о Франко. И виной тому не реформаторы, а тяжелое положение в экономике.

Паула ждала его только к вечеру, но он возвратился из М. днем и стоял у нее за спиной, когда она тщательно запирала на обеденный перерыв стеклянную дверь библиотеки.

Подлинная опасность идет от нищеты, говорит он, сидя у окна, там, где в тот раз сидела Урбан.

С виду дома кажутся необитаемыми. После Паула попросит ключ от уборной, чтобы хоть одним глазком заглянуть в кухню, где до сих пор готовят на дровяных плитах. Гигантская плита стоит посередине, занимая чуть ли не все помещение.

Выходит, испанское чудо не состоялось?

Под знойным небом, в желто-бурой земле, в глухом краю среди солнца и крепостных стен погребена надежда? Груда камней — знак насилия?

Сегодня ты вообще не ходил в университет, напрямик говорит ему Паула, ты был у друзей.

Он не дает себе труда сослаться на какую-нибудь мифическую лекцию.

В перерыве между супом и котлетой она замечает: твой страх перед отцами не что иное, как нелепый страх кастрации.

Да, страх перед фашизмом, отвечает Феликс.

Его страх, как он утверждает, идет от инстинкта.

Из окна его кабинета открывается совсем другой вид. Не красные кровли на дворцовом холме, как из окна советника по культуре. Отсюда, с высоты, виден весь Д. и каменистая равнина до самого М., а когда дует фён, вдали за большим городом маячат Альпы; эту панораму увековечили на своих полотнах знаменитые художники.

Больше всего обер-бургомистр любит музыку.

Не стоит придавать значение анонимным письмам, говорит он. И на миг озадаченно умолкает, узнав, что аноним тем временем уже успел позвонить Пауле в библиотеку.

Мы, говорит он, искореним это зло. Беспокоиться ей незачем.

...Мать советника по культуре зубрила испанский совершенно напрасно: кассирши в универсамах достаточно знали немецкий язык, чтобы правильно отсчитать сдачу.

Просто удивительно, заметил Феликс, как быстро ты справляешься с моим родным языком. Но пока, чтобы добиться понимания, Паула еще вынуждена прибегать к безмолвному языку жестов...

Значит, искоренить зло. Он принес Пауле список тех изданий для детей и юношества, которые помечены в каталоге как тенденциозная литература. А вдобавок статью министра по делам культов (он же ведает и культурой) о ситуации в области детской и юношеской литературы. Сегодня, читает Паула, эта литература зачастую дышит унынием, усталой покорностью и пессимизмом. Сплошь конченые личности. Но, к счастью, наша действительность богаче и многограннее.

Не отбрасывать мысль о том, кому она обязана этим списком.

Мы думаем, слышит Паула его голос, что страсти улягутся, если вы решитесь переставить сомнительные книги из отдела юношеской литературы в отдел для взрослых. По желанию родители смогут взять их там для своих детей.

Утром, одеваясь, она глядела из окна спальни на кладбище, наблюдала за вдовцом: он старательно разровнял землю, на которой сейчас нет ни цветочка, аккуратно отложил в сторонку инструмент, а потом стал в изножье могилы, скрестил руки под животом и склонил голову, как для молитвы.

Паула слыхала, что он грозился прибить соседскую кошку, если еще раз поймает ее на свежеразрыхленном холмике.

Феликсу она говорила, что до сих пор тосковала лишь по запахам родительской кухни.

Разговоров о родной стране, о метрополии она больше не выдержит.

Что же, прикажете ей считать себя колонией?

По Западной Германии, говорила она (он между тем надевал купленный ею белый свитер с высоким воротом), по Западной Германии я никогда не тосковала. Я бы смогла жить где угодно.

Говорила, что ни отец, ни мать ей не нужны.

Но теперь, вот в эту самую минуту, она не в силах бросить то, что создала.

Собрать вещи и удрать? Лучше сегодня, чем завтра. Но только без скоропалительных решений.

Уехать хочешь?

Кроме того, добавила она, срок твоей стипендии еще не вышел. Ведь нельзя же собирать чемоданы в разгар семестра, как ты это себе представляешь?

Вечером, вернувшись домой, она рассчитывала поужинать овощным супом с гофио.

Въехала в промокшую деревню, мимо автобусной остановки, мимо почты, справа за поворотом — сберегательная касса, слева освещенная витрина магазина, трактир обзавелся помпезной неоновой вывеской; уже с поворота она увидела свет в окнах, значит, Феликс дома.

В передней — светло-желтый кожаный чемодан и парусиновый рюкзак, на кухонном столе — открытка от Анетты Урбан (море на ней синée неба) и письмо Феликсовой матери, которое он забирает, когда Паула появляется в дверях.

Сегодня утром он сказал: твое отечество я представлял себе не таким холодным.

Стало быть, тоскует по южному климату.

Что ж, можно назвать это и тоской по климату.

ДВЕНАДЦАТАЯ УТРЕННЯЯ БЕСЕДА С ПАУЛОЙ

Я не хочу расстаться с ощущением, что видела приятный сон. Нагишом гуляла с Паулой по Венеции. В Венеции, которая представляется мне похожей на Ионинного кита [1], я бы хотела когда-нибудь написать книгу. Сложить вечерком дневной мусор в пластиковый мешок и вывесить за окно, на крюк в стене, выходящей на канал. Схорониться во чреве кита.

В соборе святого Марка мы обе — я и Паула — получили огромное удовольствие, собирая подаяния в мужскую шляпу и выводя фиоритуры.

Конечно, я бы и в Венеции могла проснуться и начисто забыть все слова. Онеметь. Раз, два — и готово. Язык словно улетучился из памяти.

Родному языку не разучишься, говорит Паула (теперь она остается и на ночь), как нельзя разучиться есть ножом и вилкой.

Нет, говорю я, ошибаешься. Конечно, я могу проснуться утром, а в голове — тишина, все остановилось. Мертвая фабрика. Нет больше ни матери, ни отца. Мир переменился. Ты забыла, какой он. И не стоит говорить: чти отца своего и матерь свою. Встань поутру и не произноси больше ни слова. Потому что ни слова больше не помнишь. Пустоты в голове.

Да ладно, отвечает Паула и гонит меня из теплой постели. Уж чем таким блещет твой родной язык? Брось. Брось бояться. Все можно назвать и по-иному. Наполнить ветхие мехи свежим, молодым вином, говорит она и упорно твердит, что сможет жить где угодно.

Конечно, можно утром открыть глаза, говорю я, и оказаться ветхим мехом, который рвется, оттого что стенки его истончились и прогнили.

К примеру, говорю я, пытаясь юркнуть обратно в постель, еще теплую от сна, к примеру, если спишь слишком мало, вот как я с тех пор, как корплю над твоей историей. Что ты делаешь, когда я устаю и вынуждена бросать работу?

В постель она меня не пускает. Ладно, постоим у шкафа.

Вообще-то, говорит Паула (с уверенностью экстрасенса она вытаскивает из шкафа именно то, что хотела надеть я), вообще-то тебе по идее легче собрать чемоданы, чем мне. Ты ведь не жила от рождения до окончания школы безвылазно в одном поселке, в одном доме.

Вот как, говорю я и обнаруживаю, что стирки прибавилось, ведь Паула тоже кладет свое грязное бельишко в нашу корзину,— по-твоему, у меня отродясь не было корней? С сорок пятого все время в пути —

---

[1] Иона — ветхозаветный пророк, персонаж библейской книги Ионы. Был проглочен большой рыбой (в славянском переводе Библии китом) и три дня и три ночи провел в ее чреве, взывая к богу. Вняв мольбам Ионы, бог приказал рыбе извергнуть его на сушу.

сперва бегство, потом переезд за переездом. Без конца. С одного места на другое.

Утром я иной раз спрашиваю себя, отчего мужчины всегда оставляют свои грязные носки там, где их сняли.

Но, говорю я, именно поэтому я обзавелась имуществом, которое удерживает меня на месте.

Ты, замечает Паула, должна действовать иначе. Не позволять себе плыть по течению.

А я плыву?

В море ты далеко заплываешь? — спрашивает Паула.

В кухне она уже поставила на плиту кофейник. Я признаюсь, что в море плыву, только пока дно близко, под ногами. Потому что тебе это непривычно, объявляет Паула и твердит: родина там, где не чувствуешь себя чужой.

С какой стати, спрашиваю я, ты рассуждаешь о родине? Повторяешь вычитанное в книгах и только-то. Я готова к бою и не уступаю. На этот раз мне уверенности не занимать. Испания для тебя — чужая страна, говорю я. Поэтому долго ты там не выдержишь.

Испания, какой видишь ее ты, отвечает Паула, существует только лишь в твоей голове.

А где в таком случае существуешь ты? — любопытствую я.

Ну хорошо, говорит Паула, если уж тебе никак нельзя без Испании, тогда учти, что оплакивать отныне придется не немецкую историю, а европейскую.

Но как же твой испанский вирус?

К лечению больного, говорит Паула, не давая мне встать, чтобы я не мешала ей готовить завтрак, надо приступать, когда его организм еще в состоянии быстро мобилизовать все свои силы на борьбу с недугом.

Стало быть, все же решение в пользу дерзкой мечты?

Ты играешь понятиями, говорит Паула, оперируешь химерами, мнимой удовлетворенностью, внушая себе, что в голове у тебя происходит естественная копуляция.

Мне легче сохранять спокойствие, пока она этак развоевалась. Как библиотекарше, ей бы не стоило принимать мою работу до такой степени в штыки, думаю я. Что у нее в мыслях, когда она говорит о копуляции? Моя манера любить, в сущности, ее не касается.

Представь себе шахматы, говорит она.

Мне незачем их представлять. Они лежат в гостиной, можно сыграть.

Нет, говорит Паула, ты не играешь. Тобой играют. Как думаешь, какая ты фигура?

Больше всего я люблю быть конем, отвечаю я.

Не больше всего, поправляет Паула.

Что же ты хочешь услышать? — спрашиваю я и чувствую себя загнанной в угол.

Разумеется, в ответ я могу назвать только пешку.

Между прочим, я еще ни разу не видела Паулу такой резкой и нетерпимой.

Едва совладали с шахматами, новое дело — представляй себе Европу.

Ты знаешь, говорит она, что начиная с революции в России и до конца второй мировой войны в Европе погибло свыше ста миллионов человек, не считая жертв гражданской войны в Испании. Какой стала бы Европа, не будь погибших? Ведь мы помним только об ушедших близких.

Уже к концу завтрака я опасливо спрашиваю Паулу: ты не передумала? Мне действительно надо обрезать волосы и отдать их твоей кукле?

Почему бы нет? — отвечает она вопросом на вопрос. В конце-то концов, не все ли равно?

А что ты сделаешь с волосами, если уронишь куклу? — допытываюсь я.

4

Будь она даже не виновата, ей бы нипочем не отделаться от ощущения вины. Сегодня она виновата. И вчера тоже.

Виновата. Потому что проспала.

Лежать, утопив голову в подушку, и глядеть наискось в окно. Вверху на карнизе сидят голуби. Не завтракая, сесть в машину и двинуться в город, мимо двух бензоколонок у въезда, перед второй из них сбавить скорость — не то оштрафуют за превышение, у них там радар запрятан — и дальше мимо нового здания окружного управления, где стоят дорогие стулья, оплатить которые можно только из кармана налогоплательщиков. Надо бы сменить резину, а то колеса буксуют на сырых камнях. Белый указатель отсылает туристов к замку, желтый — к концлагерю.

В прошлую субботу Феликс объявил, что, кроме себя, она никого и ничего не видит. Лелеешь свое «я» и прикидываешься несчастной, вместо того чтобы разобраться.

В чем? — спросила Паула.

Например, в том, почему ты не приемлешь слова «отечество» и отказываешь себе в ностальгии.

А ты? — спросила Паула.

Я?

У тебя ведь только и разговоров что о собственной персоне.

У меня трудностей нет, ответил он.

Нет у меня трудностей, отрезал он, глядя, как комнатная муха, уже невосприимчивая ни к холоду, ни к инсектицидам, вдруг в панике забилась между окном и занавеской, мне нетрудно ощутить себя частицей той страны, где я родился и вырос.

Южанин, сказала о нем Фельсманша, рассчитывая, что Паула, стоя по ту сторону стеллажа, услышит ее.

Я приеду, уверяла Паула на вокзале, приеду, как только смогу взять отпуск. Ты надолго уезжаешь? Она расстроила его план скрыться тайком, как из дому. При расставании ни сцен, ни слез. Ни беготни по путям, запрещенной и смертельно опасной. Феликс не сказал, когда вернется, обещал написать.

До поры до времени лечить надо осмотрительно. Недомогание Паулы. Предмет ежемесячных забот. Грамотные люди заботливы и осмотрительны.

Иногда, сказал обер-бургомистр, поддакивая коротышке советнику, точнее регулярно, женщинам бывает тяжко.

Так она могла бы отмежеваться от этой истории, оправдаться, сознаться, сдаться. Регулярно, по определенным дням,— не в форме.

Она могла бы ухватиться за эту мысль, подтвердить, что ее поступок — всего-навсего биологически обусловленная реакция, легкое нарушение гормонального обмена. Временное и поправимое. Не систематическое. Не обязательное. Ей бы простили ошибку. В конце концов у каждого дома жена, а у той временами что-нибудь подгорает, и она просит за это прощения. Да они были бы рады услыхать, что Паула не бунтарка и не беременная, что ее бунтарская выходка — просто результат недомогания. Обструкция в животе, а не в мозгу.

Их бы можно было успокоить. Они бы поняли, что дело обстоит так, а не иначе.

Что-нибудь другое, добавил бы, подмигнув, коротышка советник, было бы совсем не в вашем стиле.

Публичный бунт — не в ее стиле.

Разве она не могла каждый раз сурово и решительно класть трубку, и дома тоже? Вместо того чтоб ударяться в панику.

Истерия... В каком же свете предстает наш город?

Нельзя было писать анониму открытое письмо да еще публиковать его в местных газетах.

Писать, что ее грозили убить, пристукнуть, если она не уберет с библиотечных полок кое-какие книги.

Нельзя принимать всерьез болтовню какого-то одиночки, которому место в сумасшедшем доме. Нельзя приравнивать его бредни к критическим замечаниям и дружеским укорам, что делались ей пока исключительно с глазу на глаз. Нельзя говорить об антидемократическом духе: ведь он же вовсе не существует. Или существует, но только в больном мозгу этого типа.

Нельзя, пользуясь удобным случаем, в письме к безумцу преподавать гражданам Д. урок из истории библиотек. Рассказывать о бунтарском духе, который жил в читальнях минувшего века, предшественницах нынешних муниципальных библиотек.

Зачем было ставить вопрос о совершеннолетнем гражданине, который больше не позволит регламентировать, что именно ему читать?

Ни с кем не посоветовалась. И перегнула палку.

Публично спрашивать у психопата, не хочет ли он возродить фашизм. Обращаться к нему с призывом не трусить, не прятаться малодушно за письмами и звонками, не избегать открытой дискуссии, ибо свободный обмен мнениями, дескать, гарантирован конституцией. Вы же сами, прямо как нарочно, дразните его.

Как вы только додумались до таких нелепых поступков? Ведь вы знаете, что мы в любую минуту готовы поддержать вас и взять под защиту. Надо было довериться нам.

Коротышка советник намекал на недомогание, указывал Пауле путь отступления. Но Паула больше не отступает.

Она глядит в окно, на колонну в честь установления гражданского мира, которую перенесли сюда от старой ратуши.

Поймите же наконец, говорит Паула, я не могу допустить какого бы то ни было вмешательства в мои дела, а библиотека как раз и есть *мое* дело.

С климатом вконец худо. Не участвовать в открытии краеведческого музея, чьи экспонаты извлекли из ящиков и разместили в бывшем финансовом управлении. Не следить вперемежку с напитками и бутербродами за ходом церемонии, как на открытии городской библиотеки. Не глядеть на Фельсманшу. Бледную и исхудавшую, так что юбка на ней висит мешком. Лучше уж прихворнуть и остаться в постели. Сбить температуру. Осень за окном поливает деревню дождем.

Незачем выслушивать вопросы насчет Открытого письма и просьбы описать голос анонима.

Страшно — вдруг он перейдет от слов к делу и вправду явится сюда, станет у двери. Испытать на себе насилие? Отчего она нервничает? Такой тип мог бы и в Киле позвонить.

Альбом фотографий снят с полки. На предпоследней парте у окна сидит вовсе не Паула, там сижу я. На самой последней парте — близнецы, которые в шестнадцать лет уже выглядели старухами. Паула сидит у двери, она в очках, в белой блузке с круглым воротничком и в вязаной кофте, застегнутой на все пуговицы, руки чинно сложены на коленях. Она улыбается, так как фотограф сказал, что надо быть повеселее.

Застывшая поза. И место совсем другое.

Сбив температуру, излечив свое недомогание, она могла бы вернуться под крылышко отцов города; обеспеченная, опекаемая, осторожно наставляемая, она бы действительно могла воспринять объяв-

ленное на будущий год сокращение ассигнований как самое обычное узкое место в муниципальном бюджете. И не ударилась бы в панику. Не сочла бы это личным оскорблением. Если бы она вопреки ожиданиям забеременела, то, как заведено, получила бы отпуск или попыталась добиться разрешения на легальный аборт.

Она действует наперекор рассудку, но что ей от этого, кроме урона? Радость?

В сущности, она должна быть довольна. Могла бы и менингит подхватить от Фельсманши. Говорят, иногда эта болезнь заразна.

Температура, словно недуг в голове. Признак менингита — затрудненность движений. Больной не в состоянии подвести колено ко лбу или, наоборот, дотронуться лбом до колена. А виной тому повышение внутричерепного давления.

С какой стати ей мнить себя утопающей — только потому, что кухня не пахнет свежим чесноком, в духовке не жарится цыпленок, в суп не насыпано гофио, в стакане нет его зубной щетки, а в шкафу — белья?

Скорей уж можно вообразить себя камнем. Сама бросила себя в воду и теперь видит круги, бегущие по поверхности от ее падения. Чем дальше в глубину, тем шире кругозор. Разве она уже и самой себе чужая? Панический страх — очутиться на дне водоема и остаться там лежать недвижно на веки веков.

Чушь.

Чушь — думать, что стерилизация не обрекает женщину на бесплодие, а только убивает в ней желания. Чушь — сравнивать эту страну со стерилизованной женщиной. Непристойно и немыслимо для воспитанницы монастырской школы.

Она видела сны о каталожных ящичках и спала с мужчинами, не пуская их в свою душу. Тогда на Лансароте Феликс был с парнем, который не просто сопровождал его. Свои сны он никогда ей не рассказывал.

Он не хочет ребенка, но вовсе не потому, что его чувства изменились,— так он говорил. Изменились не чувства к Пауле, а только лишь возможность их свободного проявления; когда кругом трещит мороз, самое свое сокровенное наружу не вытащишь.

Ее мать сказала бы: у тебя просто чуточку поднялась температура, но это неопасно.

Закутаться, зарыться в перину и шерстяное одеяло и выгнать с потом все дурное.

Да только она чересчур сухая. Сверху донизу сухая, точно выжженная засухой. Во рту ни капли слюны. И нет спасения — чем оросить землю, если вода иссякла.

Горячая, сухая, бесплодная.

Возможно, они в самом деле существуют. Те организмы, что в неблагоприятных условиях обрастают специальной капсулой — и остаются живы. Долгие тысячелетия.

А другие вымирают.

Паула не умрет. От простуды умирают разве что сердечники. У нее же сердце еще никогда не болело. Это только кажется, будто оно болит.

5

От внутреннего беспокойства больше не отмахнуться, как от навязчивой идеи. И нет причины к довольству, думает Паула, к тому, чтобы полагать, что гармония в природе есть фальшивая химера. Причина и иллюзия...

Паула теперь слишком чувствительна к холодному ветру, который рябит поверхность озерца, и зимою ей уже не искупаться.

Чащу кустарника на берегу проредили, деревья подстригли, подрезали, сухостой убрали. Вывезли остатки лета.

На Лансароте Паулу поразила мощь застывшей лавы. Это — не миг в развитии мира, но мир как таковой. Взрыв. Извержение и распад. Рождение.

Не прятаться более в себе, как в устричной раковине. Выброшенная из скорлупки, словно выбитая из колеи, Паула теперь иногда разговаривает сама с собой: ведь она снова одна, а от одиночества отвыкла.

Феликс говорил, что нельзя склонять голову перед тронами правителей, Паула зовет это гражданским мужеством и, надо сказать, вполне уверена в превосходстве своего делового и трезвого подхода. У него-то не было уверенности, готов ли он набраться такого мужества. Паула видела Феликса скорее рыцарем Печального Образа его собственных фантазий. Где тебе понять, говорит она, что означает включить в фонды Маркса и Ленина вместо душеспасительного чтива, поместить на стенд новинок книги «сердитых» писателей, превратить выдачу книг в скандал.

Бросить перчатку?

Попытаться учинить бунт среди муниципальных стеллажей, в надежде, что порыв свежего ветра обернется постоянным освежающим бризом.

И потерпеть неудачу, потому что Паула-одиночка — то же, что вулкан в стране детства.

Бросив вызов, она жнет не бурю, не анархию желаний, которые не поддаются кастрации, она жнет всего лишь сокращение ассигнований, а это и так уже дело решенное.

Кому охота терять квалифицированного работника, да еще так скоро. Начальство лелеет надежду, что Паула, выбитая из колеи, вновь вернется на проторенную дорогу, ведь неуживчивости за нею прежде не замечалось.

Чем она могла бы оправдаться? Одной только потребностью пустить в ход заржавленный механизм?

Опоздав на работу, Паула просит у фройляйн Фельсман извинения, уверяет, что купит новый будильник, электронный: он-де и мертвого подымет.

Расставляя по полкам новые книги, Паула все время чувствует на себе взгляд Фельсманши: та глаз с нее не спускает до тех пор, пока последние карточки не исчезают в ящиках каталога.

Со злости Паула приписывает старухе вековечную душевную оцепенелость: все в ней застыло в недвижности — будь что будет, и злу она не воспротивится.

Сестра с самого начала предвидела, что удержать его Паула не сможет. Зять по-прежнему смахивает на неудачливого пиротехника-самоучку, которого подводит собственная лихость.

У матери все по-старому. Навестив в воскресенье Паулу, она спросила: чего ты, собственно, добиваешься, вызывая в людях злость?

По одежке протягивай ножки, вот как надо жить, упрямо твердит она. Разве что накинуть на плечи теплый халат, чтобы было уютнее.

Феликс прислал письмо.

Пойми, пишет он, сейчас я не могу вернуться. Я принял твердое решение и теперь пробую разобраться. Guardia Civil [1] как была рассадником фашизма, так и осталась.

Письмо не из Малаги, а из Мадрида. Значит, домой он не поехал, застрял на полдороге и пишет от друга, у которого гостит. Этого друга он встречал летом в М. Она что же, ждала, что завтра он вернется?

[1] Гражданская гвардия *(исп.)* — жандармерия, выполнявшая при Франко функции политической полиции.

Паула взяла нож, надрезала конверт; теперь по субботам никаких булочек, только газета, сигареты и кофе.

В эту субботу она бы могла и прокатиться на велосипеде к болоту, соблазнясь обманчивым декабрьским солнцем, но тем не менее садится в машину и едет в Д., на вокзал. По субботам все магазины открыты, поэтому в М. она едет поездом, так как автостоянки возле переполненных универсальных магазинов наверняка забиты машинами. Забронировать среди зимы туристическую поездку в Мадрид будет сложно. Агентства предлагают андалузское побережье и Канарские острова, Джербу или Мадейру. Маршруты по столицам Пауле тоже не подходят. У них есть, скажем, Лондон, Париж, Афины. Но не Мадрид. Даже в Барселону зимой нет туристических самолетов. Пауле остается только приобрести билет на обычный рейс. Ни под каким видом она не полетит в Испанию на «Кондоре», это слово вызывает у нее дурные ассоциации.

Сразу после рождества — на две недели в Мадрид. Новый год встретит у Феликса. Интересно, как испанцы празднуют Новый год? Задуман, стало быть, просто отпуск. Заказан билет, ну, может быть, еще куплено платье в одном из магазинчиков старого города. Уступка минутному капризу, что с ней вообще-то бывает редко. Все ее существо радостно ждет встречи с Феликсом.

Ночами она бы теперь могла грезить о цветущих мадридских каштанах, хоть и не знает, есть ли там каштаны, тем более цветущие в эту пору. Ей видится маленькая площадь, окаймленная унылыми мещанскими домишками, посреди нее — купа старых каштанов, багряных, источающих тяжелый аромат. И там она встречает юношу — не Феликса.

Курить в электричках воспрещается, поэтому она одержима одной мыслью — успеть на перроне выкурить сигарету. Сумку она спокойно ставит на платформу, придерживая ее ногами. Рядом сидит какой-то старик, с виду типичный dropout [1]. Курили бы лучше сигары, советует он, все не так вредно.

Паула кивает и заводит речь о том, что-де можно затягиваться, а можно и не затягиваться. А сама думает: уходи, уходи отсюда, старик, ты слишком дряхл.

Я всю жизнь курил сигары, продолжает старик, вот здоровьишко и уберег, сами поглядите.

Она не смотрит на него, замечает на перроне двух «черных шерифов» из числа частных полицейских, задача которых — обеспечивать покой и порядок, одного их присутствия достаточно, чтобы народ присмирел и держался на расстоянии от этих мужчин с пистолетами в кобуре, выставленными на всеобщее обозрение; Паула вспоминает, что читала однажды в статье о книжной ярмарке, как какой-то парень, протянувший федеральному президенту книгу, был зверски избит его телохранителями. Бетонный пол между стендами устлан сизалевыми циновками...

С появлением ландрата, обер-бургомистра и советника по культуре воцаряется тишина; слышатся только щелчки фотокамер. Репортеры в темных костюмах и зимних сапогах на микропорке.

Эту встречу устраивала не Паула, хотя происходит она в помещении библиотеки.

Фройляйн Фельсман с улыбкой мелькает в толпе; она теперь не стоит у входа и не прохаживается между стеллажами, наблюдая за посетителями; она пожимает руки, чувствует себя раскованно и уже заняла сумочкой место рядом с учителем физики, который по совместительству возглавляет краеведческий музей. Она тут как дома.

Под эгидой муниципалитета единственное городское издательство представляет публике иллюстрированный томик, посвященный Д., ку-

[1] Здесь: человек не у дел, выброшенный жизнью *(англ.)*.

да вошли рисунки местного художника и лирика местного поэта,— праздник получился на славу: при свечах, с камерной музыкой, с цветами на столе, со стихами в исполнении некой актрисы, а завершилось все вручением книг обер-бургомистру, советнику по культуре и ландрату.

Потом — ужин, холодные закуски; и эти люди, по-приятельски относящиеся друг к другу, чувствуют себя как рыбы в воде, враждебности, видимо, никто не испытывает.

Собрание горожан тоже прошло без шума; зал был полон лишь наполовину. Ни один наглец не потребовал от отцов города оправданий. Когда обер-бургомистр попросил выступающих внести в списки свои имена, фамилии и адреса, ораторов набралось меньше полудюжины.

Пауле удалось в этот вечер незаметно уйти, и никто ее не хватился. Фельсманша заранее убрала стенд с новыми поступлениями к Пауле в кабинет, от греха подальше.

Публика благодушествует, в зале царит полная гармония. А там за дверью — рождество.

«Там за дверью»[1] она зятю не дарила, зато преподнесла ему книжку из серии «Сделай сам», о том, как своими руками сделать фейерверк. Книга была обернута в рождественскую бумагу.

На этот раз и брат приехал к рождеству домой. Живой и здоровый. Ничем он в Бразилии не заразился. Подлинную нищету видел только из окна автобуса. Самое замечательное на рождество — по-прежнему материно печенье.

Без малого шагах в двадцати от «черных шерифов» Паула поднялась, отшвырнула окурок и зашагала прочь, в лицо ей пахнуло ветром от подъезжающей электрички. Раз, два — и нет ее...

Вернулась в бюро путешествий, обменяла авиабилет на железнодорожный. Уступила минутному капризу, решению, принятому вот только что, сию секунду, но отменить его уже очень трудно.

Заявление об уходе она передала коротышке советнику из рук в руки и не сочла нужным выдумывать причины, которые были бы, по его мнению, уважительными.

Поспешное решение? Или тут как в фотографии: снимок проявляется и остается только положить его наконец в фиксаж из тиосульфата натрия.

Еще в бюро путешествий Паула наметила себе маршрут. Мюнхен — Мадрид. И смотрела, как девушка за столом зеленым фломастером нанесла его на карту европейских дорог, а после взяла деньги.

В Европе нет приключений? Каждый населенный пункт на своем месте существует. На карте. Упорядоченная Европа, поделенная, разграниченная, состоящая из стран, провинций, регионов; аграрные и промышленные зоны, хранилища ядовитых веществ; атомная энергия — благодарю покорно. Те, кто говорит «да», не встречают сопротивления. Говорить «да», а не «нет»? Европа — мультимиллионерам?

А Пауле — Мадрид, который мысленно видится ей на карте белым пятном. На тридцатом году демократической эры она решилась уехать из страны.

Не принимай близко к сердцу, говорит Матиас встревоженной матери, никуда она не денется. Я знаю Паулу, ей нужна крыша над головой и свой собственный порядок.

Снег к рождеству не выпал.

А после рождества завернули холода, мороз ударил ночью, и утром все вокруг было осыпано инеем, как в видовом фильме.

[1] Антифашистская пьеса Вольфганга Борхерта (1921—1947).

В озерце теперь не поплаваешь. И рыболовов с их складными стульями как ветром сдуло.

Поверхность озера ничуть не похожа на зеркало. Мороз грянул внезапно, и вода как была взбудоражена северным ветром, так и застыла.

Паула подъехала на машине к самому берегу.

Одно только небо не изменилось: его все так же бороздят тяжелые пассажирские авиалайнеры.

ТРИНАДЦАТАЯ УТРЕННЯЯ БЕСЕДА С ПАУЛОЙ

По ночам я теперь иной раз брожу в каком-то сумеречном краю, брожу и все время помню, что сны можно истолковать. Я иду не останавливаясь и знаю, что это сон, и пытаюсь во сне истолковать свои видения, чтобы опередить тех, кто мнит себя толкователями снов и норовит отнять у меня мои грезы.

Вчера я встретила Паулу.

Двигалась она судорожно, рывками, то быстрее, то медленнее, как в старых фильмах. Мы шли друг другу навстречу и приблизительно могли рассчитать, где эта встреча произойдет.

Ночами я считаю лучше, чем днем.

Куда ты собралась? — спросила я образ, сотканный в моем воображении.

Утром, когда мы с Паулой готовим завтрак в доме, все прочие обитатели которого еще спят, Паула допытывается, что же она мне ответила.

Не помню, отвечаю я, да это и не важно, твои слова нужны были только затем, чтобы сон продолжался. Меня томила какая-то смутная тревога, хотя на самом деле ничего такого не было.

Боишься, говорит Паула, процеживая кофе, а я меж тем накрываю на стол.

Боюсь? Я уверена: она давным-давно меня раскусила. В старинной дружбе, думаю я, очень важно сохранять дистанцию, это позволит мне в любую минуту ретироваться.

Ты боишься, твердит она, боишься связать себя решением, вы́носить чувства и мысли, дать им созреть, отвечать за процессы в собственном мозгу. Ты все блокируешь страхом. И давно ли?

Такое ощущение, будто я заболеваю. Будто меня охватывает паралич, который вот-вот подберется к сердцу.

Ничего удивительного, говорит Паула, наверняка ведь кажешься себе упакованной в целлофан и быстрозамороженной.

Да, говорю я, соглашаюсь, уступаю, но фанатики мне все-таки больше по нраву, чем кроткие святые.

Ты права, говорю я.

Какие еще фанатики? — спрашивает Паула. На деле-то ты забиваешься в скорлупку. Никого, кроме себя, не видишь и не любишь. Как Нарцисс? Конечно, кивает она, ты явно страдаешь нарциссизмом. Я страдаю нарциссизмом. Ну хорошо, пусть так.

Но, защищаюсь я, я вовсе не юноша Нарцисс, что пришел к нам из мифа. Нет во мне мучительно-безнадежной любви к себе. Я вовсе не отражение с пушком на щеках.

Мой нарциссизм — другой: дружеское общение с собою приносит мне удовлетворение. Важна не взаимность, говорю я, а дружеское общение.

Все это хорошо, говорит Паула и как бы невзначай легонько касается моей руки, когда мы обе беремся за дверцу холодильника, чтобы достать масло, все это хорошо, и тем не менее ты сидишь в скорлупке, взаперти, сама себя запираешь на ключ. Чем ты там занимаешься? Вяжешь накидочки на душу?

Я не в состоянии достать из холодильника масло, мне хочется кричать, кричать не переставая, потому что я не могу утверждать, будто я не в скорлупке, а снаружи.

Ты боишься куда больше, чем когда-либо боялась я, говорит Паула мне в лицо.

И ведь не сбежишь — некуда.

Очень уж ты привыкла облегченно вздыхать: вот, мол, и хорошо, опять счастливо отделалась, продолжает она. Кончать надо с этими вздохами. Надо без конца и без устали говорить «нет».

Я боюсь, говорю я, от страха я слепну и глохну, и боюсь ослепнуть и оглохнуть, и боюсь обмануться, решив, что еще не слепа и не глуха.

Перестань, говорит Паула, хватит об этом, в конце-то концов.

Без разума и смысла я — бессмыслица.

Бояться необходимо, говорит Паула, если страх ломает твое безразличие.

Я-то рассчитывала запустить машину, подпалить домишко Паулы со всех четырех сторон. А дом, оказывается, был вовсе не ее.

Да, кое-что изменилось.

Паула одолела меня. Она мне больше неподвластна.

Я перестала говорить дочке, что вишня непременно вернется.

Часть V. И вновь зима

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ УТРЕННЯЯ БЕСЕДА С ПАУЛОЙ

Встретить Паулу на вокзале я не ожидала.

Во всяком случае не спозаранку и не в молочном баре. Я ведь могла бы зайти и в ресторан. Но молоко, по-моему, все же вкуснее сосисок с капустой.

Она уезжает, а я только-только явилась на вокзал и коротаю за завтраком время до следующей электрички.

Привет, сказала Паула; она неожиданно выросла передо мной в ту минуту, когда официантка ставила на стол вчерашние булочки, предвещающие скорый завтрак.

На этот раз я ее вспомнила.

Она, должно быть, заметила, что меня нервируют ее манеры, села рядом и сразу же заговорила об Испании.

О будущем.

Будущее? — с издевкой переспрашиваю я. После целой ночи в битком набитом спальном вагоне федеральных железных дорог о благодушии не может быть и речи. Послушай, говорю я, ну какое у нас будущее? Зарегистрированное, введенное в память ЭВМ, перекрученное бюрократами, усмиренное и обезвреженное, какая там личность — нет ее, есть только удостоверение личности; если здесь реакторы не взорвутся, то рванут где-нибудь в другом месте, но так или иначе все это неизбежно ударит по нам. Чего же ты, собственно, хочешь? Будущее давным-давно предано и продано.

Нынче под основные гражданские права подкапываются хитростью компьютеров. Никогда еще государственные органы не ущемляли с таким коварством требование свободы.

О каком же будущем ты толкуешь, а?

О нашем, заученно выпаливает Паула, о прошлом родителей наших детей.

Но тогда, говорю я, ты не можешь сбежать.

Я называю это бегством. Паула — новым началом. Концом приспособленчества.

Бунтом, равнозначным смелости жить.

Иногда я представляю себе, будто живу на вокзалах, с двумя-

тремя пластиковыми сумками, набитыми всяким хламом, или в обшарпанных номерах каких-то привокзальных гостиниц. Мне нравится шум поездов.

Однако же я не позволю оспаривать мою смелость жить. И потому меняю тему.

Отчего, спрашиваю я, никто в библиотеке тебя не поддержал?

Где, к примеру, были те молодые женщины, которые регулярно со дня открытия приходили брать книги? Откуда это безразличие к притеснениям? Твоя реакция на преследования анонима — вот и все, что их интересовало.

В том-то и дело, коротко отвечает Паула. Она заказала себе большую чашку какао.

Выходит, я права: смирение, капитуляция. То есть бегство, упорно продолжаю я.

Ладно, пусть бегство, отвечает Паула, но бегство как стратегия — чтобы вновь выпрямиться во весь рост и если уж когда-нибудь вернуться, то вернуться несломленной.

Бегство как возрождение?

Можно обойтись и без чемодана, и без Испании.

Значит, Испания — тоже чистая случайность?

Возможно, будь ты уроженкой Испании, ты бы сбежала куда-нибудь еще.

Бегство как поступательное движение утопии?

Подняться, выпрямиться, держась за утопии.

Среди фальшивой жизни начать правильную, неподдельную.

Жить со страстью, чтобы искренне, по-настоящему любить и по-настоящему же ненавидеть. А не только составить себе представление о любви и ненависти.

Я, говорит Паула, хотела бы жить среди людей, которые относятся друг к другу по-человечески.

Уже не одно лишь недовольство. Раз уж на то пошло, скорее антидовольство.

В первую минуту я подумала, что теперь она совершенно непохожа на птичку, пьющую нектар, гораздо больше она напоминает птицу с подрезанными крыльями, хотя и не превращенную пока в чучело, что стояло в классе на шкафу.

Она не спрашивает, о чем я думаю, пока мы сидим среди усталой вокзальной публики и пьем: я — кофе, она — какао.

А все же надо сказать, о чем я думаю. Сказать о том, что она все еще пахнет корицей, но только мед стал другим.

Письмо, на котором не хватает марок, уже опущено в ящик привокзальной почты.

1

Возможно, я никогда бы не стала писать о Пауле, не приди она к этому решению. У других тоже бывают схожие неприятности, однако же таких выводов они не делают. Я узнавала, наши городские библиотеки вовсе не в забросе. И заведующие там есть. Кстати, нередко женщины. Думать здесь не о чем.

Об этой разнице между жизнью и вымыслом, которая, как говорят, невелика, можно вовсе не думать.

Стало быть, меня раззадорили выводы Паулы, более того, возможно, сам ход мысли, приведший к этому решению. Полная неожиданность. С какой стати именно Паула? Почему не какая-нибудь другая женщина, которая с детских лет привыкла держаться вызывающе и от которой можно было ожидать необычных поступков? От Паулы таких поступков никто не ожидал.

Я уверена, любой человек тотчас забыл бы ее лицо, ненароком столкнувшись с нею где-нибудь. К примеру, на перекрестке, когда светофор переключается на красный сигнал.

Нет, Паула и теперь не станет переходить улицу на красный свет. И через пути на Главном вокзале напрямик не пойдет. Зачем ей ставить под удар новую жизнь?

Вот я и написала о Пауле. Выстроила домыслы о ее внутреннем мире, которому придала сходство с той половиной мира, что существует в моем мозгу. Но так и не разобралась с другой половиной мира, находящейся вне меня. То есть я спорила с Паулой, да только не одолела ее.

Теперь она сама по себе — не я, но часть меня.

В конце, как и в начале, несколько фактов и множество предположений. Отправные точки, вероятности и воплощение фантазии. На бумаге?

Воображаемый мир. Как же она провела последние недели перед отъездом?

Разговор об увольнении, по-моему, прошел примерно так же, как беседа о найме. На этот раз последнее впечатление, которое, сохранившись в памяти, необязательно должно быть плохим. Но сама Паула изменилась. А значит, будет держаться более уверенно, по-настоящему уверенно, ведь теперь она сознает, что нисколько не зависит от мнения коротышки советника по культуре, который на самом деле вовсе не прихрамывает.

Вполне возможно, она даже помогла ему составить объявление о замещении вакантной должности. Или составила сама, потому что привыкла иметь дело с печатным словом. Подписал его обер-бургомистр (полностью фамилия, звание, должность), как и положено подписывать любое муниципальное объявление, по крайней мере в этом городе. Вопрос о том, кто именно требуется — мужчина или женщина,— оставлен открытым. Не указано, что желателен сотрудник, который не будет поднимать шум вокруг подбора книг. Возможно, коротышка советник втихомолку и побаивался повторного «мезальянса», но вслух он ничего не сказал. Прежде всего упирал на срочность, так как Паула воспользовалась очередным отпуском, чтобы побыстрее уволиться.

Возможно, Фельсманша в первую минуту решила, будто одержала победу по всему фронту. С тех пор как стал виден конец, Паула ни разу не заставляла ее мокнуть под дождем. Хотя так и не купила будильника, который и мертвого подымет. Но позже Фельсманша уразумела, что лучше все-таки работать с человеком не слишком пожилым, лет этак сорока. Сама она в библиотечном училище никогда не училась.

В феврале, когда в Германии стоят самые холода, Паула сняла со шкафа чемодан, услыхала, как щелкнули замки, и увидела следы пальцев на пыльной крышке. Я люблю вот так рисовать себе Паулу. Постель была еще теплая от сна.

Феликс прислал письмо. Я должен объяснить, писал он, почему тебе не стоит приезжать. Живу я у друга. Нас многое объединяет. Наши отцы вместе летали на бомбежки. И нам от этого больше не убежать. Мы за это в ответе.

О Мадриде он пишет: очень ветрено. Степной ветер. Дожди — и на час-другой тепло, солнечно. Совсем иной ритм, не как у вас. На улицах Guardia Civil.

Паулу это не останавливает. Возможно, ее и нельзя уже остановить, потому что она скрупулезно и педантично наметила себе план действий: предупредила хозяйку, что съезжает с квартиры, заказала мебельный фургон, оплатила место на складе.

Я не хочу, чтобы и ты тоже отвечала за все это, писал он, а о Пауле-женщине, о любви, об уважении ни слова. Но это ее не смутило. Через некоторое время приехали грузчики забрать мебель.

В пустой квартире она заперлась напоследок в ванной. Стоя под душем, размышляла о пустотах в теле, как частенько думала об этом после отъезда Феликса. Утром она заметила на лице желтоватые пятна. Последнюю ночь провела в гостинице неподалеку от вокзала. Ранним утром вышла к поезду. Времени у нее было достаточно, и она выпила в молочном баре большую чашку какао.

На ней широкое платье вроде тех, что носила Урбан, и теплые зимние сапоги: ведь путь долог — больше суток.

И только в самом конце этого пути — юг, где должно быть тепло.

На границе — паспортный и таможенный контроль. Чиновники ходят непременно по двое, с переносными рациями и при оружии, проверяют пассажиров, пока поезд стоит на запасном пути. Номера некоторых паспортов бог весть почему вызывают подозрения и куда-то сообщаются по рации; владельцы документов всякий раз откровенно недоумевают. Пауле представляется некая зловещая контора, где лежат списки, по которым сличают пассажиров.

Коротышка советник откровенно изумился, когда Паула выбилась из колеи, ведь, прежде чем взять ее на работу, он навел справки, не оставлявшие сомнения в ее благонадежности.

Горы Швейцарии Паулу никогда не интересовали.

Испания лежит у моря. На рекламных проспектах оно совсем рядом с пансионатами. Во Франции ей уже довелось однажды побывать. Ночь она проводит, вытянувшись в вагонном кресле. Оконное стекло в полосах дождя. Стук колес, по-моему, уже через несколько часов начал действовать ей на нервы.

Утром — французско-испанская граница, и Паула принимается разглядывать людей за окном и пейзаж. Пейзажа больше, чем людей. В поезде не топят.

Чтобы согреться, она складывает руки на животе. Ничего, как-нибудь справлюсь, написала она Феликсу. Она уже достаточно освоила испанский, чтобы объясниться. Он встретит ее на вокзале, думает Паула. Она сообщила ему день и час приезда.

Внутренняя Испания представлялась ей не такой голой и бесприютной — скудная растительность, город, крепостные башни, заводы на окраинах. И снова безлюдье. Только у станций низенькие домишки. Женщин, сидящих на пороге, она пока что-то не видела.

Она оставила все в полном порядке, прежде чем ринуться в хаос. Ящиков больше не распаковывала, скорее наоборот, паковала, тщательно складывала в картонки свои вещи, так же как некогда разложила по коробкам и спрятала на чердаке родительского дома школьные тетради, за каждый класс отдельно.

Педантичность у нее от отца, думает Паула. И любовь к книгам тоже. Временами он без разбору пачками таскал их от букиниста. До того, как занялся крестьянским хозяйством, он пешком дошел до самой Швейцарии. На первых порах все охотно слушали эту историю за стаканчиком вина после воскресной службы, а потом перестали, когда священник привез слайды из Израиля.

С матерью он говорил о погоде и о семейном бюджете. Паула училась лучше брата и сестры. И отец гордился ею. Она знает, ему трудно было выразить свои мысли, он умел пользоваться лишь словами повседневного обихода.

Умирая от воспаления легких, которое распознали слишком поздно, он все спрашивал в бреду, где его школьные тетрадки.

Сгорели, сказала мать, ты же знаешь. Она сожгла их вместе со справкой об арийском происхождении и портретом фюрера.

Горящая бумага дает сильный жар.

Прежде чем сжечь мосты, Паула оставляет след. Раздаривает книги, не только запрятанные в подарочную бумагу, но и свои собственные, из шкафа. Брату — Габриэля Гарсиа Маркеса, быть может, в надежде, что он прочтет эту книгу на досуге в поселке строителей.

В Мадрид она приезжает ночью. Неподалеку от вокзала тянутся ввысь дома жилого массива. В окнах она видит свет, такой знакомый, и озирается по сторонам, ищет на перроне знакомую фигуру. Ничего хорошего, если ты приедешь, писал он. У меня кое-что засело в голове и обросло капсулой. Теперь вот разбираюсь. Я принял твердое решение.

На это она могла бы ответить. И началась бы долгая переписка.

Или он бы мог вернуться. Ведь жизнь в Германии казалась ему более размеренной и упорядоченной.

В детстве Феликс мнил, будто его покарали чужеродным телом в мозгу.

Всего лишь навязчивая идея, исчезнувшая после фиктивной операции.

Ни одному ребенку этого не вынести, твердил Феликс.

На вокзале он ее не встретил. Паула взяла такси. Она не была бы Паулой, если б не запаслась адресом его пансиона, который и дала шоферу.

2

Итак, уехала из Д. без ссылки на уважительные причины. К климату можно бы привыкнуть. И отношения с фройляйн Фельсман наладить. В конце концов, от дождя есть зонтики, от холода — теплая одежда. Кто станет из-за этакой ерунды сниматься с места? Живут же люди в окрестностях вулканов, неустанно возвращаясь в свои дома после каждого извержения. В сравнении с другими нам еще хорошо живется. Хорошо ли?

Обер-бургомистр и ландрат подвели положительные итоги истекшего года и указали аналогичные перспективы года следующего. Даже побеспокоили местную ясновидицу, и та по картам предрекает всем удачу — ведь к концу года народ любит прочесть в газете что-нибудь этакое.

Да, ей надо было всего-то сделать шаг-другой навстречу советнику по культуре, и он бы тоже пошел ей навстречу. В худшем случае согласились бы на том, что до срока выпихнут фройляйн Фельсман на пенсию, а Розу Л. будут выдавать только вместе со шпюриевской «Хайди». Ну а табличку, отсылающую к мемориалу, так и так заменят.

В Д. нет ни «черных шерифов», ни книжной ярмарки — в сущности, здесь тишь да покой. Или нет?

Сознаюсь, по утрам мне стоит большого труда провести четкую грань между днем и ночью.

Почтальонша, звонящая в дверь, каждое утро приносит целую пачку писем и газет. Письмо Паулы выделяется только тем, что оно доплатное. Срочную корреспонденцию в деревне разносят вместе с обычной. По воскресеньям, когда почтмейстерша сидит дома. Сознаюсь, я не ждала этого письма, думала, что Паула уедет, как уезжает всякий, кому это по карману. Ясное дело, библиотекарша зарабатывает больше писательницы. По крайней мере ей книги дают кусок хлеба.

Когда я подношу к конверту нож — а я делаю это с удовольствием, — она уже в Испании. Собиралась встретиться в Мадриде с мужчиной, ради которого туда поехала.

По всей видимости, она рассчитывала, что я отвечу. Иначе зачем бы ей указывать свой мадридский адрес?

С ним Паула не встретилась. Зато повидала его друга.

Когда она вышла из такси, ей почудилось, будто в лицо и правда пахнуло степным ветром; на память пришли скалы, бесприютный ландшафт, оставшийся позади. Она решилась.

Друг его стоит на пороге, за спиной — освещенная передняя, лицо — в тени.

Паула так долго была в пути, ей до сих пор мерещится перестук колес. Парень впускает ее в тесную прихожую. Паула ставит чемодан на пол. Он моложе Феликса, темноволос, тонок в кости.

Из кухни выходит какая-то женщина в халате, направляется к телевизору, в конец коридорчика. Телевизор красуется над дверью, на особой полке. Женщина поворачивает выключатель, а Паула глядит ей на руки. Они старше лица.

На экране — реклама стирального средства.

Где Феликс? — спрашивает Паула.

Женщина уселась на стул посреди прихожей. Сложила руки на коленях и смотрит на экран.

Паула инстинктивно прикрывает руками живот.

Здесь рекламируют те же самые товары, что и у нее дома.

Феликса нет, говорит его друг.

Но он вернется?

Она горда своими познаниями в языке — еще бы, можно вести беседу, а не только кое-как объясниться. По телевизору сейчас покажут фильм, который она смотрела еще дома. Смотрела, и ощущала себя его героиней, и страдала так же, как при чтении книг. Феликс говорил, что ей нужно учиться смотреть со стороны. Своей-то истории не знаешь, говорил он, а занимаешься чужими.

В такую даль ехали и совершенно впустую, слышит она голос Феликсова друга.

Здесь, в коридоре пансиона, не холодно, но Паула мерзнет.

Вам надо отдохнуть, продолжает он, я спрошу, может, у нее найдется свободная комната.

Паула чувствует на себе взгляд женщины, сидящей у телевизора. Свой приезд она воображала совсем иначе. В голове мельтешат картинки — море и прибрежные пансионаты. Фотографии коридоров, как правило, не публикуются.

Друг, о котором писал Феликс, говорит, что у хозяйки должна быть свободная комната, сейчас он все уладит.

Что с Феликсом? — напрямик спрашивает Паула, не давая ему уклониться от ответа, и видит, до чего он сконфужен.

Вероятно, Феликс не знал, что вы приедете, говорит он. Сегодня утром он уехал в Барселону.

Где-то на полдороге они наверняка встретились.

И разминулись среди этого однообразия.

Нет, писем из Германии в этот день не было.

Она уверена, ее письмо он получил.

В связи с политической кампанией, объясняет Феликсов друг.

Внезапно ей становится очень трудно вообще понять язык, на котором он говорит, она слушает, как этот незнакомец рассуждает о поколениях и о том, что историческое развитие неотвратимо сплетает и увязывает судьбу индивида с судьбой народа.

С самого начала она решила не делать аборта. Аборт для Паулы неприемлем. Ведь она совсем было уверовала, будто бесплодна, как старуха, и теперь радуется. Думая о еще не родившемся ребенке, она видит в мечтах непременно дочку.

Немного погодя она лежит в комнате под легким шерстяным одеялом и думает, что должна бы зябнуть, так как привыкла к перинам, и старается разобрать диалог из фильма, который идет в коридоре и уже знаком ей на родном языке. Ни в коем случае она не станет просить Феликсова друга узнать для нее расписание поездов на Барселону, а тем паче на ФРГ.

Маршрут намечен, писала мне Паула, еду поездом. Вечером буду уже во Франции.

Я читала строчки Паулы, а самое Паулу не понимала. По всей видимости, она на это и рассчитывала. Возможно, запомнила меня еще по школе и знала, куда нажать, чтобы во мне сработала пружинка любопытства.

Она ждала от меня ответа. И я ответила. А потом получила еще одно письмо: в Мадриде она надеется подработать — либо в посольстве, либо в Институте имени Гёте, либо в Немецкой школе. Можно, пишет она, и независимость сохранить, и все-таки выжить.

Ты, писала она, можешь без колебаний выбрать местом действия Д. Д., как «Дойчланд», как Германия. Ведь он тебе знаком. Сознаюсь, Паула действовала мне на нервы. И действует до сих пор. Больше всего меня сердило то, что целый год мы прожили, как говорится, дверь в дверь и — не встретились. Я надеялась, пишет Паула, что в один прекрасный день ты зайдешь в библиотеку и вспомнишь.

Я не зашла. Это в детстве я каждую неделю ходила в библиотеку, специализируясь на шестидесяти четырех томах Карла Мая.

На первых порах надо получше освоить испанский, а дальше оставаться в Мадриде не обязательно. Паула подумывает о Малаге. И кое о чем другом. На испанском говорит полмира. Можно поехать, скажем, в Южную Америку. Маркеса она теперь читает в подлиннике.

Случай сблизил нас во времени и пространстве, и мы могли бы регулярно встречаться. Могли бы частенько вместе завтракать, воображаю я.

Паула в моем доме — лучше бы я об этом не думала, потому что она навязчива, словно мысль. Никакими силами ее не выпихнуть больше за дверь, не отвадить, не прогнать.

А я могу поймать себя, как брошенный камень? Вчера опять пришло письмо от Паулы. Возможно, ее все-таки что-то терзает, хоть она и не признается. Возможно, это что-то — ностальгия.

Расскажи мне о Германии, пишет она (мне ведь писать нетрудно). Торопит набросать эскиз, выстроить домыслы насчет Д. или хочет пробудить надежду, что в будущем...

О ребенке, которого она еще не знает, Паула пишет, что он должен расти в стране, где жить не страшно.

Он едва-едва успеет стать взрослым, а наш век выплюнет его, думаю я.

Что мне рассказать о Германии? Описать ночные кошмары?

Предутренние кошмары, рожденные трезвоном дверного звонка, инъекции под скорлупку.

Нет, я не та, за кого ты, Паула, меня принимаешь, говорю я. Зачем ты хочешь пробудить во мне надежду? Еще в школе я была безнадежна. Никогда рта не раскрывала, говорю я.

Я бы разве что могла придумать тебе красивые мечты, заветные мечты на сон грядущий, сочинить повести — в слепом полете, совсем иные повести про Германию. Иную историю.

Нет, говорю я, зачем рассказывать тебе об ином? Надо просто говорить «нет», произношу я вслух, когда неожиданно звонят в дверь. Паула никогда не звонила. Всегда, всегда говорить «нет».

Я встаю из-за пустого кухонного стола, у дверей кто-то варварски жмет на звонок, хотя день еще не начался. Погребальным колоколам положено звучать глуше, так мне раньше казалось. Пора. Решение принято. Пора живым расстаться с мертвыми.

ВЫРВАТЬСЯ ИЗ КОКОНА...

Читатель только что прочел не совсем обычный текст. Во всяком случае, непривычный. Сюжета в традиционном понимании практически нет. Он лишь домысливается, угадывается, проступает сквозь разбросанные мысли, сквозь реплики и монологи персонажей, зарисовки, фрагменты,— словом, все то, что, наверное, правильнее было бы назвать подготовительными материалами к роману. Приходится вдумываться в каждый абзац, сопоставлять, анализировать, порой даже расшифровывать, проводить недостающие связи. Впрочем, только поначалу. А дальше мы словно оказываемся неожиданно для себя свидетелями того, как из всех этих писательских размышлений и зарисовок выплавляется незаметно образ главной героини и как уже внутренняя логика этого образа начинает исподволь формировать, организовывать сей изначальный хаос, как, подчиняясь этой самой логике, становится повествование связным и цельным, обусловленным собственной внутренней необходимостью. Ангелика Мехтель, представительница нового, лишь недавно вступившего в литературу поколения западногерманских писателей, решительно выносит на страницы своего нового произведения собственную творческую лабораторию. Больше того, в вошедших в название романа «утренних беседах» становится предметом обсуждения и сам характер героини, он как бы взвешивается, рассматривается писательницей со всех сторон, проверяется на жизнеспособность и жизненность. Мы словно становимся соучастниками таинственных творческих процессов, в результате которых рожденный в воображении писательском персонаж становится уже некоей объективной данностью и, вырвавшись отныне из-под власти своего создателя, начинает жить самостоятельной, вытекающей лишь из логики развития его характера жизнью. «Представь, какую штуку удрала со мной Татьяна. Она замуж вышла. Этого я никак не ожидал от нее»,— говорил Пушкин кому-то из своих приятелей. В романе Мехтель читателю словно нарочно, заранее демонстрируется процесс рождения такого самостоятельного персонажа, и в самом деле способного в какой-то момент учинить совсем неожиданную «штуку», сделать то, что для него, персонажа, естественно и необходимо и что уже никак не зависит от воли придумавшего его автора.

Итак, нас ввели в творческую мастерскую. Зачем? Из пустого экспериментаторства, из литературного озорства, из стремления писать не так, как все, привлечь к себе читательское любопытство? Тот, кто знаком с предыдущим творчеством Ангелики Мехтель, с ее взглядами на современный литературный процесс, на задачи сегодняшней литературы, пожалуй, не согласится с подобным предположением. Конечно же, в первых своих произведениях Мехтель, как и всякая вступающая в литературу писательница, по-своему искала себя, пробовала писать в разных жанрах, словно примеряя разнообразные манеры и стили, осваивая многочисленные новые формы самовыражения. Но никогда при этом не оказывались эти поиски самоцелью, никогда не замыкалась писательница в коконе собственных литературных изысков, и даже за самым рискованным экспериментаторством угадывалась всегда четко выраженная социальная идея, стремление поведать читателю, как того и требовала художественная практика «Группы 61» [1], членом которой Мехтель тогда являлась, правду о человеке, о нелегком его труде, о непростом мире, в котором он живет. И не случайно героинями писательницы чаще оказываются женщины, простые ее современницы, то и дело становящиеся жертвами обездуховленного «общества потребления», сами нередко превращающиеся в предмет потребления, женщины, учащиеся размышлять, бороться за свои права, находить свое место в трудной и далеко не идилличной действительности. «Женская тема» определяет течение и представленного нынче на суд советского читателя романа.

Так какую же идею воплощает в себе хрупкая, темноволосая, маленькая Паула, скромная и интеллигентная заведующая недавно созданной городской библиотекой в маленьком западногерманском городке, уверенно стоящая на своих собственных ногах тридцатипятилетняя женщина, ведущая вполне независимое существование и сама определяющая свой повседневный жизненный уклад? Какую идею воплощает в себе бывшая воспитанница монастырской школы, придерживающаяся довольно строгих (на фоне пережитой не так давно «сексуальной революции») взглядов на мораль и в то же время отнюдь не стремящаяся в начале нашего с ней знакомства обрести привязанность к кому-либо и соответственно дополнительные человеческие обязательства? Какую идею воплощает уверенно начавшая свою карьеру и «сжившаяся» с атмосферой городка Д. («Д. как «Дойчланд»,— замечает Паула в одном из разговоров) добросовестная служащая, которую отличают к тому же, на радость обер-

[1] Дортмундская «Группа 61» — созданное в 1961 году объединение прогрессивных писателей ФРГ, поставившее себе целью воссоздание в литературе «мира труда и его социальных проблем».

бургомистру и его советнику по культуре, вполне добропорядочные умеренно-либеральные взгляды?

Казалось бы, судьба героини Мехтель разворачивается поначалу столь благополучно, столь типично для self-made woman [1], столь спокойно и в то же время уверенно-поступательно, что сама она вполне может восприниматься как своего рода символ незыблемого буржуазного истеблишмента, где, если верить официальной пропаганде, каждый, демонстрирующий усердие и старательность, способен достигнуть определенных социальных высот и занять подобающее место в социальной и имущественной иерархии. Но все это только на первый взгляд. Тут-то и оказывается, что совсем не случайно характер героини подается писательницей в живой дискуссии, в «беседах», в динамике наплывающих друг на друга характерных эпизодов ее жизни. И тогда выясняется, что это только внешне жизнь Паулы течет так, как и естественно было бы ожидать,— спокойно и слегка монотонно, без потрясений, без каких-либо существенных открытий, без серьезных потерь. Работа в библиотеке, которую приходится создавать заново, основываясь разве что на скудном и довольно-таки непритязательном собрании книг приходских библиотек, действительно отнимает все свободное время. Приходится решать массу дополнительных вопросов, связанных с оформлением помещения, с расстановкой книг, вечерами составлять систематический и алфавитный каталоги, оформлять заказы на новые поступления, переворачивать горы специальной литературы. Да еще попутно заниматься оборудованием собственных четырех стен, ведь Паула, по общему мнению, «прижилась» в городке, и, значит, устраиваться ей необходимо основательно.

Мало что меняет в ее жизни и мимолетное знакомство с молодым испанцем во время респектабельного отдыха на Канарских островах. Ведь согласно раз навсегда определенной шкале жизненных ценностей Паулы это всего лишь некая дополнительная краска к отпуску, приятное, но ни к чему не обязывающее событие, слегка нарушающее обычную отпускную монотонность. Еще бы, ведь «она всегда держала других на расстоянии. Выходные, отпуск — но не больше. Она вовсе не горела желанием заняться стиркой и мытьем посуды». Так сказать, положительное дитя эмансипации, Паула прекрасно чувствует себя до поры до времени в собственном коконе, в той замкнутой, одномерной и вполне благополучной жизни, которую она ведет на виду у не слишком-то жалующих чтение обывателей маленького городка Д. И возникновение перед нею утром на перроне маленького городского вокзальчика Феликса, добившегося стипендии для продолжения занятий в Западной Германии, не вызывает у нее поначалу никаких особых эмоций, лишь некоторое ощущение неудобства, неизбежно связанного с приездом гостей. Да еще, пожалуй, некоторое предощущение угрозы своему отлаженному и столь надежному быту, в котором длительное проживание другого не предусмотрено. Живое, непосредственное чувство, исходящее от юноши, открытая радость встречи и естественная порывистость объятий ломают вскоре придуманный Паулой стереотип отношений: любезная, но слегка остраненная хозяйка и заглянувший на краткий срок гость. Проходит совсем немного времени, и вот уже мало-помалу привыкает Паула к национальным испанским приправам в супе, к еще одной зубной щетке на полочке перед зеркалом в ванной, к мужским рубашкам у себя в шкафу, даже к запаху свежего чеснока на кухне. И не просто привыкает, она — собственному желанию вопреки — привязывается к Феликсу, и чем дальше, тем больше.

К холодноватой, рассудочной Пауле приходит обычная женская любовь, и не просто любовь — прозрение. Глазами Феликса учится она смотреть на свою страну, и многое, что ускользало прежде от ее взгляда, теперь, в присутствии наделенного бунтарской зоркостью молодого испанца, обозначается особенно резко и тревожно. Мирный, уютный городок Д., столь изящно вписывающийся в традиционный баварский ландшафт, вписан еще и в немецкую историю, причем одной из самых черных ее страниц. Д.— это ведь не что иное, как Дахау, и в этом ласкающем взор ландшафте со всей непреложностью истории действительно существовал когда-то один из самых страшных нацистских лагерей смерти. Скромный желтый указатель (в отличие от огромных белых, предназначенных для туристов) указывает дорогу к созданному на территории бывшего лагеря мемориалу. Скромная, почти незаметная мемориальная доска на городской сберегательной кассе напоминает о расстрелянных здесь когда-то участниках антифашистского восстания. Теперешние городские власти стараются по мере возможности не поминать нацистское прошлое своего городка: для них Дахау — это прежде всего оазис искусства, знаменитый существовавшей здесь некогда колонией художников. И даже старожилы предпочитают не говорить о прошлом. Но приметы этого самого, кое в чем еще далеко не преодоленного прошлого, приметы, на которые столь остро реагирует Феликс, живо помнящий проявления франкистской диктатуры в Испании, то и дело дают себя знать в застойной обывательской атмосфере городка. Паула припоминает, что не раз уже ей приходилось сталкиваться с явной недоброжелательностью отдельных жителей и местных властей при решении вопроса о библиотечных фондах. И пусть те редкие экземпляры «коммунистических» книг, которые она — объективности ради — закупает иногда для библиотеки (к примеру, книжка о Розе Люксембург, выставленная ее молодой помощницей на стенде литературы для детей и юношества), помечаются ею на каталожных карточках стандартным клеймом «тенденциозная литература», даже само наличие этих книг в библиотеке представляется местным бюргерам опасным и явно нежелатель-

[1] Женщины, обязанной всем себе *(англ.)*.

ным — вот почему то и дело падают в почтовый ящик Паулы анонимные письма с угрозами, трезвонит в квартире и на работе телефон, на другом конце провода которого анонимный абонент разражается злобной бранью. Оказывается, и комплектование скромной городской библиотеки может стать поводом для политических конфронтаций, привести к явному конфликту с властями. Оказывается, что даже по столь теоретическому в общем-то вопросу, как, скажем, принадлежность книги репортажей Гюнтера Вальрафа к беллетристике или же документальной литературе, могут возникнуть идейные разногласия. Паула упорно ставит Вальрафа на полку «беллетристика», и ей на это неоднократно указывают — не потому, что городские власти ратуют за точное соблюдение литературных жанров и родов, но потому лишь, что в разделе беллетристики книгу остросоциальных, злободневных и разоблачительных репортажей Вальрафа будут больше читать, а этого-то как раз местным властям и не хочется.

Все серьезнее начинает задумываться Паула об окружающем. Ощущение неуютности, «холодности», от которых страдает Феликс в Западной Германии, постепенно передается и ей. «Хотелось бы мне попасть в страну, где жить не страшно»,— роняет Паула в одном из разговоров. В городке же, где полицейские во время учения собаками травят бездомного бродягу, нашедшего себе пристанище в доме, подлежащем сносу, где любое проявление неординарности, необычности тут же наталкивается на настороженный взгляд обывателя, жить страшно. Страшновато даже выкупаться в красиво расположенном загородном озере, сильно смахивающем вблизи на отравленное химикалиями болото.

И тогда Паула бунтует. Ее бунтарство носит узкопрофессиональный и в то же время явно политический характер. «Где тебе понять,— говорит она Феликсу,— что означает включить в фонды Маркса и Ленина вместо душеспасительного чтива, поместить на стенд новинок книги «сердитых» писателей, превратить выдачу книг в скандал». Конечно же, подобный одинокий бунт обречен на неудачу. Что толку написать открытое письмо анониму и поместить его в газете, что толку впрямую спросить этого неизвестного, не хочет ли он и в самом деле возродить старые, мрачные, нацистские времена? Брошенную Паулой перчатку так никто и не поднимет. Заговор молчания — куда более действенное средство. Да и зачем городским властям лишний шум, куда проще тихо сократить ассигнования на библиотеку, связав тем самым руки не в меру активной ее заведующей.

А это уже повод не только для новых раздумий, это повод для выводов. Вот почему, когда Паула решается бросить свою хорошо оплачиваемую работу, продать купленную «на всю жизнь» мебель и отправиться к Феликсу в его страну, решение это воспринимается как подготовленное внутренне, как выстраданное и продуманное — и во время «утренних бесед» тоже. Паула не просто уезжает к ставшему ей необходимым человеку, отцу ее будущего ребенка, она уезжает в новое свое бытие, к новой внутренней свободе и новой ответственности. Для Паулы это не бегство, не уход от вставших перед нею проблем. Скорее это их логическое, необходимое ей разрешение.

«Среди фальшивой жизни начать правильную, неподдельную. Жить со страстью, чтобы искренне, по-настоящему любить и по-настоящему же ненавидеть. А не только составить себе представление о любви и ненависти».

Превращение самой обыкновенной, заурядной женщины, от которой никто никогда не ожидал никаких необычных поступков, в личность, в человека, способного по-своему и со всей ответственностью распорядиться собственной жизнью, собственной судьбой,— это становление женского характера, сильного, решительного и в то же время нежного и самоотверженного составляет главное очарование романа Ангелики Мехтель.

Писательница жесткого, резкого письма, всегда стремившаяся в книгах своих показывать жизнь как она есть, со всеми ее темными, отталкивающими сторонами, пусть даже при этом приходилось грешить против хорошего вкуса, выпустила на этот раз книгу удивительно целомудренную, мягкую, в чем-то ироничную, но одновременно и глубоко лиричную — книгу о любви.

Так называемая «женская тема», о которой мы говорили вначале, становится в современной литературе одной из ключевых. Неприметно, исподволь, но уверенно начинает доминировать в книгах современных писателей и писательниц образ женщины самостоятельной, независимой, свободной в проявлениях собственного «я», пусть даже за свободу эту заплачено порою слишком дорогой ценой. Талантливая фотожурналистка Элизабет Матрай (повесть австрийской писательницы Ингеборг Бахман «Три дороги к озеру»), добившаяся блистательного успеха в далеко не к каждому благосклонном мире прессы, и только начинающая свою самостоятельную жизнь героиня недавней повести Петера Хандке «Женщина-левша», а теперь вот скромная библиотекарша Паула, принимающая самое важное в своей жизни решение,— есть между всеми этими героинями, несмотря на разделяющие их пространственные и временные границы, нечто общее, делающее их близкими друг другу. «Сексуальная революция», явившаяся вполне закономерным продуктом общества отчуждения, громогласно продемонстрировала «свободу» в отношениях между двумя — свободу от ответственности, свободу от обычного человеческого участия, свободу от любви. И словно как реакция на эту выхолощенную и отчужденную «свободу», тревожно размывающую наиболее сущностные человеческие отношения, появляются все чаще книги, где как бы заново совершается поворот в сторону целомудренных, неиска-

женных, подлинно человечных взаимоотношений. «Эмансипированные» героини Бахман, Хандке и Мехтель завоевывают и отстаивают свою независимость и свободу отнюдь не ради того, чтобы тут же урвать себе кусок от пирога сексуальной вседозволенности, растеряв свое «я» в разнообразных и ни к чему не обязывающих плотских утехах; для них независимость — это прежде всего свобода внутренних, подлинных женских проявлений, это высокая ответственность перед собой. Обладать такой свободой — это уже счастье, хотя и не такое, как счастье пожертвовать ею в нужный момент ради ценностей несоизмеримо более высших: привязанности, преданности, подчинения, любви. Элизабет Матрай так и не суждено было изведать такое, хотя именно к высокой и всепоглощающей любви она стремилась всю жизнь. С героиней Петера Хандке читатель прощался в тот момент, когда судьба ее только определялась и оставалось лишь гадать, как сложится она в дальнейшем. А вот Паула у Ангелики Мехтель находит в себе силы принять «свое решение», принять и бесстрашно осуществить его до конца. Хрупкая, неприметная Паула действительно имеет полное право сказать о себе: «Я давно уже не в коконе... Я теперь снаружи». И это само по себе главное и важнейшее ее жизненное завоевание, свидетельство ее зрелости. И главная идея талантливо и ярко написанной книги на «женскую тему».

Мы ничего не знаем о дальнейшей судьбе героини. Приехав в Мадрид, она не находит своего возлюбленного. Уклончиво сообщает кое-какие подробности о Феликсе его друг. Можно только догадываться, что это и в самом деле не «другая», что Феликс давно уже активно вовлечен в политическую борьбу и больше не располагает собой. Не исключен и трагический исход, на который намекают последние строки романа. И все же общий итог книги Мехтель — светлый. Ее Паула сделала свой шаг в «другую половину мира», от одиночества — к людям, вместе со своей создательницей она вырвалась из кокона самопоглощенности, и дальнейшие ее жизненные пути — это тема уже другого, будущего, еще не написанного романа.

НИНА ЛИТВИНЕЦ

НИКОЛАЕ ВЕЛЯ

Рассказы

■

Перевод с румынского

За солнцем

Дом прилепился у подножия горы, круто вздымавшейся вверх и заго-раживающей половину неба. Раду боялся этого обрыва и ненавидел его. Обрыв наводил на Раду страх, потому что старики говорили, будто в незапамятные времена здесь было море и круча была его берегом. Он ненавидел его, потому что от кручи всегда веяло сыростью и холодом, и ему вспоминались скользкие ледяные змеи. Обрыв этот преследовал его и во сне. Раду снилось, что он отодвигается дальше и дальше, а к нему, Раду, подступает белое, холодное море. Подступив совсем близко, море захлестывало его и душило. Главная мука была в том, что море подступало медленно, поднималось постепенно, как бы давая возможность убежать, спастись. Но как Раду ни старался, убежать не мог и только чувствовал, что море накрывает его с головой, огромное, неодолимое и такое тяжелое, что никто на свете, даже родители, которые все могли, не в силах были его спасти. И уже начиная захлебываться, он кричал от ужаса и просыпался в холодном поту.

А происходило это оттого, что за кручей уже вскоре после полудня пряталось солнце, хотя ему еще долго-долго надлежало греть и светить. Мальчик наблюдал, как во дворе удлиняются преждевременные вечерние тени, как все вокруг мрачнеет, становясь чужим и суровым.

В то ясное осеннее утро Раду проснулся, ощутив всем сердцем чудесную радость. Сон отлетел сразу, мальчику не хотелось, как обычно, подремать хоть еще немного. Он был полон предчувствия чего-то необычного и прекрасного, что должно было непременно случиться. Дверь в комнату была распахнута, и солнце врывалось в нее, неся с собой и тепло, и свет.

Сначала Раду подумал, что волнующее беспокойство исходит от чистого и необычайно яркого солнечного света, заливавшего комнату. Потом он увидел, что на склоне ближнего холма пасутся коровы и удивился, как это до сих пор он спит, а не пасет этих коров. И тут же вспомнил, что еще вчера отец сказал ему, что сегодня он идет в школу.

Соскочив с кровати, Раду стал одеваться. На стуле висели штаны, чистая рубашка, а рядом стояли сандалии, которых он ни разу не видал. Одевшись и обувшись, он выбежал из комнаты с каким-то особым чувством. Даже в голосе отца, который, еще позевывая, позвал его завтракать, Раду уловил что-то необычайное.

Потом они отправились в школу. Раду молча шагал по дороге рядом с отцом.

Глядя на осеннее солнце, уже не такое яркое и палящее, которое еще не заслоняла круча, и ясное синее небо, мальчик ощутил такую радость, что ему захотелось непременно поделиться ею с отцом. Это необъяснимое чувство было так велико, что Раду, сам не понимая, что делает, закрыл глаза и укусил широкую руку отца, сжимавшую его ладонь. Отец дал ему подзатыльник и спросил, что это на него нашло. Потом отец стал говорить, что нужно вытряхнуть из головы всякую дурь, пора кончать со всякими бреднями и играми, что он уже большой, нужно думать о деле, а ученье — это тоже дело для взрослого человека.

Раду обиделся, что отец не понял его, и побрел за ним чуть в стороне, не проронив больше ни слова. Точно пришибленный, вошел он в школьный двор и в самой школе его ничего не поразило и не обрадовало, хотя до этого он много раз с замиранием сердца думал об этом мгновении: Он как будто ослеп и оглох и сам не заметил, как оказался за партой посреди класса. Когда учитель, знакомясь с учениками, назвал его фамчлию, он встал и сказал: «Я!» — но только тогда, когда все сидевшие и сбоку, и сзади стали толкать его. Так и просидел Раду почти до конца урока, пока солнце не поднялось выше и на его тетрадь не упал солнечный луч, а с правой стороны на белом развороте не отпечаталась тень от листка герани, потому что все подоконники в классе были уставлены горшками с геранью. Спиной и затылком Раду почувствовал солнечное тепло и, обведя карандашом тень от листка, обрадовался. Он поднял голову и уже совсем другими глазами посмотрел вокруг. Теперь ему все понравилось: и расчерченная в косую линейку доска, и старый учитель, и его очки, и картинки на стенах. Ему так все понравилось, что захотелось как-то выразить свою признательность всему, что одарило его этой радостью.

Поэтому, когда учитель спросил, кто хочет остаться, чтобы переставить в классе парты, Раду первым поднял руку.

Выйдя из школы, он увидел, что с востока движутся тяжелые. плотные тучи. Раду подумал, что теперь-то и начнутся затяжные осенние дожди. Солнце было почти в зените, и Раду сообразил, что, пока он доберется до дома, оно скроется за крутым обрывом. А плотные надвигавшиеся тучи угрожали, что солнца ему долго не придется видеть, может быть, несколько недель. Когда Раду добрался до дома, солнце уже скрылось за гребнем кручи. Освещало оно только самую верхушку высокого орехового дерева, растущего во дворе. На его вершине задержалось еще несколько листочков, но когда налетал ветер, они один за другим падали на землю. Раду следил за ними и ловил их, когда они уже порхали у самой земли. Листья еще хранили солнечное тепло. Младшая сестренка Раду, видя, как брат гоняется за листьями, рассудительно, словно взрослая, спрашивала его:

— Ты что это делаешь? За солнцем гоняешься?

И действительно, листья, оставшиеся на вершине ореха, были такие ярко-красные, что казались кусочками солнца.

Потом круча заслонила от солнца и дерево. Раду смотрел на медленно, но неумолимо надвигавшиеся тучи. Видел он и тень от обрыва, холодную и неумолимую, которая постепенно росла, словно двигалась навстречу тучам. Он наблюдал, как она ширится, покрывая собою все, как море покрывало его во сне. Вдруг Раду почувствовал, что задыхается, что тьма эта невыносима. С левой стороны круча переходила в седловину. Склон ее тоже был крутым, но он порос травой, колючим кустарником и лещиной, так что по нему можно было подняться вверх. Почти бессознательно Раду сбросил сандалии, кинул сумку с книгами и побежал туда. Пока склон был пологим, Раду шел как обычно. Когда склон стал круче, Раду принялся карабкаться на четвереньках, с трудом переводя дыхание. Когда склон вздыбился, мальчик пополз, хватаясь за пучки травы. Уцепившись за кустик полыни, Раду подтянулся, но вырвал полынь прямо с корнем, а сам покатился вниз. Очнулся он, весь исцарапанный, среди чертополоха. Новая рубашка была порвана. От отчаяния и боли ему хотелось плакать, царапать землю ногтями, но, придя в себя и немного успокоившись, Раду снова пополз вверх. Он карабкался осторожно, нащупывая пальцами ног крохотные углубления. Ободранная на руках и на ногах кожа горела. Раду опять покатился вниз, но вовремя ухватился за ветку лещины. Он растянул руку, но, не дожидаясь, когда утихнет боль, снова полез вверх, боясь, что не увидит больше солнца. Упираясь ногами и подтягиваясь только правой рукой, он поднимался все выше и выше. Добравшись до вершины, совсем обессиленный, Раду увидел, что солнце висит низко-низко над горизонтом. Уткнувшись лицом в траву, за которую держался. Раду с облегчением заплакал. Потом, отдохнув, встал и пошел по самому краю над обрывом.

Сверху он видел, как отец косит в саду траву. Почему-то Раду стало приятно оттого, что отец косит именно сейчас. Он видел коров, бредущих с пастбища на кооперативную ферму. И это ему тоже было приятно. Раду взглянул на тучи, которые совсем еще недавно громоздились друг на друга, и заметил, что они рассеиваются и отступают. Он вовсе не удивился этому, все это показалось естественным. И вдруг он засмеялся. Подняв несколько камней, он бросил их вниз с кручи. Эти камни увлекли

за собой другие, и их грохот, покатившийся в долину, казалось, подхватил и разнес по округе радостный смех ребенка.

Перевод М. КОЖЕВНИКОВОЙ

Поздняя встреча

Павел Вершан за всю свою жизнь никогда ни на кого не сердился. Он всегда был в ладу с самим собой, умел избегать душевных неурядиц и быть хорошим со всеми. Никто не помнит, чтобы он когда-нибудь выругался или сказал резкое слово, даже если его выводила из себя скотина или что-то не задавалось. Он говорил обычно одно и тоже: «Будь ты неладно!», что по сути дела и за проклятие нельзя было посчитать. И если бы скотина или инструмент могли чувствовать и понимать, то и тогда бы они не обиделись на него. Когда у кого-нибудь случалось несчастье и срочно требовалась помощь, то в первую очередь вспоминали о Павле: его будили среди ночи, поднимали из-за стола и посылали за доктором или куда-нибудь еще, куда было нужно. И он исполнял все, не требуя никакого вознаграждения, считая, что помогать людям — это его прямой долг.

И все-таки, когда речь заходила о нем, люди говорили: «Что... Павел? Золотой парень, ничего не скажешь, только уж слишком...» — и тут бормотали что-то невнятное. Все подыскивали какое-нибудь резкое словцо, которое, впрочем, и не обидело бы его сильно, ведь он этого не заслужил. А таких слов не находилось. Да и трудно было найти, потому что Павел делал все основательно, а это всегда нравится людям, к тому же он был уравновешен, всему знал меру, но вовсе не был расчетлив, что порой невольно побуждает отпустить едкую шутку. Как-то раз, уже давным-давно, Павел был тогда еще мальчишкой, он прочитал в воскресенье в церкви «Верую». А возле моста Савы, когда он шел домой, деревенские мальчишки, поджидавшие Павла, забросали его камнями, словно настоящего мученика. Если бы спросить их напрямую, никто бы не смог ответить, зачем они это сделали. Но им тоже колола глаза благостность и разумность Павла.

Павел был коренаст, но складно сложен, его широкие скулы казались каменными. Говорил он мало, слова же произносил медленно, словно неторопливо вбивал каждый слог, и уж потом в сознании слушавшего все сказанное им сидело прочно. И мысли свои он всегда выражал обстоятельно. Так, например, если кто-нибудь заходил к нему и не закрывал дверь, он говорил не так, как говорят обычно: «Эй, прикрой-ка дверь!» — а наставительно: «Закрой дверь, а то меня просквозит и ты будешь виноват, если у меня опять прихватит горло».

Поэтому, когда он начинал говорить, люди не очень-то прислушивались к его словам. Павел не сердился и, оправдывая их, полагал, что виноват он сам. Однако, видя, что его не слушают, вскоре уходил прочь, пожимая плечами, как это делают обиженные, сгорбившись и чуть покачивая головой, словно угрожая кому-то, но это так только казалось, ибо никому он никогда не угрожал.

Сельский совет с полного согласия односельчан, зная Павла как человека весьма уравновешенного, доверил ему заведовать буфетом, который разместился в просторном доме. Сам буфет от столиков отделяла полукруглая стойка, так что буфет чем-то напоминал алтарь, а все помещение смахивало на церковь. Воцарившись здесь, Павел всерьез взялся за дело: в первую очередь он отделил столы от стойки низенькой загородкой, а на стене повесил три самодельных плаката на плотной бумаге; на первом было начертано: «Наш буфет шлет вам привет. Добро пожаловать!», справа от него значилось: «Пусть каждый знает: буфет в кредит не отпускает», плакат с левой стороны гласил: «Доброго посетителя обслужим быстро и уважительно».

Округлые яркие буквы были выписаны каждая отдельно, и каждая чувствовала себя уверенно, по-хозяйски на своем месте.

Ближе к вечеру солнце уже устало светило в окно сквозь бутылки с ликером, выставленные на витрине. Его лучи, пройдя сквозь желтую жидкость, утончались, меркли и окружали Павла мягким сиянием. Неведомо как, но и этот укрощенный свет, и четкие буквы на плакатах, и сдержанность самого Павла создавали какую-то особую атмосферу, отчего посетители говорили шепотом, пока выпивка не развязывала им языки. Павел обслуживал строго, скупо, роняя слова и не делая лишних движений.

Всего один раз видели его размахивающим руками и громко разговаривающим. Это было на свадьбе.

Женился он на Фике, дочке Панаиты Кадын, история которой была не совсем обычной.

Много лет назад Панаита Кадын вышла замуж за Думитру Обайе. Это был человек, про которого и сказать-то было нечего: настолько он не выделялся среди других людей. Но потом Обайе купил чесальную машину, и поскольку в ближайших трех селах другой такой не было, к нему повалил народ. Потекли денежки, о каких он и не мечтал,— вот и сколотил он состояние. Забыв про полевые работы, Обайе так растолстел, что ляжки его с трудом втискивались в довольно широкие штаны, но и те уже лопались по швам. Когда он шел по дороге, жирные, обвисшие плечи как бы опрокидывали его назад, отчего он казался меньше ростом, и похоже было, что он не идет, а перебирает ногами, сидя на табуретке. Панаита же, разбогатев, принялась транжирить деньги направо и налево: легкая жизнь пришлась ей по душе. Вскоре после свадьбы выяснилось, что Обайе бесплоден и детей у него быть не может. Но ему во что бы то ни стало хотелось иметь ребенка, чтобы было кому оставить накопленное за жизнь добро. Тогда он заявил жене, пусть она от кого ей захочется родит ему ребенка. Панаита и родила Фику. Сначала все шло тихо-мирно. До тех пор, пока на лице девочки не проступили явственно черты Михая Чюпилиту, ее отца. Тут Обайе стал выходить из себя по каждому пустяку и ставить жене всякое лыко в строку. Сегодня скандал, завтра скандал, и вскоре в доме все пошло кувырком. В конце концов дошло и до развода. Когда они развелись, муж выделил жене два погона [1] и построил хату на Овечьем выгоне. В те времена место это было пустынное, и, возможно, поэтому Панаита одичала: опустилась, пристрастилась к вину и даже начала курить. Кто-то из крестьян рассказывал: однажды вошел к ней в дом не постучавшись, а она сидит на кровати. («Средь бела дня, понимаешь!» — недоумевал он.) В одной руке у нее шланг, опущенный в бочонок с вином, спрятанный под кроватью, а в другой — цигарка. Панаита похудела, пожелтела, глаза у нее стали мутные, словно она никак не могла избавиться от простуды. Махать мотыгой она никогда не любила и постепенно продала всю землю: и ту, что оставил ей Обайе, и ту, что она получила в приданое. Теперь она жила только жалобами да кляузами. Последняя ее жалоба, отправленная в Народный совет, была вызвана тем, что по соседству с ней Василе Кымпулунджяну построил дом. Сгнивший забор, разделявший их дворы, он сломал, поставил новый, а старые доски взял себе. И это было справедливо: ведь он же поставил новый забор. Но Панаита ни в какую: отдай мои доски, а поскольку мужик воспротивился, она и написала жалобу:

«Товарищ Председатель, я, нижеподписавшаяся Панаита Кадын, по-дружески довожу до вашего сведения нижеследующее. Прошу вызвать на комиссию гражданина Василе Кымпулунджяну и его жену, Марию В. Кымпулунджяну. Вышеуказанные совершили нижеследующий поступок и даже преступление. В пятницу, когда он увидел, что меня нету дома, он сломал между нами забор. Когда я вернулась из села и спросила, почему он сломал ограду, он мне сказал, что я тут не имею никакого права, а я ему сказала, что если я не имею никакого права, то пусть из этих досок он сколотит себе гроб. Тогда жена набросилась на меня с криком, наговорила невесть чего, обозвала потаскухой и сказала, чтобы шла я ко всем чертям со всеми своими родственниками-придурками. Тогда я ей сказала, почему это мне идти к чертям и за что она обзывает меня потаскухой, что я ее вовсе не боюсь, а есть строгие законы и пусть не думает, что мы живем в прежние времена.

А она мне сказала, что законом ее не запугать и пусть я жалуюсь хоть куда, она все равно ничего не побоится. А когда я сказала, что я сделаю, как и он, он подскочил и сказал, что свяжет меня веревками, и хотел перелезть через забор ко мне.

Такова моя жалоба, в чем собственноручно и подписуюсь.

Панаита Кадын».

Дочь свою, Фику, воспитывала она строго, держала в ежовых рукавицах и выпивать при ней остерегалась. Дочь боялась и любила ее. Сердце ее разрывалось, когда порой по ночам она слышала, как мать плачет, жалуясь на загубленную жизнь. Фика окончила начальную школу, но мать не позволила ей учиться дальше в профессио-

[1] Погон — мера земли, равная 5012 кв. м. *(Здесь и далее прим. перев.)*

нальном училище в Арджеше, куда хотела поступить Фика. Мать оставила ее при себе, с утра посылала на работу, так они и жили вдвоем на то, что приносила домой дочь.

Фика мало-помалу взрослела.

Была она еще угловатой девчонкой, хотя уже заметно стала округляться. Речь у нее была мягкой, словно эхо в горах, задернутых туманом, и говорила она с каким-то удивлением, будто только что проснулась. Глаза у нее были чуть навыкате и порой светились такой радостью, словно их застилала блестящая пелена, из-за которой нельзя было даже разглядеть, какого они цвета. Ее любознательный взор все время перебегал с одного на другое, с человека на человека, и мысли ее, как можно было понять, следовали за ее взглядом. Ей многое уже довелось повидать в жизни, но она не утратила веры в счастье, которое дается людям, если все их поступки исполнены благоразумия и доброжелательности. Поэтому, хотя и мысли у нее сменяли одна другую, и взгляд переходил с одного человека на другого, в глазах светилась неизменная радость, собиравшая все в единый круг, где царило добросердечие и доверчивость, в центре которого была она сама.

Когда она шла по дороге и кто-нибудь интересовался: «Эй, Фика, куда это ты отправилась?» — она удивленно спрашивала:

— Чего?

— Куда ты идешь?

Она еще более удивлялась и совсем невпопад отзывалась:

— Кто?

— Кто?.. Да ты!

Фика оглядывалась вокруг и, не видя себя, высокую и красивую, удивленно переспрашивала еще раз, никак не допуская мысли, что она может кого-нибудь интересовать. Потом, как бы разговаривая сама с собой, произносила:

— Куда я иду?

И только после этого отвечала.

Вот такой она и была, когда за нее посватался Павел.

Это Панаита решила отдать Фику замуж за Павла. Она знала, что человек он работящий, да и хозяйство у него неплохое. У Павла было четыре погона земли, один он получил в сорок пятом, когда крестьян наделяли землей, три остальных, один из которых был под виноградником, приобрел еще раньше сам, отказывая себе во всем, когда работал в поте лица в поместье у Бэркэнеску кучером, поскольку наследства ждать ему было неоткуда.

Зная также, что Павел человек сердобольный, Панаита сообразила, что, заполучив его в зятья, сможет жить за его спиной, не думая о куске хлеба... Поэтому, когда кто-нибудь заводил разговор о сватовстве к ее дочке, она пропускала все мимо ушей, но как только разговор этот кончался, она безо всякой связи с предыдущим заговаривала о Павле, расхваливая его на все лады. Так что, когда до парня дошло все, что должно было дойти, и он посватался к Фике, Панаита напрямую спросила его, не подал ли он заявление о вступлении в кооперативное хозяйство, которое только недавно организовалось и в которое пока еще вступили немногие. Когда Павел отрицательно мотнул головой, Панаита, уверенная в парне и в том, что Фика ему по сердцу, решительно заявила, что, если нечистый сподобит его подать заявление, дочку она за него не отдаст, об этом и толковать нечего. Она, Панаита, уже старая, сил у нее нет, чтобы вырабатывать трудодни, хватит с нее забот и хлопот о зяте и дочке, которую она до сих пор берегла пуще глаза. Павел заверил ее, что все будет так, как она хочет, и они назначили день свадьбы.

Расставшись с Панаитой, Павел шел по улице так медленно и осторожно, как никогда еще не ходил, словно его до краев переполняло счастье и, прибавь он шагу, да еще побеги от радости вприпрыжку, это счастье могло бы расплескаться по дороге. Он был как во хмелю, но когда немного пришел в себя, перед его глазами нежданно-негаданно предстала комната Панаиты. Он увидел стены, увешанные салфеточками, голубую ленту, опоясывающую пузатую лампу, настольные часы на полочке, прибитой к стене. Он обратил внимание, что Фики как бы и не было, и это с самого начала сковывало его. Павел вспомнил, что, пока шел разговор, он ни разу не решился взглянуть на девушку, которая молча затаилась в уголке, так что понять, как она сама ко всему этому относится, не было никакой возможности. Панаита же толковала о свадьбе так, будто дочери тут и вовсе не было. Припомнив все это, Павел немного огор-

чился, но скоро это прошло, потому что более радостные и лишь на мгновенье оттесненные мысли с новой силой завладели им.

И Павел зашагал дальше, все так же размеренно и неторопливо.

И тем не менее в день свадьбы он был сумрачен, на лице его не было заметно ни проблеска радости. Люди недоумевали, но их любопытство не было удовлетворено: Павел оставался глух ко всем вопросам.

Дело было в том, что он все еще переживал случившееся с ним накануне.

В субботу вечером, перед заходом солнца, до того, как начаться танцам, Павел, облачившись в костюм жениха и прихватив с собой фляжку с цуйкой, отправился в сопровождении музыкантов приглашать знакомых на свадьбу. Музыкантов было трое: Верджилэ с кларнетом, Нэицэ Бурча, толстый цыган, отрастивший живот словно нарочно для того, чтобы поддерживать цимбалы, и Миту Слепой со скрипкой, низкорослый и худой, но всегда веселый. Правда, веселье его было каким-то надрывным, словно своими шутками он хотел возместить свой природный недостаток. Когда Миту шел по дороге без поводыря и слышал, как кто-то приближался к нему, он, постукивая палочкой, насмешливо предупреждал:

— Посторонись, посторонись, о меня не споткнись!

Они уже побывали в нескольких домах и теперь шли по дороге, продолжая свой обход. Смеркалось. Павел услыхал, что с холма катят дрожки. По голосу, понукавшему лошадь, он узнал Тудора Лека. Павел дал знак музыкантам, чтобы они играли, а сам, когда дрожки поравнялись с ними, протянул фляжку. Но Тудор Лека прокатил, не остановившись. Павла это поразило в самое сердце. Оскорбление настолько затмило его радость, что на какое-то время ему показалось, будто всей его тихой и мирной жизни последних лет просто не было, что женитьба на Фике существовала только в его воображении, что он слишком доверился ощущению счастья и вот теперь должен за это расплачиваться. Единственно, что оставалось реальным в его жизни, так это годы, когда он служил кучером у Бэркэнеску. Поэтому, стоило Нэицэ ткнуть его в спину молоточком от цимбал, Павел мгновенно обернулся: ему показалось, что он сидит на козлах, а в спину ему тычет хозяин. Но увидел он глаза Нэицэ, которые смотрели задумчиво и, кажется, даже печально:

— Не переживай, Павел. Политик, сам понимаешь, не будет останавливаться на большой дороге, чтобы хлебнуть из фляжки.

(Тудор Лека был районным партийным инструктором.)

«Подумаешь! — возмущался про себя Павел.— У него что, право есть такое, письменное распоряжение ему дали, чтобы испортить мне всю радость?..»

Самое главное — кто же это сделал?.. Тудор Лека, которого Павел уважал больше всех и которому, как он чувствовал, был обязан многим, у кого всегда хватало терпения выслушивать Павла до конца, не прерывая ни единым словом. Это с ним они столько проказили, когда еще учились в начальной школе... Вспомнить только, как они сбежали из школы и из дома на целую неделю на Пегое озеро...

Озеро это считалось бездонным. А Пегим его называли потому, что однажды черно-пегий бык погнался за такой же черно-пегой коровой. Корова со страху бросилась в озеро. Бык — за ней. Там они бесследно и исчезли, тогда и стали говорить, что озеро бездонное.

А с побегом их дело было так. Стояла осень. Моросил дождь, погода была промозглая, холод пробирал до костей. Павел, он учился тогда в четвертом классе, и Тудор, учившийся в шестом, оба вдруг, не сговариваясь, почувствовали, что такая жизнь просто непереносима: иди в школу, оттуда домой, пожуешь что бог послал, дрожи от холода на выгоне, паси скотину, пока не стемнеет, иди в школу, снова дрожи от холода... Нет, так больше не пойдет, хватит!

Вот и решили: спустятся они через дыру в озере на другую сторону земли, в Африку, в Австралию, в общем, туда, куда она ведет. Если здесь осень, то на той стороне должно быть солнце. Весна или лето, солнышко светит, тепло — просто благодать. Опускаешься в дыру, складываешь ноги по-турецки, на коленях сумка... проголодался — пожевал, спать захотел — спи за милую душу... лежишь-то на воздухе, а он мягче всякой перины. Падаешь себе, словно паришь. Долетел до конца и живи-поживай, как все люди, ешь, пей, можно и подзаработать немного, а когда эта сторона земли снова повернется к солнышку, опять ныряй в дыру и возвращайся домой, где уже весна наступила. Одежда, конечно, на тебе другая. Встречаются по дороге односельчане:

— Эй, Павел, Тудор, вы ли это? Где это вы пропадали, сквозь землю провалились, что ли?

— Да так, с того света возвращаемся.

— Что вы говорите?! Ну а как на том свете, хорошо?

— Конечно, хорошо. А как ты думаешь, если никто из умерших оттуда не возвращается?.. Лучше и не надо! Это мы вот поклялись вернуться обратно, чтобы рассказать, как там дела, пусть люди знают.

Тудор и Павел набили сумки всякой едой и отправились на озеро. В первый день они не нашли никакой дыры. Видели одну только тину, заросли ольхи, тростник да медвежий след. Но возвращаться домой им не хотелось. Из веток и листьев соорудили на берегу шалаш и заночевали. И на следующий день тоже ничего не нашли. Целую неделю тщетно искали они дыру, пока не съели до крошки все, что было в сумках. Домой они брели опухшие, простуженные. По дороге Лека, дрожа от холода и вытирая нос рукавом зипунишки, заявил:

— Ничего нам не остается, как жить на этом свете, Павел. Вот если бы сделать так, чтобы и тут было тепло!

Так они и не сказали никому, где пропадали целую неделю и чего искали.

В сорок девятом Лека уехал на стройку, потом служил в армии, а демобилизовавшись, работал секретарем Народного совета в соседнем районе. Через два года вернулся в родное село уже инструктором.

Павел вместе с музыкантами шел по дороге вслед за дрожками и вел воображаемый разговор с Тудором, призывая его припомнить все, что некогда связывало их. И вдруг он сам вспомнил совсем недавнее происшествие, которое, как ему показалось, могло объяснить, почему Тудор поступил сегодня именно так.

За несколько дней до того, как Павел отправился сватать Фику, Тудор Лека пришел к нему и сказал, что в ближайшее воскресенье состоится общее собрание членов коллективного хозяйства, где будут разбираться заявления о вступлении новых членов. Он спросил Павла, не думает ли он тоже подать заявление. Павел ответил утвердительно, хотя в душе вовсе не был в этом уверен: как-никак он с утра до ночи не выходил из буфета и работать в поле ему просто было некогда. Как раз в то самое воскресенье Павел пошел свататься к Фике. Когда он пришел к Панаите, в кармане у него уже лежало заявление. Он хотел подать его прямо на собрании. Но, услышав требование Панаиты, Павел судорожно скомкал его, словно испугавшись, что Панаита сможет прочитать его даже сквозь карман. В прошлый вторник, около полудня, Павел был дома. Вдруг он увидел, что Тудор открывает калитку. Павел сразу сообразил, зачем тот явился. Он засуетился, стал искать ключ, чтобы запереть входную дверь, но не нашел, а потому спрятался в горнице. Тудор несколько раз окликнул его со двора, потом вошел в сени и снова окликнул. Павел молчал, затаившись за дверью. Тудор распахнул дверь в горницу и молча застыл на пороге, держась за ручку. В горнице было холодно, там даже зимой печку не топили. Павел с испугом увидел, что пар изо рта тянет прямо в щель между дверью и косяком. Насколько мог, он задержал дыхание, но Тудор упорно стоял на пороге. Павел не вытерпел и стал потихоньку выдыхать, и тут же возле дверных петель заклубился пар. Павел, задыхаясь, переступил с ноги на ногу. Пол заскрипел. Он хотел выйти из укрытия, но Тудор хлопнул дверью и ушел. Павел понял: Тудор догадался, что он прятался от него за дверью, и удивился, почему Тудор не захотел уличить его в этом, ведь если он думал, что Павел подаст заявление о вступлении в коллективное хозяйство, то более удобного случая, когда Павел был в полной растерянности и сгорал от стыда, ему уже не представится. Он подумал, что и Тудору не хотелось ставить его, Павла, в неловкое положение и потому он предпочел на все закрыть глаза. Но рассердиться на него он, конечно, рассердился, это было ясно уже потому, что не пожелал соблюсти старинный обычай и отхлебнуть из фляжки.

Павел в сопровождении музыкантов переходил из дома в дом, но вид у него был какой-то отсутствующий, и положенные при этом слова произносил машинально, вовсе не думая о них.

И на свадьбе он был все таким же: сидел во главе стола рядом с Фикой и молчал, словно ему зашили рот. Потом, что было совсем непохоже на него, принялся пить. Пил стакан за стаканом, низко опустив голову, а когда поднял ее, то увидел, что Миликэ Одришкэ, парень из их села, окончивший в городе техническое училище, а теперь работавший бригадиром, не спускает глаз с Фики.

Это задело Павла, и он спросил:

— Эй, Миликэ, ты куда смотришь?

Тот быстро отвел взгляд в сторону и ответил:

— На дядю Плотоджа.

— А чего это ты на него смотришь, Миликэ? — не унимался Павел, и, хотя говорил он тихо, в голосе чувствовалось раздражение.

— Не видишь разве, как он орошает ботинки? — Человек, о котором шла речь, на глазах у всех мочился возле сарая.

Миликэ Одришкэ часто употреблял необычные слова, которых он набрался в училище. Произносил он их с какой-то грустью, словно прибегать к ним его вынуждало положение человека, учившегося в городе и поэтому просто обязанного употреблять необыкновенные слова. По его красивому девичьему лицу с четко очерченным ртом и маленьким округлым подбородком можно было понять, что и там, в училище, он без всякого удовольствия осваивал все эти непривычные слова. Но он их выучил, чтобы быть таким же, как все, и пользовался ими как щитом, за которым мог скрывать свои мысли.

— А теперь ты куда глядишь, Миликэ? — не отставал Павел.

— На Нэицэ.

— А почему на Нэицэ?

— Видишь, как он лебезит перед учителем?

Цимбалист Нэицэ действительно все время вертелся около учителя Молдовяну, человека уже в летах, маленького и худого, который возглавлял комиссию по разбору жалоб при Народном совете. Нэицэ знал, что Георге Рэбэдинэ подал на него жалобу, потому что Мица, жена Нэицэ, застала на своем поле гусей Рэбэдинэ, щипавших всходы пшеницы. Одного она поймала, свернула ему шею и сварила. Вот теперь Нэицэ и увивался возле учителя, но не решался обратиться к нему как к «господину прокурору», а все выспрашивал, какая музыка тому больше нравится.

— А почему ты, Миликэ, на мою жену не смотришь? Она что, некрасивая? — вдруг спросил Павел.

— И на нее могу...— отозвался Миликэ.— Вот теперь смотрю и на нее...

Миликэ уставился на Фику, разглядывая ее лицо, шею и пытаясь поймать ее взгляд. Павел все был недоволен. Он выпил еще стакан вина и задал вопрос, который, как он думал, должен был окончательно сразить Миликэ:

— Скажи мне, Миликэ, что было сначала: яйцо или курица?

Тот, не спуская глаз с Фики и даже не взглянув на Павла, как бы отмахнулся:

— Погоди, я тебе обрисую.

— Чего ты обрисуешь?

— Ответ!

— Миликэ, знаешь что...— Павел повысил голос.— Ты не того... смотри, не того... Если уж я разок отвешу...

Неизвестно, чем бы все это кончилось, не появись в этот миг в воротах Тудор Лека с женой, которые пришли с подарками: они несли корзину, полную пирожков, поверх лежала зажаренная курица, блестящая мясорубка, а под мышкой у Тудора была живая индюшка.

Павел, увидев их, тут же вскочил, махнул музыкантам, чтобы следовали за ним, а сам бросился навстречу с фляжкой. Музыканты грянули марш. Потом Павел усадил дорогих гостей за стол, постелил перед ними новые газеты и сам принес глиняные миски с чорбой, студень, жаркое, а потом сдобные булки. Тудор спросил Павла, не он ли это был вместе с музыкантами вчера на дороге, а то он ехал задумавшись, да еще темно было, так что он даже никого и не разглядел. Очнулся он только тогда, когда дрожки уже прокатили мимо, а повернуть назад он как-то сразу не догадался... Павел все суетился вокруг него, поглаживая по плечу, и приговаривал: «Эх, нене[1] Тудор... слушай, нене Тудор». (Хотя Лека был всего на три года старше, но так уж повелось с детских лет, что Павел звал его «нене».) Больше он ничего не мог сказать, ему словно и хотелось сообщить что-то совершенно необычное, но он никак не мог найти соответствующие слова, а когда ему казалось, что он уже нашел их, они вдруг снова представлялись ему неподходящими, и Павел принимался искать другие.

Павел все пил, и к полуночи, когда совсем запьянел, взгромоздился на стул и обратился к присутствующим:

[1] Нене, неня — ласковое обращение младшего к старшему.

— Что вы здесь делаете, люди? — (Не блуждай на его лице улыбка, можно было подумать, что он хочет учинить скандал или свести со всеми присутствующими какие-то счеты.) — Знаете, что вы здесь делаете, или нет? Ну, если не знаете, то я вам скажу. Вы гуляете на свадьбе. А на чьей свадьбе гуляете? На моей, на свадьбе Павла Выршана. Павел, Павел Выршан. А кем я был, Павел Ион Выршан? Кучером у Бэркэнеску, вот кем я был. А кто я теперь? А теперь я сам себе хозяин, раз вы гуляете на моей свадьбе. Я хозяин сам себе. А знаете ли вы, что я хочу теперь делать? Опять не знаете. Я вот хочу снять кожух и забросить его на месяц, пусть там висит. Вот чего мне хочется, потому что сегодня моя свадьба.

Павел снял кожух и некоторое время держал его на вытянутой руке. Люди вдруг обнаружили, что Павел, оказывается, способен размахивать руками. Вечер был довольно прохладный, Павел немного протрезвел, пришел в себя и, с удивлением посмотрев на кожух, чуть заметно смущенно улыбнулся. Он слез со стула, сел и больше не сказал ни слова до самого рассвета, пока не ушел последний гость.

День следовал за днем, проходили недели, а в доме не случалось ничего такого, что было бы достойно упоминания, как, впрочем, и в других домах молодых людей, впервые вкусивших радости совместной жизни. Павел был по уши влюблен в Фику, он не знал, что же для нее сделать, что бы ей такое подарить, и, хотя после свадьбы прошло довольно много времени, все еще увивался вокруг нее. Фика же пока никак не проявляла своей любви, потому что до сих пор она еще не знала, что это такое.

Однако постепенно и она стала тосковать о Павле, когда он уезжал в город за товаром. Когда она шла по дороге, то какой-нибудь жест встречного, поворот головы или случайно оброненное слово напоминали ей жесты Павла или его манеру говорить.

Возможно, что те чувства, которые стали пробуждаться в Фике, получили бы естественное развитие и семейная жизнь пошла бы на лад, не случись некоторых событий, перевернувших все вверх дном.

Дело шло к весне, и как-то в понедельник, поскольку посетителей не было, Павел уже подумывал было закрыть буфет пораньше, как вдруг распахнулась дверь и вошел Миликэ Одришкэ. Даже не поздоровавшись с Павлом, он решительно уселся за стол и потребовал бутылку рому. Павел принес бутылку, и Миликэ единым духом прямо из горлышка выпил больше половины. Только после этого он стал наливать ром в стопку. Опорожнив вскоре бутылку, он потребовал еще одну.

— Нет, вторую я не могу тебе дать,— мягко воспротивился Павел.

— Делай, что тебе говорят. Я хочу напиться до чертиков, слышишь...— И, видя что Павел колеблется, Миликэ разозлился: — Ты что, боишься, что у меня денег нет... Вот они, отсчитай сколько нужно и возьми пять лей на чай!

Павел взял деньги, пересчитал их за стойкой, принес еще бутылку и вернул остаток денег. Увидев сдачу, Миликэ удивленно повторил:

— Ты что, не слыхал? Возьми себе на чай! — И замолчал. Могло показаться, что он задумался о чем-то совсем далеком, как вдруг неожиданно рявкнул: — Или тебе этого мало?! — Тут он осуждающе покачал головой, довольный тем, что нашел объяснение.— На, возьми еще.

Павел, повернувшись к нему спиной, расставлял на полке бутылки. Миликэ трахнул стаканом об пол:

— Бери, тебе говорят!

Павел обернулся. Пристально и с какой-то укоризной посмотрел он на Миликэ, потом подошел к столу и молча взял деньги. Взял он их не из-за того, что боялся скандала, а просто не хотел расстраивать Миликэ, как и вообще не хотел расстраивать никого. Завтра, когда Миликэ проспится, он вернет ему эти деньги. Миликэ утихомирился, поднес бутылку ко рту и долго пил, словно вливал ром себе прямо в глотку, потому что кадык его совсем не двигался. Потом снова заговорил, точно отвечая на чей-то упрек:

— Пью и буду пить, пока не упьюсь. Зря все говорят, будто теперь не так, как прежде: у кого сколько погонов, столько тому и поклонов. Чушь собачья! Все равно земля — всему голова, по ней тебя и ценят. Вся человеческая мудрость той же землей засыпана.

На лице его появилась злая улыбка, и он вместе со стулом повернулся к Павлу.

— «А почему ты, Миликэ, на мою жену не смотришь? Она что, некрасивая?» — Миликэ потер лоб, пытаясь припомнить весь тот разговор, который произошел на

свадьбе.— Так знай, сам тебе говорю: красивая. Это ты ничего не видишь дальше своего носа да интереса.

Насмешливо звучащий голос Миликэ вдруг изменился, стал мягким, дружеским, как будто он вполне серьезно хотел убедить Павла, как красива Фика, о чем тот и понятия не имеет.

— Это я тебе говорю, что она красавица и другой такой не сыщешь, хоть обегай всю округу. И еще скажу, что люблю я ее. И знаешь, с каких пор? Еще со школы, с четвертого класса. Знаешь ты Мицу Рошку? У нее до сих пор на левой руке след от ожога. Это с четвертого класса. Тогда, после рождества, Фику перевели из Овечьего выгона в нашу школу. Только я взглянул на нее, как на меня что-то нашло. Сам не знаю что, только нужно мне было что-то такое сделать, чтобы она посмотрела на меня. А эта Мица Рошка как раз стояла перед печкой и грелась. Я подкрался к ней сзади и пощекотал под мышками. Она перепугалась, завизжала и ткнулась руками прямо в угли. Учитель еще тогда меня по щекам отхлестал.

Миликэ говорил о Фике, как бы по-дружески исповедуясь и совсем забыв, что она жена Павла. Вдруг, спохватившись, он смущенно потер ладонями щеки, но, крепко захмелевший, продолжал говорить все так же доверчиво, словно желал убедить Павла в том, что его любовь к Фике вполне законна, и таким образом добиться у него понимания.

— Ну, скажи мне теперь, Павел, по совести... Я люблю ее, Фику. Уже сколько лет думаю только о ней. А ты вот явился и взял ее в жены... Ну, скажи мне,— в голосе Миликэ зазвенела и боль и мольба,— скажи, почему это так? Признайся, чего она в тебе нашла? Сказать, что ты красавец, не скажешь, или что ты здоровей меня — тоже нет. Ведь правильно?.. И чтобы ты говорил красиво, чтобы вскружить ей голову, так и этого нет. По этой части я тебе сто очков вперед дам... Ведь женщинам только и нравится, если ты красив или зубы заговаривать умеешь... Так в чем же дело? Эх... не будь у тебя земли, не будь виноградника, не будь Панаита падкой на все это... Ведь и за меня другие старики вступались добрым словом... Ведь и я сватался, только Панаита ни в какую, дескать, нужно подождать, чтобы повзрослели и я, и Фика...

Павел сидел молча, прислонившись спиной к медному бачку с краном, под которым он мыл стаканы. Поток беспощадных слов Миликэ сводил на нет все его надежды на счастье. Павлу становилось не по себе, ему казалось, что он что-то украл, и, прижимаясь к бачку, он как бы искал затылком опоры. Как нарочно, в буфет никто не заходил, и Миликэ говорил и говорил все тем же дружеским и одновременно умоляющим голосом, нанизывая слова, которые Павлу причиняли острую боль. И вдруг Миликэ запел. Он пел как птица, которая вовсе не нуждается в слушателях. Заунывная песня заставила Павла еще глубже почувствовать ту страсть, что владела Миликэ. Ощутив же всю глубину его чувства, Павел острее ощутил и свою собственную любовь. Он сидел за стойкой, держа в руках стакан, и вдруг обратил внимание, что сжимает его так, что тот вот-вот треснет. Тогда Павел осторожно отставил его подальше. Когда Миликэ кончил петь, а Павел стал приходить в себя, освобождаясь от настроения, в которое повергла его песня, он заметил, что дверь в буфет приоткрыта и внутрь заглядывает Фика. Сам не понимая почему, Павел вдруг закричал на нее:

— А ты чего сюда суешься? Тебе что, делать дома нечего? А ну закрой дверь! Я скоро приду.

Фика захлопнула дверь и исчезла.

Миликэ сидел, закрыв лицо руками, потом вскочил и бросился вон. У порога он обернулся и безнадежно махнул рукой.

Павел закрыл буфет и размеренным шагом направился к дому. Но это не доказывало, что он оставался уравновешенным, как всегда. Им овладело необъяснимое спокойствие, которое неожиданно находило на него именно тогда, когда он испытывал потрясения, такие невероятные потрясения, что ему самому становилось страшно. В такие моменты он даже не пытался разобраться в смысле происходящего и только изо всех сил старался не выйти из себя и быть спокойным.

В тот же вечер, желая хоть как-то разрядить напряжение, он почти бессознательно спросил Фику, нравится ли ей виноградник. Фика удивилась и в свою очередь спросила, что это на него нашло. Павел, который никогда не повышал голоса, стукнул ладонью по столу и закричал:

— И что это за племя такое, эти бабы, убей меня бог, не понимаю. Я тебя по-хорошему спрашиваю, а ты вместо того, чтобы ответить по-людски, сама лезешь с вопросами. Отвечай,— хлопнул он опять по столу,— раз тебя спрашивают. Да или нет?

Фика внимательно и как-то огорошенно посмотрела на него и коротко ответила:

— Нравится, да!

Павел так же лаконично, словно ответ жены, который можно было предвидеть, все-таки разрешал мучивший его вопрос, буркнул:

— Вот видишь!

После этого они весь вечер молчали.

В последние дни Павел к месту и не к месту заводил разговор о земле и винограднике. Упорно возвращаясь к этому разговору, он говорил резко, иногда даже зло. Он и сам бы не смог толком объяснить, почему он так поступает. Возможно, если Фика действительно вышла за него замуж из-за земли, ему во что бы то ни стало хотелось внушить ей: «Да, кроме как о земле Павел и думать ни о чем не желает, единственная его страсть — земля. А если другой страсти у него нет...» И таким образом помочь ей разобраться в ее собственных чувствах. Возможно и другое. Павел не знал, слышала Фика или нет, что говорил Миликэ о земле, когда она приоткрыла дверь в буфет, и потому хотел разрешить для себя это сомнение; как бы там ни было, но слова вроде бы облегчали душу, а невысказанные были так непереносимы, будто в собственном доме приходилось скрывать покойника.

Или — но в этом он не признавался даже себе — он надеялся, что Фика воспримет все его разговоры как испытание и прямо скажет ему, что понимает, куда он клонит, но он ошибается, все обстоит вовсе не так и подозрения его напрасны: она вышла за него замуж вовсе не из-за земли.

Все их разговоры в доме велись теперь на один манер.

Когда Павел, закрыв буфет, приходил домой обедать, Фика, как всегда, спрашивала:

— Закрыл?

— Да, закрыл,— отвечал Павел.

На этом все и кончалось. Он не рассказывал ей, как бывало раньше, о чем говорят люди, что ему довелось слышать о разных происшествиях в селе. Потом брал какие-нибудь инструменты и шел во двор. То он чинил забор, то набивал обручи на бочки — всегда находилось какое-нибудь дело, пока Фика не позовет обедать.

Павел молча съедал все, что ставилось перед ним, но, спроси его, что он ест, он бы не ответил. Когда Фика пыталась завести разговор о том, что касалось ее: о каком-нибудь случае или о том, что ее занимает, Павел слушал ее, что-то мычал, односложно отвечал на вопросы.

Фика говорила, и, когда увлекалась, Павел вдруг прерывал ее вопросом вроде следующего:

— Сегодня утром ты обещала подрезать побеги на винограднике... Ну как, подрезала?

Ответив, Фика на какое-то время умолкала. Потом снова пыталась завязать разговор о том, что она видела, что интересовало ее. Павел слушал, похмыкивая, но стоило ей увлечься, как он вновь прерывал ее:

— Я думаю, не посадить ли вдоль виноградника со стороны Мимэрушу терновник. Чтобы ребятишки не лазили и скот не забредал. Я слыхал, что в Чьофрынжене есть саженцы. Завтра-послезавтра съезжу туда.

Фика, совершенно сбитая с толку, замолкала и с покорным видом подносила глиняные миски Павлу. Павел ел неторопливо, тщательно жевал. Потом возвращался все к той же теме.

— Поговори в госхозе. У них есть какие-то препараты, какие-то порошки, чтобы опрыскивать виноградники. Съезди туда на той неделе к агроному, он тебе даст.

Фика никак не могла понять, чего добивается Павел. Она ощущала, что между всем, что он говорит, есть какая-то связь, что он преследует какую-то определенную цель, но не могла догадаться какую, и потому чувствовала, как над ней нависает неведомая угроза, и ей становилось страшно. Глаза Фики утратили веселый блеск, взгляд перестал быть доверчивым. Теперь она глядела настороженно и испытующе, словно пытаясь все разложить на составные части, чтобы увидеть, не грозит ли ей что-нибудь.

Однажды в субботу, после обеда, Павел поехал в город за товаром. Фика сбивала масло, когда открылась дверь — в дом вошел Миликэ. Увидев Фику, он окаменел, выпустил ручку двери, и она, распахнувшись настежь, стукнулась о шкаф с посудой. Хотя Миликэ рассчитал время и час, чтобы застать Фику дома, по всему было видно, что он растерян и даже немного испуган тем, что увидел ее, да к тому же совсем одну. Взгляды их встретились, руки его безжизненно повисли, плечи опустились, и сам он стал как будто ниже ростом. С порога он позвал ее:

— Фика!

Фика откликнулась, но Миликэ мешкал на пороге. Побелевшие губы его дрожали. Глухим, словно чужим голосом он все звал ее. Фика откликнулась и второй, и третий раз, потом замолчала. Она поняла, что он не слышит ее и даже не ждет ответа. Он звал ее с собой, неведомо куда, и в его словах слышались и страсть и призыв. Фика, не зная, как же ей себя вести, вновь принялась сбивать масло. Она слишком резко опустила сбивалку, сметана брызнула во все стороны, и несколько капель попало на вельветовый пиджак Миликэ. Схватив полотенце, Фика принялась стирать сметану с пиджака. Миликэ попытался обнять ее за плечи, Фика отпрянула, Миликэ бросился к ней. Маслобойка опрокинулась, но Миликэ не смутился, не покраснел, наоборот, как бы пришел в себя и заговорил.

Они стояли, разделенные белоснежным ручьем разлившейся по полу сметаны. Миликэ говорил, что он не может, больше никак уже не может — да что там! — и сон не в сон, и кусок в рот не лезет. Это она сделала его нечеловеком.

...Пусть она смеется, пусть издевается над ним, если хочет присутствовать на его похоронах... Так оно и будет, сама увидит... Ведь только чуть стемнеет, любая проходящая женщина кажется ему Фикой, а кинется он к ней — тень от яблони колышется, и больше ничего...

...Он знает, что она не любит Павла, и за что его можно любить, и что она в нем нашла? Знает, что вышла она за него из-за земли, что это мать ее, Панаита, ее заставила. А раз не любит, так почему упорствует, почему не бросит Павла и не выйдет замуж за него, Миликэ? Если она стыдится односельчан, то он наймется на стройку возле Корбеня, есть у него там знакомые. Поживут там немного, а потом вернутся в село.

Фика слушала, и ей было страшно от того, с каким жаром говорил все это Миликэ. Не выдержав его пылающего и вопрошающего взгляда, Фика нагнулась и принялась вытирать с пола сметану. Миликэ тоже присел на корточки и положил ей руки на плечи. Фика осторожно сняла их и, задержав в своих ладонях, проговорила:

— Я замужем, Миликэ...

Миликэ даже не попытался высвободить свои руки. Тогда она робко посмотрела на него и попросила:

— Уходи. Оставь меня в покое.

Когда Миликэ ушел, Фика удивилась сама себе: вместо того, чтобы думать о нем и о том, что он ей наговорил,— этого вполне можно было ожидать и этого она боялась,— она стала думать о Павле и о его разговорах про землю и виноградник.

Фика сидела на кровати, совсем забыв о маслобойке. И вдруг ее осенило: Павел потому так часто заводит разговоры о земле, что думает, будто из-за нее только она и вышла за него замуж. Эта догадка так больно поразила Фику, что она вскочила. Ей показалось, что стены сдвигаются и вот-вот задушат ее. Распахнув дверь, она, потрясенная, выбежала во двор. Всплеснула руками, потом стала растирать ладонями щеки. Немного успокоившись, она, закусив губу, вернулась в дом. Глаза ее были широко раскрыты, и в них отражались удивление, злость и насмешка. Мысленно она стала укорять Павла. Успокоившись окончательно, вспомнила и о Миликэ. Но думы о нем были смутные и холодные: он ей не нравился, казался слишком шумным, несерьезным и слишком... Мысли своей она так и не додумала до конца: Миликэ, казалось, и не достоин был этих усилий. И вновь она стала думать о Павле и, представив себе, что он рядом с ней, принялась беспощадно и зло судить его за глупые подозрения.

Вечером она ничего не сказала Павлу, но в ее поведении ощущалась какая-то неуверенность, какая-то напряженная покорность. Она избегала смотреть на мужа, а если иногда и бросала на него беглый взгляд, то искоса: то ли устала, то ли боялась, что муж прочтет в ее глазах что-то такое, что она хотела бы от него скрыть.

Но Павел ничего не заметил, он по-прежнему изводил ее теми же вопросами и надоевшими разговорами, будто нарочно и вполне сознательно отстраняясь от Фики.

Однажды они были близки к тому, чтобы понять друг друга, но ничего из этого не вышло.

Как-то вечером сидели они и ужинали, вдруг у ворот раздался голос Томы Пардэу. Вышла Фика. Тома поинтересовался, дома ли Павел: у него есть к нему дело.

— Дома, только он сейчас ужинает,— ответила Фика и, не пригласив Тому войти, вернулась в дом.

С давних пор таила Фика на Тому зло. Как-то раз нанялась она к нему на поденную работу, и вот однажды он не послал ее вместе с другими работниками убирать хлеб, а заставил чистить уборную и весь день издевался, что она своими руками выгребает такую зловонную мерзость.

У Томы Пардэу было двое детей, два урода и недоумка: сын Ионел и дочь Тия. Они знали, что все село считает их придурками, и потому не выходили из дома, хоть зарежь. Дома они только и делали, что пили. Ходили слухи, что они и живут друг с другом. Когда вина не было, они били старика, чтобы выколотить из него деньги. Когда односельчане отобрали у Томы землю, а он был кулаком, не стало и денег. Поэтому, когда созревала вишня на деревьях, росших за его домом, но уже не принадлежавших ему, Тома тайком по ночам собирал ее и продавал на приемный пункт.

Фика подозревала, что он явился звать Павла, чтобы тот помог ему собирать эту вишню. Она боялась, что покладистый Павел, не желавший ни с кем портить отношения, даст себя уговорить, поэтому и вышла во двор сама. Когда снова послышались крики: «Павел, эй, Павел!» — на крыльце снова появилась Фика:

— Слышу, слышу...

— Он что, не поужинал еще?

— Нет еще. А если у тебя к нему дело,— продолжала Фика, отчеканивая каждое слово,— то сегодня ничего не выйдет. Он устал на работе.

— Эх, черт побери,— заворчал Тома.— И у вас разносолы на столе, словно боярами заделались.

— А почему бы и не заделаться? Ты, что ли, не захотел бы стать боярином? — зло спросила Фика и ехидно добавила: — Говорят, что Тия замуж выходит. Правда? Кто же ее берет?

Пардэу, чертыхаясь, удалился.

Фика вернулась в дом и коротко рассказала Павлу, что произошло.

— Ты разве к нему в работники нанялся?

Все было пронизано ощущением доброжелательства, и чтобы укрепиться ему, достаточно было нескольких слов. Павел перестал жевать и мял в руке кусок мамалыги, подыскивая подходящие слова. Но именно в этот момент молоко, поставленное подогреваться, убежало, перелилось через край. Павел, верный своему несносному обычаю объяснять все дотошно, заворчал:

— Вот видишь, молоко убежало, шипит на плите. Дым пошел, значит, и у коровы пропадет молоко.— (Такова была примета: если молоко попадает в огонь, корова перестает доиться.)

Фика, ожидавшая совсем других слов, рассердилась:

— Сама не вижу, что ли, не слепая. Обязательно нужно носом меня ткнуть!

И все доброе, что назревало между ними, рассеялось.

Миликэ же между тем не переставал преследовать Фику. То он посылал ей записочки или передавал что-нибудь на словах через маленьких ребятишек, еще несмышленышей, то подстерегал на дороге. Сначала она всячески избегала его, но потом, даже против своей воли, стала подыскивать разные предлоги, чтобы заглянуть вечером в правление кооператива, зная, что Миликэ в это время там. Заходила она на минутку, больше чем двумя-тремя словами с ним не перебрасывалась, но в правление все-таки заглядывала — и это было главное.

Подливала масла в огонь и Панаита. Иногда она появлялась в буфете. Выпивала наравне с мужчинами, а когда кто-нибудь спрашивал, почему она не вступает в кооператив, огрызалась:

— У тебя тоже зуд иль тебя блохи грызут? Чего пристал? Кому нужно, я объяснила, почему не вступаю.— Сердито отвернувшись, она пропускала еще стопочку и потом, не вытерпев, снова поворачивалась к собеседнику: — У меня зубы вставные, да и те сломаны. Я и есть-то могу только с передышкой, а у вас на перерыв тоже норма. Меня и в районе признали негодной для коллективного хозяйства.

Панаита молола чепуху, но если ей возражали, она выходила из себя.

Хуже было, если вообще не обращали на нее внимания. Тогда Панаита прямо места себе не находила, и, если кто-нибудь, к примеру, заводил речь о новом грузовике, купленном кооперативом, она, призывая в свидетели соседа по столику, возмущалась:

— Слыхал, да? Только этого им не хватало. Амбары у них от зерна ломятся, грузовик им понадобился. Нужен он им, чтобы ворон на дорогах пугать,— изощрялась она.

Заметив, что сосед не поддерживает ее, она приставала к другому. Если и тут она не находила сочувствия, обрушивала свой гнев на все и вся, не стесняясь в выражениях.

Потом поворачивалась к Павлу, пытаясь завязать разговор с ним. Павел молча слушал ее, продолжая работать. Рассерженная Панаита принималась его укорять:

— Помни, Павел, что ты обещал... И слушать ничего не стану: если подашь заявление, то господь тебя покарает, а я отберу у тебя жену.

Слово есть слово, и Панаита напоминала о торжественной клятве, данной Павлом при сватовстве.

В другой раз она являлась к Фике, настраивая и ее на свой лад:

— Будь обходительна с Павлом, дочка, слушайся его, но и глаз с него не спускай, а то обведет он нас вокруг пальца и останемся мы ни с чем.

Потом, набив сумки всяческой снедью, удалялась.

После посещений Панаиты взаимное недоверие между Павлом и Фикой только усиливалось. А причиной всему была земля. Мысль о том, что только земля связала их судьбы, сидела как заноза, отдаляла и отчуждала их.

Случилось так, что Павел, пожалев, пустил на квартиру старуху Танцу, приземистую и такую толстую, что даже глаза и ногти у нее казались жирными. Она поселилась в комнатушке, служившей сначала чуланом, но потом приспособленной под жилье.

Муж ее был воспитателем в исправительной колонии в Сэлэтруке, Танцу же знала вся округа, поскольку она была фельдшерицей. Когда муж бросил ее, она перебралась в село, прихватив с собой и прозвище, приставшее к ней с давних времен, «мадам Кочан».

Фика, заливаясь слезами и во всем виня лишь себя, поведала ей, как она «запуталась» с Миликэ. Впервые в жизни она открывала душу постороннему человеку. Хотя на самом деле между Фикой и Миликэ ничего не было, кроме игры воображения, которое тоже не заходило слишком далеко, Фика произносила слово «запуталась» с таким раскаянием, горечью и стыдом, что Танца восприняла это так, будто между ними давняя связь, и вот разразилась первая ссора.

Танца успокоила Фику, что все это нормально, даже естественно, если уж у нее такой муж... Пусть только она ведет себя по-умному, и обещала Фике все уладить.

Увидев Миликэ, Танца совсем уверилась, что Фика прямо сохнет по нем. Другое ей и в голову не могло прийти. Через два дня она привела с собой Миликэ.

— Вот он, посмотри на него, целый и невредимый! — улыбалась она, вталкивая его в комнату Фики.

Онемевшие, они стояли друг перед другом.

Фика смотрела на ботинки Миликэ, а он не сводил глаз с картинки, изображавшей Женевьеву Брабантскую с ребенком на руках, оленем с левой стороны и зайцем, стоящим на задних лапках, с правой.

— Можете теперь развлекаться! — окончательно смутила их Танца.— Я ухожу.

— Зачем? — воскликнула Фика.

— Вот тебе на! Не будете же вы так и стоять, а я держать над вами свадебные венцы... Прикройте как следует дверь, а я пойду займу разговорами Павла.

— Зачем его занимать разговорами?— попыталась воспротивиться Фика.

Но ответа она не получила: Танца была уже за дверью.

Оставшись наедине с Миликэ, Фика подняла глаза и, когда увидела его улыбку, глупую от смущения и вместе с тем наглую, поняла, что подразумевала Танца. Она набросилась на Миликэ, и тут уже он ничего не мог понять.

— Тебя позвала Танца, ну и беги за ней! Сгинь с моих глаз! Вон!

Когда Миликэ закрывал за собой дверь, Фика увидела, как он смущен и растерян, и ей самой стало неловко. Но она твердо знала: она замужем. Постоянно наталкиваясь на равнодушие мужа и слыша его бесконечные разговоры о земле, она

давно поняла, что муж не желает ее понять. Тщетно пыталась она воскресить в памяти то время, когда стали пробуждаться ее чувства к Павлу, когда, глядя на посторонних людей, она невольно искала в них сходства со своим мужем. Все было напрасно, ибо перед ее глазами возникали только поле в Липовой долине да виноградник Павла, а в ушах звучали только его слова о земле.

Фика впервые столь остро ощутила, как равнодушна она к мужу, что она уже не хочет и не ждет, чтобы он поскорее запер буфет и вернулся домой. Уткнувшись в подушку, она разрыдалась. Фика страдала и пыталась уверить себя, твердя чуть ли не в полный голос, что с Павлом у них все в порядке, что она любит его.

Терзалась она и тем, что ни с кем из женщин нельзя поделиться своими переживаниями, что никто не желает ее понять.

Дня через два она разругалась с Танцей и потребовала, чтобы та съехала с квартиры, чтобы убиралась на все четыре стороны.

Сменив квартиру, Танца начала трепать языком, что Фика этакая и разэтакая, что она живет с Миликэ. Ее россказни пошли гулять по селу, и как-то вечером Георге Рэбэдинэ, подвыпив и многозначительно подмигивая, заявил Павлу:

— Ну и деляга ты, Павел. Другого такого поискать надо. Землицу из своих рук выпускать не хочешь, зато для общего пользования имеешь кое-что другое. Сам понимаешь.

Павел и на этот раз не дрогнул, ничем не выдал своего смятения. Он уверял себя, что не может этого быть, чтобы именно с ним, который всегда с болью в сердце выслушивал рассказы об обманутых мужьях, стряслась такая беда. Он уверял себя, что все это ложь, досужие вымыслы, что дело повернется так, что все люди и даже сама Фика, которая, видимо, думает, что и он обманывает ее, воочию убедятся, что все это только злонамеренные наговоры и клевета. Однако сам он для этого даже пальцем о палец не ударил, а с Фикой перестал разговаривать даже о земле, опасаясь вызвать возмущение Фики, которое нарушит тот мир, который был ему дороже всего.

В их доме царила напряженная и даже пугающая тишина. Говорили они друг другу только самое необходимое, перебрасывались изредка короткими фразами: «Поставь-ка это туда», «Подай мне вот это», всячески избегая всего, что было хоть как-то связано с их взаимоотношениями. Они опасались, как бы случайно оброненное слово не поставило все на свои места, они боялись этого, потому что не доверяли друг другу, хотя и ощущали, что разделяет их нечто такое, в чем никто из них не был повинен.

Как-то днем Фика зашла в кооперативную лавку купить иголок. Протягивая ей пакетик, продавец Тасе сообщил:

— У нас есть и нитки. Любого мужика пришить можно — не оторвешь.

Тасе подмигнул и показал ей большой палец.

Фика выскочила из лавки вся красная от стыда и негодования.

На дороге она увидела Тудора Лека. Сначала она молча шла следом за ним, потом догнала и неожиданно спросила:

— Неня Тудор, что ты думаешь обо мне?

В голосе ее прозвучали невыразимая боль и страдание. Выдавив из себя последнее слово, Фика сразу обмякла: плечи опустились, руки безвольно повисли, колени подогнулись.

С замиранием сердца ожидала она, что скажет Тудор, словно он мог разом разрешить все ее сомнения. Для нее было важно именно его мнение, потому что она не забыла, как совсем недавно он расхваливал ее Панаите и всячески пытался уговорить мать отдать дочку, окончившую четыре класса, в среднюю школу.

Тудор, застигнутый врасплох, даже вздрогнул и холодно отозвался:

— А чего ты хочешь, чтобы я думал?

Фика растерялась, но потом с жаром заговорила:

— Разве ты не слышишь, что люди толкуют? Так что ты думаешь? Я ни за что ни про что на язык всей деревне попала. Это все Танце померещилось, это она распустила сплетни. Значит, мне нельзя даже и на солнышко взглянуть, раз ко мне привязался Миликэ?

Она поведала Тудору, что с Павлом жить стало просто невозможно, потому что он вбил себе в голову, будто она вышла за него из-за земли. Целыми днями он только и твердит, что о хозяйстве, а порой даже и во сне бормочет.

Когда Фика кончила, Тудор спросил ее:

— А ты еще любишь Павла или нет? Голова у тебя на плечах, так что поразмысли, прежде чем ответить.

Фика долго молчала, потом робко проговорила:

— По правде сказать, неня Тудор, я не знаю.

— И никогда его не любила? — довольно резко спросил Тудор.

— Сначала, когда мы поженились, мне вроде бы был он дорог. А теперь, после того, как он стал меня подозревать во всем нехорошем, ничего не осталось на сердце, кроме перца. Как увижу его, так и хочется накрыться черным платком, надвинуть его на глаза, ничего не видеть и не знать.

Некоторое время они шли молча, потом Тудор, пожав плечами, заговорил:

— Не знаю, как ты сама ко всему этому относишься... Я слыхал, что делается у вас в доме, и думал об этом. Да... Я бы посоветовал вам расстаться на время. Чего вам друг друга мучить? А так, глядишь, что-нибудь и прояснится.

Фика приняла это предложение совершенно спокойно: она и сама подумывала об этом, и все-таки, смущаясь, она выразила сомнение:

— Так-то оно так. А вот что люди скажут? Если сейчас из ничего столько разговоров, а уж тогда что будет?

Тут им дорогу пересек подвыпивший Миту Плотоджа. Как всегда задиристый, когда выпьет, Миту погрозил им пальцем и проговорил:

— Только подумаешь: быть того не может — глядь, а тут-то оно и есть.

Тудор и Фика молча обошли его.

Напротив приемного пункта молока Тудор остановился, похлопал себя по карманам, достал спички, но, заметив, что сигарета дымится, сунул коробок обратно. Они снова двинулись вперед, но, сделав несколько шагов, Тудор опять остановился:

— Знаешь что: кооперативу до зарезу нужен агроном-садовод. Если тебе это подходит, я договорюсь в правлении и тебя пошлют в Арджеш в годичную профшколу. Ты грамотная, приналяжешь на науку. Так и избавишься от всяких пересудов.

Фика промолчала.

Перед правлением кооператива Тудор пожал Фике руку:

— Не тяни с ответом. А теперь иди домой и живи спокойно. Смотри не сотвори чего-нибудь непотребного.

Как-то утром Павел проснулся раньше Фики. Потянувшись так, что хрустнули кости, он взглянул в окошко и увидел на заборе латаные-перелатаные штаны. Такие всегда вешали в насмешку над женщиной, поведение которой осуждалось соседями. Павел мигом оделся, думая, что нужно снять эти штаны и, ничего не говоря Фике, засунуть куда-нибудь подальше. Он подозревал, что это дело рук мстительной Танцы. Сдернув штаны с забора, он направился было к сеновалу, но тут в него словно бес вселился: хватит, довольно все это терпеть, больше невмоготу. Он ворвался в дом, пнув дверь ногой, и стал трясти штанами перед лицом жены.

— Вот тебе подарочек от села! Бери, бери — это твоих рук дело! Повесь их повыше на какой-нибудь шест!

Дверь за Павлом с грохотом захлопнулась.

Целый день Павел был как в тумане, как во сне. Миту Плотодже, попросившему стакан ракии, он подал стопку воды из бачка.

Павел не заметил, как прошел день.

Уже в сумерках, когда буфет опустел, в дверях появился Тудор Лека. Он подвинул стул, уселся и потребовал полбутылки вина и маслин.

Павел вдруг размяк, словно после непосильного труда. Он почувствовал, что в этот вечер все должно решиться.

Когда Павел поставил на стол блюдечко с маслинами, Тудор сказал:

— Закрой ставни. Ведь имеешь же ты право иногда закончить работу пораньше. Вот так! — удовлетворенно крякнул он, когда Павел запер ставни.— А теперь бери стул и придвигайся поближе, есть о чем поговорить.

Пытаясь отогнать от себя неприятную мысль, что Тудор заведет разговор именно о том, о чем он сам боялся говорить, Павел попробовал перевести все в шутку, вспомнив одно из любимых словечек Тудора.

— Ты что, неня Тудор, выбрал уже тематику?

Тудор долго молчал, и это было мучительно для Павла. Потом заговорил, будто продолжая давно уже начатый разговор:

— ...Потому-то ты и запутался, Павел, потому что думал: все будет так, а так-то и не получилось. Например, ты и Фика. Подходить вы друг другу подходите: ты парень хороший, работящий, и она девушка добрая и на своем месте. И кто бы мог подумать, что все это так кончится?

— Что кончится, неня Тудор? — испуганно и умоляюще воскликнул Павел.

Тудор удивленно взглянул на него, повторил вопрос, чтобы до Павла лучше дошло, о чем идет речь, и задумчиво добавил:

— Ничего не поделаешь, Павел, все кончилось. Это я тебе говорю: кончилось. Если по-другому сказать, больше так дело не пойдет...— Тудор встал, продолжая развивать свою мысль: — Получается, будто она гулящая бабенка — так про нее судачат на селе. Черт бы их всех побрал! Я ее, как и тебя, с малых лет знаю. Тут еще мадам Кочан впуталась... И как это взбрело тебе в голову сдать ей квартиру, не знаю... Она такие слухи распускает, будто...

— Все это вранье,— отрезал Павел так спокойно и холодно, будто речь шла о чем-то таком, что его вовсе не касалось.

Тудор поверил в это спокойствие и продолжал так, словно обсуждался вопрос хотя и интересный, но давно решенный и уже безразличный для обоих.

— И как же это угораздило ее выйти за тебя не по любви?

Вопрос этот так больно задел Павла, что его даже в жар бросило. Он вскочил, потом опять сел на стул и тут нечаянно наступил на ногу Тудора, словно давая знак, чтобы тот молчал.

Тудор удивился:

— Что с тобой?

Павел беспомощно развел руками и нечаянно смахнул стакан на пол.

Тудор как бы не обратил на это внимания и продолжал ровным голосом:

— Знаешь, Павел, что я думаю, как все это вышло? Точно, конечно, я не знаю, но мне так кажется. По слухам мне известно, какое условие поставила тебе Панаита насчет земли. Поэтому я и не захотел затевать об этом разговор, когда ты спрятался за дверью. Мне и неудобно было, да и время неподходящее: ты бы потом думал, что я вынудил тебя подать заявление. А Фика с самого начала думала, что выдали ее за тебя насильно. Поэтому она и держалась как бы в стороне. Может, ты поверил, что она пошла за тебя из-за земли, чтобы не преступить воли матери... Я не знаю, тебе лучше знать. Но между вами легла земля, из-за нее вы и мучились. Вот вроде как все получается, об этом я и хотел сказать... Теперь ты сам что-то должен сделать, уж очень все наболело. Решай сам. Но делать что-то нужно: или вы расстанетесь, или помиритесь, а то ведь люди засмеют, черт бы их побрал.

Павел напряженно слушал. Он сидел неестественно прямо, словно его оглушили.

Тудор Лека собрался уходить, но Павел остановил его. Голос у него был хриплый, какой бывает после долгого молчания.

— Погоди немножко, неня Тудор.— Павел достал из-под стойки счетную книгу.— Видишь ли, мне здесь, в буфете, не до земли, даже взглянуть на нее некогда. А Фика с той поры, как мы... она и ногой-то на нее не ступала. Одно горе с этой землей. Мне и в сельсовете говорили, что запустил я ее. Так что... Давно уже я написал заявление, а тут то одно, то другое, так и не подал его. Но вот теперь отдаю тебе прямо в руки, потому что с завтрашнего дня у меня учет и пойти в правление мне будет некогда...

Павел вынул из счетной книги листок и подал Тудору. Дома Павел сперва спокойно поужинал, а потом как бы между прочим сообщил Фике, которая мыла посуду:

— Я тебе еще не говорил, я ведь подал заявление в коллективное хозяйство.

Женщина так и вспыхнула:

— Как?

Павел повторил. Жена оставила посуду недомытой, сполоснула руки и стала тщательно вытирать их, отвернувшись от Павла. Потом подошла к нему и, словно вырывая из себя каждое слово, произнесла:

— Павел, я ухожу к матери.

Павла осенила догадка, но он отверг ее.

— Чего тебе там понадобилось? Чего тебе вдруг взбрело?

— Я ухожу к матери и больше не вернусь...

— Всполошилась среди ночи... Она уже спит давно.— Павел не желал ни во что вникать — лишь бы сохранить спокойствие.

Фика сидела перед Павлом, все еще машинально вытирая руки.

— Павел,— простонала она, словно взывая к его человеческому пониманию,— я ведь больше тебя не люблю.

— Слыхал я про это. Быть того не может.— Павел чувствовал, что говорит глупость, но сопротивлялся он изо всех сил.— Не может этого быть, кто это тебе наболтал?

— Павел,— умоляюще воскликнула женщина, почувствовав, как он страдает, и пытаясь отстраниться от его мучений,— ведь ты же знаешь, что мама сказала: если ты отдашь землю, она не оставит меня у тебя.

— Это правда. Ладно, уходи,— согласился Павел, и голос его прозвучал сухо.

Фика принялась укладывать вещи в плетеную корзину и сундучок. Когда она стала снимать со стен салфетки и полотенца, он спросил ее тихо и словно безразлично:

— Значит, к матери уходишь?

Павел каждой частичкой своего тела ощущал боль.

Фика кончила сборы и хотела уже уходить, но Павел ласково попросил ее посидеть еще немного: куда ей так торопиться?

Фика подчинилась.

— Значит, к матери уходишь,— повторил Павел, и голос его опять прозвучал бесстрастно.

— Ухожу. Только жить я у нее не буду. Я поеду в школу, в Арджеш.

— Что ж, ладно, поезжай,— согласился Павел и так же бесстрастно спросил: — И выйдешь замуж за Миликэ?

Фика не ответила.

— Ладно, это тоже хорошо, даже очень хорошо,— подтвердил Павел, ничего не слушая, да и не желая слышать.

Оба молчали. И только Фика подумала, что пора уходить, как Павел опять заговорил дрожащим, словно издалека идущим голосом:

— А ты знаешь, Фика, когда у меня в первый раз сердце екнуло из-за тебя? Не знаешь? Так я тебе расскажу. Тебе было тогда лет десять, а мне лет тринадцать. Было это накануне Петрова дня. Только-только стали выгонять скот на пастбище, и мы пасли коров возле Попова озера. Играли мы тогда в покойника, и ты изображала покойницу...

Это была не обычная игра, она будоражила пробуждающиеся чувства, и играли в нее чаще всего мальчишки и девчонки от десяти до пятнадцати лет. Кто-нибудь из ребят, изображая покойника, лежал, неподвижно вытянувшись, на земле. Остальные же украшали его цветами, совершали весь положенный обряд, а потом по очереди целовали в губы. Когда Фика изображала покойницу, а Павлу пришла очередь поцеловать ее, он, сам не зная почему, прикусил ей нижнюю губу. Девочка от удивления открыла глаза. Она настолько была поражена этим, что даже не закричала. Так длилось несколько мгновений: они смотрели друг другу в глаза, она — лежа лицом вверх, а он — стоя рядом на коленях, наклонившись над ней и почти обнимая ее. Оба они испытали странное замешательство и смущение от чего-то такого, о чем впоследствии даже неловко было бы и говорить. Но Фика совсем об этом забыла.

— Я уже давно хотел тебе об этом рассказать, да все не знал как... Да и слова другие подвертывались, про дела, про то, про се. А раз ты вовсе ничего не помнишь, то что и говорить,— с сожалением произнес Павел.— Может быть, ты другое не забыла... Это случилось за год до нашей свадьбы. Дело было осенью, и как-то в воскресенье в школе за рекой был вечер танцев. Я тебя пригласил танцевать. Танцевали мы, танцевали, а на мне были сандалии на два номера больше. У кого я их тогда одолжил, я уже не помню. А посредине класса торчал в полу гвоздь острием вверх. Я наступил на него и чуть не повалился на тебя. Потом я никак не мог оторвать подметку от гвоздя, и мы с тобой топтались на месте, потому что двигать я мог только правой ногой. Когда танец кончился и заиграли другой, я опять пригласил тебя, но ты сказала, что это вальс-бостон и ты будешь танцевать с подружкой, и тут же подхватила кого-то, кто был рядом. Почему ты сказала «вальс-бостон», я не знаю. Ты помнишь? — умоляюще спросил Павел.

Фика на какое-то время замешкалась.

— Помню. Это помню. Как вчера было. Я танцевала с Марией Дин. Помню, помню...

По тому, как она несколько раз повторила «помню, помню», Павел догадался, что и этого она тоже не помнит, а сказала только для того, чтобы не огорчать его.

— На следующий день, в понедельник,— обстоятельно рассказывал Павел, желая этим отвлечься от горьких мыслей,— пошел я к Апосту собирать сливы. И можешь поверить, Фика, что рвал я сливы только правой рукой, а левую зажал в кулак, потому что в ней я держал твою руку и от этого она пахла мятой. Ты, наверно, перед танцами натерла руки мятой, и запах этот остался и на моей ладони. Я не хотел, чтобы он выветрился, и потому держал руку зажатой в кулак.

Фика, кажется, забыла, что она собралась уходить. Она растерянно смотрела на Павла и не могла поверить всему, что он говорит. Таким она его никогда не видала. Ей было приятно, что Павел оказался вовсе не таким, каким представлялся ей, не черствым и не бессердечным. В глазах ее вновь засветилась та девичья радость, когда она безотчетно верила в добропорядочность и сердечность людей.

Они сидели друг против друга, потупив глаза и удивляясь самим себе. Им казалось, что до этого мгновения они стояли на разных концах Павлова виноградника, и издали никак не могли как следует разглядеть друг друга. И вдруг земля как бы провалилась, ее не стало, межи сошлись, и Фика с Павлом оказались рядом. Впервые они увидели друг друга такими, какие они есть, и удивились этому. И именно теперь, когда они лучше узнали друг друга, когда им нужно было радоваться этому, они этого не желали и отводили глаза. Слишком поздно все это случилось.

Фика вдруг вздрогнула и подхватила свою корзинку и сундучок, словно хотела преодолеть что-то такое, что могло помешать ей уйти из дома.

— Ну, я пошла, Павел. Всего тебе доброго...

— Что ж, иди,— согласился Павел, не подымаясь с места, словно боясь того, что если он встанет на ноги, то где-то в воздухе натолкнется на причину того страдания, которого он тщательно избегал.

Он долго сидел совершенно неподвижно, опустив голову на грудь. Казалось, что он дремлет. Потом с ним произошло нечто такое, что впоследствии ему представлялось словно сквозь плотный туман.

Все началось с того, что он поднял голову, и глаза его уперлись в белые длинные полосы, оставшиеся на тех местах, где висели салфетки и полотенца Фики. Полосы эти вдруг заколыхались, превращаясь в белые волны, которые ослепили и захлестнули Павла. Стены комнаты закачались, стали вращаться, а вместе с ними закружились, то сходясь, то расходясь, и белые полосы.

Потом на них стала проступать тонкая паутина вышивок. Эта паутина тоже то сплеталась, то расплеталась и вдруг, слившись воедино, образовала лицо Фики, Фика была чем-то опечалена, и Павел, пытаясь ее утешить, приговаривал: «Ничего, ничего, все хорошо, поверь мне, что все хорошо!» Он говорил страстно, задыхаясь, вместе с тем думая про себя, что ничего хорошего нет, что он обманывает ее и говорит все это не для того, чтобы утешить ее, а чтобы успокоиться самому.

Потом комната перестала кружиться, и все встало на свои места. И тогда Павел явственно и четко увидел все, на что никогда в жизни не обращал внимания. Он увидел стол, стул, шкаф, кровать, и ему показались бездушными и наглыми эти предметы, которые были свидетелями невыносимых страданий, но оставались ко всему безучастными или даже насмешливыми. Павла охватила ярость. Носком ботинка он поддел табуретку и отшвырнул ее так, что она перелетела через всю комнату, ударилась о стену и разбила вдребезги часы. Он чувствовал всем своим существом какой-то смутный страх, и чтобы избавиться от него, ему нужно было коснуться чего-то мягкого, что-то погладить, подержать в ладонях. Павел принялся ощупывать стены, шкаф, посуду... У двери была вешалка. Он стал снимать одежду, ощупывал и гладил каждую вещь, пока не наткнулся на грубошерстную черную кофту Фики, которую та забыла. Павел не сообразил, что это ее кофта, он вообще ничего не соображал, но, когда он поднес ее к лицу, в нос ему ударил знакомый запах. Наконец-то Павел с полной ясностью ощутил, что же произошло сегодня вечером. Все, что он так упорно хотел отсрочить, навалилось на него враждебной неизбежностью, и он понял все. Разодрав кофту в клочья, он взвыл и стал сыпать проклятьями. Он не называл, что же именно он проклинает, но думал он о земле.

Перевод Ю. КОЖЕВНИКОВА

■

АТ-ТАЙИБ САЛИХ

Свадьба Зейна

ПОВЕСТЬ

Перевод с арабского И. ЕРМАКОВА

— Слыхала новость?— спросила молочница Халима Амину, которая притащилась к ней, как обычно, до расовета, а молока-то брала всего на кырш [1]. — Зен жениться собрался!

Кувшин чуть не выпал из рук Амины, а Халима улучила минутку — и недолила ей молока...

Двор средней школы опустел и затих в это раннее утро — все ученики уже разбежались по классам. И тут вдали показался мальчишка. Он бежал, запыхавшись, зажав под мышками подол своей рубашонки, но на пороге второго класса остановился как вкопанный: урок вел сам инспектор!

— Ах ты паршивец, осленок ушастый! Почему опоздал?

Лукавые искорки заиграли в глазах Ат-Турейфи:

— Эфенди! Слышали новость?

— Какую еще новость, телок нечесаный?

Гнев инспектора ничуть не уменьшился при виде нахального мальчишки. А тот, давясь от смеха, выпалил:

— Послезавтра Зен женится!

У инспектора челюсть отвисла от изумления. А сорванец Ат-Турейфи на сей раз отделался выговором.

С налившимся кровью лицом подходил Абд ас-Самад к лавчонке шейха Али. По всему было видно, разгневан он чрезвычайно.

Шейх Али, торговец мебелью, просрочил выплату долга уже на целый месяц. Сегодня Абд ас-Самад решил выбить из него эти деньги во что бы то ни стало.

— Али! Ты, стало быть, говоришь, что я не получил еще от тебя свои деньги... Или как?..

— А-а!.. Хаджи Абд ас-Самад! Как же, как же! Храни тебя аллах! Садись, чашечку простокваши не хочешь ли?

— Э нет, брат, пропади она пропадом, твоя простокваша! Вставай, открывай свой сундук, доставай мои деньги, а не то я с тобой по-другому заговорю. Понял?

Шейх Али сплюнул, как обычно, когда дело касалось чего-то серьезного.

— Ты это... Садись. Я тебе новость расскажу.

— Э нет, брат! Некогда мне тут тебя да твои новости выслушивать. Знаю я тебя как облупленного, опять надуть хочешь. Выкладывай мои денежки.

— Клянусь тебе, вот они, твои денежки, готовы. Ты только садись, послушай. Я тебе сейчас всю историю про женитьбу Зена расскажу.

— Женитьбу кого?

— Зена.

Абд ас-Самад так и рухнул на лавку, руками за голову схватился и застыл в молчании, словно лишился языка. Глядя на него, шейх Али весь расцвел, упиваясь плодами содеянного. Наконец Абд ас-Самад обрел дар речи:

[1] Грош, мелкая монета. *(Здесь и далее прим. перев.)*

— О господи! Нет бога кроме аллаха, и Мухаммед — пророк его! Да вразумит тебя пророк, шейх Али! Что это ты такое говоришь?..

В этот день Абд ас-Самад так и не получил своих денег.

К полудню новость была у всех на устах. Зен стоял у колодца посреди деревни, наполняя водой кувшины женщинам, и смешил их, как обычно.

Детишки толпились вокруг и время от времени принимались напевать:

— Зен — жених! Зен — жених!..

А он то камешком в них бросит, то девушку за подол дернет, а то женщину в бок пальцем ткнет или за грудь ухватит... Детишки смеются, женщины визжат от удовольствия, и весь этот гомон перекрывает громкий веселый смех, что стал привычным для всех в этом местечке — с тех пор, как появился на свет Зейн.

Или — Зен, по-простому, по-деревенски.

Рождаются дети и встречают жизнь криком — известное дело. Но вот говорят, что Зен — и порукой тому его мать и женщины, принимавшие роды,— едва появился на свет, залился звонким смехом. Да так и смеется по сей день. Вон какой вымахал, а во рту всего два зуба: один сверху торчит, другой снизу выглядывает. Мать его уверяет, мол, рот этот когда-то был полон ровных и белых, как жемчуг, зубов. Ему шесть лет было, когда отправилась она с ним однажды навестить своих родственников. На закате солнца проходили они мимо каких-то развалин — по слухам, вроде бы обитаемых. Вдруг Зен остановился, словно в землю врос, задрожал весь, как в лихорадке, да как закричит...

С того самого вечера много дней провалялся он в постели, а когда после болезни встал, зубы у него разом выпали, только и осталось что один верхний да один нижний.

Лицо у него продолговатое, скулы выдаются, лоб круглый, выпуклый, а глаза маленькие, красноватые вечно, сидят глубоко — словно две пещеры. На лице ни единого волоска — ни бровей, ни ресниц. Когда пора мужской зрелости для него наступила, так и не выросли у него ни борода, ни усы.

И под этим лицом шея длиннющая, его еще с детства ребята дразнили «жирафом». Посажена эта шея на сильных и широких плечах — так что все тело треугольником кажется, а руки длинные, что у обезьяны. Ладони огромные, пальцы торчат в разные стороны, а на них острые длинные ногти: он их не стриг никогда. Грудь впалая, спина сутулая, а ноги длинные, тонкие, как у журавля. Ступни плоские, широкие, все в старых рубцах и шрамах. Зейн ни во что обуваться не любит и хорошо помнит историю каждой из этих ран. Вот, например, этот длинный рубец через всю правую ступню от лодыжки до большого пальца. Зейн так рассказывает о нем: «Рана эта, братцы, свою историю имеет...» Тут его, как обычно, Махджуб прерывает: «Что это еще за история такая, ты, недоносок? Отправился небось воровать, да тебя, видать, суковатой палкой избили?» Слова эти Зейну куда как по душе приходятся. Опрокинется навзничь, хохочет, пятками землю бьет, а то и вовсе задерет ноги в воздух да так своим чудным смехом и заливается — странным смехом, похожим скорее на ослиный рев. И смех его этот так заразителен, что вскоре вся компания вповалку лежит, за бока держится.

Но вот уже Зейн овладел собой, слезы с лица подолом рубахи вытирает, кряхтит: «Ох, ох... воровать отправился!..»

А Махджуб давай его опять подзуживать:

— Что это ты там воровать-то отправился? Небось крутился на кухне — высматривал, какой кусок пожирнее стянуть?

Не успеет Зейн ладонями утереться — снова смехом зашелся! Тут и доходит наконец до всей компании: а ведь верно, пробрался Зейн к кому-нибудь в дом стянуть кусок повкуснее, обжора-то он известный, ничем не подавится! Ну и...

Когда на свадьбах, бывало, столы накрывают и садятся за них люди этак в кружок, вся братия по сторонам косится — как бы к ним Зейн не подсел. Стоит обжоре только на блюдо глаза свои вытаращить — конец! Ни куска никому не оставит!

Абдель-Хафиз спросил его:

— Может, расскажешь о той проделке, что на свадьбе Саида устроил?

А тот, задыхаясь от смеха, ответил:

— Какое там устроил! Аллахом тебе клянусь, все, что проглотить хотел, до крохи растерял, пока Исмаил меня догонял, паршивец!

Как-то у Саида на свадьбе доверили Зейну угощение разносить. Бегал он взад-вперед между диваном [1], где мужчины восседали, и тукалем [2], где женщины стряпней занимались. А по пути из тукаля в диван задержится на минутку — и ну лопать, что ему больше по вкусу!.. Так что, бывало, почти пустое блюдо на люди выносил. Проделал он этак три раза, пока Ахмед Исмаил всем этим не заинтересовался. Пошел он за Зейном да притаился на полдороге. Остановился Зейн, крышку над блюдом с жареной курятиной приподнял, зажмурился от удовольствия. Только Зейн за сочную ножку схватился, ко рту поднес... Ох и накормил же его тогда Ахмед Исмаил пинками и затрещинами!.. Да...

Ну а Махджуб опять к нему с вопросом: «Что ты тут нам мелешь, побирушка? Чего это ты воровать отправился?» Видит Зейн, как вся честная компания уши навострила, усядется поудобнее, ноги под себя подтянет, руки под колени засунет — сидит, раскачивается.

— Прошлым летом, в пору вызревания фиников, задержался я, значит, у сакии [3]. Ночь, парень, луна — так и переливается... Перебросил я рубаху через плечо — темно, зачем надевать-то? И спустился к домам. И, скажу тебе, как дошел до песков на краю деревни, слышу: бабы голосят, заливаются...

— Да-да, точно,— вставил Махджуб.— Тогда свадьба у Бакри была.

— Ну вот,— продолжает Зейн.— И сказал я себе, парень: пойду узнаю, в чем там дело. А оказывается — люди из Тальхи на свадьбе веселятся. Ну, пошел я дальше, а там — прямо столпотворение: шум, гам, крики эти бабьи, танцы... Ну, я первым делом, конечно, пошел себе поесть что-нибудь высмотреть...

Тут собрание хохотом взорвалось — именно этого они и ждали.

— Ну, бабы,— продолжал Зейн,— дали мне там несколько кусочков мяса, съел я их и что-то горькое выпил...

— Это, значит, они тебе арак [4] неразбавленный дали,— сказал Махджуб.

— Нет,— ответил Зейн,— не арак. Ты что, думаешь, я арак не знаю? Ну, я тебе скажу, выпил я это самое — прямо в голову ударило. Потом я из тукаля вышел... В дом вошел: баб — куча! И — вонища! Духи, масла ароматные, благовония — не продохнуть! Остановился даже. Разводом тебе клянусь, опьянил меня запах этот.

— Где это ты бабу для развода завел? — рассмеялся Абдель-Хафиз.

Зейн и ухом не повел, плетет свою историю дальше — разобрало его.

— Да... А посредине увидел невесту. Красивая девочка — крупная. Надушена, напомажена. Платье, побрякушки — пальчики оближешь!

И тут вдруг он замолчал. Глазками своими маленькими по лицам водит, рот раскрыл, так что два зуба его показались, торчат. А Махджубу не терпится — ерзает, Зейна подзуживает:

— Ну а дальше-то что?

— А дальше я, значит, с невестой потешился.

Сказал он это — да как подскочит, словно лягушка. Собрание зашумело, а Зейн хохочет, заливается — на животе лежит, пятками мух ловит. Потом на спину перевернулся, сквозь смех выдавил:

— Ага! Поймал я ее и укусил в губы!

Махджуб аллаха вслух помянул, прощения попросил. Тьфу ты, говорит, прости господи.

— Да говорю я тебе — бабы завизжали, руками замахали, дом кипит весь, невеста орет благим матом. И вдруг кто-то на меня с ножом кинулся!.. Как вскочил я, как побежал — не оглядывался уж ни разу, пока за родным порогом не оказался.

Тут Зейн вдруг сел, выпрямился, стал необычайно серьезным и повернулся к Махджубу:

— Послушай, брат. Стало быть, выдашь ты за меня свою дочь Альвию или что скажешь?

---

[1] Мужская гостиная в мусульманском доме.

[2] Внутренние женские покои в мусульманском доме, куда запрещено входить чужим мужчинам.

[3] Оросительное колесо.

[4] Анисовая водка.

А Махджуб ему этак серьезно, уверенно, словно все уже продумал, говорит:

— Дочь моя тебе предназначена. Вот перед людьми всеми, тут собравшимися говорю: пожнешь свою пшеницу, финики соберешь, продашь, деньги доставишь — и сговоримся.

Зейну такое обещание по душе пришлось. Он замолчал. Брови сдвинул, губы сжал — словно и впрямь о будущей жизни своей с Альвией призадумался, о бремени тяжком да заботах мирских — о жене, о детях.

— Конечно! — говорит.— Свидетелями будьте, братья. Человек этот слово свое сказал. Ладно или тошно — завтра думать сложно!

Ну, тут вся компания разом заговорила: и Ахмед Исмаил, и Ат-Тахир ар-Раввази, и Абдель-Хафиз, и Хамад Вад ар-Раис, и Саид-лавочник. Все сказали, что они свидетели обещания, которое дал Махджуб. Слово дал — как говорится, отрезал, и быть, значит, свадьбе, коли пожелает того аллах.

...История любви Зейна и Альвии, дочки Махджуба, была тогда последней его любовной историей. Через месяц или два, как водится, надоест ему это дело и начнет он историю новую. Но сейчас он только Альвией и живет — с именем ее засыпает, с именем ее встает. Ежедневно в полдень он на поле — согнется в дугу над своей мотыгой, дергается, пот с лица рекой льется, и вдруг — копать бросит да как заорет:

— Повязали меня на дворе у Махджуба-а!

На соседних полях десятки людей мотыги бросят, стоят как в землю вкопанные, прислушиваются. Молодежь от смеха валится, а старики, кому надоели забавы Зейна, бормочут с досадой:

— Вот парень расхлябанный, ну чего он болтает, чего несет? Ишь жеребец!..

Солнце к земле клонится, работа на полях к концу подходит. Идет народ по домам, и Зейн со своего поля домой шествует во главе молодежной команды. Подростки, девчушки малые вокруг него вьются, хохочут, а он себе важничает, сияет: этого по плечу хлопнет, ту за щеку ущипнет. И скачет, как газель в воздухе. Увидит деревце или куст на обочине — непременно перепрыгнет. Да время от времени орет себе во весь голос, а эхо волной отдается на окраинах притихшей деревни, которую уж было оставило в покое зашедшее солнце:

— Урру-рук! Эй вы, утопленники! Эй, отпущенники!.. Повязали меня, как сноп, на дворе у Махджуба-а!..

Первая любовь поразила Зейна задолго до той поры, когда приходит мужская зрелость. Был он тогда годов тринадцати-четырнадцати от роду, тоненький да тощий, словно высушенный стебель. Что бы там люди про Зейна ни говорили — все признают, что вкус у него отменный: влюбляется он только в самых красивых девушек во всей деревне, в самых пригожих да ласковых, с самыми нежными речами. Аззе, дочери деревенского омды[1] исполнилось пятнадцать лет, когда раскрылась вдруг вся ее красота. Засверкала она, словно молоденькая пальма, омытая дождем после долгой засухи. Кожа у нее золотистого цвета — что поле гречихи перед жатвой, а глаза — широкие черные, на чистом лице с тонкими чертами. И ресницы свои, длинные и черные, поднимала она не спеша — так что всякого за сердце брало. А Зейн был первым, кто привлек внимание молодежи всей деревни к красоте Аззы. Это его голос однажды раздался над толпой мужчин, которых омда согнал обрабатывать свое поле. Голос этот, резкий и хриплый что крик петуха на заре возвестил: «Очнитесь, люди добрые! Где вы, отпущенники безгрешные?! Азза, дочь омды, словно сноп золотистый! Повязали Зена жгутом на дворе омды!..»

Вздрогнули люди от такой дерзости, омда кинул на Зейна яростный взгляд, гнев забушевал у него в груди. И тут все люди вдруг увидели, до чего же нелепа фигурка Зейна торчащая над забором словно высушенная козья шкура, рядом с Аззой, дочерью омды и дружно грохнули хохотом. Гнев омды померк. Он сидел на скамье в пальмовой тени и подгонял народ на работу. Человек он был важный, серьезный, смеялся редко но в этот раз засмеялся на слова Зейна своим резким, трескучим смехом, крикнул ему: «Зейн!. Вот погнешь спину до полуночи, поработаешь — так и женим тебя на Аззе». Те, кто стоял поближе к омде, снова засмеялись, а Зейн смолчал. Лицо

[1] Деревенский староста.

его оставалось серьезным, задумчивым, только мотыга в руках незаметно для него самого задергалась, стала бить чаще да тяжелее...

Месяц прошел с той поры, а Зейн говорить ни о чем не мог, кроме как о любви своей к Аззе да о слове ее отца выдать за него красавицу. Омда знал, как использовать это чувство: Зейн чудеса совершал на такой изнурительной работе, где бы любой джинн выдохся. Издалека было видно, как влюбленный Зейн тащит на спине тяжеленные сосуды с водой в такую жару, что даже камни трескаются, бегает туда-сюда, суетится — сад омды поливает. Или в руках своих топор огромный зажмет — и давай махать: дерево рубит под корень, на дрова раскалывает. А то мелькает у всех на виду — корм для ослов омды собирает, для лошадей его и телят. А улыбнется ему Азза разок в неделю — так и светится вселенная от радости. Но вот месяц прошел, и побежала весть по деревне, будто Азза помолвлена с сыном ее дяди, что работает помощником у врача в Абу Ашаре... Зейна эта весть, казалось, не поразила, и не сказал он ничего. Просто завел себе новую любовь.

Однажды деревня проснулась от крика Зейна: «Повязали меня в племени куз!» На этот раз его лейлой оказалась девушка-бедуинка из племени, обитающего по обе стороны Нила на севере Судана. Кочуют они из земли Кабабиш и Дар Хамра на стоянки аль-Хавадир и Мирьясаб в Кордофане [1]. В иные сезоны вода скупа к их землям, и тогда отправляются они в поисках влаги к Нилу со всем скотом своим и приплодом. А бывает, поражают их годы засухи, когда и облачка у неба не выпросишь, и тогда рассыпаются их племена семьями по источникам в Дияр Шанкийе и Бадирийе, устраиваются в долине. Большая часть кочевников оседает там ненадолго — переждут невзгоду и возвращаются туда, откуда пришли. Но некоторых привлекает оседлая жизнь в долине Нила, и они остаются. Вот из таких-то и вышли арабы племени куз. Бедуины эти многие годы привязаны к окраинной полосе обрабатываемой земли: торгуют сыром да молоком, выращивают овец, поставляют дрова и уголь, а в пору сбора фиников нанимаются к хозяевам пальм за скромную плату. С коренными жителями они в брак не вступают — себя считают чистыми арабами, а местных — деревенщиной неотесанной. Но Зейну удалось сломать эту преграду. Не мог он усидеть на месте, целыми днями носили его ноги по деревне из конца в конец. И однажды привели они случайно бродягу к арабам-кузам. Бродил он вокруг палаток, будто потерял что-то. Вышла на солнце девушка, поразила Зейна своей красотой — он так и застыл на месте. А девушка про него слыхала — слава о Зейне дошла и до арабов-кузов. Рассмеялась она, поиграть с ним решила. «Зейн,— говорит,— а ты на мне женишься?» Опешил он на мгновение, околдовала его девичья красота, сладость речи пленила, а потом как закричит во весь голос: «Повязали меня, люди добрые!..» Выглянули тут наружу головы изо всех дверей хижин, изо всех щелей в палатках. А мать девушки вышла и закричала: «Ты чего это тут, Халима, стоишь с этим дервишем?» Налетели на Зейна братья девушки — бежать пришлось. С тех пор Халима, красавица бедуинская, стала для Зейна новой неистовой страстью, которая остыла только со свадьбой девушки.

Как водится: наслышались от него люди о красоте ее, стали богатеи деревенские, молодежь познатнее да позавиднее к ней свататься — уломали родителя.

И вышла она в конце концов за сына деревенского кади [2].

Замужество дочери деревенского омды, а за ним и свадьба Халимы перевернули жизнь Зейна. Сообразили наконец матери девушек, в чем его сила: горн ведь он полногласный — женихов к дочерям приманивать. И вот стал Зейн в этом деревенском обществе, где девушек от парней укрывают, пророком любви — аромат ее разносить с места на место. Любовь всегда поражала первым именно его сердце и, не задерживаясь там, переселялась в душу кого-нибудь другого. Зейн был словно сеятель, глашатай или почтальон любовный. Взглянет он своими маленькими, как у мышки, глубоко посаженными глазками на красивую девушку, и вот — поразит его в ней что-нибудь. А может, это и есть любовь? И заноет вдруг его онемевшее было сердце от этой любви, и понесут его длинные ноги по всей деревне из конца в конец — тут появится, там... И впрямь собака приблудшая, без хозяина! А язык словно чешется — без умолку о девушке болтает, имя ее склоняет во всеуслышанье, куда Зейн ни явится.

[1] Земли в северо-западной части Судана.

[2] Мусульманский судья.

Смотришь — уши деревенские навострились, глаза приглядываться начали. Не успеешь оглянуться, как рука какого-нибудь благородного всадника потянулась — и поймала девушку за руку. А свадьбу справлять станут, Зейна и искать не надо, окрутили его хозяева кувшины да жбаны всякие водой наполнять или посреди площади с топором в руках поставили — стоит, душа нараспашку, дрова колет. Или еще лучше — возле женщин на кухне крутится, язык чешет, а они ему время от времени кусок какой лакомый подкинут: глядь, слопал уже! И непрестанно он хохочет, смеется заразительно смехом своим дурацким, похожим на ослиный рев. И вот уже начинается у него новая любовная история... И что интересно — как он в эту историю попал, так из нее и вышел, ничуть не изменившись. Тот же смех, и болтовни нисколько не поубавилось, и ноги тощие таскать его по всем закоулкам да околицам не устали.

Что и говорить, выпали на долю Зейна урожайные годы, щедрые на любовь. Стали деревенские матери перед ним заискивать, домой приглашать: до отвала накормят, чаем-кофе напоят. Войдет Зейн в один из таких дворов — ему уже стол накрывают, завтрак или обед подают: блюда, миски — глаза разбегаются! А там уж и чай несут с мятой, если время поутру, или крепкий чай с молоком, если уже за полдень. После чая обязательно подают кофе — с корицей, с кардамоном, с имбирем: тут уж не важно, утро сейчас или вечер. А заслышат женщины, что Зейн где-нибудь в доме поблизости, так на него все и слетаются — щебечут, любезничают. И дочерей своих локтями исподтишка тычут — поди, неразумная, покажись, поприветствуй... Да, сча-

стлива та мать, чья дочка ему в сердце запала, с чьим именем на устах он со двора вышел. Такая девушка жениха себе в месяц — ну в два — обеспечит. Да и Зейн, по всему видать, серьезность своего нового положения быстро понял, стал в матерях этих девушек разбираться, повременит, подумает, прежде чем ответить на их приглашение позавтракать или отобедать...

Да... Все оно, конечно, так, но была в округе одна девушка — о ней Зейн не болтал и сам с нею не заговаривал попусту. Девушка следила за ним издали своими глубокими, серьезными глазами, и он, чуть ее вблизи завидит, смолкает, болтовню да шутки в сторону. А издалека, бывало, увидит — как сквозь землю провалится, путь ей освободит...

Мать Зейна пустила слух, что сын ее — святой, один из избранников аллаха. Слух этот окреп, и стали ему верить, после того как подружился Зейн с аль-Хунейном. Аль-Хунейн был праведником, посвятившим себя служению богу. Шесть месяцев проводил он в деревне в молитвах и постах, потом забирал свой кувшин и молитвенный коврик и отправлялся в пустыню, пропадал где-то полгода, возвращался — и никто не знал, где он был, что делал. Передавали о нем странные истории. Клянется, бывало, один, что в такое-то, мол, время видел его в Мерове, а другой божится, что в это же самое время видел его в Керме. И это когда меж двумя городками — шесть дней пути! Люди утверждают: аль-Хунейн дружбу водит со странствующими избранниками аллаха — теми, что по земле бродят и богу поклоняются. Мало с кем из жителей деревни заговаривал аль-Хунейн, а если и спрашивали его, куда он на шесть месяцев каждый год уходит, не отвечал. Никто не знал, что он ел, что пил. В странствия свои долгие никаких припасов он не брал.

Лишь с одним человеком в деревне был аль-Хунейн приветлив, замечал его, разговаривал с ним — с Зейном. Встретит его на дороге — обнимет, в голову поцелует, благословенным назовет. А Зейн тоже, когда увидит, что аль-Хунейн приближается, бросит свою болтовню глупую, спешит ему навстречу, обнимает. Чудеса, да и только! И ни у кого в доме не ел ничего аль-Хунейн, только у родных Зейна. Зейн его к матери своей приведет, прикажет ей обед сготовить, чаю подать или кофе. И сидят Зейн с аль-Хунейном часами, смеются, разговаривают. Вся деревня уже у Зейна выпытывала, в чем секрет его дружбы с аль-Хунейном, да он в ответ все одно твердил: аль-Хунейн, говорит, человек благословенный. Ну что тут скажешь?

Зейн такую дружбу со многими водил — с теми, кого вся деревня убогими считала: с глухой Ошманой, с Мусой одноглазым, с Бухейтом, что калекой родился. Зейн таким людям сочувствовал. Увидит, бывало, как Ошмана с поля идет, вязанку хвороста на голове тащит, подбежит к ней, хворост заберет, несет себе, шутит да улыбается. Или вот девушка деревенская — всякого ведь боится, встретится ей на дороге женщина или мужчина, так ее ужас охватывает, дрожит, словно перед ней звери

дикие. А Зейна встретит — улыбнется ему, засмеется, смехом тихим, пугливым, напоминающим квохтанье наседки. Или еще Муса — и имени-то его в деревне никто не помнил, все Кривым называли. Человек он был в летах преклонных, встретишь его — сердце кровью обольется, настолько тяжело старику ходить по земле. Вся жизнь его была суровой, тернистой дорогой. С незапамятных времен был он рабом у одного богатого человека в деревне, а когда правительство предоставило всем рабам свободу, Муса предпочел остаться у своего господина. Господин этот был человеком добросердечным, почитал его и жалел, обращался с ним по-родственному. Но когда он скончался, все его хозяйство перешло по наследству к непутевому сыну: тот все промотал, а Мусу прогнал. Старость подкралась, а у бедняка — ни родных, ни крова, и никому до него дела нет. Перебивался он в деревне чем мог, на задворках жизни, как говорится. Словно старый бездомный пес, по ночам в развалинах укрывающийся. Днем пропитание в закоулках искал, подбирал крохи, и гоняли его мальчишки, как собаку. Зейн пожалел старика, хижину ему из пальмовых ветвей сплел, дойную козу подарил. Приходил по утрам к нему, спрашивал, как тот ночь провел, после захода солнца приходил — с карманами, полными фиников, с кусками еды за пазухой, выгружал все старику в руки. А бывало, и осьмушку чая приносил, ратль[1] сахару, зерен кофейных горсть... Спросишь Мусу Кривого, что это за дружба у него с Зейном такая,— у старика слезы на глаза навернутся, скажет проникновенно: «Зена нашего не один любит — десятеро. У Зена, брат, любовь в натуре...» Видит деревня дела эти Зеновы — пуще прежнего дивится. Что ж он, пророк аллаха земной? Ангел, что ли, аллахом в обличье адамовом жалком на землю ниспосланный, дабы напомнить рабам своим, что сердце великое и в груди вдавленной, и в образе смехотворном, как у Зейна, биться может? Скажут люди, головой качая: «Господи, прячешь ты тайны своя в тщедушном создании!» Но вот голос Зейна раздался, полетел над деревней: «Эй вы, утопленники! Эге-гей, отпущенники! Повязали меня...» И разрушился этот образ святого, рассыпался в прах. Снова прежний образ Зейна вырастает — как его люди сами себе нарисовали, как им по душе больше приходится...

Все это так, конечно. Но вот живет же неподалеку девушка красивая, степенная, на лицо пригожая, с глазами-стрелками и следит за Зейном — болтуном, сумасбродом, бездельником. Застала она его однажды в обществе женщин — тот дурачился, смешил их, как обычно,— и отругала: «Не надоело слюни распускать, пустой болтовней забавляться? Пошел бы лучше делом занялся!» И повела этак по женским лицам своими красивыми глазами — как обожгла. Зейн смеяться перестал, голову опустил стыдливо, оторвался от стайки женщин и пошел по своим делам.

...Амина ушам своим не поверила. В десятый раз Халиму — торговку молоком — спросила: «На ком, говоришь, парень-то женится?» И в десятый уже раз повторила ей Халима: «Да на Нуаме!»

Невозможно. Ну ведь невозможно же! Девица, видать, совсем разума лишилась. Нуама за Зейна замуж выходит? Сердце в груди Амины от гнева зашлось — какое там удивление! Она ясно припомнила тот день, два месяца назад, когда гордость свою растоптала, унизилась настолько, что к матери Нуамы в дом пошла. Она ведь клятву давала, что слова ей, этой Саадийе, в жизни не скажет. После того дня — такого дня в ее жизни! — когда мать Амины скончалась и все женщины в их деревне — ну все как есть — соболезновать ей пришли. Все, кроме Саадийи. Э, нет! И какое Амине дело, что в тот день, когда ее мать скончалась, Саадийи в деревне и в помине не было? Она больная в лечебнице в Мерове пластом целый месяц тогда лежала. Вернулась из Мерове, все женщины ее навестили, о здоровье справились. Все, кроме Амины. Да. Разделились тогда женщины на две группы. Одни Саадийю во всем винили, твердили, будто сам долг обязывал ее визит Амине отдать — смерть-то тяжелее болезни. Другая половина женщин вокруг Саадийи объединилась — мать-то Амины, говорят, уж, во всяком случае, самого преклонного возраста достигла, а живой-то большего блага, чем усопший, заслуживает. Такой шум поднялся — дело вконец запуталось. Каждая из противниц на своем стояла, и перестала Амина разговаривать с Саадийей, а Саадийя наотрез отказалась разговаривать с Аминой.

И вот два месяца назад уломал сын Амины свою мать пойти поклониться да сосватать ему Нуаму! Женщина гордость свою растоптала, унизилась до того, что

[1] Мера веса, около 450 г.

вошла к Саадийе во двор. Час был утренний — на огне кофе кипит, на столе чашки расставлены, сахар там, все прочее,— и Саадийя это так прохладно ее встречает, кофе предложила для вида. Ну, Амина поначалу отказалась, как следовало бы, а Саадийя-то и не настаивает. Это что же получается: вот, значит, бог, а вот — порог? Не сказала хозяйка: пророк, мол, ниспослал, посланницей за него буду, аллах тебе, мол, дарует — испей чашечку... Ни одного словечка такого не прибавила! Набралась тут Амина всей смелости, какая была, чтобы говорить с Саадийей о сыне своем Ахмеде да дочери ее Нуаме. Потом сжалась, с лица вся сошла и говорит наконец дрожащим голосом — а в душе-то сына почем зря клянет, что поставил ее в такое положение! И говорит, значит: «Саадийя, сестра моя... Клялась я, верно, ни в жизнь не заходить к тебе. Ты, стало быть, из всех людей дом мой обошла, не пришла утешить меня, когда мать умерла. Ну да верующий щедр и милостив. Простила я тебя, сестра. Дело-то привело меня к тебе важное, пришла я к тебе ради сына своего Ахмеда. Абу Ахмед да я, хотим мы, стало быть, Нуаму в жены Ахмеду!» Выговорила она это все, чувствует — язык как деревяшка во рту лежит, в горле все пересохло, съежилось. Кашлянула она этак раза два — руки задрожали. А Саадийя в ответ ни слова! Ну хоть бы слово одно она сказала — оправилась бы Амина маленько от этого ужаса. А Саадийя всегда считала ее ниже себя. Сама-то она женщина красивая, статная — и лицом вышла и осанкой. Смотришь на лицо ее открытое, чистое — все богатство ее семи братьев за ним чувствуешь да отцовы наделы широкие. мужнины пальмы, деревья, коров и скотину всякую, всего и не счесть. У женщины этой трое детей — в школах обучались, на государственной службе состоят. Дочь у нее красавица, парни к ней так и липнут, люди все добром ее вспоминают. Самой-то уже за сорок — а все девицей на выданье выглядит. Немногословна она — это верно, но что же тут-то слова не скажет? Наконец подняла Саадийя ресницы свои длинные, посмотрела на Амину странным, непонятным взглядом. Ни гнева, ни ненависти, ни упрека, ни ласки. И сказала голосом спокойным, без дрожи, без возмущения: «Добро, коли аллах пожелает. Слово-то, конечно, за хозяином дома. Вот придет — скажем».

Вспомнила Амина все это, и как они потом отказали, вспомнила: извинились, что, мол, не вышла Нуама возрастом на выданье, мала еще. А теперь вот сами за Зейна ее выдают, за недоумка этого желторотого! Изо всех людей честных одного этого Зейна выбрали?! Амина сразу поняла, нутром почувствовала: во всем этом деле главное — лично ее уколоть, умышленно.

А Халима-то, молочница, прямо задрожала вся, как увидела, что зрачки у Амины расширились, глаза кровью налились. Никак заметила баба, что молока она ей недолила?.. Долила она молока Амине, с верхом добавила, и говорит:

— Ну-ну, успокойся, соседка... Вот тебе еще, не сердись!

Год за годом идут нескончаемой чередой, и вздымаются в свой черед воды Нила — словно мощная грудь великана полнится яростью. Воды бушуют вдоль берегов, покрывают пахотную землю, пока не достигнут отрогов пустыни, не заплещут мирно у порогов ближайших домов на краю плоскогорья. Ночью кричат лягушки на все лады, с севера дуют влажные, напоенные росой ветры. Дивные запахи приносят они с собой: тут и ароматы цветов акаций и райского банана, и запахи прелой древесины и жирной, перенасыщенной влагой благодатной земли, и запах гниющей рыбы, выброшенной ленивой волной на песок.

Лунными ночами, когда совсем округлится лицо луны, превращаются воды реки в громадное, озаренное светом зеркало, и бегут по глади его кроны пальм и ветви деревьев. Воды широко, на большие расстояния, разносят звуки и голоса людей. Празднуют свадьбу где-нибудь мили за две, а крики и возгласы, дробь барабанов, трели люten и величальные песни так ясно слышны, будто все это рядом, в соседнем доме...

Полноводный Нил переводит дух.

Проснешься однажды — грудь Нила словно опала, воды отступили от островков, успокоились в прежнем извечном русле, широко раскинувшемся с востока на запад. Солнце выплывает из этих вод поутру и в те же воды погружается на закате. Смотришь: земля развернулась вширь — сочная, блестящая, словно полированная. Вода, успокаиваясь на своем обычном ложе, оставила за собой гладкие, светящиеся на солнце дорожки. Запах земли теперь овевает тебя всего, неистовствует, жадно врывается в ноздри, словно аромат весенней пыльцы с пальм в пору оплодотворения.

Земля набрякла, отяжелела, успокоилась, но ты чувствуешь — чрево ее хранит великую тайну. Словно женщина, объятая неукротимым желанием, готовится она к долгожданной встрече со своим господином. Она спокойна на вид, но в недрах ее — гул и кипенье воды, бегущей по жилам, воды жизни и плодородия. Земля уже оплодотворена, напряглась, приготовилась к родам. Блестящее острие вспарывает ее чрево — вот он, миг опьянения, боли, дарения. Там, где вспорота полость, пробьется семя. Как мать оберегает во чреве своем зародыш будущей жизни — с нежностью, теплотой и любовью,— так и недра земли хранят в себе зерна пшеницы, проса, фасоли.

Лопается земля, выпуская на свет ростки и плоды.

Нуама помнила себя с самого раннего детства, еще совсем маленьким ребенком. Женщины, навещавшие мать, усаживали ее, бывало, к себе на колени, гладили и щупали руками ее густые, рассыпавшиеся по плечам волосы, целовали щечки, губки, щекотали малышку, прижимали к груди. Ей это все очень не нравилось. Нуама постоянно выворачивалась у них из рук, а однажды совсем раскапризничалась от полного бессилия перед одной дородной, тучной женщиной, охватившей все ее тельце своими мощными, широкими лапами. Словно челюсти дикого зверя, сомкнулись они на ней, прижали к огромным, расплывающимся ляжкам. Сильный, удушающий запах источало все тело. Нуама извивалась как змейка, пытаясь высвободиться из этих объятий, но женщина с силой прижимала ее к груди, навесив над маленьким личиком свои мясистые губы, целовала ее в шейку, в щечки, жадно обнюхивала свежее тельце. Изо всей силы ударила ее по лицу Нуама. Женщина опешила, испугалась, разжала руки — и Нуама, выскользнув рыбкой, выбежала из комнаты.

Когда Нуама подросла, взгляды и мужчин и женщин, всех без различия, стали останавливаться на ней, головы прохожих оборачивались вслед, когда она спокойно шла по дороге. Красоте своей Нуама значения не придавала.

Она еще хорошо помнит, как заставила отца поместить ее в местный куттаб [1]. Нуама была там единственной девочкой среди мальчишек. За один месяц она выучилась писать и внимательно слушала мальчиков постарше, читавших вслух суры [2] Корана, повторяла их про себя, задерживала в памяти. А со временем и сама приступила к Корану, жадно заучивала его наизусть, читала с наслаждением. Ей очень нравились в нем отдельные аяты [3], словно радостная весть, западавшая в сердце. Очень волновало ее все, что запомнилось из суры «Милосердный», из суры «Марьям» и суры «Истории». Нуама чувствовала, как наполняется сердце глубокой печалью, когда читала она об Айюбе. Великое, пьянящее чувство охватывало ее всю целиком, когда она доходила до аята: «И вот пришли мы к нему, люди его и подобные им, и с ними же Рахма, одна из нас». Рахма представлялась ей женщиной необычайной красоты, преданной своему мужу. Как она хотела, чтобы родители назвали ее Рахмой! Она мечтала о великом подвиге, о самопожертвовании, сама не знала, каком и во имя чего. О, этот час принести великую жертву придет однажды! В ней постоянно жило это странное чувство — оно находит на тебя, особенно когда читаешь суру «Марьям». И Нуама, серьезная девочка, воспитывала его в себе. Чувство ответственности стало главной чертой ее натуры.

Нуама помогала матери по хозяйству, обсуждала с ней все дела, заводила с отцом разговоры на такие серьезные, взрослые темы, что иногда прямо-таки ставила его в тупик. Один из ее братьев, старше ее на два года, постоянно понуждал Нуаму продолжать учебу, говорил ей: «Может, станешь доктором, а то и адвокатом». Но она не хотела избирать этот путь.

Отвечала брату, надев на лицо маску полнейшей серьезности: «Обучение в школах, все это так — чепуха. Достаточно уметь писать и читать, знать Коран и предписания молитвы». Брат смеялся: говорил: «Вот-вот, завтра явится на порог любовь неземная, посватается к тебе — от всех своих доводов откажешься!» Вообще-то все члены семьи относились к ее будущему с некоторой опаской. Они прекрасно понимали, что эта девушка с серьезным спокойным лицом и разящим, как стрелы, взглядом хранит в себе нечто такое, что им до поры неведомо...

Когда Нуаме исполнилось шестнадцать, мать стала заговаривать с ней о парнях, что подошли бы в мужья: богатый, мол, да образованный, да красивый, да отец с

[1] Деревенская мусульманская начальная школа.
[2] Глава Корана.
[3] Стих, отдельная фраза Корана.

матерью в родню ей годятся. Нуама только плечами пожимала, ничего не говорила. А когда пришла к Саадийе Амина толковать о замужестве Нуамы с Ахмедом, ответила ей тогда Саадийя: «Слово за хозяином дома, конечно». В душе-то мать прекрасно знала, что последнее слово за дочерью, за Нуамой. Надо было справиться о ее мнении. А она плечами так пожала и говорит: «Вот еще! Будто одна ночь до свадьбы осталась!» Спорить тут было бесполезно, да к тому же Саадийя вовсе и не рвалась к Амине в сватьи.

Немного прошло времени — явился на порог новый жених, Идрис. Что и говорить, многие девушки деревенские мечтали пойти к нему в жены. Был он ученым: работал учителем в начальной школе. Нрава был кроткого, с людьми обходителен, и хоть его родные вовсе не были из коренных жителей, на кого в деревне указывать принято, все же отец Идриса сумел завоевать положение среди людей прилежанием своим, да и обхождением тоже. Хаджи Ибрагим, отец Нуамы, и мать ее Саадийя, и трое братьев — все они были настроены к Идрису благожелательно. А вот у Нуамы было на сей счет особое мнение. Плечами повела, изрекла: «Не годится!» Ох и разъярился же тогда хаджи Ибрагим, беседуя с дочерью, и хотел уж влепить ей пощечину — да осекся. Что-то в тех жестких очертаниях, какие вдруг приняло лицо этой девушки, погасило гнев в его груди. Может, выражение глаз или спокойная решимость, неукротимость, что ли? Словно почувствовал мужчина, что не упрямица его дочь и не бунтарка, а движет ею глубокое внутреннее убеждение в собственной правоте, и никто не в силах свернуть ее с избранного пути. С того самого дня никто в целом доме больше не заговаривал с ней о замужестве.

Когда Нуама была предоставлена самой себе, оставалась наедине со своими мыслями, приходили ей в голову разные соображения о замужестве, и чувствовала девушка, что придет оно, это замужество, внезапно, откуда совсем не ждешь. Придет так же, как падает суд аллаха на рабов его. Так же, как рождаются люди, заболевают вдруг или умирают. Как вздувается Белый Нил, налетают на землю бури, как пальмы приносят плоды свои в срок, как всходит пшеница и льется дождь, как времена года неотвратимо сменяют друг друга. Так и замужество это придет, предначертанное ей аллахом на одной из сокрытых скрижалей задолго до того, как родилась она на свет, еще до того, как протянулся по свету широкий Нил, как сотворил аллах всю эту землю и что на ней. Думая о таких вещах, она не ощущала ни радости, ни страха, ни отчаяния. Она просто чувствовала ту большую ответственность, что ляжет на ее плечи когда-нибудь: неважно, скоро ли это будет или не скоро. Все ее сверстницы в округе, каждая ее подруга, взрослея, рисовали в своих мечтаниях четкий облик прекрасного всадника, что однажды угасающим вечером привяжет коня у ворот, войдет и похитит ее у родных и умчится с ней далеко в чудесные миры, к жизни счастливой и безбедной. А Нуама подобных картин в своем воображении не рисовала. Подрастала Нуама, и вместе с нею росла в ней полноводная, как река, любовь, которую подарит она когда-нибудь мужчине. Может быть, это будет мужчина уже женатый, с детьми, и она станет его второй женой. А может, молодой, красивый, образованный юноша или пускай простой землепашец, как все в деревне, с натруженными и вызывающими сострадание руками и ногами — столько пришлось ему, бедняге, исходить за день борозд, отмахать мотыгой. А пускай это будет хоть Зейн!.. Когда мысль о Зейне приходила Нуаме в голову, какое-то теплое чувство прокрадывалось в сердце: так, наверно, мать может относиться к своим детям. И еще одно чувство смешивалось с этим: сострадание. Зейн был в ее воображении сиротой, безродным мальчишкой, постоянно нуждающимся в заботе.

Во всяком случае, он сын ее дяди. И вовсе ничего странного в этом сострадании нет!

Мать Зейна понятия не имела, где ее сын ночи проводит. Он был как беспокойный дух, которому не сидится на месте. Справляют свадьбу — Зейн тут как тут, в кругу гальхийцев под деревьями или у кузов-кочевников, то на юге, то на севере. Ни холод его не удержит, ни ураган, неожиданно налетающий ночью, ни Нил, выходящий в половодье из берегов. Слух его с удивительной чуткостью улавливает женские вопли да крики за несколько миль в округе. Кинет он одежду на плечо — и пошел, так и тянет его на эти звуки. Блеснет неожиданно из-за песчаных холмов ослепительный свет — это машина из Омдурмана по шоссе движется. Видят люди из кабины: фигура какая-то тощая песок меряет, спешит, чуть-чуть вперед наклонившись,

глаза в землю уставив. Спешит на восток, торопится. Приглядятся пассажиры — ну да, Зейн. Стало быть, в той стороне свадьбу справляют. Или крикнут ему что-нибудь, проезжая мимо, или притормозят, задирать начнут. А то шагает он, а за ним машин вереница целая, вопли все ближе, отчетливее. Вот уже Зейн женщин по голосам различить может, какая из них что кричит. Тут и огни все ярче, и тени собравшихся то длиннее, то короче становятся — словно шайтаны в долине духов пляшут. Вот уже облако пыли от ног танцующих вырастает, схваченное полосками света. И вдруг ночь пронзает знакомый каждому клич: «Эй, свадьба, держись! Ну-ка, плясуны! Зен к вам пришел!» Прыгнет Зейн, падет словно рок неумолимый — и вот уже место в кругу танцоров занял, все вокруг бурлит — это он, Зейн, свежую силу в людей вдохнул. Далеко теперь крики их слышны, все его подбадривают: «Веселей! Веселей! На десятерых хватит!» Стихнут в кругу женщин веселые голоса, погаснут огни, потянутся люди по домам незадолго перед рассветом — приклонит Зейн голову на камень, на корень дерева и уснет тотчас сном легким, как у птички. А как только призовет муэдзин к утренней молитве, вскочит и домой отправится, разбудит мать, чтобы приготовила ему чай.

И вот как-то утром прокричал свой азан[1] муэдзин, а Зен не вернулся. Покраснело небо к востоку перед восходом солнца, солнце поднялось на человеческий рост — а Зен не вернулся. Почувствовала мать Зейна легкую судорогу в левом боку — такое добра не предвещало. Она твердо знала, что, если в левом боку дрожь появится, значит, не миновать беды ей или кому-нибудь из близких, это уж точно. Надумала она к дяде Зейна пойти, как вдруг уловила легкое движение в хлеву за дверью, услышала, как дверь в большом хлеву заскрипела, потом сильный грохот раздался, и вдруг видит она прямо перед собой страшное зрелище. Закричала женщина так, что услышал ее хаджи Ибрагим, отец Нуамы. Он у себя, за четыре дома, на коврике сидел, утренний кофе пил. Весь двор мужчины и женщины заполнили, женщины тут же унесли мать Зейна, потерявшую сознание. Как водится, разделились люди опять на две половины: одни за матерью пошли, а другие, все больше мужчины, вокруг Зейна сгрудились. Длинный шрам через всю голову доходил ему почти до самого глаза, а грудь, рубаха, штаны — все было кровью перемазано. Люди совсем голову потеряли. Стал Абдель Хафиз Зейну кричать, глаза у него гневом налились: «Говори сейчас же, кто с тобой такое сделал? Какой такой пес поганый тебя избил?» Женщины завопили, а кто и в плачь ударился. Нуама поодаль стояла молча, глазами в лицо Зейна словно впилась: ни искорки гнева в них не было — одна великая нежность да боль.

— Врача...— произнес хаджи Ибрагим.

Слово это возымело действие, что вода, выплеснутая в огонь,— женские вопли мгновенно стихли. «Врача!» — закричал Махджуб. «Врача!» — закричал Абдель-Хафиз. Ахмед Исмаил вскочил на осла и помчался за врачом...

Когда Зейн вернулся из лечебницы в Мерове, где он провел две недели, круглое лицо его сияло, одежда сверкала белизной. Он рассмеялся — что за чудо?! Не увидели люди у него во рту, как прежде, только два желтых нескладных зуба. В верхней челюсти сидел целый ряд ослепительно белых зубов, и такой же ряд ровных, словно из перламутра выточенных, зубов украшал нижнюю челюсть. Зейн будто другим человеком стал. Нуаме, стоявшей посреди встречавшей его толпы, показалось, что Зейн, в общем-то, недурен вовсе...

Долго еще Зейн ни о чем, кроме своего путешествия в Мерове, говорить не мог. Ему доставляло особое наслаждение, когда собирались вокруг него его старые приятели: Махджуб, Абдель-Хафиз, Ахмед Исмаил, Хамад Вад ар-Раис, Ат-Тахир ар-Раввази, Саид-торговец — и он рассказывал им все, что с ним приключилось.

— Сразу, как прибыл я туда, братия, стащили с меня одежду и надели все чистое... Кровать — вся разрисованная! Простыни — белые, как молоко! И одеяло какое, а коврик — нога так и скользит!..

— Кончай с одеялами и ковриком! — решил поддеть его Махджуб.— Пузо вон у тебя выросло — чего тебе туда наложили?

Подбородок у Зейна ходуном заходил, губы задрожали — словно он пировать приготовился!

[1] Призыв на молитву.

— Ага! Ага! Еда в госпитале в Мерове — пальчики оближешь! Разве здесь еда? Там — и рыбки тебе немножко дадут, и яиц, и мяса, это, и курицы...

Махджуб опять прервал его:

— Понемножку, говоришь, в госпиталях, значит, кормят? Как же ты там наедался?

Зейн улыбнулся во весь рот широкой, заранее подготовленной улыбкой — так что все свои новые зубы показал:

— А медсестра была знакомая, вот как! Она уж об этом позаботилась!

— О господи! Нет бога, кроме аллаха,— закричал Абдель-Хафиз.— Везет же тебе, прохвост! Пошел, значит, с сестрами забавляться?

Все тело Зейна так и затряслось от еле сдерживаемого смеха:

— Ох!.. Ох... Это тебе не невеста деревенская!

Тут и ар-Равваси наконец вмешался, не выдержал — до этого он все слушал да посмеивался, ничего не говорил.

— Пророк с тобой и сподвижники! Ох, Зен, ну-ка расскажи нам про нее.

Зейн оглянулся вокруг, словно боялся, кабы его не подслушал кто, и, понизив голос, сказал:

— А что, парень, аллахом тебе клянусь, ну и хозяйство у нее там!..

Тут разговор на время прервался — собрание разразилось дружным хохотом. Наконец Хамад Вад ар-Раис собрался с силами и, подавляя в груди последние спазмы смеха, вымолвил:

— Что же ты с ней сделал, обруч ты поломанный?

Зейн — словно не слыша последнего вопроса — продолжал:

— Да-а!.. Красивая, брат, девчонка из Омдурмана. Баба что надо!

Ар-Равваси подвинулся к Зейну поближе и задал вопрос иначе:

— Ну-ну, а как же ты увидел, какое у нее там хозяйство?

— Что я, слепой, что ли? Под носом не увижу? — ответил Зейн не задумываясь.

Махджубу вроде бы такой ответ понравился, он взглянул на Вад ар-Раиса:

— Кончай дурака валять! Сказали же тебе!

Зейн положил руки за голову, откинулся немного назад и медленно продолжал — на лице у него играла этакая двусмысленная улыбочка...

— Так хотите, братия, значит... э-э... знать, что я с ней делал?

— Пророком прошу, Зен,— жадно проговорил Вад ар-Раис.— Расскажи-ка, расскажи нам, что ты с ней делал?

Лицо Зейна расплылось прямо. Он рот раскрыл, чтобы заговорить,— и на зубах его блеснул луч света от большой старой лампы, висевшей в лавке Саида. И вдруг в то же самое мгновение Зейн вскочил на ноги, будто скорпионом ужаленный.

Вскочил Ахмед Исмаил, а за ним Махджуб, Ат-Тахир ар-Равваси и Хамад Вад ар-Раис...

— Держи его! — заорал Абдель-Хафиз благим матом.

Но разве можно с Зейном гягаться? В мгновение ока схватил он незваного пришельца, поднял над собой и что есть силы швырнул на землю! Бросился на него, схватил за горло...

Все навалились на Зейна Ахмед Исмаил вцепился в его правую руку, Абдель-Хафиз — в левую, Ат-Тахир ар-Равваси сомкнул кисти у него под животом Хамад Вад ар-Раис давай оттаскивать его за ноги Саид торговец в это время что-то взвешивал у себя в лавке — бросил все, выскочил, тоже за ноги ухватился. Но одолеть его — увы! — все они были не в силах...

В жилистом теле Зейна сила таилась гигантская, страшная — никому с ней не совладать. Все жители селения знали об этой ужасной силе, избегали ее. Родные Зейна все, что могли, делали, лишь бы он не пустил ее в ход против кого-нибудь. С содроганием в душе вспоминали они, как Зейн однажды одолел своенравного быка, набросившегося было на него в поле. Он схватил его за рога, оторвал от земли, что соломенный сноп, тряхнул да и бросил оземь тушу с поломанными ребрами. А как Зейн в один из своих приступов ярости вырвал из земли целую акацию с корнем, словно кукурузный стебель!.. Да, все они знали: в этом худощавом теле сила спрятана необоримая, прямо-таки нечеловеческая. А Сейф ад-Дин — эта жертва, в руки Зейна сейчас попавшаяся — уже не жилец!.. Голоса на мгновенье смешались — ничего не разобрать. Зейн выкрикивал в неистовом гневе: «Этот с-самец ос-ли-ный, я его не-

пременно прикончу!» «Самец ослиный» — это у Зейна было крайнее ругательство по отношению к мужчине. Абдель-Хафиз закричал слабеющим, дрожащим от страха голосом:

— Пророком заклинаю тебя, Зен! Ради аллаха, пусти его, Зен!..

Махджуб бранился в бессильной злобе. Ахмед Исмаил был самый младший среди собравшихся и наиболее сильный, но смекалки ему хватило лишь на то, чтобы в отчаянии вцепиться зубами Зейну в зад.

Ах-Тахир ар-Равваси тоже славился своей силой. Он свободно Нил переплывал туда и обратно, под водой держался по полчаса, и дыхания ему не занимать. Но сила его не шла ни в какое сравнение с Зейновой.

И вот в суматохе этой услышали они, как у Сейф ад-Дина из горла хрип вырвался. Глянули — а он уже ногами своими длинными воздух молотит.

— Все! — заорал Махджуб.— Труп.

Только он это сказал, как за спиной у всех раздался спокойный, степенный голос:

— Зейн... Благословенный мой... Да возрадуется тобой аллах!

Пальцы Зейна сами собой разжались, Сейф ад-Дин вытянулся по земле неподвижным бревном. Все шестеро вмиг вскочили, застигнутые врасплох голосом аль-Хунейна, а Зейн совсем ошеломил мужчин своей неожиданной покорностью: словно стена рушащаяся, которую они с таким трудом подпирали и еле удерживали, вдруг выпрямилась и стала на место. И незаметно совсем, глазом не успели моргнуть, как полная тишина воцарилась — понятно, смешались в такой тишине и ужас, и смятение, и надежда... Немного спустя люди пришли в себя и вспомнили о Сейф ад-Дине. Над ним склонились головы, и Махджуб вскрикнул голосом, дрожащим от радости:

— Слава аллаху! Слава аллаху!

Сейф ад-Дина тут же перенесли и положили на скамью перед лавкой Саида. И, переговариваясь неровными, приглушенными голосами, принялись возвращать его к жизни. А потом уже только о Зейне вспомнили, видят — сидит он с опущенной головой, руки между колен зажал, колесом свернулся, аль-Хунейн руку ему на плечо положил с нежностью величайшей и говорит голосом суровым, но полным любви:

— Зейн, благословенный... Зачем ты такое сделал?

Подошел Махджуб, стал Зейна бранить, да только стоило аль-Хунейну взглянуть на него, одним взглядом он его успокоил. Помолчав, Махджуб сказал аль-Хунейну:

— Если б не пришел ты к нам, шейх наш, убил бы он его...

К ним присоединились Ахмед Исмаил и Ат-Тахир ар-Равваси, а Абдель-Хафиз, Саид-торговец и Хамад Вад ар-Раис с Сейф ад-Дином остались. Немного погодя Зейн заговорил — все так же, сидя с опущенной головой, он повторил слова Махджуба:

— Если бы ты не пришел к нам, шейх наш, убил бы он его... Это он тогда ударил меня мотыгой по голове. Не прощу ему ни за что!

В его голосе совсем не было гнева. Произнес он это скорее веселым, привычным ему тоном. Чувство облегчения охватило всех присутствующих, хотя они и продолжали хранить тишину.

— А ты не ошибся? — спросил аль-Хунейн.

Зейн промолчал.

— Когда это Сейф ад-Дин ударил тебя мотыгой по голове? — продолжал аль-Хунейн.

— А на свадьбе его сестры! — рассмеялся Зейн, и все лицо его расплылось в довольной улыбке.

— Что же ты с его сестрой в день свадьбы сделал? — спросил аль-Хунейн, уже с некоторой долей лукавства в голосе.

— А сестра его была нашей соседкой. За меня хотела. Нечего было ее за такого дурня выдавать!

Ахмед Исмаил расхохотался помимо своей воли. А аль-Хунейн голосом, полным нежности и ласки, сказал:

— Все девушки — твои соседки, благословенный мой! Завтра сам ты лучшую девушку во всей округе в жены возьмешь.

Махджуб почувствовал, как у него екнуло сердце. Он в душе побаивался людей веры, особенно таких вот отшельников, как аль-Хунейн. Избегал их, на дороге повстречать боялся, вообще старался никаких дел с ними не иметь. Пророчества их

остерегался и хоть внешне значения им не придавал, а чувствовал, что след смутный в душе они оставляют. Это-то, наверное, и заставило его крикнуть раздраженным, взволнованным голосом:

— Кого это еще этот телок в жены возьмет?! Ишь ты! Живем под небесами — с феями соседствуем сами!

Аль-Хунейн бросил на него суровый взгляд — у Махджуба поджилки затряслись, хорошо еще, что возбужден был очень.

— Зен не телок, Зейн — благословенный,— сказал старец.— Завтра лучшую в округе девушку в жены возьмет.

А Зейн неожиданно рассмеялся — смехом чистым, как у ребенка.

— А я бы убил его! Это он, значит, мотыгой меня по голове огрел, потому что сестра его мне предназначена!...

— Хватит! — сказал аль-Хунейн решительно.— С соседками разбираться время найдешь. Кончено: что прошло — ушло. Он тебя ударил — и ты его ударил.

Старик подозвал Сейф ад-Дина. Тот подошел, высокий, нескладный, в окружении Саида, Абдель-Хафиза и Хамада Вад ар-Раиса. Сел.

— Встань, поцелуй его в голову,— сказал аль-Хунейн Зейну.

Зейн встал, нисколько не противясь, схватил Сейф ад-Дина за голову, поцеловал в лоб. А затем упал на плечо аль-Хунейна, стал целовать его в голову и все приговаривал: «Шейх наш аль-Хунейн... Отец наш благословенный!..»

Минута была волнующей, все мужчины затаили дыхание. Глаза Сейф ад-Дина наполнились слезами.

— Виноват, виноват я перед тобой. Прости меня! — сказал он Зейну.

Помедлив мгновение, встал, поцеловал Зейна, затем ухватил за руки аль-Хунейна, поцеловал их. Тут все мужчины встали — Махджуб, Абдель-Хафиз, Хамад Вад ар-Раис, Ат-Тахир ар-Равваси, Ахмед Исмаил, Саид-торговец,— и каждый в молчании брал руку аль-Хунейна в свои, целовал ее.

Кротким, мягким голосом аль-Хунейн произнес:

— Господь наш благословляет вас. Ниспосылает вам господь свое благословение.

Затем встал, взял кувшин. Тотчас же Махджуб принялся его приглашать: «Надо бы отужинать тебе с нами сегодня вечером...» Однако аль-Хунейн вежливо извинился и, положив свободную руку на плечо Зейну, сказал: «Ужин — в доме Благословенного».

И они ушли в ночь. Лишь на мгновение упал на их головы лучик света от висевшей в лавке Саида старенькой лампы — и соскользнул, как соскальзывает белое шелковое покрывало с широкого плеча мужчины. Махджуб посмотрел на Абдель-Хафиза, Саид — на Сейф ад-Дина... Мужчины переглянулись друг с другом и покачали головами.

Уже много лет спустя после этого случая — когда Махджуб стал дедушкой с многочисленными внучатами, да и Абдель-Хафиз и Ат-Тахир ар-Равваси дедами стали, а Ахмед Исмаил был уже отцом семейства с дочерьми на выданье — вся деревня заодно с ними все еще вызывала в памяти тот год, вновь к Зейну, аль-Хунейну и Сейфу ад-Дину возвращалась, к тому, что произошло меж ними перед лавкой Саида-торговца. Участвовавшие в этом деле вспоминают о нем со страхом и благоговением, даже сам Махджуб, который до той поры вообще ни на что не обращал внимания. Потому что так или иначе это событие отразилось на жизни каждого из восьми мужчин его героев. В будущем эти восьмеро, сходясь вместе, тысячи раз перебирали подробности случившегося. И с каждым разом самые обыкновенные факты казались им все более невероятными и фантастическими. С изумлением вспоминали они, как это подоспел аль-Хунейн — так вот, откуда ни возьмись, именно в то самое мгновение, не раньше и не позже, когда лапищи Зейна у Сейфа на горле сомкнулись и уж в иной мир его повели. Некоторые по сей день утверждают, будто Сейф ад-Дин тогда действительно умер: умер, и вздох последний испустил, и растянулся на земле холодным групом. И Сейф ад-Дин это сам подтверждает. Действительно, говорит, умер. А в то мгновение, говорит, когда пальцы Зейна ему глотку стиснули, отлетела его душа от мира прочь и увидел он крокодила громадного, ростом с быка, с разверзнутой пастью. Сомкнулись на нем крокодиловы челюсти, и тут волна — высокая, как гора,— накатилась. И повергла крокодила в черную, бездонную пропасть. И вот тогда,

говорит Сейф, я и увидел смерть лицом к лицу. А Абдель-Хафиз — он ближе всех к Сейф ад-Дину находился, когда к тому сознание вернулось,— так он божится, что первыми словами, которые тот произнес, едва дыхание в легкие ему вернулось, первым, что тот вообще вымолвил, открыв глаза, было: «Свидетельствую: нет бога, кроме аллаха! Свидетельствую: Мухаммед — пророк аллаха!»

Ну ладно. Как бы там ни было, только жизнь Сейф ад-Дина с того самого мгновенья так переменилась, как и не снилось никому. Сейф ад-Дин был единственным сыном одного бедуина — ас-Саига, золотых дел мастера то есть. Звали его ас-Саиг потому, что таким было его ремесло в начале жизни. А когда он разбогател и ремесло то бросил, имя-то к нему уже прилипло да так и не отстало. Бедуин был человек зажиточный — наверно, самый богатый в деревне. Часть богатства своего нажил он ювелирным делом, торговлей в странствиях, а еще часть пришла к нему с женой. Все у него, как говорят в деревне, с ладони росло, все, к чему ни прикасался, в деньги обращалось. Меньше чем за двадцать лет из ничего сокровища накопил! Тут и земля, и угодья, и торговлишка — пусть мелкая, да по всему Нилу зато, от Кермы до Мерове, и суденышки, под финиками и товарами разными в реке под завязку нагруженные, из края в край ползающие, и золотишко, драгоценностей всяких уйма, что его жена да дочки на шее, на руках носят, побрякивают. Да. И вырос Сейф ад-Дин единственным сыном среди пяти дочерей — и мать-то его холит, и отец балует, и сестры души в нем не чают. Ну как такому баловню не испортиться! Или — в деревне так говорят — непременно обвислым будет, словно деревце, в тени большого дерева выросшее, ни ветра не чуявшее, ни солнца не знавшее. Умер бедуин, горькую горечь сглотнувши. Денег на сына много извел, чтоб тот учился, да без толку. Лавку ему в деревне поставил — он ее за месяц спустил. На фабрику его отвез фабричному делу учиться, а тот сбежал. С грехом пополам, по знакомству да по ходатайству, удалось ему сына пристроить чиновником мелким на правительственную службу — пусть, мол, на себя самого рассчитывать научится. Да только нескольких месяцев не прошло, стали доходить до отца новости да слухи разные — от друзей и врагов, от льстецов и хулителей, все едино,— что сынок его ночи напролет в трактире пропадает, в контору раз-два на неделе является. А начальство его предупреждало многократно, грозит со службы выгнать. Поехал тогда отец в город, вернулся с сыном на поводу — как заключенного привел. Поклялся на поле его на всю жизнь приковать, как раба последнего, так прямо и сказал.

Год прошел — Сейф ад-Дин корм для коров собирает, скот на меже день-деньской пасет, пашет да сеет, жнет да вздыхает. А увеселений своих по ночам все же не бросил. Знал он места злачные, где вино готовят, с невольницами бывшими, что его варили, дружбу водил — с подстилками этими, как их народ называет. Это все рабыни были, получившие свободу. Некоторые из деревни прочь бежали, замуж подальше от места рабства своего вышли, а другие нашли мужей среди освобожденных рабов да в деревне остались, жили себе честно, с господами своими бывшими ладили. Ну а некоторым спокойная оседлая жизнь не по нраву пришлась — на задворках жизни приютились, стали приманкой для жаждущих мирских утех да потех.

Действительно, был этот мир невольниц странным, чужеродным, царил в нем дух непокорства и своеволия, выходящего за рамки приличий. Далеко от селения, на краю пустыни, повыскочили пятнами их домики, из соломы сложенные. По ночам, когда спали люди, задрожит вдруг пламя светильников от их забав, дикий смех да пьяные вопли послышатся. Не нравилось это людям, жгли они заразные эти хижины, а они вновь, как чертополох на поле, к жизни вылезали. И обитательниц их люди прогоняли, и житья им не давали, мучили всячески, а они все равно — не заметишь, как вновь соберутся. Что тебе мухи на падаль. У скольких парней молодых сердце по ночам изнывало, когда вдруг донесется откуда-то из тьмы хохот невольниц да крики пьяные. Там, в «оазисе», на краю пустыни, страшное что-то, ужасное и приятное деется, так и подмывает открыть его да отведать. Трудно ли было Сейфу найти туда дорожку? Проводил он там ночи напролет, и своя возлюбленная у него завелась. Все это переносил его отец терпеливо. Доходили до него вести, но он их порой не замечал, порой гневался. Однако и его терпение лопнуло, когда притащился однажды ночью Сейф ад-Дин домой и застал отца на молитвенном коврике. Изо рта у сына вином разило, а он, не проспавшись, спьяну хриплым голосом стал отцу выкладывать, что любит, мол, Альсару, одну из блудниц этих, и желает на ней жениться. Свет померк у отца в глазах, рассудка он лишился. Сын, его единственный

сын — пьяница, беспутник и нечестивец, да еще говорит ему, творящему молитву, что он «любит» — слово, которое в сознании всех честных отцов в деревне вмещает в себе всю грязь, всю нерадивость, не подобающие мужчине,— говорит, что желает жениться на рабыне, на шлюхе беспутной и пустоголовой?! Все! Отец встал и начал бить сына, жестоко, беспощадно. Прибежала мать, закричала, запричитала. Стали сбегаться люди. Когда наконец вырвали сына из рук отца, тот был на грани между жизнью и смертью. Поклялся отец перед людьми, что его сын-прелюбодей (так прямо и сказал) отныне не проведет и ночи под одной с ним крышей, не сын он, мол, ему, и сына у него не было.

Ту ночь Сейф ад-Дин провел в доме своего дяди, а наутро исчез.

Остаток дней своих провел бедуин ас-Саиг так, будто навели на него порчу. В сердце боль стояла непрестанно, лицо осунулось, пот с него ручьями лил, как с чахоточного. Говорил он, что сын его умер, а коль случалось, что язык его подводил и вспоминал он о сыне — вспоминал так, будто тот и впрямь мертв.

И ползли по всей деревне ужасные слухи о Сейф ад-Дине: будто бы посадили его в Хартуме за воровство, а потом — будто бы обвинили в убийстве одного человека в Порт-Судане и чуть не повесили, да нашли в конце концов настоящего убийцу. Рассказывали, что живет-де наглец, бездельничает, путается с грязными девками в каждом городе, куда ни забредет. Говорили как-то, что работает он носильщиком в порту — тюки с хлопком на хребте таскает. А другой раз говорили, что будто грузовик водит между Белым и Голубым Нилом, а то — в Токаре, мол, поселился, хлопок выращивает. Да кто его знает? Кому он нужен? Все дядья его — по матери ли, по отцу — не раз пытались отца убедить: напиши, дескать, завещание, оставь все богатство жене да дочкам. Все люди разумные в деревне это дело поддерживали, благословляли — но отец всякий раз отмахивался от советов, находил отговорки: ничего, мол, успею еще, когда конец почую, сильный пока, рано еще завещание составлять. А люди разумные, в своих диванах сидя, головами в тоске качали: надеется, надеется все бедуин, что сын его к правильной жизни вернется Что бы там ни было — так и не поняли его односельчане! — а не захотел человек шаг решающий сделать — лишить сына наследства.

И вот в одну из ночей в рамадане месяце умер бедуин на молитвенном коврике своем, свершив дополнительную молитву. Человек он был добрый — и умер смертью всех добрых людей: в рамадане месяце, в последнюю его треть, наиболее благочестивую, на молитвенном своем коврике, совершив дополнительную молитву. Принял отдохновение. Люди в деревне головами покачали: «Да упокоит бедуина аллах. Был он человеком добрым, благочестивым. И сына заслуживал доброго, не как тот паршивец беспутный!»

И вот как-то днем, когда все люди еще пребывали на траурных ковриках в печальных раздумьях, заявился к ним Сейф ад-Дин. В руке он сжимал толстую палку— с такими посохами на востоке Судана ходят. Больше никаких вещей у него с собой не было. Волосы на голове словно куст колючек торчали, борода грязная задубела, а лицо — и впрямь лицо человека, из геенны вырвавшегося.

Ни с кем не поздоровался, люди глаза от него прочь воротили. Однако старший его дядя — по отцу — к нему подошел, поцеловал в лоб. А когда весть о приходе сына до матери дошла — она в другой половине дома, в гареме, на траурном коврике своем сидела,— зарыдала женщина вновь, завопила, словно муж ее второй раз только что умер. Завопили на разные лады сестры Сейф ад-Дина, тетки его да тетушки — и весь гарем толпой в дом сбежался. А дядя поднялся, прикрикнул на них, они и замолчали.

Но все это ничуть не помешало Сейф ад-Дину лапу на отцовские денежки наложить. Чего добилась родня — так это лишь долю матери да сестер отделить, а главное богатство ему досталось. Вот здесь-то, между прочим, и началась пора мытарства Мусы, приятеля Зейна, или Мусы Кривого, как его окрестили в деревне. Выгнал его Сейф ад-Дин прочь, поскольку он, дескать, не раб им больше и он ему не хозяин. Зажил Сейф ад-Дин жизнью совсем безрассудной — благо денежек теперь на беспутства у него прибавилось. Был в постоянных разъездах — то на восток, то на запад, месяц в Хартуме проведет, месяц — в Каире или в Асмаре. В деревню заявлялся не иначе как только участок земли продать или урожай сбыть. В жизни своей деревня не

знала такого человека — все его чуждались как прокаженного. Даже ближайшие родственники в дом к себе не пускали, дверь у него перед носом захлопывали — сыновей еще развратит, поганец, дочек растлит. И как-то в один из своих наскоков в деревню попал он на сестрину свадьбу — вся семья была рада-радешенька справить ее без него, он ведь, как правило, и на похоронах-то не присутствовал. Вот и свадьба эта из-за него трагедией обернулась. Во-первых, по поводу Зейна. Он пришел туда веселый, с шуточками своими, никто на него особого внимания не обращал, а Сейф ад-Дину это не понравилось, и он ударил Зейна мотыгой по голове. Дело чуть до тюрьмы не дошло, если бы люди добрые в деревнё не собрались да не вмешались. Сейф ад-Дин, сказали они, того времени не стоит, что на него в суде люди потратят! Да... Во-вторых, жених в последний момент чуть жениться не передумал — поссорился он с Сейф ад-Дином. Снова тогда собрались люди добрые со всей деревни — и отец жениха в том числе — и сказали: не наш он, Сейф ад-Дин, и появление его на этой свадьбе — зло, над которым они не властны. Ну а в-третьих... В последнюю неделю свадебных празднеств свалились откуда ни возьмись на их дом десятки людей чужих, кого и в глаза прежде никто не видел. Девки беспутные, мужики со взорами мутными, ворье, наглецы — набежали невесть откуда. Приятели все Сейф ад-Дина: позвал их свадьбу сестрину праздновать. Тут уж мужчины на селе не могли больше бездействовать. Только расселись гости незваные — окружили их люди: Ахмед Исмаил впереди, за ним — Махджуб, Абдель-Хафиз, Ат-Тахир ар-Равваси, Хамад Вад ар-Раис, дядья Сейф ад-Дина — всего человек тридцать с толстыми палками да кетменями в руках. Надвинулись, двери за собой позакрывали и... Ох и попотчевали ж они их тумаками, а больше всего — Сейф ад-Дина! За околицу выволокли, на дорогу бросили.

И вот, пока это вся деревня от прыща по имени Сейф ад-Дин зудом зудела, он вдруг, после случая с аль-Хунейном, словно родился заново!

Люди поначалу глазам своим не поверили, но Сейф ад-Дин прямо с каждым днем менялся. Сперва услышали, что отправился он поутру к матери, в голову ее поцеловал и плакал, долго на ее руках плакал. Люди дух перевести не успели, слышат: он родню свою собрал, покаялся и прощения у всех попросил. И в знак покаяния своего вытащил все, что от отцовского состояния в бумагах осталось, и старшего дядю своим опекуном сделал: чтобы, значит, тот всем богатством распоряжался, пока он сам для ведения дел не исправится полностью. Не успело ухо людское к таким новостям привыкнуть, как вдруг видят жители деревни: батюшки! Сейф ад-Дин в мечеть на пятничную молитву явился! Борода выбрита, усы подстрижены, в одежде чистой. Люди, что на молитве были, говорили: когда слушал он проповедь имама о послушании родителям, готов был, видно, навзрыд расплакаться, долго крепился — да и сознание потерял! Люди вокруг него сгрудились, в чувство приводили. А как из мечети вышел, сразу к Мусе Кривому отправился, в ошибке своей как в грехе перед ним повинился, прощения у него попросил и сказал, что любить и почитать его будет так же, как почитал его когда-то его отец.

Вся деревня так и жила с месяц или около того, рот от удивления раскрыв: что ни день, Сейф ад-Дин новое деяние творил. Пить бросил, с дружками дурными порвал, молитву стал соблюдать, непорядок да запустенье в отцовской торговле исправил, мать почитает. Наконец решение принял: хадж [1] в этом же году совершил. Абдель-Хафиз, который в чудотворство аль-Хунейна больше всех верил — да вот, на Сейф ад-Дине-то убедись! — всякий раз, услышав что-нибудь новое, спешил к Махджубу — а уж он-то, известно было, с большой прохладцей относится ко всем людям веры, а в особенности к отшельникам: «Чудеса, брат! Из двойки тройка выходит!» Махджуб молчит, бывало, но чувствует, как внутри него этакое непонятное беспокойство шевелится — оно на него всегда в таких случаях нападало. «Сейф ад-Дин хадж совершить решился. Ты поверишь, а? Нет, ты вообще веришь или не веришь? Чудеса, брат, чудеса, да и только!» В начале всей этой истории Махджуб обычно отвечал Абдель-Хафизу, что Сейф ад-Дин своим безрассудством просто пресытился, или, как он говорил, «довел он беспутство до точки», и непременно должен был остепениться когда-нибудь. Однако сейчас, когда Махджуб каждый день слышал что-нибудь новое, удивительное, он уже и спорить не мог, молчал.

Чудо с Сейф ад-Дином было только началом странных дел и событий, что приключились в том году в деревне. Уж ни у кого в голове, даже у Махджуба, не ос-

[1] Паломничество в Мекку и Медину.

талось ни малейшего сомнения в том, что все чудеса, происходящие у них перед глазами, объясняются словами, которые аль-Хунейн сказал восьми мужчинам возле лавки Саида-торговца той памятной ночью: «Господь наш благословляет вас, ниспосылает господь вам свое благословение». Время тогда было позднее, совсем перед вечерней молитвой. В эту пору всякая мольба услышана будет, особенно от таких правоверных угодников аллаха, как аль-Хунейн. Вся деревня дышала покойно и мирно, только легкий освежающий ветерок играл ветвями пальм. Все жители и те восьмеро, что были свидетелями происшествия, помнят ту ночь ясно, словно это было вчера: плотная, бархатная тьма растеклась по углам деревни, мягкий, спокойный свет сочился из окон домов, да яркий луч большой лампы из лавки Саида прорезал темноту. Была пора смены времен года — от лета к осени. Саид, хозяин лавки, помнит, что та ночь была не такой душной, как предыдущие, и лоб у него не был влажным от пота, когда он отвешивал сахар Сейф ад-Дину. А когда, как он говорит, «дело вышло» и он, бросив весы, выскочил из лавки вмешаться в драку между Зейном и Сейф ад-Дином, припоминает он, как налетел прохладный ветерок и овеял его лицо. А люди, которым не повезло поглазеть на драку, поскольку они готовились к вечерней молитве в мечети, вспоминают, что имам в ту ночь, когда молился за них, зачитал отрывок из суры «Марьям». Хаджи Ибрагим, дядя Зейна и отец Нуамы, человек, известный своей честностью, помнит точно, что имам прочитал аят «И сотряси на себя ствол пальмовый — да падет на тебя сочная влага чудесная» из суры «Марьям», а ведь в этом аяте — благо и благословение! А Хамад Вад ар-Раис, всей деревне известный своим непомерным воображением и страстью к преувеличениям, еще добавляет, будто звезда с ярким хвостом вспыхнула в ту ночь на западе, прямо над кладбищем. Правда, никто, кроме него, этой самой хвостатой звезды не помнит... Ну и что? Может, просто не заметили? Как бы там ни было, одно не вызывает сомнения: аль-Хунейн, человек праведный, сказал в присутствии всех восьмерых той памятной ночью на границе лета и осени перед вечерней молитвой: «Господь наш благословляет вас. Ниспосылает господь вам свое благословение». Да. И будто бы силы небесные грозные в один голос ответили «аминь».

После этого пошли небеса творить чудеса одно за другим, так что диву даешься. В жизни своей не знала деревня такого изобильного благословенного года, как «год аль-Хунейна» — так его стали называть. Действительно, цены на хлопок в том году поднялись невообразимо, и правительство — впервые в истории! — разрешило им хлопок сажать, после того как это было запрещено в целом ряде округов страны! А? (Один Махджуб, как он сам признавался, выручки за свой хлопок больше тысячи фунтов получил!) Верно также, что правительство без всякого основания или по какой-то им неизвестной причине построило для армии большой лагерь в Сахаре, в двух милях от их деревни. А солдатам и есть, и пить надо! Вся деревня, брат, всколыхнулась на поставках для армии овощей, мяса, фруктов да молока. Даже на финики цены в том году подскочили — дело совсем небывалое. Верно и то, что правительство, которое они в своих анекдотах ослу упрямому уподобляют, решило вдруг, тоже без всякой явной причины, построить именно в их деревне, а не в какой-нибудь другой на всей левобережной стороне Судана — а ведь они-то народ простой, невеликий, ни рук своих, ни голосов там, в правительственных кругах, у них нет,— так вот, решило, значит, правительство построить в их деревне одним махом и больницу большую на пятьсот коек, и среднюю школу, и школу аграрную. Опять деревне выгода: рабочие руки, стройматериал, продовольственные поставки. Да еще прибавь к этому: свои же больные лечением будут обеспечены, а дети возможность выучиться получат! Ну а если тебе всех этих доводов маловато, как ты тогда объяснишь, что правительство — этот, по всеобщему мнению, упрямый осел — решило еще в том же самом году, когда со смерти аль-Хунейна и двух месяцев не прошло, объединить все их земли в одно большое аграрное хозяйство, которое опекать само же правительство будет всей своей силой и властью? А? И увидели люди: деревня их прямо-таки кишит землемерами, инженерами, инспекторами... А правительство если уж оно что решит, то и выполнит. И вот так — день за днем, месяц за месяцем — и выросло в их деревне на берегу Нила здание высокое из красного кирпича: стоит как храм, тени на Нил отбрасывает. А потом вдруг, среди рабочего гама да звона железа, как закрутятся колеса этого чудовища да как начнет оно воду из Нила высасывать — словно человек чай с блюдечка, только в таком количестве, что и десяткам деревенских саких за десятки дней не вычерпать. И покроет вдруг землю вода — от берега Нила

и до отрогов пустыни, там, где земля с древнейших времен воды не знала, и вот уж бушует на ней жизнь! Ну как такое объяснить, а? Абдель-Хафиз тайну-то знает, он и говорит Махджубу, поле широкое взором обегая, а ведь это его поле, на нем ветер пшеницей играет, и волнуется она так, словно гурии стройные свои пышные волосы по ветру сушат:

— Чудеса, брат! Чудеса, да и только!

Ат-Турейфи вернулся украдкой на свое место. Сообщив инспектору новость о женитьбе Зейна, он сел, едва касаясь сиденья своим тощим задом, будто приготовился сбежать в любое мгновенье. В его повадках, во всем его облике — что-то от обличья гиены: сидит и поглядывает вокруг себя хитренькими глазками.

— На сегодняшний вечер мы избавились от географии,— прошептал он на ухо соседу справа.— Спорю: инспектор не доведет урока до конца.

Как и напророчил Ат-Турейфи, инспектор наконец объявил вялым, безразличным голосом, что должен уйти по срочному делу.

— Повторите урок о зоне возделывания пшеницы в Канаде,— приказал он и поспешно вышел из класса.

Ат-Турейфи проследил за ним. Перейти на бег инспектор решился, лишь выйдя из здания школы. Мальчишка ехидно захихикал, увидев, как тот, подхватив рукой полу своей абаи [1], запылил вверх по дюне и, не удержав равновесия, шлепнулся носом в песок.

Инспектор поспешал к лавочке шейха Али на рынке, запыхавшись, с пересохшим горлом — от школы до рынка не то чтобы рукой подать, да все по песку, ноги вязнут постоянно, а инспектору ведь уже за пятьдесят. Лавочка шейха Али на рынке была его излюбленным местом. Радовался он также, если находил там и Абд ас-Самада — были они закадычными друзьями, и не по нем была компания или партия в нарды, если не было там друга.

До лавки уже и десяти метров не оставалось, однако терпение его лопнуло, заговорил на ходу:

— Шейх Али! Хаджи Абд ас-Самад!.. Год-то этот, поди, год чудес, а? Ведь правда?

Конец фразы инспектор договорил уже на пороге. Друзья усадили его на любимое его место — невысокое деревянное кресло с веревочным сиденьем, спинкой и подлокотниками.

Кофе был еще горячим и источал густой запах корицы, кардамона и имбиря. Он схватил чашку, поднес ко рту, но тут же отставил.

— А слух верный?

Абд ас-Самад рассмеялся, проговорил:

— Ты кофе-то выпей, пока не остыл. А новость — верная.

Шейх Али передвинул во рту порцию жевательного табака, заложил за левую щеку, протянул лениво:

— Историю с Зеновой свадьбой, что ли? Верно, верно, все правда. Сто раз правда.

Инспектор отпил большой глоток из чашки, поставил ее на столик перед собой, закурил сигарету и глубоко затянулся.

— Ну, человек, странный этот год, странный... Или я ошибаюсь?

Инспектор никогда не употреблял слова «брат» или «парень», как другие жители деревни. А свое обращение «человек» ставил, как правило, в начале фразы.

— Верно, верно говоришь, ваша честь инспектор,—сказал Абд ас-Самад.— Год действительно удивительный. Женщины бездетные родили. А коровы, а овцы... по две, по три головы приплоду принесли. Да...

И тут хаджи принялся перечислять все приключившиеся в том году чудеса.

— Фиников-то с пальм — тьма, сколько у всех пропало! И снег выпал. Скажи на милость! Это чтоб снег выпал в пустыне, а?

Инспектор затряс головой. Еще какие-то слова теснились в горле у Абд ас-Самада, не выговаривались. Снег, выпавший в этом году, действительно привел всех в недоумение. Инспектор со своими обширными познаниями в географии не мог найти тому объяснения.

— А все же,—сказал он,— чудо из чудес, знаете, предмет женитьбы Зена.

---

[1] Длиннополая шерстяная накидка в виде плаща.

Было это в обычае инспектора — вставлять в речь мудреные литературные слова. Оба его друга вздрогнули. Пример был заразителен: шейх Али и Абд ас-Самад невольно включились в соревнование.

— Паренек, знаете ли, не поверил ушам своим,— сказал шейх Али.

— Да,— произнес Абд ас-Самад.— Высказывания аль-Хунейна непредсказуемы, как море... Хм... он сказал ему: «Завтра ты женишься на лучшей девушке в деревне».

— О, да-да, клянусь аллахом! — заговорил инспектор.— Поистине лучшая девушка во всей деревне. Какая красота! Обходительность! Благопристойность!

— Какие деньги! — вставил провокатор Абд ас-Самад.— Знаю я тебя, знаю: сам на нее заришься из-за отцовских денежек-то!

Инспектор вспыхнул, отметая от себя обвинение:

— Я? Я? Человек, побойся бога! Она мне в дочки годится.

— В дочки, говоришь, годится, старик?— поддел его шейх Али.— Мужчина — он мужчина и в возрасте деда. А девушка с четырнадцати лет годится для замужества с любым мужчиной — будь ему хоть, как вашей чести, шестьдесят.

— Эй-эй, человек, побойся бога! Мне пятьдесят. Я помоложе тебя буду, да и Абд ас-Самада тоже, это точно.

Тут Абд ас-Самад, после приступа застарелого грудного кашля, сказал:

— Ну ладно. Хватит разговоров на предмет возраста. Лучше скажи, что ты про эту историю с женитьбой Зена думаешь?

— То, человек, предмет удивительный,— завелся инспектор.— А хаджи Ибрагим разве примет его? Зен ведь дервиш обтрепанный, где он деньги на свадьбу возьмет?

— Э-э, ваша милость, поминай Зена да честь знай,— с глубоким убеждением в голосе проговорил Абд ас-Самад.— На человеке этом — благословение, он друг святому праведнику аль-Хунейну, да упокоит его аллах!

— Да смилуется над ним аллах! — добавил от себя шейх Али.— Благо он нашей деревне принес.

— И все по желанию Зена! — подхватил Абд ас-Самад.

— Ну, человек...— протянул инспектор.— Мы что, на предмет благочестия перешли? Все же...

— Нет! — прервал его шейх Али.— Как хочешь, а мужчина есть мужчина, а женщина — женщина.

— А девушка — дочка его дяди, во всяком случае,— добавил Абд ас-Самад.

Инспектор замолчал. Не нашелся, что им ответить: по крайней мере с формальной точки зрения брак между двоюродными сестрой и братом — это в сознании жителей деревни был самый последний и веский довод в пользу такого союза. У них это старинный, древний обычай, природное чувство в крови, инстинкт самосохранения, сохранения рода. Но в глубине-то души он чувствовал то же, что и соседка Амина: личное оскорбление в свой адрес. На минуту он ощутил облегчение: ни Али, ни Абд ас-Самад не знают, что именно он первым заговорил с хаджи Ибрагимом по делу Нуамы — ведь если б знали эти двое, разве спасся бы он тогда от их беспощадных языков? И он спросил себя, выпивая у шейха Али уже пятую чашку кофе: ну зачем он просил ее руки? Руки девчушки, ровесницы его собственных дочерей? Нет, он действительно не знал — зачем. Он ее увидел однажды выходящей из дому в белой одежде. Случайно столкнулся лицом к лицу. Красота девушки поразила его. Он поприветствовал ее дрожащим голосом, она поздоровалась с ним спокойно и невозмутимо. Сказал: «Ты Нуама, дочь хаджи Ибрагима?» — «Да»,— ответила она без тени робости. Он стал лихорадочно искать в уме следующий вопрос — задержать ее чуть-чуть, прежде чем уйдет,— и не нашел ничего лучшего, как пролепетать: «Братишка твой, Ахмед, как поживает?» Это был ее младший брат, учившийся у инспектора в школе. «Хорошо»,— ответила она, прямо и смело глядя ему в лицо. А потом ушла... Долгие, очень долгие бессонные ночи пережил после этого инспектор, и образ ее не выходил у него из головы. Может, она пробудила в душе скрытые, захороненные чувства, каких он не испытывал вот уже двадцать лет кряду? В конце концов он не выдержал, воспользовался легким недомоганием, которое почувствовал ее отец, и пошел вроде бы навестить его. Застал его одного, к счастью. После пустого разговора о ценах на пшеницу да о положении в школе инспектор заговорил о своем «предмете». И сразу попросил у отца руки его дочери. Поначалу хаджи Ибрагим ничего не понял или притворился, пришлось инспектору объяснить в двух фразах, что его душу мучит. Отец опять не понял, спросил: «За кого же ты мою Нуаму хочешь?» Инспектор откинулся в недоумении,

заносчиво произнес: «Как это «за кого»? За себя, конечно!» Вот тут-то и всадил ему кинжал хаджи Ибрагим, когда протянул, раскрыв рот: «За тебя?!» Короче говоря, весь этот визит был тяжелой, досадной ошибкой. Хаджи Ибрагим, пытаясь как-то смягчить удар, завел длинную речь о чести, какую оказал ему инспектор своим предложением, и что лучше его и зятя-то не найти, да... Но — и это весьма важно — разница в возрасте инспектора и его дочери не позволяет ему принять предложение, хоть он и идет тут против своей воли. Ведь есть еще ее братья — воспротивятся они. Ну и инспектор теперь тоже понял, принялся решето латать: поклясться хаджи Ибрагима просил, что не скажет он никому живому о том, что меж ними было, как будто ничего и не было вовсе: «Выкопаем ямку, похороним поглубже».

Хаджи Ибрагим был преисполнен самых добрых намерений. А вот инспектор, хоть и убедился вполне в собственной ошибке, никак не мог избавиться от горечи в душе. И когда услышал, что отдает ее в жены Зейну, прямо-таки физически почувствовал, как кинжал острый еще глубже в сердце вонзается. Инспектор впал в панику, когда начал его Абд ас-Самад утешать:

— Не сердись, ваша честь, не расстраивайся. Коли хочешь жениться, так деревня-то полна женщин одиноких, разведенных или вдов — такие красавицы, аллахом клянусь!

Вот тут-то инспектор действительно вскипел. Вся его злоба, внутри накопившаяся, вылилась на Абд ас-Самада:

— Ты, человек, полоумный, что ли?! С ума спятил? Вздор городишь, дела не различаешь?

Абд ас-Самад закашлялся, скрывая внутреннее удовлетворение: сумел-таки инспектора допечь, он всегда за такими случаями гонялся. Скорее всего, задело его упоминание о бывших замужем женщинах. Точно! Тут и шейх Али масла в огонь подлил:

— Это что же, его честь инспектор, когда захочет жениться, женится, скажем, на женщине... э-э... сэконд-хэнд? [1] Ну, ты, хаджи Абд ас-Самад, действительно... того, болтун.

А Абд ас-Самад за это слово «сэконд-хэнд» ухватился — очень уж оно его раздражало:

— Ты что? Ты чего сказал, шейх Али? Сакан дихан? Чудеса, о господи! Жили себе попросту — а выходит, дружили со стариком седым, по-иностранному болтающим!

Инспектор деланно рассмеялся. Надо было перевести нападки со своей персоны на шейха Али. Но шейху Али были знакомы причуды Абд ас-Самада и уловки инспектора. На вызов Абд ас-Самада он не ответил и вернулся к разговору на прежнюю тему — о женитьбе Зейна.

— Ну, главное сказано. Свадьба эта не неожиданность. Мужчина — он тебе мужчина, хоть у него пиастр всего. А женщина — все равно женщина, будь она хоть Шагарат ад-Дурр [2].

Инспектор удивился в душе, как это шейх Али знает такое — про древо жемчужное. Абд ас-Самаду имя это ничего не говорило — истории этой он не знал, но от вопроса воздержался, чтобы невеждой не показаться. А шейх Али пустился перечислять всех мужчин, которых вроде и вспоминать было не за что, да вот взяли себе в жены искусниц умелых, красавиц писаных. Надолго завладел он вниманием двух своих соперников. Радостно ему было видеть, как все больше изумление разливается по их лицам. Он рассказал им историю Кусейра [3], которого полюбила Азза за его низкий рост, слабость и уродливость телосложения. И историю Арабийи, которую спросили, отчего она вышла за одного неотесанного да низкорослого, а она ответила: «О господи! Да если бы вы...» Инспектор с Абд ас-Самадом на полу от смеха валялись, услышав полностью, что ответила Арабийя Затем шейх привел в пример историю племени ибрагимянок, которые все вышли из чресел одного человека, дервиша по имени Ибрагим Абу Джабба, и как они... Но тут Абд ас-Самад совсем ослабел от сладчайшего языка шейха Али, собрал последние силы и резко оборвал его:

— Хватит! В какую ты нас даль уводишь со своим Кусейром, Аззой да ибрагимянками этими? А у Саида Совы похлеще... Знаешь историю его женитьбы?

Инспектор улыбнулся: были у него с Саидом Совой особые приятельские отно-

---

[1] Second-hand *(англ.)* — подержанная вещь.

[2] Шагарат ад-Дурр (*арабск.* — жемчужное дерево) — невольница египетского султана Салиха Айюба, родившая от него сына и занявшая трон после гибели султана, единственная женщина-царица в мусульманской истории.

[3] Арабский поэт доисламской эпохи.

шения. Или, может, он просто помыкал беднягой Саидом, заставляя дрова да воду к себе в дом таскать? Саид продавал древесный уголь, прислуживал в домах по хозяйству, а деньги свои откладывал у инспектора. И когда жениться задумал, пошел к инспектору посоветоваться и хвастался еще потом, что сам инспектор, мол, ему честь оказал — на церемонии скрепления его брака присутствовал. В деревне всякий знает историю женитьбы Саида.

Жил он с женой своей странно — в грех ее не вводил, не притрагивался, так что уж совсем было отчаялась бедная женщина, чуть на развод не пошла. А Саид, бывало, когда спрашивали его о причине такого поведения, отвечал: «Всему свое время!» Ну, впоследствии-то, как бы там ни было, наделал он с ней детей — и мальчишек, и девчонок...

Тут неожиданно всплыло перед глазами инспектора лицо Нуамы — вновь кинжал острый в сердце повернулся. И сказал он, словно не слышал всех этих историй шейха Али и хаджи Абд ас-Самада:

— И за Зена выходит? Человек, правда ли это? Ох, и чудеса же, о господи!

Все те чудесные события, которых навидалась деревня за год, произвели впечатление на имама. Был он человеком упорным, надоедливым и многословным, по мнению всех жителей. В глубине души они презирали его — единственного в общине, кто, по их мнению, стоящей работой не занимался. Землю не обрабатывал, торговли не вел, а жил обучением подростков, за что ему с каждого двора подать была предписана, и люди скрепя сердце ее платили. Связывали они его в своем воображении с делами, о которых лучше бы и не вспоминать вовсе: похороны, загробный мир, молитва. Его образ в глазах людей окутывало нечто старое, ветхое, вроде паутины. Произнесут его имя — и сразу вспоминали люди смерть какого-нибудь близкого человека или молитву на заре в зимнюю пору: холодной водой ноги омывать, из теплой постели на мороз выскакивать, тащиться в мутной предрассветной тьме в мечеть. Бр-р! Ну ладно, если бы ты в эту самую мечеть действительно молиться ходил, тогда бы еще ничего. А если ты, скажем, Махджуб, Абдель-Хафиз, Ахмед Исмаил, Ат-Тахир ар-Равваси или Хамад Вад ар-Раис — из числа «непокорных», которые не молятся, так ведь каждое утро смутное, тревожное чувство тебя охватывает — вроде как подглядел украдкой за женой соседской. Скажет тебе Махджуб, если спросить его об имаме: «Тяжелый человек. С ним не потолкуешь». Это значит: не из их он круга, не пускался с ними в рассуждения. Не волновали его, как их, землепашцев, ни пора сева пшеницы, ни способы орошения, ни удобрения, ни жатва или урожай. В арбузную пору ему безразлично было, удался урожай на поле Абдель-Хафиза или не вышел, крупные или мелкие арбузы у Вад ар-Раиса. И почем ардебб[1] фасоли на рынке. Упала ли цена на лук. И почему завязь на финиковых пальмах запаздывает. Избегал он всех этих дел по природе своей и презирал их — потому что не понимал ровным счетом ничего. А с другой стороны, занимали его такие вопросы, какими в деревне интересовались очень немногие. Он следил за новостями по радио и по газетам, любил спорить, будет война или нет. Кто сильнее — русские или американцы. Что там Неру сказал, что — Тито. А люди-то в деревне заняты частностями жизни, не волнуют их общие проблемы. Вот так и возникла меж ними пропасть. И хотя не любили его люди, нуждались в нем. Знания его, например, признавали — десять лет провел человек в Аль-Азхаре[2]. Скажет кто-нибудь: «Имам без дела сидит!» — и тут же добавит: «Но вот же, слава аллаху, язык у него хорошо подвешен». Жег он им спины на проповедях, словно мстил за себя речами витиеватыми, клокочущими — о страшном суде да наказании, о рае и адском пламени, об ослушании аллаху и покаянии. Речи эти что яд в души вливались. Выйдет человек из мечети после пятничной молитвы с помутившимся взором — и чудится ему, будто жизнь остановилась. Смотрит он на свое поле, видит пальмы, всходы разные, деревья — и никакой отрады в душе не чувствует. А чувствует, что все вокруг и он сам — лишь действо преходящее и вся его жизнь, с ее радостями и печалями, не что иное, как мост в загробный мир. Остановится человек на мгновение, спросит себя: а как же он приготовился для этого мира загробного? Но вот поди ж ты: частности сей повседневной жизни не преминут вновь забить ему голову. Быстро, быстрей, чем ожидалось, сгинет с глаз его прочь картина этого за-

[1] Мера сыпучих тел 197,75 л.

[2] Богословский университет в Каире.

гробного мира, и все опять станет на место. Смотрит он на свое поле — и вновь ту самую древнюю радость испытывает, что силы ему для существования давала. Но все-таки большинство людей снова в мыслях к нему вернется, то же смутное противоречивое чувство в душе испытает. Возвращаются к нему люди за его голос — сильный и четкий на проповеди, нежный и мелодичный за чтением Корана, торжественный на молитве по умершим, решительный, проникающий в суть вещей на церемонии скрепления брака. И взгляд у него такой презрительный, надменный — словно бьет тебя, веру в себя отнимает. Не человек, а мавзолей с куполом на кладбище.

Вся деревня довольно четко разделилась на разные лагеря и партии в отношении имама — по имени его никто не звал, словно он для них не человек, а учреждение. Лагерь, состоявший в большинстве своем из почтенных, степенных людей во главе с хаджи Ибрагимом, отцом Нуамы, питал к нему благосклонность — правда, слегка окрашенную скептицизмом. Эти люди присутствовали на всех молитвах в мечети — по их лицам по крайней мере можно было видеть, что они понимают сказанное имамом. Каждую пятницу после молитвы они приглашали его на обед по очереди. В конце рамадана они подносили ему на разговленье, дарили волчьи шкуры в праздник жертв, а если кто из них справлял к тому времени свадьбу сына или дочери, то давали ему положенное деньгами или что-нибудь из одежды, из обуви. Был, правда, в этой группе стариков исключением один человек лет семидесяти, по имени Ибрагим Од-Таха — не молился, не постился, пожертвований не делал и вообще не признавал имама. Другая партия — в основном молодежь не старше двадцати — ненавидела имама лютой ненавистью. Кто еще в учениках ходил, кто к отъезжавшим да опять вернувшимся в деревню, к повидавшим мир принадлежал, а кто просто ощущал в своей крови самое горячее биение жизни и не переносил человека, постоянно твердившего людям о смерти. Это все или сорвиголовы были, что вино тайком потягивали да по ночам в блудный оазис на окраине селения наведывались, или люди ученые, которые читали или слышали о диалектическом материализме. И бунтари там были, и лентяи, кому на заре в зимнюю стужу совершить омовение не хочется. Самое удивительное, что верховодил всей этой братией Ибрагим Од-Таха — человек, которому за семьдесят перевалило, а он все тебе стихи сочинял!

Третьей партией, причем наиболее влиятельной, были Махджуб, Абдель-Хафиз, Ат-Тахир ар-Равваси, Абд ас-Самад, Хамад Вад ар-Раис, Ахмед Исмаил и Саид. Возраста они были примерно одинакового, от тридцати пяти до сорока пяти лет, за исключением двадцатилетнего Ахмеда Исмаила, который по чувству ответственности и образу мышления был человеком их круга. Эти люди по влиянию своему были истинными хозяевами деревни. Каждый из них возделывал поле, как правило, по площади большее, чем у прочих, или вел торговлю на широкую ногу. У каждого были жена и дети. Да и сами они были из тех людей, кого на любом ответственном, занимающем всю деревню деле встретишь. Все свадьбы они проводят, все похороны организуют. И обмоют покойного, и как нести на кладбище скажут. И землю они роют, и воду вычерпывают, и в могилу покойника опускают, и землю сверху насыпают. А после этого их на траурных ковриках увидишь — принимают соболезнования, чашечки с горьким кофе по кругу пускают. Нил разольется или сель обрушится — они протоки копают, заграды ставят, ночами деревню с фонарями в руках обходят, хозяйства осматривают, убытки, разливом или селем причиненные, примечают, подсчитывают. Скажут люди, мол, женщина или девушка бесстыдный взгляд на кого бросила,— поговорят с ней, усовестят, а то и поколотят. Им не важно, чья она дочь. Узнают, что чужак какой вокруг деревни на закате кружит,— они его где надо и остановят. Омда для сбора налогов пожалует — они с ним потолкуют: это многовато с такого-то, скажут, это разумно, а это, мол, не пойдет. Забредет в деревню какой правительственный чиновник— а надо́ сказать, эти только и забредают! — так они его встретят и приветят, телка или ягненка забьют, а поутру поспорят с ним да все пересчитают — он и словом ни с кем на деревне обмолвиться не успеет. А теперь-то, как пошли на деревне школы, больницы да аграрный комплекс, уже они и подрядчики, и контролеры, и прямо ответственная за все дела комиссия. Что и говорить — не любил их имам. Не любил, но знал: в кулаке они его держат. Это ведь они ему жалованье в конце каждого месяца платят, по деревне собирают. Всякий правительственный чиновник, в деревню заехавший, всякий, кому дело неотложное решить надо, спешит эту компанию отыскать — и не будет ему ни успеха в деле, ни толка в работе, если он с ними не столкуется. Но никто из них, как всякий подлинный обладатель власти и влияния, взглядов своих личных вслух не

высказывал — разве только в узком кругу друзей, возле лавки Саида. Вот, к примеру, имам: все они считали его неизбежным злом, но языкам своим воли на него, сколько могли, не давали, а хранили «долг и почтение», как говорил Махджуб. Они не молились, но по меньшей мере один из них раз в месяц ходил на молитву, полуденную или вечернюю — на рассветную сил у них не хватало. И мечеть они посещали, по правде говоря, не ради увещеваний имама — просто они в тот день жалованье ему вручали. Или заходили в мечеть, чтобы решить, какой в мечети ремонт надо сделать.

А Зейн сам по себе был партия. Большую часть своего времени проводил он с компанией Махджуба, а на самом-то деле был одной из тяжелейших ее забот. Они старались уберечь его от всех проблем и, если он попадал в беду, выручали вместе. Знали они о нем больше, чем мать родная, окружали постоянной заботой, не спускали с него глаз. Они его любили, и он их любил. Но в отношении имама Зейн представлял обособленный лагерь, вел себя с ним грубо, а завидев его издалека на дороге, сворачивал в сторону. Наверно, имам был единственным человеком, кого Зейн ненавидел: одного его присутствия в какой-нибудь компании было достаточно, чтобы раздразнить Зейна, настроение у него сразу портилось, начинал кричать и в лицо поносить имама. С величавым терпением сносил имам Зейнову ярость. Говорил иногда только, что эти люди его испортили своим обращением с ним как с человеком необыкновенным. Что с того, что близок, мол, Зейн к праведному да благому? Предрассудки одни. Получил бы в детстве хорошее воспитание, вырос бы нормальным, как все люди. Кто его знает, конечно?.. Только небось и имама пробрал холодок в груди, когда посмотрел на него однажды Зейн в упор своим пристальным взглядом. Все знают, что Зейн — избранник аль-Хунейна, а тот ведь угодник праведный, никому просто так не доверится, только если огонек духовный в нем ощутим.

Очень многое, во всяком случае, со своих мест сместилось в «году аль-Хунейна» — так, что дальше некуда. «Предательство» Сейф ад-Дина или его «раскаяние» — это ты в каком лагере находишься, так и называй,— ослабило одних, укрепило других. Сейф ад-Дин ведь раньше героем оазиса был, рыцарем его верным и вождем. И когда он перешел в лагерь степенных да богобоязненных, страх пробрался в сердца его бывших друзей. Он, признаться, наследником был богатым и в большинстве случаев за вышивку платил. Он же и ширмой был весьма полезной, бесстыдство их прикрывал— вся деревня о нем пеклась, а их не замечала. А кроме того, кое-кто в нем видел подлинный символ непокорства да своеволия. И вдруг под ногами у всех земля затряслась. К тому же Сейф ад-Дин знание всех их секретов использовал и стал для них самым опасным противником. Окрепла рука имама при Сейф ад-Дине. Оазис был его неустанной заботой, символом зла и разложения в его глазах. Очень редко обходил он его в своей проповеди. И теперь, когда вернулся Сейф ад-Дин на путь истины, ужесточились имамовы проповеди, во всю его деятельность влились новые силы. Сейф ад-Дин в его устах стал наглядным примером конечного торжества добра над злом. Нет, имам знать не хотел, что какой-то там аль-Хунейн — представитель тайного крыла в мире духовном, которого не признавал имам,— послужил первопричиной раскаяния Сейф ад-Дина.

Представители центристского лагеря — Махджубова компания — по этому поводу не очень-то волновались. На оазис и, кстати сказать, на имама они смотрели как на неизбежное зло, и если несколько деревенских парней перепьют, особого значения такому случаю не придавали — лишь бы это не влияло на естественное течение жизни: Вмешивались они, только заслышав, что какой-нибудь пьяный молодец на деревне к женщине пристал или на мужчину напал. Тогда уж они прибегали к своим особым приемам, сильно отличавшимся от методов имама. А если и поддерживали остальных жителей в их попытках разгромить оазис, то не усматривали в этих действиях, как имам, свидетельства извечной борьбы добра со злом. Просто разгон этого гнезда избавил бы их от ненужных хлопот, и только.

Ну да ладно. Главное, что имам великой радостью возрадовался за Сейф ад-Дина. Стал его в своих проповедях поминать. Говорит — а сам будто только к нему и обращается. И входят они, и выходят вместе, рука об руку. Ахмед Исмаил, увидев их как-то шествующих рядом, сказал Махджубу: «Пошел бедуин к имаму в услужение».

А имам между тем имел собственное мнение о женитьбе Зейна на Нуаме, дочери хаджи Ибрагима...

Махджуб вошел в лавку Саида, положил монету на столик. Саид взял ее молча, снял с полки пачку матросских сигарет [1], сунул вместе с медной мелочью Махджубу в руку. Тот прикурил, затянулся пару раз, поднял глаза к небу, застыл, словно перед ним был песчаный пустырь, непригодный для пашни. Проговорил вяло:

— Плеяды [2] высыпали... Время к жатве идет.

Саид был занят тем, что вытаскивал из картонных коробок разные пакеты, рассовывал их по полкам. Махджуб сделал несколько шагов и сел около лавки. Не на скамеечку, а прямо на песок, на излюбленное место, где свет лампы доставал их лишь краем своего языка. Временами, когда всеми овладевал смех, свет и тень начинали плясать на головах, выхватывая попеременно то одного, то другого, словно они ныряли в морских волнах. Спустя немного времени подошел Ахмед Исмаил, волоча, как всегда, ноги от притворной усталости. Разлегся на песке неподалеку от Махджуба, не проронив ни слова. Потом, смеясь, подошли Абдель-Хафиз и Хамад Вад ар-Раис, не поздоровались с друзьями, а те не спросили, над чем они смеются. Для их компании это было в порядке вещей. Каким-то образом они без всяких вопросов узнавали, что творится в голове у каждого. Махджуб сплюнул на землю, сказал:

— Историю Саида Совы слыхали, а?

Ахмед Исмаил перевернулся на живот, проговорил, словно обращаясь к песку:

— Женщина, должно быть, развестись с ним хочет.

Абдель-Хафиз засмеялся, рассказал, как жена Саида Совы пришла к нему на поле, вся в слезах, и сказала, что хочет развестись с Саидом. Спросил почему, а она говорит: Саид с ней разговаривал грубо прошлой ночью, сказал, что она — «мертвечина», духами не душится, мол, и не красится, как другие женщины. Она давай ему отвечать, а он пощечину ей закатил и говорит: иди поучись у девиц инспекторских...

В эту минуту подошел Ат-Тахир ар-Равваси, уселся поудобнее в местечко, куда не падал луч света, за песчаным пригорком. Засмеялся, вставил:

— Может, сказать инспектору, чтоб женил его на одной из дочек?

Абдель-Хафиз продолжал, будто не слышал: успокоил, говорит, женщину, домой ее отправил, пообещал, что придет навестить их, поговорит с Саидом. И верно, зашел к ним после полудня. Только у внешней двери задержался — закрыта была. Прислушался: хохот за дверью, смеются Саид с женою, весело, игриво. Слышит, Саид говорит жене, а сам будто ее за ухо кусает: плачь, сестреночка, плачь!..

Тут они все разом грохнули. Смеются, и каждый по-своему: Ахмед Исмаил — урчащим каким-то смехом, Махджуб смеется и языком этак прищелкивает. Абдель-Хафиз заливается, как ребенок. А Хамад Вад ар-Раис всем телом корчится и ногами двигает. Ат-Тахир ар-Равваси, когда смеется, за голову обеими руками держится. А Саид в лавке ворочается, смех его похож на звук пилы — словно дрова пилит.

— Ох,— говорит Махджуб.— И как это он смог в такую жару!..

Вот так и идет у них беседа. С перерывами, с временным затишьем. Только паузы эти вовсе не пустотами были — скорее продолжением разговора. Скажет кто-нибудь из них обрывок фразы: «...не понимает он». Другой ввернет: «Бездельник занимает кресло судьи». А третий добавит: «Давно вам говорят, гоните его из комиссии, так нет...» И кто-нибудь завершит: «Последний годок ему, с позволения аллаха». Стоит рядом посторонний человек — и невдомек ему, о чем это они. Но это уж их дело: разговаривают так, словно мыслят вслух, словно головы у них в унисон работают, словно все они и есть один большой мозг. Идет однообразный, скучный разговор — вроде этого. Мимоходом кто-то вспоминает фразу или случай, который вдруг захватывает воображение всех, и внезапно жизнь просыпается, вспыхивает, словно искра в соломе. Тот, что дремал откинувшись, спину выпрямил. Другой подобрался, колени руками обхватил. Третий пододвинулся поближе. Саид из лавки вышел. Смотришь — они уже вместе, рядом, словно к какому-то центру стекаются, к тому, что у всех у них на уме. Махджуб вперед наклонился, пальцы у Ахмеда Исмаила в песок вонзились, Вад ар-Раис шею ладонями стиснул... Вот оно, мгновенье, когда видишь их в игре света и тени, словно они в волнах купаются. Голоса звенят, спор разгорается, слова словно кремни отскакивают, фразы ломаются, все спешат, кричат разом. В такую минуту посторонний их увидит — подумает, грубияны какие-то... Потому-то и мнения о них разные у людей, что видят их в разное время. Одни, например, в деревне молча-

---

[1] Английские сигареты «John Players» с изображением на пачке курящего моряка.
[2] Скопление звезд в созвездии Тельца.

ливыми, немногословными их считают — нападут на них случайно в таком состоянии, когда вся их беседа к междометиям сводится: «а» да «о!», «не...» да «да». А некоторые говорят, что «смешливы» они, как дети, потому что случайно наткнулись на них, когда они вот так «заливались». Муса Кривой клянется, что Махджуб ему до рынка спутником был — а это целых два часа на осле! — и за всю дорогу слова не вымолвил. Люди избегают их посиделок, потому что они тогда скованно себя чувствуют: не любят, чтобы был среди них посторонний. Они все как близнецы, но если пообщаться с ними подольше, поймешь: есть меж друзьями различия, что каждого из них своеобразной личностью делают. Ахмед Исмаил в силу возраста больше других был расположен к веселью и не тужил, если переберет лишнего по какому-нибудь случаю. На свадьбах он плясал лучше всех. Абдель-Хафиз был более прочих внимателен к людям — к тем особенно, которые не жили вот так, «шайкой», как они сами себя и как люди, бывало, называли их. Он первым друзей оповещал, что такой-то женился, у такого-то отец умер, а тот, мол, с другого конца деревни, вернулся из долгой поездки. И они, как правило, всей компанией потом шли, чтобы поздравить или выразить соболезнование. А порой он лишний раз в одиночку в мечеть наведывался, стараясь скрыть это от них. Ат-Тахир ар-Равваси был вспыльчив, раньше всех за палку хватался или нож выхватывал — «при нужде», как он говорил. Саид лучше всех умел с судьями да начальниками препираться, так и прозвали его — Законник. У Хамада Вад ар-Раиса слух был тонкий на скандальные новости, он их по окраинам деревни, на задворках собирал и потом, улучив минутку, друзьям на встречах выкладывал. А они его, как правило, выбирали решать женские проблемы на деревне. Махджуб был среди них самый солидный и зрелый. Как скала, песком захороненная: копни поглубже — наткнешься. Прочность его в трудную минуту проявлялась, тогда он и становился «кормчим»: прикажет, а они исполняют. Приехал к ним как-то новый инспектор из центра, встретились они с ним пару раз. Поговорили, поспорили и решили промеж себя: не годится. Через месяц уже дела в тупик зашли, инспектор пожаловаться кое-кому успел, что, мол, «шайка Махджуба» всем на деревне завладела: и в больничной комиссии, и в школьной, и в комитете аграрного комплекса только они одни и сидят. Дошло до них и такое высказывание инспектора: «Что, во всей деревне людей, кроме этой компании, нет?» Посовещались они между собой и уж было решили смириться — кое-кто даже предложил в отставку подать. Только Махджуб на это заметил: «Нечего человеку с места на место перебегать». Месяца не прошло — отозвали инспектора, другим заменили. Как такое произошло? А так. Были, значит, у Махджуба свои способы — на крайний случай...

Они рассмеялись, когда услышали, как Зейн бранился во весь голос:

— Дурной человек! С-самец ос-линый!

Он подошел и застыл на минутку над ними: ноги расставил, руки в боки. Верхнюю половину туловища заливал свет, и все заметили, что глаза его красны больше обычного.

— Чего стоишь над нами, как вампир? — сказал Ат-Тахир ар-Равваси.— Кровь нашу пить собираешься? Садись или проваливай!

— Зен, должно, пьян сегодня,— заметил Ахмед Исмаил.

— Сядь, дух переведи! — предложил Абдель-Хафиз.

— Говорят, он сегодня вечером за ограду к омде лазил,— съязвил Хамад Вад ар-Раис.— Что вынюхивал-то? Дочку-то уже замуж выдали.

Зейн выхватил у Абдель-Хафиза сигарету, не говоря ни слова, сел, принялся раздраженно пыхтеть, Ат-Тахир ар-Равваси не выдержал, рассмеялся:

— Не так, угольщик! Сделай вдох и затянись. Учиться надо, олух! Зачем тебе сигарета, если курить не умеешь? Втяни дым, вот так! Как будто сосешь.

Зейну наконец удалось втянуть в себя дым, щеки у него надулись, и он выпустил изо рта густое облако: оно застыло на мгновение и разошлось тонкими струйками — часть побежала наверх в луче света, часть смешалась с чернотой ночи и исчезла во мраке. Подошел бедуин из племени куз, направился в лавку. Саид поднялся его обслужить.

— Пять ратлей сахару, полратля чаю,— услышали они из лавки.

— Эти арабы все кырши свои, что ни заработают, на сахар да на чай тратят! — сказал Ахмед Исмаил.

Тут Зейн прокричал Саиду:

— Пусть жена чай крепкий с молоком сготовит! Только крепкий!

— Слушаюсь, предводитель,— ответил Саид.— Сделаем тебе чая крепкого с молоком, сделаем.

Он высунулся в окошко, выходившее из лавки во внутренний дворик, и приказал:

— Сделайте там побыстрее чая крепкого с молоком для предводителя нашего!

Зейн оживился, проговорил бодро:

— Я самый мужественный мужчина во всей нашей деревне, так ведь?

— Конечно,— протянул Ат-Тахир.

— Хорошо! Так чего же этот с-самец ослиный идет к моему дяде и говорит ему, что Зен не мужчина для свадьбы?

— Хитрить иностранцы горазды! — сказал Махджуб.— Откуда такое красноречие? «Не мужчина для свадьбы»!

— Имам тебя ревнует,— сказал Вад ар-Раис.— У самого на нее виды имеются.

— Она дочь моего дяди или нет? Пусть пойдет поищет себе дядю с дочкой! — закричал Зейн.

— Брачный договор — в следующий четверг,— решительно произнес Махджуб.— После этого — прощай пляски, дрязги, болтовня. Слыхал или нет?

Зейн осекся, замолчал.

— Да кто тебе сказал-то? — спросил Ат-Тахир ар-Равваси.

— Она сама сказала,— буркнул в ответ Зейн.

Махджуб полулежал, опершись на локти и раскинув на песке ноги. Но, едва услышал это, подскочил, выпрямился:

— Она сама сказала?

— Ага. Пришла ко мне домой рано утром. И сказала мне при матери: в четверг нас поженят. Мы станем мужем и женой. В одном доме, вместе жить будем.

Голос Махджуба звенел от восторга, когда он воскликнул в крайнем изумлении:

— Вот это баба! Подумать только! Будь у нее сестра — клянусь, развелся бы!

Пришел Саид с чаем, Махджуб накинулся на него:

— Ты слыхал? Нет, ты слыхал? Девушка пошла — сама ему сказала!

— Девушка ума великого... Поистине силы творца нашего неисповедимы,— проговорил Саид.

Все замолчали. Только Махджуб от волнения ударил себя несколько раз ладонью по бедру. Затем заговорил вновь возбужденно, восторженно, бросая взгляды направо-налево:

— С места мне не сойти: тело у девушки что тесто крутое — к рукам не прилипнет!

Зейн пил свой чай, как всегда, шумно, причмокивая. Вдруг отставил стакан в сторону и засмеялся:

— Аль Хунейн же заявил мне перед вами всеми: завтра женишься на лучшей девушке в деревне.— Сказал он это, а потом как заулюлюкает, завопит, заклекочет — что тебе женщины на свадьбе — во весь голос:— Урр-рук, л-люди! Ут-топленники деревенские! Повязали Зена-а! Повязала его Нуама, дочь хаджи Ибрагима-а!

Прокричал он это и замолчал, словно воды в рот набрал. И тут в полной тишине все услышали голос Сейф ад-Дина, призывавшего прихожан с минарета на вечернюю молитву. Еще одна победа имама!

Легкое движение пробежало по застывшей группе друзей. Махджуб кашлянул, Ахмед Исмаил бессознательно пошевелил пальцами правой ноги, Абдель Хафиз вздохнул, а Ат-Тахир ар-Равваси слегка откинулся назад. «Свидетельствую: нет бога, кроме аллаха»,— чуть слышно пробормотал Саид вслед за муэдзином. А Хамад Вад ар-Раис сдунул с ладони несуществующую песчинку.

Когда отзвучал азан и они услышали голос имама, призывавшего во дворике мечети: «На молитву! На молитву!» — каждый поднялся и пошел к себе домой ужинать. Как все добрые люди сообща молятся в мечети, так и они сообща отужинают — в кругу своей семьи, рассевшись вокруг блюд и подносов, осененные благодатным светом лампы из лавки Саида. Едят они смачно, с удовольствием — как и подобает мужчинам, не раз утиравшим пот со лба за прошедший трудовой день. Сегодня на ужин жареная курятина, проскурняк в бульоне, бамия, запеченная в горшочке. Каждый вечер кто-нибудь из них забивает молодого ягненка или овечку. Детишки их то и дело подбегают с полным блюдом, и не успеют его поставить — глядь, оно уже опустело. Это вечернее время — вершина всего дня. Для нее-то и трудятся их жены с рассвета до заката. Готовят им бульон в глубоких мисках и жаркое на широких овальных блюдах, подают им

рис с пышным пшеничным хлебом и тонкими пресными лепешками, испеченными на гладких листах железа. Они поглощают рыбу, мясо, овощи, лук, редиску — все без разбору. В эти минуты мышцы их напряжены, говорят с полными ртами, отрывисто, резко. Едят шумно, с хрустом все пережевывают. А если пьют — так вода в глотке клокочет. Рыгают громко, воду шумно лакают да губы облизывают. Как опустеют все блюда — приносят чай, наливают в стаканы. Каждый закуривает сигарету, затягивается, выпростав из-под себя ноги и развалившись на половиках. Кончили люди свою молитву — поужинали. Разговаривают они теперь спокойно, уверенно — с тем теплым, благостным чувством, которое испытывают, наверно, молящиеся, когда стоят в ряд позади имама, плечом к плечу, всматриваясь в далекую, смутно маячащую заветную точку, где все их молитвы сходятся... В этот момент взгляд Махджуба смягчается, глаза задумчиво скользят по той бледной, неясной грани, где обрывается свет лампы и начинается тьма. Где граница света? Как подступает тьма? Тут Махджуб застывает в глубоком молчании, и окликни его — не услышит, не ответит. Вад ар-Раис в такую минуту бросит неожиданно всего одну фразу — краеугольный камешек сошедшей на него благодати: «Благослови аллах!..» А Ахмед Исмаил голову в сторону реки слегка наклонит — словно к голосу ее прислушивается. В эту минуту Абдель-Хафиз пальцами в тишине похрустывает, а Ат-Тахир ар-Равваси вдыхает всей грудью и выпаливает: «Прочь, час! Умчи нас!..»

Что они чувствуют в это время? Приближение к той точке? Или, может, осознают, что точка эта — смутная, замершая где-то там посредине, — место, где кончается жизнь и куда нет пути человеку? А ведь...

— Ай-ва! Ай-ва!.. Ай-ва! Ай-яй-яй! Ай-ва!

Что это? А! Это мать Зейна заголосила — решила быть первой. Голосят так женщины и в печали, и в радости — не всякий разберет.

Но она-то рада была по многим причинам. Радовалась мать всем существом своим — сын жениться собрался! В эту решающую пору жизни каждая мать говорит сыну: «Уж как мне хочется порадоваться на свадьбе твоей, прежде чем умру-то». А мать Зейна чувствовала, что жизнь ее к закату клонится. Зейн — ее единственный сын, все, что нажила она на этом свете в отличие от других людей, и боялась женщина, что, когда умрет, о нем и позаботиться будет некому. Отлегло у нее от души, как узнала об этой женитьбе. Тут ведь еще и случай будет вернуть все подарки ее соседям — на свадьбы сыновей их и дочерей. Люди, бывало, удивлялись, видя, как спешила она сбереженные четверть или полфунта на чужую свадьбу предложить — с чего бы это? «Небось на Зенову свадьбу вернуть их надеется?»

А свадьба Зейна и впрямь прищемила злорадные языки. Не на какой-то девушке из простой семьи Зейн женится — на Нуаме, дочери хаджи Ибрагима! А это означает и происхождение, и честь, и почет, и достаток. Войдет старая женщина в дом просторный из красного кирпича — не у всякого на деревне дом кирпичный! — войдет она в него с поднятой головой, походкою твердой. У входа перед ней все выстроятся и до дверей проводят, и навещать каждый день будут, если занеможет. И проведет она остатки дней своих в мягкой постели, окруженная любовью и лаской. А может, даст ей судьба отсрочку и еще понянчит она на груди своей внука или внучку... И вновь заголосила мать Зейна в ликованье, когда подумала об этом, заголосила пуще прежнего.

На ее голос откликнулись знакомые и соседки, родные и близкие — и пошла свою радость изливать почитай вся деревня!

Но как все же такое чудо случилось?

Разные ходят слухи.

Халима, молочница, передала Амине — словно еще больше хотела поддеть ее новостями о Зеновой свадьбе, — будто Нуама увидела аль-Хунейна во сне и он сказал ей: «Выходи за Зена... Кто за Зена замуж выйдет, не раскается!» Как проснулась девушка, рассказала об этом отцу с матерью — собрались, подумали и решили.

Затрясла Амина головой: сплетни!

А Ат-Турейфи клялся своим одноклассникам, будто Нуама застала Зейна среди женщин — он с ними заигрывал, а они перед ним кривлялись. Осекла она их строгим взглядом и сказала: «Завтра все вы пить-есть на его свадьбе будете!» Недолго думая, отцу с матерью об этом сообщила, и они согласились.

Абд ас-Самад рассказал на рынке, мол, Зейн сам посватался к Нуаме — встретил ее на дороге, остановил: «Ты дочь моего дяди, да? Пойдешь за меня?» А она «да» ответила. Он тут же пошел к дяде своему, дело выложил — и получил согласие.

Но, скорее всего, все было не так. Нуама, из упрямства и страсти обо всем иметь независимое мнение, а может быть, еще и из чувства сострадания к Зейну или в порыве самопожертвования, что ее натуре свойственно, сама решила выйти замуж за Зейна. Вероятно, в доме хаджи Ибрагима произошел крупный скандал: родители с дочерью схватились, и братьям девушки, которые были в отъезде, написали. Говорят, два старших брата сестру осудили, а младший ее поддержал и ответил отцу: «Нуама всегда стойко держалась своего мнения. И теперь, если она сама выбрала себе мужа, пусть так оно и будет». Короче говоря, хаджи Ибрагим неожиданно эту новость объявил. А люди словно ждали ее после случая с аль-Хунейном. И, что странно, ни один не съязвил и не рассмеялся. Только головами покачали в недоумении. После этого Зейн лишь вырос в их глазах. Вот тогда-то и закричала мать Зейна, радостно заголосила, а вместе с ней ее знакомые да соседки, родные да близкие — все, кто к ней по-доброму относился.

— Ай-ва! Ай-ва!.. Ай-ва! Ай-яй-яй! Ай-ва!

Не будь это его свадьба, Зен бы сам всех перекричал.

Вот, скажем, дочь Абдаллы: голос у нее звонкий, кричит громко — часто на чужих свадьбах голосить приходилось. Осталась она старой девой, замуж так и не вышла, но всегда чужой радости радовалась. Букву «я» только не выговаривала.

— Уджю-джю-джю-джю!.. Уджю-джю-джю-джю!

А это Саляма, писаная красавица. Правда, красота не принесла ей счастья: замуж вышла, развелась, снова мужа себе приискала. Но вот ни с одним мужчиной ужиться не могла и детей не нарожала. Разговаривать с ней приятно — веселая, насмешливая, сколько былей да небылиц они с Зейном перемололи, а еще больше — люди о них. Кричит весело, потому что жизнь любит:

— Ай-ва! Ай-ва!.. Ай-я-я-я!

А вот и Амина заголосила — видать, от избытка ярости. Все помнят, как Амина сына своего на этой девушке женить хотела, а ей сказали: мала, мол, дочка, не доросла до свадьбы!

— У-у! У-у-у! У-увва! — завыла Амина.

Глухая Ошмана — уж на что бессердечная, право! — на свадьбе Зейна разгулялась, и разгорелась искорка всеобщего ликования в доме хаджи Ибрагима.

Голосов двести заверещали разом — задрожали окна во всем доме.

Мать Зейна начала, соседки подхватили, она остановилась, послушала их немного и заголосила вновь.

Не было ни одной женщины во всей деревне, кто бы древний арабский обычай на свадьбе Зейна не поддержал.

Забурлила округа, во дворах столпились гости, изо всех домов народ высыпал. Двор хаджи Ибрагима битком набит, как и у Махджуба, Абдель-Хафиза, Саида, Ахмеда Исмаила, Ат-Тахира ар-Равваси и Хамада Вад ар-Раиса. И двор инспектора нашего, и двор омды-старосты, и дом кади — блюстителя шариата.

Шейх Али сказал тогда хаджи Абд ас-Самаду:

— Аллахом-творцом клянусь, не видел я еще такой свадьбы!

А хаджи Абд ас-Самад ответил:

— Развестись мне, коли вру, а Зен-то наш по-настоящему женится, не ошибся!

Имам совершил в мечети свадебный обряд. Хаджи Ибрагим представлял свою дочь, а Махджуб свидетельствовал за Зейна. Когда договор был оглашен, Махджуб встал и положил калым на блюдо так, чтобы все видели: сто гиней золотом из свободных денег хаджи Ибрагима. После этого поднялся имам, обвел взглядом собравшихся мужчин — мать Зейна была единственной присутствовавшей здесь женщиной — и сказал, что сам он противился этому браку, о чем, впрочем, всем известно, однако аллаху угодно было, чтобы брак совершился, и он теперь просит всевышнего и всеславного сделать брак этот счастливым и благословенным. Все обернулись на Зейна. Тот молчал. Махджуб шепнул Абдель-Хафизу на ухо: «Что толку теперь об этом говорить?» Но по-настоящему они удивились, когда увидели, как имам подошел к Зейну и положил руку ему на плечо. Зейн в изумлении покосился на него. Тут имам схватил его руку,

пожал с силой и произнес взволнованным голосом: «Благословенный! Господь наш да наполнит дом твой детьми и достатком». Зейн в недоумении огляделся, Ахмед Исмаил бросил на него суровый взгляд и предупредительно покачал головой.

Загремел и зарокотал огромный медный гонг: считается, что он вообще разговаривает... Дочь Абдаллы сказала Саляме: «Слышишь — медь рокочет: Зен, женись! Зен, женись!» И тут раздались радостные клики Салямы...

Эх, какой же действительно у нее голос сладкий!

Как горошины покатились на празднество арабы из племени куз — едут наперегонки на своих верблюдах. Встречал их Ат-Тахир ар-Равваси: в один из дворов проводил, всех усадил, приказал им еду-питье принести.

Поселение скотоводов скопом пожаловало — прямо как в сказке! Им навстречу вышел Ахмед Исмаил, рассадил гостей, привязал их скакунов, сена им натряс, приказал хозяевам угощение подать, поели они и выпили.

Люди приходили отовсюду — с восхода, с заката. На лодках переправлялись через Нил, сходились со всех окрестностей деревни, ехали верхом на лошадях и на ослах, приезжали на машинах. Гостей группами разводили по дворам — в каждом доме род собирался или община. Обслуживали их наши деревенские заправилы, это был их день — все готовили и делали по порядку, ни большое, ни малое от них не ускользало. Сами к еде не притронутся, капли хмельного в рот не возьмут, пока не насытятся гости.

Вот и клики раздались, по обычаю. Заголосила одна женщина, за ней — сразу несколько. Ударил барабан — остальные подхватили, эхо по всей округе прокатилось. Мужчины руками взмахнули, посохами затрясли, мечи выхватили, а омда из винтовки всю обойму выпустил.

— Попробуй удержи теперь эту братию! — сказала Амина Саадийе. Саадийя ничего ей не ответила, губы поджала.

Зарезали множество верблюдов, быков, целое стадо овец положили. Кто ни пожаловал, ел и пил до отвала.

А Зейн среди всего этого веселья петухом ходил — да куда там! — павлином этаким. Нарядили его в кафтан из белого шелка, обмотали зеленым кушаком, а поверх еще абаю голубого бархата накинули. Одеяние все просторное, ветер им словно парусом играет. На голове у него белая большущая чалма, немного нависшая надо лбом, а в руке — длинный бич из крокодиловой кожи. На пальце у него перстень золотой — днем при солнечном свете огнем пылает, а ночью при светильниках сверкает, свет отбрасывает, и в нем огромный, в форме змеиной головы яхонт. Захмелел жених от одного только шума да гама вокруг, улыбается во весь рот, смеется, ходит взад-вперед меж людьми, бичом щелкает, а потом вдруг как подпрыгнет! Одного по плечу похлопает, другого за руку куда-то потащит... Кому-то есть не дает, а кого выпить заклинает, да грозит еще, разводом клянется.

— Вот теперь ты в люди вышел,— сказал ему Махджуб,— и в клятве твоей, жеребенок, хоть какой-то смысл появился!

На свадьбу пришли местные торговцы, чиновники, богачи и разные именитые люди. Даже цыгане, обосновавшиеся в лесу, и те прибыли. Привели с собой лучших певиц и танцовщиц, в бубны бьют, на лютнях играют. И Фатуму взяли — самую известную певицу с западного берега. Завела она голосом своим чарующим:

Речь медовую твори, славь его уста сладостью.
Зен-красавчик всю округу одарил радостью...

Силой затащили они Зейна в круг танцующих — тот бичом взмахнул над головой певицы, щелкнул раскатисто и фунтовую бумажку — разважничался! — на лоб ей прилепил. Взорвались тут фонтанами радостные крики женщин: «И-и-их!»

Каких только чудес в те дни не приключилось! Девки беспутные из оазиса пели-плясали на глазах у имама — а он хоть бы что! Старики Коран читают, а по соседству с ними — песни да пляски пьяные. Славословы мусульманские в тамбурины стучат — молодежь вином наливается. Не просто радость — восторг! Мать Зейна с плясунами пляшет, в хоре подпевает. Постоит чуток, Коран послушает, потом выйдет бочком — туда, где еду готовят, женщин подгоняет. С места на место перекочевывает, выкрикивает:

— Славьте добро! Сейте добро!

А Халима, молочница, все Амину подзуживает:

— Видала ль ты, матушка, свадьбу такую счастливую? А?

Тут бубны в такт ударили предупреждающе, флейта залилась — и Фатума запела:

Финик соком наливается ранний —
Сон мой прочь угнал и сердце мне ранил!..

Мужчины образовали широкий круг, девушку в центре оставили — покрывало с ее головы спало, стан удлинился, груди упругие вперед выдаются, словно соком налились. Идет она в танце, словно лебедь: руки, словно крылья, слаженно, в такт движениям головы, груди и бедер подрагивают. Мужчины в ладоши бьют, ногами о землю притоптывают, гортанно кричат, резко. Кольцо вокруг девицы сомкнется, волосы ее расчесанные, надушенные на лицо чье-нибудь упадут, лба или щеки мужчины коснутся... Эх! Раздался круг вширь — женщины заголосили, заулюлюкали, мужчины в ладоши бьют хлеще, ногами притопывают чаще, и песня плавная, мелодичная с уст Фатумы льется:

Не моим ли зельем вы его опоили —
Душу молодцу на всю ночь растравили?..

Ибрагим Од-Таха от пения этого совсем ошалел да как заорет:

— Ох! Еще! Продолжай, пусть аллах тобой возрадуется!

Пляшет глухая Ошмана — крутится, как дервиш. Кривой Муса в ладони хлопает. Чуть общий гомон стих, хлопки и удары разредились — раздалась мелкая шипящая дробь: танец джабуди. Мужчины взревели в один голос: Саляма в круг вышла. Подскочила легонько и поплыла по кругу — пышная, величавая, словно верблюдица махрийская. Лучше всех она джабуди танцевала, поклонников у нее не счесть, пожирают ее взглядами, а она от их взоров, как рыбка в воде, ускользает. Круг танцующих сузился, хлопки мужчин стали чаще, кричит каждый свое. Зейн в круг вышел — на этот раз невольно его ноги повели. Возвышается он над Салямой, а она его шею своими длинными рассыпающимися волосами в танце опутала, подмигивает ему лукаво. Имам напротив сидел, в диване хаджи Ибрагима, выходившем во двор, с людьми судачил. И взор его случайно упал на Саляму, всю отдавшуюся танцу. Грудь он ее упругую увидал, зад широкий, как она бедрами бьет, словно дыня, пополам расколотая... Вот изогнулась Саляма в танце, стан в кольцо сомкнула, волосы по земле пустив,— груди ее напряглись, бедра округлились... Увидал имам ее голень правую да полное бедро — и давай одежду поправлять! Пришел, бедняга, в себя, к собеседнику повернулся: глаза у него помутнели, увлажнились, глядит — ничего не видит.

— Ай-яй-яй-яй-яй!

Это Халима, молочница, заголосила жадно, в упоении свадьбой. Ну и зрелище!

Люди себя забыли в опьянении, хлопки в ладоши слились в едином ритме: два частых — подряд, один — после паузы. Мужчины ногами забили: топот такой, словно конница рысью пошла. Арабы-кузы в круг просочились — наскакивают друг на друга, кричат непонятное, бичами щелкают. Все они мужчины низкорослые, мускулистые, тела у всех влажные, под цвет земли — живут-то они одним верблюжьим молоком да мясом газельим. Свои одеяния они на груди перевязывают, а полы на плечи набрасывают. Прыгнет такой в воздух — тело на солнце так и сверкнет! Ноги у них всегда обуты, а в руке у каждого — кинжал в ножнах. Шум стоит несусветный — голоса плясунов с ударами бубнов и тамбуринов смешались, да еще пение сказителей и славословов из соседнего двора доносится. Там тоже толпа собралась: встали в кружок, а посередине ходят двое, в тамбурины свои вцепившись. Один из них куртавай — глава сказителей, значит. Ходит, декламирует:

Сел в седло, полетел легко, по пути Курейша далёко-далёко,
видит: знамя высоко.
Посетил деда Хусейна, пророка!..

На глазах у людей слезы наворачиваются, глядишь — и заплачет кто, особенно если хадж уже совершил, посетил Мекку, Медину, другие святые места, что сказитель описывает. Ходит он и выводит со знакомой всем хрипотцой в голосе:

Сел в седло, полетел легко,
по долине Курейша далёко-далёко.

Видит: знамя; кличет: с нами
сила высока!
Так нашел он деда Хусейна, пророка!
Поднесли ему изюма, инжира и дынь степей.
Поднесли ему чаши вина и сказали: пей!
С нами сила высока!
Так посетил он могилу деда Хусейна, пророка!

Крики женщин возле сказителей смешиваются с ликующими криками их подруг в кругу плясунов. Время от времени стайка женщин с плясок к сказителям сбежит: там они ногами топали да грудь гордо выставляли, а здесь слезами обливаются. И наоборот: от тягучих напевов к пляскам резвым устремляются — тоску по былому веселым гомоном заглушить. Ну — дети, совсем еще дети!

Внезапно Махджуб насторожился: а Зейн-то где?

Как и все остальные в его команде, он был занят, организовывал веселье это и Зейна как-то из виду выпустил.

Всех друзей своих он опросил — оказалось, никто Зейна уже часа два как не видел. Абдель-Хафиз сказал, что, помнится, заметил он его последний раз возле сказителей — тот стоял и слушал.

Стали они Зейна искать — тихо так, чтобы людей не потревожить. Ни среди столпившихся вокруг имама в большом диване его не нашли, ни возле народных сказителей-богословов. Не было его и среди танцоров, разбежавшихся по разным дворам. Пошли они по кухням, где женщины вокруг печей и котлов сгрудились,— и там Зейна не нашли.

Вот тут-то и объял друзей ужас: как бы Зейн штуку какую не выкинул, не забыл бы, что женится, да не исчез — такое с ним бывало.

Разделились они между собой для поисков, все облазили. Кто от дома в сторону Сахары направился, кто по полям прошел, до самого Нила. Все дома обошли — в квартале, в деревне. Пальмы все осмотрели, каждое дерево.

Осталась только мечеть. Но ведь Зейн в жизни своей ни разу в мечеть не заходил! Время уже было к ночи, темнота сгущалась. В мечети спокойно и пусто, свет от свадебных огней едва проникал туда сквозь оконца, падал бледными полосами на коврики, потолок, михраб. Они постояли, прислушиваясь. Ни звука не раздавалось внутри, только голоса со свадьбы изредка долетали. По имени Зейна позвали, все углы мечети и придворье обшарили — не нашли жениха.

Они совсем уже надежду потеряли. Сбежал-таки! Но куда же? Вся деревня у них под носом.

Внезапно новая мысль прокралась Махджубу в голову.

— Кладбище! — вскрикнул он.

Они не поверили. Что Зейну на кладбище делать в такое время, ночью?

Однако Махджуб настоял на своем: друзья пошли за ним.

Двигались молча вслед за Махджубом между могил. Оттолоски пения, женских криков то звучали ясно, отчетливо, то приглушенно доносились издалека. Место было пустынным, лишь кое-где меж могильных камней торчали ростки дубильного дерева да молочной колючки. Щели между надгробиями густо заполнял мрак — словно носы кораблей выступали из морской бездны. Посередине виднелась большая гробница — контуры ее растворялись во мраке. Она внушала чувство почтения и страха. Вдруг Махджуб остановился, сказал:

— Послушайте!

Сначала они ничего не услышали; замерли, напрягли слух — донеслись приглушенные рыдания.

Махджуб двинулся вперед, повел за собой остальных, потом опять замер, увидев, как чья-то тень прижалась к земле возле могилы аль-Хунейна.

— Зен...— позвал Махджуб.— Зачем ты здесь?

Тот не ответил — зарыдал еще громче, навзрыд.

По стояли они так в оцепенении, молча наблюдая за ним. Потом Зейн заговорил, давясь от слез, глотая слова:

— Отец наш... Хунейн... если б не умер... на свадьбу пришел бы...

С нежностью опустил Махджуб руку Зейну на плечо:

— Успокоит его аллах. Человек был благословенный. Но... ночь-то эта — ночь твоей свадьбы. Мужчине в ночь свадьбы плакать нельзя... Ну-ну, успокойся, ради аллаха!.. Идем!

Зейн встал и пошел за друзьями. Они выбрали широкий двор, где собралась бóльшая часть народу. На пороге их приветствовал шум, и глаза на мгновенье ослепли от нестерпимо яркого света десятков ламп...

Пела Фатума, гремели тамбурины, кружилась в танце молоденькая девушка. Мужчины образовали на площадке широкий круг — били в ладоши, топали в такт ногами, кричали осипшими глотками.

Зейн оторвался от группы приятелей, сделал огромный прыжок — словно повис на мгновенье в воздухе — и очутился в центре круга. Свет заиграл на его лице, еще не высохшем от слез. Он закричал во все горло, рука его взлетела, вытянувшись в известном всем движении над головой танцовщицы, будто рея мачтовая:

— Славьте добро! Сейте добро!

Все вокруг забурлило, словно вскипело на огне,— это Зейн и впрямь жару прибавил! Круг смыкался к центру и разлетался вширь, смыкался и разлетался... Голоса оглушали и глохли, барабаны ревели и пели, а Зейн стоял на своем месте в центре круга — рослый и стройный, словно мачта судна с набирающим силу парусом.

СОПОСТАВЛЯЯ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

«МОЛОДЕЖНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 60-х И ЕЕ СЕГОДНЯШНИЕ РОВЕСНИКИ

Обсуждаем проблемы западной молодежи

Каждый, кто думает о современности, заглядывая хоть немного в будущее, непременно обращается к проблеме молодежи — одной из ключевых проблем нашей жизни. Ведь от того, какова сегодняшняя молодежь, в значительной мере зависит, каким будет мир завтра. На Западе, где воспитание юного поколения подвержено весьма хаотическим воздействиям, молодежь, как социокультурный феномен, задает философам, социологам, исследователям культуры, литературы и искусства множество трудных, порой кажущихся неразрешимыми вопросов. Однако квалифицированный и глубокий анализ специалистов бывает весьма полезен для того, чтобы составить более обширное и полное представление о реальности, свидетелями которой мы являемся.

Такое обсуждение, возможно, особенно уместно сегодня, если учитывать значительную активизацию молодежного движения на Западе, наблюдаемую в сферах борьбы за мир, против безработицы и за охрану окружающей среды. Достаточно вспомнить ту роль, которую играет в современной Федеративной Республике Германии движение «зеленых», все более отчетливо влияющее на различные стороны политической жизни страны.

«Иностранная литература» не впервые обращается к молодежной теме — статьи, дискуссии, фрагменты документальной прозы и даже специальный выпуск журнала были призваны помочь осмыслению проблем западной молодежи в разные периоды времени.

Настоящая публикация являет собой одну из попыток такого анализа на современном этапе. Она включает статью ученого-социолога Ю. Дабыдова, посвященную проблеме инфантилизма — весьма симптоматичной тенденции, характеризующей сравнительно небольшую, но идеологически влиятельную часть западной молодежи; материалы обсуждения молодежных проблем в западной литературе последних лет, состоявшегося за «круглым столом» «Иностранной литературы» при участии литературоведов-зарубежников А. Зверева, Г. Анджапаридзе, Ц. Кин, Н. Литвинец, Э. Панкратовой, Ю. Уварова; и интервью западногерманского писателя-коммуниста Уве Тимма, в котором он рассказывает о том, как вошла в его творчество молодежная тема.

Ю. ДАВЫДОВ

ТРАГЕДИЯ ПОЗДНЕГО ПОВЗРОСЛЕНИЯ[1]

...Отвращение к труду возводится у нас в религиозный культ, и люди бьются о распространении этой веры в народе, уверяя их, что найдут такую комбинацию, при которой все будут танцевать с прелестными девами и пить сколько угодно и никто не будет стоять у вонючего квасильного чана на винном заводе.

Из письма А. А. Фета Л. Н. Толстому от 17.VI.1879.

Говорить о молодежной тематике в современной западной литературе нельзя, не учитывая по крайней мере двух обстоятельств. Во-первых, в силу целого ряда причин, о которых пойдет речь дальше, на Западе привыкли сопрягать слово «молодежь» со словом «проблема». Стоит произнести первое из них — и прочно утвердившаяся привычка тут же подсунет второе. Вот и сейчас: заговорив о молодежной теме, мы тут же вспоминаем о проблеме молодежи, обремененной целым рядом сложных, далеко ведущих ассоциаций. Во-вторых, сама эта проблема, даже если взять ее в тех предельно ограниченных рамках, в каких она затрагивается сегодняшней литературой, обнаруживает достаточно длинный шлейф своей собственной истории. Ее ближайшей истории — уже более четверти века, прошедшей с тех пор, как она возникла перед западными писателями и психологами, политиками и социологами в виде странной фигуры длинноволосого и неопрятного юноши-переростка, именовавшего себя и того причудливей: «хиппи».

Со времени появления безвольно-уклончивых «хиппи» с их упрямой приверженностью к наркотикам, беззаботно-гедонистичных «битников» с их непременной сексуальной озабоченностью, агрессивно-жестоких «гамблеров» с их стремлением разрушить все, кроме собственного мотоцикла и кожаной куртки, уже невозможно было коснуться молодежной темы, не затронув обнаженный нерв ее глубокой проблемности. С годами ряд этих диковинных, порой нелепых, а иногда и страшных фигур, как бы символизирующих собою всю болезненность и запутанность проблемы, во весь рост вставшей перед западной культурой, пополнялся новыми гротескными созданиями, срок существования которых, определяемый всемогущей, но торопливой модой, становился все короче и короче. Последними в этом ряду на сегодняшний день оказались «панки», у которых более или менее отчетливо прослеживается пока что одна-единственная черта: боязнь оказаться похожими на кого-нибудь из своих предшественников, стремление выделиться из ряда.

Однако, несмотря на бросающуюся в глаза несхожесть этих образов, символизирующих различные симптомы сравнительно нового заболевания, фиксируемого в западной литературе, психологии и социологии под названием «молодежная проблема», в них есть нечто общее. Оно-то и позволяет поставить всех их в один ряд — в одну из характернейших линий последних двух с половиной десятилетий истории капиталистического Запада. Линию, без соотнесения с которой сегодня просто невозможно верно оценить смысл и значение новых аспектов молодежной тематики, раскрываемой западноевропейской литературой самых последних лет.

Дело не только в том, что в образе «хиппи», «гамблера» или «панка» западная молодежь предстала перед лицом старшего поколения как «племя младое, незнакомое», если воспользоваться здесь так свежо и актуально звучащим пушкинским оборотом. Суть в том, что это впечатление «незнакомости» — результат вполне осознанных и целенаправленных усилий представителей того самого «племени», которое так неожиданно появилось в конце 50-х годов перед глазами удивленных отцов на месте их вчерашних детей. Они, еще вчера такие привычные и понятные, сегодня де-

---

ДАВЫДОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1929 г.). Советский критик, литературовед, социолог; доктор философских наук. Автор книг «Искусство и элита» (1966), «Искусство как социологический феномен» (1968), «Эстетика нигилизма. Искусство и «новые левые» (1975), «Бегство от свободы. Философское мифотворчество и литературный авангард» (1978) и других, а также многих статей.

[1] Предлагаемая статья не претендует на всеохватывающее освещение проблем западной молодежи вообще и молодежного протеста в частности. Этой теме в нашей литературе (не говоря уже о западной) посвящены сотни статей и десятки книг. Из них достаточно упомянуть для примера сборники «Общество и молодежь» (М., «Молодая гвардия», 1968) и «Молодежь, НТР капитализм» (М., Изд-во Московского университета, 1979), монографию В. Большакова «Бунт в тупике?» (М., «Молодая гвардия», 1973), брошюру Б. Баннова «Мятеж возмущенного разума. Студенчество Запада против империализма» (М., «Молодая гвардия», 1970), поскольку они достаточно представительны для соответствующего типа изданий.

Молодежной проблематике, преломленной сквозь призму западной литературы, посвящены многие диссертации. И теперь есть смысл от «глобального» ее освещения перейти к детальному. Одна из таких «деталей» общего вопроса о молодежи и предлагается здесь для более углубленного рассмотрения, тем более что она, как мне кажется, бросает новый свет и на сам этот вопрос. В статье речь пойдет не о всей западной молодежи, а лишь об одной ее группе. Группа эта не очень велика количественно, но социологически достаточно значима, так как на протяжении вот уже четверти века задает тон в молодежной субкультуре.

лали все возможное и невозможное (во всяком случае немыслимое раньше) для того, чтобы родители, которые тем временем получили остраненно-остраняющее прозвище «предки», не узнали и не поняли их.

Все, начиная от манеры одеваться, говорить, двигаться и кончая «способом жить», было призвано произвести (и утвердить) впечатление нездешности — «неотсюдности», «инаковости» — внезапно возникшего племени юношей-переростков, которых позднее объединят под общим наименованием инфантилы. Впрочем, это ироническое прозвище возникнет лишь два десятилетия спустя после первого появления «хиппи», лениво и бесцельно блуждающих в толпе вечно спешащих и постоянно озабоченных жителей индустриальных мегаполисов. Нужно было привыкнуть к этому необычному и странному племени — и только тогда чувство негодования или недоумения, вызываемое «явлением» такого персонажа, сменилось устало-бессильной и эпически-безнадежной иронией, хотя и не лишенной известной ядовитости. Так выглядит, взятая в самом общем виде, эволюция отношения к эксцентрике западной молодежи[1]. Речь идет об отношении, взятом на уровне непосредственного, обыденного, теоретически неискушенного сознания.

Что же касается отношения собственно теоретического порядка, то оно, естественно, возникало гораздо медленнее, чем обыденно-непосредственная реакция, и проделало гораздо более сложную эволюцию. Первые попытки теоретически «освоить» столь же неожиданные, сколь и шокирующие тенденции достаточно весомой части западной молодежи, явно задававшей тон в молодежной среде, осуществлялись под знаком примирительно-либерального: «понять — значит простить». Некоторое равнодушие, скрывающееся под этой всепрощающей формулой, принималось за научную объективность и в этом виде противопоставлялось «ненаучному сознанию» родителей, сокрушавшихся по поводу своих «непутевых детей». Эта общая установка, получившая свою идеологическую санкцию в модном тогда неоруссоизме педиатра Бенджамина Спока, явно доминировала в западноевропейском научно-теоретическом сознании вплоть до начала 70-х годов. Ее разделяло и подавляющее большинство западных писателей, коль скоро они пытались осмыслять свои впечатления, связанные с «загадкой молодежи», в духе новейших научных веяний. Назовем для примера хотя бы Н. Мейлера.

Надо сказать, что общая мировоззренческая атмосфера 60-х годов, во многом предопределявшая главное направление как научного, так и литературно-художественного анализа, мало способствовала не только верному решению, но и правильному формулированию этой «загадки» — ясной и отчетливой постановке вопроса. Специфический натурализм и модернизм, характеризовавший эту атмосферу, буквально понуждал ученых и художников (в особенности мысливших строго в духе философской моды) ориентироваться на «природное» (натуральное) и «новое» как на высшие ценности, коими следует измерять все остальное. А поскольку молодое поколение явно было и «новее» и «натуральнее» (в смысле близости к породившей их природе), чем поколение отцов с их старыми, а значит, устаревшими традициями, постольку заранее предполагалось требование: во что бы то ни стало понять правоту первого (ибо «молодость всегда права») и установить неправоту вторых. Задача, следовательно, заключалась в том, чтобы как-то «обжить» экстравагантные правила игры (игры в жизнь!), предложенные «хиппующей» и «битничествующей» молодежью.

Так возникли по крайней мере три основных научно-теоретических (и литературно-художественных) ориентации, в русле которых педагоги и писатели, психологи и публицисты, социологи и политики пытались объяснить загадочное нежелание взрослеть достаточно значительного числа молодых людей, обряжавших это свое нежелание в причудливые лохмотья «иных миров», «угасших цивилизаций» и «погибших культур». Ориентации эти сохранили свое значение до сих пор, хотя молодежная проблематика, по-своему решаемая в русле каждой из них, сегодня звучит уже не на той эсхатологической ноте, на какой она звучала в 60-е годы, и в общем не вызывает ощущения трагического диссонанса и эсхатологических предчувствий. Сторонники первой из этих ориентаций с самого начала обнаруживали склонность объяснять это загадочное нежелание (инфантилизм) психологическим конфликтом отцов и детей, истолкованным в духе фрейдовского психоанализа с его понятием «эдипова комплекса». Представители второй из них были более склонны толковать это явление как результат конфликта между молодежью и «позднекапиталистическим обществом» — понятие, с помощью которого леворадикальные социологи определяют государственно-монополистический капитализм. Наконец, защитники третьей ориентации идут еще дальше, усматривая суть дела в конфликте между молодежью и всей западной культурой и цивилизацией как таковой.

В случае справедливости первого варианта ответственность за нежелание уже достаточно великовозрастных детей взрослеть должны были нести отцы, впрочем, не столько даже они сами, сколько их «бессознательное», так что они одновременно как бы и освобождались от ответственности за своих инфантилов.

---

[1] Повторяем: нас интересует не та — иногда очень широкая — часть молодежи, которая пассивно следует за модой, а та, в среде которой эта мода рождается, формируется, чтобы затем стать «массовой». Те, кто активно утверждает новую моду, и те, кто только воспринимает ее (чтобы отказаться от нее завтра), могут принадлежать к различным социальным слоям. Специальный анализ этого вопроса применительно к эволюции молодежной субкультуры остается пока делом будущего. Но уже сейчас многочисленные социологические исследования констатировали с достаточной определенностью: хотя мода на «хиппизм», «битничество» и т. д. получала распространение в самых широких слоях молодежи, возникала и откристаллизовывалась она в более узкой среде молодежи «среднего» (и «высшего среднего») слоев современного западного общества.

В случае правильности второго — ответственным за такое неблагополучие должно было оказаться общество, взятое к тому же как некоторое совершенно нерасчлененное целое, где, если верить западным социологам, модным в позапрошлом десятилетии, неизвестно даже, кто кого подавляет, кто кого угнетает, кто кого эксплуатирует: ибо все, взятые в качестве общества, эксплуатируют всех, взятых в виде отдельных индивидов; всем, следовательно, плохо, и никто, стало быть, не виновен, в особенности же не виновна молодежь.

В случае же верности третьей версии — молодежь и того невиновнее, так как вся ответственность возлагается здесь не на «бессознательное» фрейдистски непросвещенных отцов и не на «позднебуржуазное общество», взятое во всей его анонимной тотальности, а на всю — безо всяких исключений и изъятий — западную культуру, включая столь же закономерное, сколь и «чудовищное» ее порождение, каким является современная наука и техника.

Словом, с какой стороны ни подойти, но исследовать, анализировать, препарировать (а тем более критиковать) нужно не молодежь, а всех остальных и все остальное — среду. Так возникла еще одна вариация на тему «среда заела»: то ли среда не позволяет «правильно взрослеть» «хиппующей», «битничествующей» и «гамммлерствующей» молодежи, то ли она заставляет ее взрослеть вопреки устареванию самого понятия взрослости,— но ясно одно: она главная виновница. Вывод, в общем-то весьма импонирующий тем, кто «общество потребления» (словосочетание, утвердившееся на Западе в то же самое время, как там укоренялись такие слова, как «хиппи», «битник», «гамммлер» и пр.) склонен расшифровать как «общество вседозволенности».

Что же касается странной и экзотической манеры поведения, с помощью которой «хиппи», «битники» и т. д. утверждали свое принципиальное нежелание становиться взрослыми в традиционном и общепринятом смысле этого слова, то при таком подходе ее было легче всего истолковать как протест: против отцов ли, позднекапиталистического истеблишмента или всей европейской культуры как таковой — это уже, можно сказать, вопрос второй. Важно, что протест: при тех умонастроениях, которые господствовали среди левоанархистски настроенной интеллигенции, достаточно было произнести это слово, как вопрос автоматически признавался решенным; причем решенным окончательно и безапелляционно — разумеется, в пользу протестующих (в каких бы акциях варварства и вандализма они этот свой «протест» ни выражали).

Писателям, психологам, социологам и др. (в особенности тем, что задавали тон на Западе с конца 50-х до начала 70-х годов) потребовалось достаточно много времени — у иных на это ушло не меньше двух десятков лет, чтобы убедиться на собственном опыте, что есть протест и — «протест».

Что при слишком расширительном его понимании можно, пожалуй, и «акцию» Каина, убившего Авеля, истолковать как протест (в особенности если подойти к делу с глубинно-психологических позиций), а уж «акт» Герострата и вовсе нельзя будет объяснить иначе. Что, наконец, не так уж редки случаи, когда протест, даже если он в чем-то и оправдан, обходится обществу, культуре, человечеству слишком дорого, вызывая законный вопрос: а оправдана ли непомерная цена протеста, не сводит ли она к нулю его положительное содержание? А если нет, то оправдан ли сам протестующий подобным образом? И не кроется ли под внешним и для всех очевидным слоем положительного содержания протеста какое-то иное содержание — уже не столь позитивное, как могло бы показаться поверхностному наблюдателю?

Но мало-помалу западноевропейское и североамериканское научно-теоретическое и художественное сознание созревало для более прямого видения той реальной проблемы, что являли собою «хиппи» и «битники», «гамммлеры» и «панки». Ученые, писатели и публицисты вновь стали сосредоточивать внимание на основном факте, который буквально лежал на поверхности, но именно потому казался слишком «поверхностным», не побуждавшим к тому, чтобы внимательно всмотреться и вдуматься в него, не спеша нырнуть вглубь, под поверхность этого эмпирического факта. Наиболее серьезные из них (и, следовательно, более свободные от диктата деспотической моды) снова задались вопросом, сквозь который западная мысль «проскакивала» — и не однажды! — на протяжении истекшей четверти века: что же означает само это упрямое нежелание взрослеть, утверждаемое «хиппистским», «гамммлеровским» и прочими экстравагантными способами?

С точки зрения социологической реальное повзросление означает для молодого поколения принятие на себя обязанностей и обязательств взрослого поколения, поколения отцов и матерей, осуществляемое как бы в обмен на права и привилегии, которыми оно пользуется. Среди обязанностей и обязательств на первом месте находятся обязанность трудиться, воспроизводя с помощью общественно полезной деятельности средства, необходимые для обеспечения нормального существования взрослого индивида (и его семьи, коль скоро таковая у него появляется), и обязательство отвечать за себя и свои поступки перед теми социальными институтами, которые, со своей стороны, гарантируют жизнь и безопасность самому этому индивиду. Среди прав имеется в виду прежде всего право взрослого человека свободно располагать собою (включая и свое собственное тело), право вести соответствующий образ жизни (включая и жизнь половую), право утверждать и реализовывать в своем поведении собственные жизненные установки и т. д. и т. п.— причем все эти права традиционно рассматривались молодым поколением как привилегии взрослых, желание пользоваться которыми влекло его по пути нормального повзросления.

Так вот, первое, что обращает на себя внимание, когда мы пытаемся взять проблему повзросления не глобально и тотально, а конкретно и дифференцированно,—

это нежелание «хиппующей» молодежи принимать на себя обязанности и обязательства старших, и прежде всего обязанность повседневно трудиться. В зависимости от состава идей, наиболее модных на протяжении того или другого периода в западноевропейском сознании истекшей четверти века, принципиальное уклонение от этой человеческой обязанности обосновывалось различными способами.

В 60-х годах на Западе было довольно широко распространено убеждение, согласно которому «общество изобилия» достаточно богато для того, чтобы позволить большой части молодого поколения (имелась в виду в первую голову молодежь среднего и высшего среднего классов) вести в будущем «творческую» жизнь, свободную от «рутинизированных» форм повседневной трудовой деятельности. Предполагалось, что благодаря усилиям науки и техники всю ее удастся перепоручить машинам уже при жизни нашего поколения. Этот комплекс представлений так активно использовался для объяснения «хиппистского» нежелания трудиться, что со временем (и в соответствующей фразеологической оболочке) его стали использовать и сами «хиппи» для обоснования праведности своего, мягко выражаясь, «нетрудового» образа жизни.

Свой левый (леворадикальный и левоанархистский) поворот те же самые воззрения получили — во второй половине 60-х годов — у «новой левой» молодежи, в рядах которой в тот период оказалось много вчерашних «хиппи» и «битников». Согласно воззрениям «новых левых», ориентировавшихся на таких теоретиков франкфуртской школы, как М. Хоркхаймер и Т. Адорно, Г. Маркузе и Э. Фромм, позднекапиталистический Запад, полностью исчерпавший свои внутренние потенции, создал, однако, все возможности для того, чтобы уничтожить труд вообще, предоставив людям условия для «свободного творчества». Последнее трактовалось как нечто в принципе противоположное труду, отрицающее в нем самое главное и основное — его трудность, его серьезность, его обязательный и необходимый характер. При этом одним из важнейших объектов «новой левой» критики оказывался этот самый «дух серьезности», сообщавший труду характер не только жизненной необходимости, но и возвышенной нравственной обязанности. Этот «дух» рассматривался как выражение специфически буржуазного подхода к творческой деятельности, в результате которого она якобы и получила отчужденный характер «труда» между тем как по сути должна быть игрой, ничем не обусловленным самовыражением индивидов.

Все эти мотивы не- и антитрудовой идеологии, в которой «хиппующая» и «битничествующая» молодежь находила теоретическое обоснование (и оправдание, и освящение) своего изначального нежелания трудиться, на рубеже 60—70-х годов были «синтезированы» Ч. Рейчем и в особенности Т. Роззаком в идею контркультуры, где инфантильное отлынивание от работы было возведено чуть ли не в ранг мировоззренческого постулата, онтологического принципа. Общим фундаментом, на базе которого был осуществлен этот (прямо скажем, эклектически-кашеобразный) «синтез», был тезис, согласно которому — именно в силу своей исходной ориентации на труд, на трудовое преобразование (то есть подчинение, то есть покорение, то есть подавление, то есть эксплуатацию и т. д. и т. п.) природы — вся западная культура оказалась в вопиющем противоречии с естественной средой человеческого обитания, экологической средой.

Таким образом, стремление «уничтожить труд», идя, как говорится, навстречу пожеланиям «хиппующих» и «битничествующих» слоев западной молодежи, было заложено в глубинное основание контркультурной идеологии, что и обеспечило ей достаточно широкое распространение на Западе не только в начале, но и в конце прошлого десятилетия (правда, в существенно преобразованном виде). Причем с рецидивами этой идеологии приходится встречаться вплоть до сегодняшнего дня — факт, свидетельствующий как о ее глубокой укорененности в сознании определенной части западной молодежи, так и о нерешенности «молодежной проблемы», проявлением, выражением и консервацией которой была и остается контркультурная идеология.

Как видим, идея «ликвидации труда» имеет в сознании части западной молодежи характер патологически навязчивой идеи, преследующей ее на протяжении по крайней мере четверти века. Учитывая то в высшей степени значительное место, которое идея труда занимала в западной культуре вообще и сознании восходящей буржуазии в частности, нельзя переоценить всю колоссальную значимость этого обстоятельства. Оно свидетельствует о кризисе, затрагивающем основополагающие принципы западноевропейской культуры и цивилизации. Причем и свидетелем, и выразителем, и симптомом, и носителем кризиса оказалась именно молодежь, с которой принято связывать будущее любой культурно-исторической формы.

Кризис затронул сердцевину западной культуры — механизм самовоспроизводства ее как целого, связанный с передачей ее от одного поколения к другому, с наследованием ее образцов и норм каждым новым поколением, вступающим в жизнь. Дело ведь не в том, что определенные слои и группы молодежи на Западе, само появление, сам факт существования которых был свидетельством этого кризиса, не хотят воссоздавать, воспроизводить в своей жизни какие-то отдельные стороны культуры отцов. Они вообще не хотят заступать место тех, кто уже взял на себя труд воспроизводства (и соответственно развития) западной культуры, так как вовсе не хотят трудиться в традиционном — суровом, но точном смысле этого слова. «Хиппующие» и «битничествующие» молодые люди (которых — увы! — не так мало, как хотелось бы отцам) опрокидывают основной постулат, на котором до сих пор строились все без исключения концепции социализации молодежи, то есть включения ее во взрослую жизнь: они вовсе не стремятся занять место своих пап и мам. Наоборот, они вообще не хотели бы

становиться взрослыми (в этическом и социологическом смысле), а если уж это невозможно, то желали бы сколь угодно долго продлевать свое переходно-неопределенное (!) состояние инфантильности: великовозрастности без реального повзросления.

И вот как раз для того, чтобы как-то узаконить это — воистину странное и парадоксальное с точки зрения нормального функционирования культуры и общества состояние, чтобы придать ему содержательный смысл (или хотя бы его видимость),— для всего этого и необходим молодым рантье «общества потребления и вседозволенности» весь их маскарад: как фактический, связанный со стилем поведения и образом жизни, так и идеологический, связанный с манерой говорить и способом мыслить. Для того же самого потребовались и вызывающе откровенные парадоксы «новой левой» идеологии («Будьте реалистами — требуйте невозможного!» — это едва ли не самый модный и популярный лозунг 1968 года), кокетничающие своей явной абсурдностью «философемы» контркультурных идолов (например: «Время — это невроз»). Наконец, для того же потребовалось в совсем уж недавнее время инфантилам новой генерации обривать себе половину головы или раскрашивать наполовину лица, носить в ухе увесистую африканскую серьгу или что-нибудь в том же — но обязательно «шокирующем» — роде.

Однако то обстоятельство, что «хиппующая» (теперь мы имеем право взять это слово в самом широком смысле, включающем всех «уклоненцев»-инфантилов, начиная с «хиппи» и кончая «панками») молодежь не желает занимать место отцов, отказываясь выполнять их обязанности, вовсе не означает того, что она не желала бы пользоваться их правами, в особенности же привилегиями. Совсем наоборот: парадокс заключается в том, что именно для этой части западной молодежи изначально характерно ярко выраженное стремление присвоить себе права и привилегии взрослых, причем это стремление возникает у нее как раз очень рано — в подростковом возрасте, когда еще не стоит, да и не может стоять вопрос о связанных с ними обязанностях и обязательствах. Иначе говоря, будущие «хиппи», «гаммлеры» или «панки» вырастали из тех самых подростков, которые — в силу специфических причин, возникающих в обществе потребления и вседозволенности (и скорее затушевываемых, чем вскрываемых с помощью расплывчатого термина «акселерация») — «экспроприируют» у своих родителей взрослые права и привилегии, даже не задумываясь об их связи с соответствующими обязанностями и обязательствами.

Поскольку среди этих прав и привилегий захватываются, так сказать, явочным порядком прежде всего сексуальные (раннее, с 10—12 лет, приобщение к половой жизни взрослых), постольку возникает противоречие между ранним — чаще всего слишком патологически ранним — биологическим повзрослением и поздним — рискующим затянуться до седых волос — повзрослением социокультурного порядка, которое не только не способствует этическому и социальному повзрослению юношей и девушек, но, напротив, решительно препятствует ему. Вопреки тому, что до сих пор думают и утверждают фрейдо-марксисты, «сексуальная революция», влиянию которой на Западе подвержены достаточно широкие слои молодежи (и подростков), ни в коей мере не способствовала и не способствует социальному, а тем более этическому обновлению и преобразованию общества. Она способна лишь загнать его в глухой тупик «сексуально размягченного» инфантилизма, ибо у этих молодых людей утрачиваются — и чем дальше, тем в большей степени — стимулы к социокультурному повзрослению. Ведь в здоровых культурах и нормально функционирующих обществах оно предполагает определенные обязанности и обязательства. И лишь в качестве справедливого возмещения всех трудностей и тягот, сопряженных с их выполнением, дает молодежи желаемые права. В обществе же потребления и вседозволенности эта органически нерасторжимая связь распадается: молодежь (во всяком случае определенные ее слои — из наиболее обеспеченных) уже пользуется вожделенными правами и привилегиями — зачем же ей торопиться навстречу взрослой жизни, обещающей добавить к ним лишь унылые обязанности, которых у нее не было?

Более того: будущее грозит рано «захипповавшим» молодым людям неминуемой утратой тех прав и привилегий, которые они отвоевали у родителей, получив на них своего рода общественную санкцию — в «молодежной субкультуре». (Она поддерживает молодежь в ее «экспроприаторских» тенденциях, поскольку они способствуют нормальному функционированию огромной сферы производства и потребления — «товары для молодых».)

Эти конкретные права и привилегии имели тем большую привлекательность и ценность в глазах великовозрастных инфантилов, что для них они были свободны от многочисленных обязанностей и обязательств, какими сопровождались у родителей, оказывавшихся по отношению к своим собственным детям в качестве своего рода «низшего класса», во всяком случае до тех пор, пока дети не утратили своей... несамостоятельности.

Сознание этого реального положения вещей (его, пользуясь современной социологической терминологией, можно было бы назвать если и не классовым, то квазиклассовым), которое в более или менее артикулированной форме неизменно фиксируется у великовозрастных инфантилов, никак не может пробудить у них волю к повзрослению. Скорее наоборот: оно способно лишь парализовать эту волю, побуждая изыскивать новые и новые способы уклонения от необходимости принять наконец «печальный факт» своей собственной взрослости, взывающей к радикальному социокультурному выбору, не лишенному глубокого нравственного смысла. Речь идет о выборе индивидом самого себя в качестве социально ответственной личности,

то есть личности, ответственной за «воспроизводство» как своей собственной телесной и духовной жизни, так и жизни того социокультурного целого, каковому она обязана своим существованием именно в качестве *личности*, в качестве индивидуально определенного представителя рода homo sapiens.

Однако реальные условия жизни любого общества (и государственно-монополистический капитализм не составляет здесь никакого исключения) таковы, что молодому человеку — независимо от того, хочет он этого или не хочет, является он инфантилом или нет,— все-таки приходится в конце концов принимать на себя эту ответственность. Разница заключается лишь в том — подготовлен молодой человек к этому решающему повороту в его жизни или нет, делает он свой социокультурный выбор самостоятельно и свободно или его принуждают к этому обстоятельства, от которых ему уже невозможно уклониться. Как свидетельствует широкая волна «хиппизма» (в широком смысле), под влиянием которого оказывались, как правило, далеко не одни только «хиппи», «гаммлеры» или «панки», но и еще большее число «пассивно сочувствующих» молодых людей, симпатизирующих идее «ликвидации труда» [1], в истекшие четверть века западная молодежь оказывалась, как правило, достаточно скверно подготовленной к такому выбору. Чаще всего он делался под давлением жестоких обстоятельств, усугубляемых, с одной стороны, безработицей, сужающей возможности выбора, по крайней мере, *наименее непривлекательной* (коль скоро труд вообще, как говорится, вышел из моды) работы, а с другой стороны — инфляцией, вынуждающей отдавать этому «постылому труду» в 70-х годах *гораздо больше времени*, чем в 60-х, в 80-х — гораздо больше, чем в 70-х.

Отсюда — парадокс: работа, предстающая для одних слоев молодежи как жизненно необходимое благо, за которое они ведут борьбу наряду со старшими товарищами по несчастью, для других предстает как неизбежное зло, и зло тем более кошмарное, что его еще приходится выпрашивать у работодателей как милостыню. Подобно тому как безработица идет сегодня рука об руку с инфляцией, *принудительное безделье* одной части молодых людей дополняется углубляющимся *отвращением* к труду у другой (хотя и гораздо меньшей) ее части.

В этой ситуации абсолютно неизбежны нервные ошибки и психические срывы — необходимая дань за *позднее повзросление*, оборачивающееся для многих молодых людей настоящей трагедией. Во второй половине 70-х годов изображение этих трагедий становится одной из ведущих тем в литературе, посвященной молодежной тематике. Дело в том, что десятилетием раньше, в 60-х годах, отмеченных на Западе заметным общественным подъемом, упомянутые «ошибки» и «срывы» избывались в разнообразных формах политической активности западной молодежи: в митингах и демонстрациях, студенческих забастовках, «захвате власти» в учебных заведениях и т. д. и т. п. Все это тоже было — в большом числе случаев — специфическим способом «пролонгации» *состояния невключенности* во взрослую жизнь отцов, в их мир, представший в глазах бунтующей молодежи как насквозь коррумпированный и «отчужденный», заслуживающий только одного: *полностью развеществляющей* аннигиляции — как это происходило в финале фильма Антониони «Забриски-пойнт». Причем тогда еще оставалась надежда на то, что в случае подобного исхода за состоянием невключенности в «отчужденную жизнь отцов» последует *скачок* в жизнь, аналогичную той, что изображена в эротической сцене, образующей кульминацию названного фильма. В сцене, где «сексуальный акт» двух ведущих персонажей фильма сопровождается видениями «группового секса», которые должны символизировать жизнь, исполненную одного сплошного наслаждения, не имеющего ничего общего с постылым (и даже вредным, как дают понять зрителю) трудом по культивированию пустыни.

И если та часть западной молодежи, о которой у нас идет здесь речь, в конце концов убеждалась, что этим видениям не предстоит сбыться, по крайней мере в ближайшее время, с сегодня на завтра, и была вынуждена интегрироваться в тот самый взрослый мир унылого труда, повседневных забот и постылых обязанностей, против какового она так яростно восставала, то кое-что она все-таки получала от своей бурной молодости. Во-первых, было что вспомнить. Во-вторых, оставались еще кое-какие надежды (ну, не завтра, так послезавтра, не при нашей жизни, так при жизни наших детей, но все то, на что намекали популярные в те времена авторы, среди них и режиссер фильма «Забриски-пойнт»,— жизнь на основе «принципа удовольствия», противоположного, согласно Г. Маркузе, принципу труда,— непременно станет реальностью). В-третьих,— и это также немаловажное обстоятельство — определенная часть нервного и психологического напряжения, возникающего у «хиппующей» молодежи перед лицом неотвратимо надвигающейся необходимости включиться во взрослую жизнь, таким образом действительно «разряжалась».

Однако по мере того, как 70-е годы обнаруживали иллюзорность подобных утопических надежд на «блаженные острова», населенные освобожденными от необходимости трудиться вечными детьми (предающимися тем не менее весьма взрослым удовольствиям), ситуация молодого человека, испытывающего отвращение при мысли о необходимости включиться во взрослую трудовую жизнь, существенно изменилась. Тем более что изменился и общий фон, на котором ему приходилось избывать психические напряжения: это был фон уже не общественного подъема, а, наоборот, временного ослабления активности; во всяком случае, утраты надежд на социальность, публичность, которая так

[1] Для многих из них эта идея оказалась не вполне адекватным способом выражения протеста, имеющего и совершенно иные источники.

и не обеспечила обещанный «рай — немедленно» (так называлась одна из модных на рубеже 60—70-х годов поп-опер, возникших «из духа» контркультуры).

По мере того как складывалась эта новая атмосфера, молодым людям приходилось избывать социально-психологические трудности ничего не обещающего повзросления, как правило, в одиночку и без прежних спасительных иллюзий. Эту молодежь характеризует бóльшая житейская трезвость (но и больший скептицизм, не лишенный пессимистических обертонов), не оправдавшей себя «публичной жизни» она противопоставляет погруженность в жизнь частную (со свойственной ей опасностью партикуляризма и индивидуализма). «Синей птице» немедленного рая, обещанного всем, она предпочитает «рай» гораздо более прозаический, но и более реалистичный, хотя и рассчитанный уже на сугубо партикулярное употребление. Такой «синицей в руках», которую на Западе нынче явно предпочитают «жаворонку в небе», становится внерабочее, свободное время — время досуга, каковой каждый норовит проводить на свой особый манер, реализуя здесь свои фантазии и утопии, не получающие общезначимого осуществления в сфере труда — будь то материальное производство, административная или даже научная деятельность.

Согласно данным опросов населения ФРГ, приведенным видным социологом Э. Шойхом на советско-западногерманском симпозиуме (он состоялся в июне 1982 года в Институте социологических исследований АН СССР), лишь от 15 до 20 процентов опрошенных граждан заявили, что предпочли бы карьеру в любой области трудовой деятельности большему свободному времени. Остальные совершенно недвусмысленно дали понять, что безусловно склоняются в пользу свободного времени: от 80 до 85 процентов взрослого населения ФРГ придает ему гораздо большее значение, чем возможности сделать карьеру ценой сокращения времени досуга. Для некоторых из тех, кто формировался на Западе в 50—70-е годы или составляет ряды сегодняшней молодежи (во всяком случае для подавляющего большинства из них), целью жизни является уже не труд, как это было во времена господства в западном сознании протестантской этики индивидуального труда и личной ответственности, а досуг — как высший принцип той своеобразной нынешней этики, которую можно было бы назвать «этикой потребления и (максимально возможного) уклонения от ответственности».

Поскольку идея «ликвидации труда» и замены его одним сплошным «творчеством» (либерально-позитивистский вариант) или полного растворения его в «наслаждении» (левогедонистический вариант), впечатлявшая умы части западной молодежи с конца 50-х до начала 70-х годов, оказалась неосуществимой утопией, постольку приходилось идти на компромисс. Этим компромиссом и оказалась нынешняя идея свободного времени, взятого в его коренной противоположности времени, отдаваемому трудовой деятельности: идея досуга, существующего рядом, бок о бок с трудом (от которого так и не удалось избавиться), но как бы в совершенно ином — и несовместимом с ним — измерении.

Труд и свобода окончательно размежевываются: там, где есть труд — со всей неотделимой от него суровой трудностью,— не может идти речь о свободе; там же, где есть свобода (и соответственно «творчество», наслаждение, ничем не детерминированное «самоосуществление индивидуальности»), нет места труду, если понимать под ним нечто обязательное, непреложное, подчиняющее человека своему жесткому ритму и темпу. А соответственно раздваивается и сам человек: в качестве работающего он не имеет ничего общего с собой отдыхающим; предаваясь наслаждениям досуга, он расстается со всем тем, что было свойственно ему (быть может, всего полчаса назад!) как «трудящейся единице», «трудовому элементу».

И опять-таки, особенно характерно это «самораздвоение индивида» для молодежи, у которой оно выливается в наиболее разительные формы. Согласно данным того же Э. Шойха, для двух-трех процентов западногерманской молодежи характерны «крайние формы поведения» в свободное время — в смысле их отклонения от нормальных и общепринятых. Они распространяются не только на область бытового поведения, но и на область художественных, идеологических, религиозных и т. д. предпочтений и пристрастий, определяющих выбор «духовных благ», которыми насыщается досуг. При этом — что еще более симптоматично — одна треть всей молодежи ФРГ симпатизирует этим экстремистским формам и способам «приватной самореализации» в свободное время, хотя и не всегда решается испробовать их на практике.

Сфера досуга оказывается, таким образом, «испытательным полигоном», где апробируются (каждым в одиночку, на свой страх и риск либо в рамках предельно узкой неформальной группы) стили жизни, альтернативные тому — общезначимому! — жизненному стилю, который с фатальной непреложностью навязывается людям обязанностью трудиться и выполнять определенный минимум социально необходимых обязательств. Причем речь идет не об одном, но именно о нескольких (или даже многих) альтернативных жизненных стилях. Ведь в отличие от области труда, включение в каковую предполагает социально ответственный выбор себя индивидом, область свободного времени и досуга остается сферой, где можно наслаждаться отсутствием жестокой необходимости делать подобный выбор и переходить от одного экзотического стиля жизни к другому, еще более экстравагантному. Условием же возможности апробирования новых и новых жизненных стилей — подобно актеру, переходящему от одной роли к другой,— является именно резкое обособление внерабочего времени от рабочего, свободного — от необходимого, досуга — от труда.

На этой почве и происходит сегодня то, что западные социологи называют «партикуляризацией» и «плюрализацией» способов

проведения свободного времени и с чем некоторые из этих социологов (и в частности Э. Шойх) связывают перспективу преодоления «массового общества» на пугях превращения его в «сумму частных миров». При этом, однако, предается забвению, вытесняется на периферию теоретического сознания факт весьма и весьма относительной самостоятельности этих «партикулярных миров», поскольку к ним современный западный индивид принадлежит лишь одной своей частью, тогда как другой — и едва ли не главной, во всяком случае решающей, определяющей его судьбу — он принадлежит сфере общественного производства, социокультурного воспроизводства человеческого рода, существующей в конкретной, исторически данной форме. И это «весомое, грубое, зримое» обстоятельство не может не давать о себе знать даже в рамках тех «альтернативных жизненных стилей», которые в своем противостоянии тому стилю жизни, что навязывается нам миром труда и социокультурных обязательств, кажутся дальше всего отстоящими от него.

Война, которую на протяжении 25 лет вели прогив «жизнерадостного робота» западного индустриального (теперь его называют «урбаноиндустриальным») общества сперва «хиппи», неожиданно превратившиеся затем в «новых левых» экстремистов, а следом за ними инфантильные приверженцы контркультуры, совсем недавно обернувшиеся не менее карикатурными «панками», закончилась заключением перемирия. «Жизнерадостный робот» и великовозрастный инфантил, никак не желавший трудиться, побратались. И теперь на том месте, где они обнялись, воткнув штыки в землю, замаячила странная фигура: инфантила и робота в одном лице. Робот в рабочее время, инфантил — после работы; робот утрачивает свою жизнерадостность, инфантил же приобщается к труду (под облегченные вздохи измаявшихся мам и пап). Не в этом ли смысл заключенного перемирия?..

И не здесь ли источник новых, еще неведомых нам трагедий, без которых вряд ли можно обойтись в ситуации слишком позднего — и такого унылого! — повзросления? Полуробот-полуинфантил, смогут ли эти две души мирно уживаться в одном теле, не вступив в драматическую коллизию — теперь уже на более ограниченном пространстве обособленного индивида: единички, замкнувшейся в себе?

«МОЛОДЕЖНЫЙ РОМАН» 70—80-х ГОДОВ НА ЗАПАДЕ. ЭВОЛЮЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Беседа в редакции

А. ЗВЕРЕВ. Прогнозы — занятие рискованное, как впрочем и широкие обобщения. Когда мы говорим о путях и судьбах молодежи Запада выводы приходится взвешивать с особой тщательностью. Ведь близкая история обогатила нас примерами резких перепадов в нравственном самосознании сменявших друг друга поколений, в их умонастроении, взглядах и понятиях.

Разумеется, при всех этих перепадах сохранялась и некая общность восприятия действительности, свойственного именно молодым. Оно неизменно окрашено неудовлетворенностью. Для такого недовольства существует целый ряд конкретных социальных причин. Трудно получить образование. Трудно с работой. То и дело дают о себе знать разные формы дискриминации. Вступая в жизнь, вчерашние подростки сразу же сталкиваются с горькими реальностями буржуазного общества переживая эти столкновения болезненно и остро.

Так возникает у них комплекс отчужденности от подобного мира эмоциональной и духовной чужеродности ему, неприкаянности и неуюта. Старшие если и не приняли окружающую жизнь, то обвыкли в ней, освоились,— создается почва для конфликтов внутри семьи, где распалась преемственность поколений. Возрастная близость оказывается действеннее кровных уз.

Появляются иллюзии насчет особой судьбы собственного поколения, будто бы представляющего собой прочное единство, которое предопределено одной и той же «бунтарской» позицией, одной и той же настроенностью на неприятие ценностей и норм, утвердившихся в обществе. Но такие иллюзии не могут быть долговечными. Для большинства «бунтарство» заканчивается вместе с юностью, и былые нонконформисты превращаются в безликих среднестатистических обывателей.

Наблюдая эту метаморфозу, другие, не подчинившиеся заведенному порядку вещей, лишь отчетливее осознают свое одиночество. Из этого чувства нередко вырастают безответственность и аморализм. Для несмирившихся они предпочтительнее, чем благополучное и сытое существование законопослушного потребителя в «массовом обществе».

Описываемая ситуация в принципе не меняется на Западе уже много лет. Она, конечно, и не может измениться без коренной переделки общественных установлений. И поэтому проблема молодых — всегда острая, трудная проблема. Периодически она приобретает повышенную ак-

---

ЗВЕРЕВ АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ (род. в 1939 г.).

Советский литературный критик; кандидат филологических наук Автор книг «Джек Лондон» (1975) «Модернизм в литературе США» (1979), «Американский роман 20—30-х годов» (1982), «Грустный солнечный мир Сарояна» (1982), многих статей по проблемам современной зарубежной литературы.

туальность, и не будет большим риском утверждать, что и в 80-е годы мы станем свидетелями подобных вспышек «молодежного» конфликта, перерастающего в серьезные общественные кризисы. Юрий Николаевич Давыдов обстоятельно и аргументированно раскрыл истоки подобных кризисов. Но все-таки, на мой взгляд, нарисованная им картина носит в известной мере односторонний характер. Что и говорить, в молодежном движении последних десятилетий мы постоянно сталкивались и с незрелостью мысли, и с анархией нравственных представлений, и с безответственностью. Тем не менее мне трудно согласиться с тем, что драматическая коллизия, развертывающаяся в сознании молодых «бунтарей», сводится всего лишь к несовместимости «полуробота» с «полуинфантилом». Думается, парижский май 1968 года, как и студенческие волнения, прокатившиеся чуть раньше по университетам многих американских городов, да и еще многие события такого же характера совершенно недвусмысленно засвидетельствовали значительность тех социальных проблем — проблем этики, жизненной ориентации, культуры, которые дали толчок молодежному движению и в ходе этого движения приобрели свою, быть может, наиболее заостренную формулировку.

Я далек от попыток приукрашивать реальное положение вещей, сглаживая кричащие противоречия «молодежного бунта» и не замечая духовной, идейной незрелости, о которой пишет Юрий Николаевич. Просто хотелось бы, чтобы за деревьями не потерялся лес: самое ведь существенное в этой неостывшей истории — та массовость и обостренность ощущения кризиса всей системы ценностей буржуазного общества, та непримиримость к его обанкротившимся институтам, которая только и могла сделать движение молодых явлением столь значительным и серьезным. И на мой взгляд, эта история далеко не завершена, точка не поставлена, пусть ощущается сегодня известный спад бунтарских настроений. Правда, я бы поостерегся предсказывать в скором будущем новую волну «революции молодых», вроде той, которую мы наблюдали десять — пятнадцать лет назад.

Дело в том, что события, увенчанные знаменитым парижским маем 1968 года, слишком очевидно выявили несостоятельность левоэкстремистских и анархических программ социального переустройства. У тех, кто пришел на смену «бунтарям» шестьдесят восьмого, не сохранилось доверия не только к тогдашним лозунгам радикального обновления общества, но и вообще к радикализму как идейной позиции. На протяжении 70-х годов наблюдались стремления совсем иного характера. Шло трезвое и весьма критическое осмысление безрадостных итогов несостоявшейся «революции». Нарастал скепсис относительно «контркультуры», «новой чувственности» и прочих ее святынь.

Надо сказать, сама напряженность споров вокруг этих явлений, как будто уже отшумевших, лучше всего свидетельствовала о том, что проблемы, так резко выявившиеся в ходе молодежных выступлений конца 60-х годов, никуда не исчезли. Да и как могли исчезнуть эти проблемы? Ведь коллизии, пробудившие бунтарскую энергию молодых, которая выплеснулась тогда на парижские площади и американские университетские «кампусы»,— не скоропреходящего свойства.

Конкретные обстоятельства, приведшие к этим взрывам,— скажем, война во Вьетнаме и вызванное ею мощное движение протеста — теперь стали достоянием истории. Однако за конкретным и злободневным нельзя утрачивать из вида общее и фундаментальное. Ведь то же антивоенное движение выражало протест не только против авантюры США во Вьетнаме, но и шире — против милитаризма, против насилия, возведенного в норму политических отношений и даже повседневного бытия, против несвободы, прикрытой мифами о «равных возможностях». Та же «контркультура» представляла собой типичный левацкий выверт и закономерно потерпела банкротство. Но за этими разрушительными для искусства попытками подменить творчество голой эмоциональностью и «спонтанностью» скрывалось безошибочное ощущение разрыва между номинальной ценностью истинной, высокой культуры и ее реальной функцией в «массовом обществе», где овладение знаниями становится средством продвижения вверх для получивших ученые степени, оставаясь мертвым грузом для остальных.

«Новая чувственность» обернулась только громогласной этической вседозволенностью. И все-таки можно понять, отчего такая яростная атака велась на последние моральные запреты. Ведь для буржуазного сознания сама нравственность оказывается всего лишь инструментом подавления подлинно свободного и подлинно гуманного развития личности.

Какими бы ложными идеалами ни вдохновлялось молодежное движение 60-х и 70-х годов, оно сумело обнажить некоторые очень глубокие конфликты действительности, сделав их очевидными для всех и каждого. Поэтому даже его наиболее решительные противники, отвергая методы и цели, не могли не признать серьезности поставленных им проблем.

Это хорошо видно на примере нескольких значительных произведений американской литературы, созданных и по горячим следам «революции молодых», и уже после ее завершения. Назову такие книги, как «Веселый месяц май» Джеймса Джонса, книга 1971 года, или вышедшего в том же году «Кролика исцелившегося» Джона Апдайка, «Ореховую дверь» Джона Херси — 1977 год, «Молитвенник» Джоан Дидион, год 1978-й,— в них показаны неслучайность бунта молодых, принявшего массовый характер, и значительность проблем, которые он выявил.

Другой вопрос, что перед этими проблемами оказалось бессильным и само молодежное движение той поры. В наследство 70-м оно оставило четкое сознание глубины, масштабности кризиса, переживаемого и обществом, и культурой, но не такой опыт преодоления этого кризиса, который мог бы послужить опорой на будущее.

И когда более или менее утихомирились взбудораженные университетские городки, ощутимо обозначился барьер между вче-

рашними «бунтарями» и их преемниками. «Бунтари» все еще верили в химеры стремительно угасающей «революции». Преемники не верили ни во что. Это поколение оказалось в ситуации распутья, безверья, духовного и идейного разброда.

Оттого и в литературе оно не заявило о себе так широко и впечатляюще, как молодежь 60-х годов. И в самом деле, куда, например, девалась так называемая «молодежная проза»? В последние годы книги о молодых появлялись редко и, как правило, они заполнены отголосками отшумевших событий, словно бы о самом себе новому поколению сказать нечего. Должно быть, поэтому оно не выразило себя ни в поэзии, ни в театре, ни в кинематографе минувшего десятилетия. Его облик скорее угадывается по косвенным свидетельствам.

Но и косвенные свидетельства способны сказать о многом надо лишь отнестись к ним с должным вниманием. О себе молодые теперь пишут мало и невыразительно, однако литература молодых и в 70-е годы — вовсе не фикция, во всяком случае, если иметь в виду США. Дебюты многочисленны, и подчас это обещающие дебюты.

Наши читатели уже знают Энн Тайлер и ее роман «Блага земные». Нетрудно назвать и еще несколько имен: Энн Бити, Мэри Гордон, Ричард Прайс... Они обратили на себя внимание к концу 70-х годов. У них немало общего: всем около тридцати или чуть больше, все в юности испытали увлечение социальными и культурологическими концепциями, приведшими к «левому взрыву», все прошли через полосу разочарования.

Видимо, это было глубокое разочарование. Оно и по сей день побуждает молодых американских прозаиков — в отличие от их литературных сверстников, например, в ФРГ или Италии — старательно избегать в своих произведениях непосредственно идеологической и политической проблематики, перед которой они попросту теряются, явно не доверяя скоропалительным решениям, в свое время предложенным адептами «революции сознания», и не находя других.

В определенном смысле этот уход от злобы дня, конечно, составляет слабость молодой прозы США. У нее вообще достаточно изъянов. Чувствуется творческая несамостоятельность, холодная мастеровитость. Крайне отрицательно сказывается и атмосфера жестокой конкуренции на книжном рынке. Вынужденные подстраиваться под невзыскательные вкусы покупателей книг, дебютанты уснащают свои произведения то примитивным юмором, то грубой эротикой.

Тем не менее перед нами одаренные люди, которые стремятся утвердить собственные представления об американской жизни. И при этом неизбежно вступают в полемику с предшественниками. «Молодежный роман» 60-х годов, испытавший сильное воздействие леворадикального мышления, изображал горячие перекрестки, где свершается история, и был прямолинейно однозначен, когда судил о ее перспективах. Книги молодых, появившиеся десятилетие спустя, изображают повседневность, будни небольших городков, обыденную жизнь непримечательных людей, реальность в ее невзрачном облике, в ее на вид скучных, а по сути глубоко драматичных коллизиях и противоречиях.

И по проблематике, и по художественному языку это очень традиционные книги. Они заставляют вспомнить и «Главную улицу» Синклера Льюиса, и Уайнсбург, описанный Шервудом Андерсоном, и глухие углы американского Юга, так властно притягивавшие воображение Уильяма Фолкнера.

Разумеется, дебютантам 70-х годов далеко до таких вершин. Но существенна сама тенденция. Молодым американским прозаикам хочется говорить о действительной жизни, а не подвергать ее деформации в согласии с доктринами левацкого толка. И это стремление не случайно. В сущности, оно совпадает с той основной творческой установкой, которая выявилась в американском романе 70-х годов, предопределив усиление позиций реализма.

Пафос объективного свидетельства и непредвзятого размышления о текущей истории неотделим от самой сущности реалистического искусства. Именно этот пафос преобладает в книгах, созданных молодыми романистами США. Закономерны и их творческие удачи — такие, к примеру, как написанный в 1978 году роман Мэри Гордон «Прощальный долг», привлекающий недюжинным мастерством, с которым в нем переданы быт, понятия, нравы современной «одноэтажной Америки».

Можно было бы упомянуть и другие произведения. Впрочем, творчество дебютантов последних лет заслуживает особого разговора. Здесь важно лишь подчеркнуть, что в целом оно отмечено нескрываемым, даже подчеркнутым тяготением к реализму и многоплановой картине действительности.

На мой взгляд, это самое главное. Не приходится сомневаться, что сегодняшние молодые писатели выразили духовную настроенность, во многом противоположную взглядам, характерным для 60-х годов, и выявившуюся в процессе критического переосмысления таких взглядов. Для этой настроенности пока что не слишком характерен радикализм. Но ее отличают попытки проявлять трезвость, честность, непредвзятость — качества очень ценные и перспективные как для гражданского и этического самоопределения молодых американцев, так и для литературы, которая выражает их миропонимание.

Г. АНДЖАПАРИДЗЕ. Думаю, так называемая молодежная тема в западной литературе после второй мировой войны прошла два этапа. Первый: конец 50-х — начало 60-х годов. Это, например, «битники» в США, «рассерженные молодые люди» в Англии... Протест молодых авторов и их героев против буржуазного общества был демонстра-

---

АНДЖАПАРИДЗЕ ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ (род. в 1943 г.).

Советский критик, автор книг «На пути к герою» (1979), «Потребитель? Бунтарь? Борец? (Заметки о молодом герое западной прозы 60 — 70-х годов)» (1982), а также ряда статей по советской и зарубежной литературе.

тивен, декларативен и громок, но, как показало время, совсем не конструктивен. Второй этап, или «вторая волна»,— это конец 60-х — начало 70-х годов. Литература с большей или меньшей степенью объективности отразила реальный взлет молодежного движения в эти годы практически во всех развитых странах капиталистического Запада. К концу 70-х годов молодежный активизм как будто сходит на нет. Литература фиксирует его спад — заметно скудеет поток книг о молодежи. Связь литературы с жизнью в данном случае непосредственна и очевидна.

Но можем ли мы сказать, что молодежное движение исчезло, исчерпало себя потому, что проблемы, волновавшие молодых 60—70-х годов, благополучно разрешились? Конечно, нет. Здесь я совершенно согласен с Алексеем Матвеевичем. Более того, многие из этих проблем, например безработица среди молодежи, еще резче обострились. Найти дело по душе, свое место в жизни молодому человеку на Западе становится все труднее. Летом 1981 года было объявлено, что правительство Маргарет Тэтчер планирует серьезно сократить расходы на образование, в результате чего существенно уменьшается количество мест в высших учебных заведениях. Сокращение приема в университеты лишает многих выпускников школ возможности продолжать учебу и удлиняет и без того солидные очереди на биржах труда — ведь без профессиональной квалификации получить какую-нибудь приличную работу практически невозможно. А сколько в Западной Европе и США безработных с дипломами? Десятки тысяч, особенно среди гуманитариев. Словом, большинство проблем, волновавших персонажей романов самого начала 70-х годов, таких как «За стеклом» Робера Мерля, «Ирреволюция» Паскаля Лэне, «Дочь профессора» Пола Пирса Рида — я называю книги, известные советскому читателю,— столь же злободневны сегодня, как и десять — пятнадцать лет назад.

Можно ли поверить в то, что молодые смирились с судьбой безработных иждивенцев «общества потребления»? Сомнительно. Мне, в отличие от Алексея Матвеевича, явственно слышится подземный гул, предвещающий новые серьезные столкновения, новые ожесточенные бои между властями предержащими капиталистического общества и молодыми гражданами, этого общества не принимающими.

Грозным и несколько неожиданным предупреждением истеблишменту прозвучали молодежные волнения, прокатившиеся по ряду английских городов летом 1981 года. Правая печать поспешила объявить тех, кто оказывал сопротивление полиции, «хулиганами и бандитами». Однако даже в совершенных ими актах откровенного вандализма была своя страшная логика. Из кого состояла толпа, крушившая витрины магазинов, поджигавшая автомобили, забрасывавшая полицейских камнями и бутылками с бензином? Из молодых безработных. Выпускник английской школы, ни дня не проработавший и не могущий устроиться на постоянную службу, получает пособие — 17 фунтов в неделю. Существовать на эти деньги нельзя, не говоря уже о том, чтобы по моде одеться, сходить в кино или посидеть в пабе с приятелями. Но, попадая, скажем, на главную торговую улицу британской столицы Оксфорд-стрит, этот молодой безработный видит изобилие товаров — буйное пиршество потребления, в котором он со своими жалкими пенсами не может принять участие. И у него нет никаких перспектив стать полноценным потребителем. Такой «человек второго сорта», который не может купить какую-то вещь потому, что она ему не по карману, ощущает себя изгоем. Психологически подобную ситуацию незрелому сознанию перенести сложно. И тогда новоявленный «изгой» берет камень или палку и начинает крушить все, что попадается на его пути. Это вовсе не «левый бунт». Это «бунт недопотребившего потребителя».

«Общество потребления», как скорпион, жалит самое себя. Успешно воспитав во многих молодых «потребительский синдром», оно в то же время не дает им возможности удовлетворить свое стремление потреблять. Тут и возникают стресс, депрессия, склонность к немотивированной жестокости и агрессивности, те самые нервные «сшибки» и психологические срывы, о которых пишет Юрий Николаевич Давыдов.

Конечно, битье витрин сознательным протестом не назовешь, но и оно — свидетельство того, что немалые массы молодых людей в силу разных обстоятельств не способные интегрироваться в систему современного буржуазного общества, стихийно оппозиционны ему и потенциально представляют собой легко воспламеняющийся материал.

Однако стычки с полицией — это лишь один уровень протеста. В той же Великобритании летом 1981 года, на севере Англии и в Шотландии, мне посчастливилось встретиться с молодыми рабочими и интеллигентами, которые кратко, но доказательно и весомо обосновывали необходимость социалистической революции в Англии в ближайшем будущем.

Повторяю, мне кажется, что сегодня мы на пороге нового этапа молодежного движения в странах Запада и, следовательно, некой новой связанной с ним литературы.

Однако и нынешняя литература не сдает позиций и стремится писать правдивую картину жизни современной молодежи, ее проблем и интересов. В этом смысле, на мой взгляд, важна и характерна небольшая повесть норвежца Эспена Ховардсхолма «История о Калле и Рейнерте», о которой мне уже приходилось писать. Несмотря на некоторый левацкий перехлест, ощутимый в книге, в ней прослежен нелегкий путь молодого правонарушителя Рейнерта в ряды рабочего класса. Он и его товарищ Калле — безработные, члены группы столь же неустроенных молодых людей: они бесцельно убивают время, глуша себя выпивкой и наркотиками, каждый день балансируют на грани преступления. Однажды Калле и Рейнерт развлечения ради угоняют машину и во время погони пуля полицейского настигает Калле. Гибель друга заставляет Рейнерта по-иному взглянуть на мир. Приход в рабочий коллектив помогает ему осмыслить многие проблемы, в частно-

сти понять, кто на самом деле виноват, что так нелепо оборвалась жизнь его друга. И теперь Рейнерт уже не стихийный бунтарь, он сознательный противник капиталистической системы.

Важно, что повесть эта увидела свет в 1978 году, ровно через десять лет после высшей точки молодежного движения. Она — яркое и убедительное свидетельство тому, что даже в таких относительно благополучных странах, как Норвегия, тысячи молодых людей испытывают острое чувство неудовлетворенности, и многих из них оно приводит к осознанию социальной несправедливости, лежащей в основе «общества потребления».

Путь Рейнерта — один из вариантов судьбы молодого неудовлетворенного героя, вариант наиболее перспективный, но, наверное, и самый непростой, требующий ума и силы характера. Те же, кто привык плыть по течению, как юные Мёрф и Броди из романа американца Пола Теру «Семейный арсенал», написанного в 1976 году, часто становятся пешками в жестокой и страшной игре. Волею судеб эти трудные подростки оказались в группе террористов и теперь готовы взорвать все вокруг, ибо не дорожат они ничем и сама идея созидания чужда им.

Есть еще и другой путь для тех, кто не хочет следовать стереотипам буржуазного общества,— путь полного и окончательного разрыва с ним, сознательного от него отстранения, современная модель эскепизма. Об этом повествует последний роман Кейта Уотерхауса «Мэгги Магтинс, или Весна в Эрлс-корте», вышедший в 1981 году. Главная героиня, Мэгги,— ровесница молодых бунтарей конца 60-х — начала 70-х годов, но политика ее никогда не интересовала и не интересует. Лет десять тому назад из маленького провинциального городка она вырвалась на просторы лондонских площадей и улиц, реализовав мечту большинства провинциалов. Но это и был весь ее «успех». Впрочем, стремилась ли она добиться денег, сделать карьеру? Вовсе нет, потому что все окружающее ей органически чуждо. Продолжает она жить в столице лишь потому, что в большом городе легче затеряться. Ее Лондон — не средоточие исторических и культурных ценностей, не город шикарных отелей и магазинов — это Мэгги как бы и неведомо. Ей знаком другой Лондон — город маленьких, полутрущобных квартирок без удобств, захламленных станций метро. Вот по этому своему Лондону Мэгги кружит, как птица, лишенная гнезда. Утрачены все связи, даже семейные. Раз в год она встречается с отцом, провинциальным добропорядочным буржуа. Они мирно, без всяких ссор и конфликтов обедают в ресторане, а Мэгги мечтает лишь об одном: скорее бы он ушел. Она уверена, что ему эти встречи так же не нужны, как и ей. Здесь нет и не может быть столкновения, поскольку нет и самого элементарного душевного, эмоционального контакта.

Своеобразная семейная коллизия — в центре внимания автора вышедшего во второй половине 70-х годов романа «Успех» английского прозаика Мартина Эмиса. В нем два главных героя, два молодых человека, названые братья Теренс и Грегори, воспитывавшиеся вместе в доме родителей Грегори — представителей старинного английского джентри. Но младший, Теренс, родился в бедной семье, рано осиротел и, хотя был усыновлен родителями Грегори, так никогда и не смог преодолеть своеобразный комплекс приемыша. Он мучительно, до ненависти, завидует Грегори, его манерам, вкусу, умению одеваться, способности к творчеству — тот работает в художественной галерее. Одним словом, Грегори — своего рода интеллектуальный плейбой, а беднята Терри — мелкий и жалкий клерк, унылый и непривлекательный. Но на самом деле Грегори еще более ничтожен. Он всего лишь умелый хвастун и показушник, он бездарен, не умеет и не хочет трудиться. Терри же в высшей степени трудолюбив. Чтобы самоутвердиться и доказать Грегори, что и он на что-то способен, он начинает делать карьеру. Однако Терри удивительный, парадоксальный карьерист, совсем непохожий на своих предшественников — молодых карьеристов из западной литературы XIX и первой половины XX веков: те либо хотели добиться власти и богатства, либо мечтали, заняв высокое положение в обществе, изменить его. Продвигаясь по служебной лестнице, Терри, как ни странно, не обретает истинного чувства уверенности в себе, в завтрашнем дне. Его нынешняя видимость уверенности сродни пижонству живущего на отцовские подачки Грегори. Терри постоянно преследует липкий, неотвязный страх остаться без работы. Внешнее благополучие вполне доступно трудолюбивому и целеустремленному Теренсу. Но внутренне он никогда не примет общества, в котором вынужден жить.

Быть может, в книгах о молодежи последних лет не так много героев, сознательно бросающих вызов буржуазному обществу, но нет и образов молодых, нашедших свое место в буржуазном мире, удовлетворенных и умиротворенных. Думаю, этот момент показателен.

Сегодня пора подводить итоги молодежному движению 60—70-х годов. Какими новыми путями пойдет отныне западная молодежь, недовольная «обществом потребления», сказать трудно, но подземный гул не затихает — его прекрасно слышат и писатели старших поколений. Недаром в книгах крупных английских прозаиков, таких как Голдинг, Спарк и Уилсон, в последние годы тема молодежного протеста, молодежного терроризма становится одной из главных.

Словом, жизненные проблемы и конфликты не сняты и не утратили своей остроты. Следовательно, их дальнейшее развитие обязательно отразит литература о молодежи.

Ц. КИН. Когда сталкиваешься с каким-нибудь очень сложным вопросом и возникает искушение — чисто психологическое — подойти к нему немножко облегченно, я вспоминаю об одном письме, которое Энгельс во времена Первого Интернационала прислал молодому итальянскому революционеру Карло Кафьеро. Энгельс писал: «Благодарим Вас также за Ваше решение излагать нам факты такими, каковы они в действительности. Наше Товарищество достаточно сильно, чтобы знать подлинную правду, даже если она кажется неблагоприятной...» [1].

Думаю, это суждение должно быть программным для всех нас. Вспомнишь о том, как мыслил Энгельс, и становится ясным, что не надо никогда поддаваться таким вот искушениям, надо думать об этой самой «подлинной правде».

Сейчас я говорю это потому, что Георгий Андреевич, если я правильно поняла его, считает, будто настало время пересмотреть оценку молодежного движения, которое всегда считали «левым», а теперь будто бы надо рассматривать его как «правое». Может быть, нам было бы удобнее так думать, легче было бы сказать: «Это породили правые» — и в какой-то мере обрести душевный покой. Но я лично самым решительным образом возражаю против подобной переоценки ценностей или антиценностей, если хотите. Вообще, мне кажется, надо всегда очень и очень осторожно подходить к классификациям, когда речь идет о сложных общественных явлениях. Во-первых, с самого начала в них обычно бывают различные грани, группировки и оттенки. Достаточно сопоставить ту часть молодежи, о которой пишет Юрий Николаевич Давыдов, и ту, убежденную в необходимости социалистической революции, о которой рассказал Георгий Андреевич. Во-вторых, каждое движение, подобное движению контестации, неизбежно претерпевает изменения в процессе своего развития.

Буду говорить только об Италии, хотя мне кажется, что все это в большой степени относится и к французскому маю 1968 года. Но ограничусь Италией. Движение контестации, название которого образовано от итальянского слова contestazione — оспаривание, неприятие, протест, бунт,— при всей своей пестроте, носило антикапиталистический характер и было продуктом и следствием глубокого кризиса — социального, политического и духовного. Вину за этот кризис несли правящие классы. В частности, система образования, особенно высшего, была недемократической и против нее (при всех издержках и перегибах) имелись достаточные основания протестовать.

Участники движения контестации конца 60-х годов много читали, хотели знать первоисточники. Нельзя сказать, что выбор книг всегда был разумным. Правда, читали Маркса, Ленина и Грамши, но наряду с этим «красную книжечку» Мао и тому подобное. В 1977 году во многих городах Италии произошел как бы второй акт молодежного бунта, но характер его уже тогда значительно изменился. Интерес к теории уступил место «прямому действию» — актам вандализма, призывам к насилию. Часть этих очень молодых людей, скорее подростков, включала в свои действия момент почти что игры (например, так называемые «городские индейцы»), но другая часть вступала в организации, ставившие своей задачей поощрять насилие, прибегавшие к террору как методу борьбы против системы, причем — это очень важно — в понятие «системы» включали не только правящую верхушку, но и партии рабочего класса, и профсоюзы, и общедемократическую печать [1].

Именно в это время внутри молодежного движения появились уже «инфильтрованные», то есть специально подосланные люди, возможно связанные даже с заокеанскими секретными службами. В конце 60-х годов никого не убивали — на этом втором этапе начали убивать, похищать людей с целью получения выкупа, стрелять в ноги в тех случаях, когда убивать не считали нужным, но напугать своих «врагов» хотели. Лозунги были крайне радикальными, слово «революция» истолковывалось и использовалось или безответственно, или с сознательным цинизмом. Но некоторые бывшие участники контестации к этому времени уже вообще перестали заниматься политикой, благополучно интегрировались в эту самую «систему», обзавелись семьями, стали зарабатывать деньги (чем больше, тем лучше!) и превратились в типичных мелких буржуа, а порой и не таких уж мелких. Судя по тому, что говорил, например, Алексей Матвеевич, такая эволюция характерна не только для Италии.

Не поймите меня неправильно, пожалуйста: конечно, часть, самая лучшая часть бывших сторонников движения контестации, пройдя через трудный опыт нескольких критических лет, примкнула к организованному рабочему движению и нашла свое место в нем. Для людей этого типа идеи сохранили свое значение.

Таким образом, как видите, в Италии все очень пестро и зыбко. Вещи, о которых я сейчас говорила, естественно, отражаются и в культуре, в том, что читают, какое место в жизни людей, особенно молодых, занимают книги и средства массовой информации. Здесь мы можем в большой мере опираться на данные социологов, на разные опросы. Результаты не слишком утешительны.

С одной стороны, несомненен интерес к историческому роману, причем пишут о XIII или XIV веке, а по существу, это выход в сегодняшний день. С другой стороны,

---

КИН ЦЕЦИЛИЯ ИСААКОВНА.

Советский критик, литературовед, публицист. Автор книг «Миф, реальность, литература» (1968), «Итальянские светотени» (1975), «Италия на рубеже веков: судьбы людей и теорий» (1978), «Итальянские мозаики» (1980), «Италия начала XX века. Судьбы людей и теорий» (1980) и многих статей по вопросам итальянской литературы и культуры.

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 33, с. 212.

[1] См. об этом в статье Ц. Кин «Порочный круг насилия», «ИЛ», 1982, № 7. *(Прим. ред.)*

популярность комиксов, детективов третьего сорта и откровенно порнографической литературы не вызывает сомнений. Да вот еще смесь порнографии с идеологией. Меня уже перестал изумлять Моравиа, и все-таки... Как-никак мировая слава к чему-то обязывает. Но вот сейчас, в 1982 году, вышел его новый роман «1934» — на тему о том, может ли человек жить в непрерывном состоянии отчаянья, не кончая самоубийством. Моравиа не может обойтись без секса и без террора. Секс-то можно при всех случаях и при любом литературном жанре использовать, с террором намного сложнее. Но Моравиа слишком хороший профессионал: надо так надо. В романе есть «персонаж Соня», бывшая русская эсерка и любовница Азефа. Там и садомазохизм, и еще черт знает что. Потом ЦК эсеров поручает Соне убить Азефа, но она не может стать «палачом» и скрывается, превращается в ничто — морально и социально. Иными словами, она предпочитает сама стать жертвой, но не убивать. А героиня предпоследнего романа Моравиа — ее зовут Дезидерия — девятнадцатилетняя террористка. Я говорю о Моравиа потому, что только что вышел этот последний роман, вызвавший бурную полемику в прессе. Не хочется быть несправедливой, но, как ни крути, мы становимся свидетелями деградации большого таланта.

Страшная реальность всей этой крови и грязи (мы же знаем, как силен феномен терроризма в Италии) оказывает прямое воздействие на литературу, на кино, на телевидение. Но ведь все это — духовная пища, которую получают подростки, зеленая молодежь. Я не хочу называть имена писателей, идущих навстречу таким вот требованиям книжного рынка. Кроме Моравиа среди них есть и другие известные имена, а есть, конечно, и ремесленники, эксплуатирующие тему, вызывающую естественный интерес. Каким-то странным образом к интересу этого типа примешивается интерес к оккультным наукам. То и другое вызывает ощущение все обостряющегося в Италии кризиса духовных ценностей. Мне больно все это говорить, потому что я люблю страну и ее культуру. Но ощущение надвигающегося хаоса, какого-то неотвратимого краха не оставляет меня.

Бывает, что явления, происходящие в обществе, и процессы в литературе не совпадают, или первые отражаются в творчестве писателей опосредствованно. А вот в Италии сегодня, можно сказать, непрекращающиеся скандалы в обществе (масонская ложа П-2, факты баснословной коррупции, похищения людей, убийства) прямо или зеркально отражаются в литературе. И подобно тому, как часть людей хочет уйти от всего этого ужаса в сугубо личную жизнь, как бы закрывая глаза на реальность, в литературе, наряду с романами апокалипсического толка, пользуются успехом и книги полярно противоположные. Например, публикуется переписка знаменитой когда-то писательницы Сибиллы Алерамо с ее многочисленными возлюбленными, и какое-то время внимание критиков приковано именно к этому: а почему, а когда, а что он, а что она... Это уже не «интимизм», это, может быть, бегство от жестокой действительности в мир, который лишь условно можно назвать романтическим, в мир личных драм, микросюжетов, стилизованных, а порою, быть может, подлинных переживаний и страстей, то есть ту самую «частную жизнь», которую, по наблюдению Юрия Николаевича Давыдова, все большая часть молодежи начинает предпочитать «публичной жизни», себя не оправдавшей.

Это тот самый «уход от злобы дня», на который обратил внимание и Алексей Матвеевич применительно к литературе США.

Увлекает ли все это молодого итальянского читателя? Какую-то часть молодежи, без сомнения, увлекает. Сибилла Алерамо в данном случае мне понадобилась только как эмблема. Такой же интерес вызывает Элеонора Дузе (особенно ее роман с д'Аннунцио) или та же Колетт... Или, простите за сравнение, история личных взаимоотношений Симоны де Бовуар с Сартром. Это какой-то другой мир, где хотя бы нет ни коррупции, ни дешевого честолюбия, толкающего на мерзости, ни террора.

При всем том я не хотела бы быть понятой неверно, я совсем не хочу сказать, что все в итальянской литературе сегодня безнадежно плохо и неинтересно. Слава богу, живы и прекрасно работают Шаша, Кальвино, Умберто Эко, Арбазино, Люче д'Эрамо, многие поэты. Мне только хотелось рассказать о некоторых тенденциях, вызывающих чувство глубокой тревоги прежде всего потому, что они одновременно порождение и доказательство глубокого духовного кризиса, который сейчас переживает итальянское общество и его культура. Хотелось бы закончить на оптимистической ноте, но я ее как-то не слышу, мне кажется, что кризис этот, начавшийся несколько лет тому назад, носит затяжной характер.

Н. ЛИТВИНЕЦ. В литературе ФРГ год 1968-й, год взрыва отуденческого движения, о котором сразу же так много стали писать политики, социологи и журналисты, обозначен, пожалуй, наиболее четко как рубеж в развитии молодежной темы. Тематика эта с ходу выдвинулась на одно из центральных мест, и как из рога изобилия посыпались в начале семидесятых романы, новеллы, статьи, литературно-критические эссе, ставившие своей целью разобраться в причинах этого нового, столь неожиданного для сытого потребительского общества явления, понять его истоки и — что было гораздо важнее — его возможные перспективы.

Что касается истоков, то, пожалуй, глубже всего удалось проникновение в них серьезному и вдумчивому западногерманскому прозаику Зигфриду Ленцу, хорошо известному в нашей стране. В романе «Живой пример», вышедшем в 1973 году (он переведен на русский язык), писатель рассказывает немного грустную историю о

ЛИТВИНЕЦ НИНА СЕРГЕЕВНА.

Советский критик, литературовед, кандидат филологических наук. Автор ряда статей по проблемам современной литературы ГДР и ФРГ.

том, как трое очень разных, болеющих за свое дело педагогов, имеющих уже солидный стаж воспитательной работы, собрались в неуютном осеннем Гамбурге, чтобы обсудить и отобрать назидательные, «воспитывающие» тексты в будущую хрестоматию для юношества. Хрестоматия эта должна, по их замыслу, содержать позитивные примеры, способные дать определенные нравственные ориентиры молодому поколению. Однако в ходе обсуждения, которое все чаще перерастает рамки конкретной педагогической тематики и становится широким, заинтересованным обсуждением проблем современной молодежи вообще, оказывается очевидной неспособность старшего поколения, поколения «отцов», предложить поколению молодых живые, действенные примеры для подражания, какой-то хотя бы минимальный свод позитивных ценностей, которые были бы способны сохранить это свое реальное позитивное начало в мире, основанном на ценностях неподлинных, мнимых. Прав Алексей Матвеевич, когда говорит, что именно из-за этого распадается преемственность поколений и возрастная близость оказывается действеннее кровных уз. Отсутствие устойчивых жизненных критериев оборачивается серьезной трагедией для молодых героев Ленца. А отсюда, как здесь справедливо отмечали, уже и следующий шаг — к бунту против общества, которое так и не сумело критериев этих выработать. Вот как обстояло дело с истоками. Сложнее было с перспективами.

Одним из первых откликов на выступления молодых 1968 года стал роман Гюнтера Грасса «Под местным наркозом». Он вышел в 1969 году. Пожалуй, именно здесь западногерманский читатель впервые увидел, словно под увеличительным стеклом, бунтующего молодого человека — ученика гимназии Филиппа Шернбаума, его подружку Веро, явно тяготеющую к анархической вольнице, других учеников и учениц страдающего зубной болью германиста Эберхарда Штаруша. Модные левацкие фразы, случайно услышанные или подхваченные где-то, набор цитат из произведений «великого кормчего», незрелые, смехотворные акции «борьбы», детская игра «в революцию», отчаяннейший нонконформизм поначалу и вполне укладывающийся «в рамки», благопристойнейший и крайне сдержанный протест в конце,— казалось, Грасс нарочно задался целью показать всю незрелость и убийственную абсурдность молодежного бунта, его полнейшую бесперспективность. Так обычно и трактовали роман западногерманские критики, забывая, однако, о том, что герои Грасса — не студенты, они школьники, а стало быть, незрелость их естественна, и, вероятно, писателю важнее было развенчать не студенческое движение вообще, а лишь его отдельные левацкие «гримасы», его зигзаги, особенно характерные для незрелого, неустановившегося еще подросткового сознания. Развенчать и предупредить, что это именно гримасы и зигзаги и что они бесперспективны.

О подобных же отклонениях, «зигзагах» повествовала другая талантливая книга прошедшего десятилетия — роман Николаса Борна «Оборотная сторона моей истории». Не без легкой иронии рассказывал писатель о том, как летом 1968 года в обывательски добропорядочном Западном Берлине политика вдруг стремительно вошла в моду, став частью «массовой культуры»,— возрос спрос на книги и брошюры «с тенденцией», светские приемы стали немыслимы без разговоров о политике и без очередной политической знаменитости, вошли в моду политический театр, политический кинематограф, даже особый политический жаргон. И, как водится, средства «массовой культуры» тут же подхватили, разнесли и обескровили, свели на нет то реальное общественно необходимое содержание, которое во всем этом было, оставив лишь пустую фразу, нередко в угоду моде рядившуюся в левацкую демагогию. Для многих предприимчивых молодых и не очень молодых людей подобный «политический образ мыслей» стал даже на какое-то время, точно так же, как и для героев Грасса, удобным способом обделывать свои собственные делишки, уверенно держась вместе с тем «на волне».

Но это все были издержки, и в книгах упомянутых авторов содержался трезвый, обстоятельный анализ таких вот негативных сторон студенческого движения, характерных, как мы видим из предыдущих выступлений, не только для ФРГ. Кстати сказать, с самого начала они были использованы — уже совершенно по-своему — правой буржуазной прессой.

А теперь пора сказать о произведениях, где подчеркивались серьезные, позитивные моменты молодежного движения, моменты, определившие его наиболее реальные общественные перспективы. Ведь совсем не случайно с самых первых своих шагов, с момента возникновения молодежное движение оказалось под пристальным вниманием западногерманских коммунистов. В 1971 году состоялась организованная ГКП I конференция молодежи, выступая на которой Курт Бахман подчеркнул, что «борьба за молодежь стала важнейшим моментом классовой борьбы». И поэтому очень важно для тогдашней ситуации и очень своевременно было появление примерно в одно и то же время (вторая половина 70-х годов) в одном и том же издательстве трех романов на одинаковую тему: студенческое движение конца шестидесятых. Это «Беринге и давний гнев» Герда Фукса, «Жаркое лето» Уве Тимма и «Акула в супе, или Везение Филиппа Ронье» Роланда Ланга. При всем различии творческих манер их авторов, при всем несходстве интеллектуального и эмоционального опыта их героев, при всей художественной неоднородности трех обсуждаемых произведений роднило их одно: стремление не просто описать студенческое движение, пусть даже в смене его настроений и эмоциональных порывов, но понять его перспективу, его реальный «выход», будущие пунктирные пути его развития. Для всех трех авторов ответ на этот вопрос возможен только такой: бунтующим студентам лишь в том случае удастся стать реальной общественной силой, если они будут выступать в тесном союзе с рабочим классом, с Германской коммунистической партией.

Разными путями приводят они своих героев к пониманию этой истины. Для Берингера, сорокадвухлетнего журналиста, прошедшего серьезную жизненную школу (тут и учеба в университете, и работа на заводе ради нехитрого студенческого приработка, и сотрудничество в качестве журналиста в одной из шпрингеровских газетенок, где он воочию увидел, как вершится манипуляция общественным мнением), это прежде всего осмысление собственного прошлого и настоящего, дружба с рабочим-коммунистом Керном. Разумеется, Берингеру многое и предстоит еще понять, вот почему весьма характерна последняя фраза романа: «Все еще только начинается».

Все еще только начиналось тогда и для знакомого советскому читателю студента-германиста Ульриха Краузе, героя романа Уве Тимма «Жаркое лето». Участвуя в самых разных акциях, проводившихся Социалистическим союзом немецких студентов (одна из наиболее влиятельных в ФРГ леворадикальных студенческих организаций), иногда серьезных, иногда наивных, в ожесточенных и беспорядочных дискуссиях по самым различным, но всегда актуальным проблемам, учится Ульрих размышлять об окружающем мире, о его закономерностях и перспективах. И так же как Берингер, дружбе с рабочим-коммунистом обязан он осознанием того, что изменить общество, в основе которого несправедливость, не помогут одни только, пусть даже самые революционные фразы — нужна теория, организация, умение работать с массами. Герой Тимма принимает решение стать после окончания университета учителем, открывать своим ученикам дорогу не только в мир культуры прошлого, но и в мир борющихся идей сегодняшнего дня. Сходную эволюцию взглядов переживает и герой романа Роланда Ланга.

Казалось бы, все ясно, авторы трех названных произведений четко наметили единственно реальную историческую перспективу для движения, его возможный позитивный вклад в широкую общедемократическую борьбу в стране. Но это был всего только один, хотя и наиболее позитивный его выход. А движение в целом, увы, не демонстрировало столь четкого и непреложного развития, оно путалось в громких демагогических лозунгах, топталось на месте, делало совершенно неожиданные и неоправданные рывки, повторяло собственные зады, словом, преодолевало путь развития, далекий от прямого. Именно об этой части молодежного движения очень интересно, с моей точки зрения, написал Юрий Николаевич Давыдов. Кстати, в 1980 году появился роман, подтверждающий в художественной форме многие наблюдения Юрия Николаевича. Это роман Уве Тимма «Бегство Кербеля», вновь возвращающий к событиям «жаркого лета» 1968 года и их последствиям, но уже с позиций более чем десятилетнего опыта. Здесь мы как будто снова встречаемся с уже повзрослевшим и набравшимся жизненного опыта Ульрихом Краузе, героем, за плечами у которого бурный взрыв конца 60-х и медленный, мучительный период последующего спада.

Двадцатидевятилетний Кристиан Кербель работает шофером такси и живет с друзьями в так называемой «коммуне», большой четырехкомнатной квартире, где на каждого из ее обитателей приходится своя комната, а общие коридор и кухня предоставляют им необходимую возможность ежедневного общения. Пристально вглядываясь во внутренний мир своего героя, автор подробно и тщательно фиксирует различные его душевные состояния, воспроизводит его ощущения. И если применительно к «Жаркому лету» можно было говорить о своего рода «социальном портрете» молодежного движения, то здесь мы имеем дело с портретом прежде всего психологическим, своего рода эссе на тему о внутренних, психологических последствиях молодежного бунта. С момента высшей его точки прошло уже около десяти лет, а Кербель так и остался, в сущности, тем же «взбаламученным студентом», одним из тех, что спихивали в свое время в университетском сквере с пьедестала памятник богатому основателю учебного заведения да били витрины в издательском концерне Шпрингера.

Нынешнее отношение Кербеля к движению несет в себе изрядную долю скепсиса, по сути же дела его мироощущение в целом пребывает на том же уровне конца 60-х. И это не случайно. Кербель инфантилен по духу своему, и самое страшное, самое невыносимое в жизни для него — ответственность. Он боится ее в каких бы то ни было вариантах. И «бегство Кербеля», о котором повествует роман,— это не только бегство от себя самого и от гибнущей любви, это еще и бегство от ответственности, от необходимости, по словам Юрия Николаевича, стать «социально ответственной личностью».

Откуда же эта общая усталость от жизни, характерная для многих, у кого за плечами многочисленные «спонтанные» акции студенческого протеста? Что же все-таки произошло с некогда азартными и не останавливающимися ни перед чем бунтарями? Писатель ищет на это ответ не только точный, но и психологически обоснованный. В самом деле, взрыв шестьдесят восьмого года был стремительным, бурным. Но все ли одинаково поспевали за этим стихийным нарастанием довольно неопределенных акций протеста? Ведь взрыв этот для многих отнюдь не был подготовлен определенной личностной зрелостью. Тогда-то и стали образовываться эти ножницы между общим накалом эмоционального протеста и степенью нравственной зрелости его носителей, о чем говорили уже здесь и Цецилия Исааковна, и Алексей Матвеевич. (О зрелости идейной мечтать и вовсе не приходилось.) Одни впоследствии благополучно преодолели этот разрыв и, подобно Ульриху Краузе, нашли себя в конкретной деятельности, направленной на реальное улучшение окружающего мира. А для других подобный разрыв оказался роковым, и инфантильность так и осталась навсегда доминирующей чертой их характера, лишь отчетливее проявляясь со временем. Как у Кербеля. Как у тех, о ком пишет Давыдов.

В этом контексте особое значение в ро-

мане приобретает образ коммуниста Оберхофера, соседа Кербеля по коммуне, руководителя партийной группы в университете, вечно занятого, но все же находящего доброе слово для друга человека, в своей собственной жизни исходящего из весьма четкого и простого принципа: «Нужно делать все возможное». «Откуда у Оберхофера эта вера?» — постоянно задает себе вопрос Кербель. Откуда, спросим уже мы, точно такая же убежденность в своей правоте у молодых педагогов, ставших жертвами «запрета на профессию», героев двух недавно вышедших документальных повестей: Юргена Альбертса «Вторая жизнь Марии Беренс» и Ганса-Петера де Лорента «Охота за ведьмами» (главы из последней, кстати, только что опубликованы «Иностранной литературой»). Эти герои нашли в себе силы продолжить долгое, трудное, изнурительное единоборство с властями, отстаивая свое право на работу, на собственную жизненную позицию. Пожалуй, именно они-то и являются теми по-настоящему повзрослевшими молодыми людьми, продолжателями позитивных традиций студенческого движения 1968 года, которые сумели нынче найти правильные, реальные ориентиры в непростом окружающем их мире. Это та лучшая часть современной молодежи, о которой говорил здесь и Георгий Андреевич, опираясь на свои недавние английские впечатления.

Тема молодежного бунта, как мне кажется, не снята сегодня с повестки дня литературной ситуации ФРГ. Однако она все больше теряет особое, самодовлеющее значение, органически включаясь в тот общий комплекс социальных, политических и нравственных проблем, вытекающих из сегодняшней действительности ФРГ, который и пытается воссоздавать нынешняя западногерманская литература. Понятно, что тема остается одной из важнейших, особенно у молодых авторов, тех, кто пришел в литературу на волне молодежного движения. Замечу, что ситуация здесь резко отличается от той, которую определяла Цецилия Исааковна применительно к Италии. Надо сказать, что молодые западногерманские писатели не отказываются от социальной проблематики, напротив, они обращаются к ней все более решительно, видя в этом единственно надежный путь, позволяющий найти ответы на наболевшие вопросы. Больше того, если, скажем, прежде случалось — и мы даже как-то понемногу привыкли к этому, создав себе некий литературный стереотип,— что определенная часть молодого поколения входила в литературу с какой-то авангардистской, претендующей на новаторство, разрушающей традиции и ниспровергающей давние устои экспериментаторской программой, то писатели, вступившие в литературу на волне молодежного движения 60-х годов, нередко приносили с собой другое качество — верность реалистическому видению действительности. Это явление сходно с тем, которое охарактеризовал Алексей Матвеевич, говоря о литературе США. Ангелика Мехтель, Уве Вандрай, Людвиг Фельз, Гизела Эльснер — список этих имен можно было бы продолжить, добавив к ним и те, которые здесь уже назывались.

Ну, а что касается прогнозов, то можно сказать, что в общем литературное развитие Федеративной Республики Германии имеет довольно много сходного с литературным развитием других стран, и это можно понять по нынешнему обсуждению. А с другой стороны, и целый ряд особенностей. Пожалуй, импульс, данный молодежным движением 1968 года, ощущался в литературе ФРГ особенно сильно, равно как и более поздние, по-своему видоизмененные последствия этого импульса. Вот почему мне кажется, что если где-то и следует ждать новых, неожиданных литературных явлений, ярких, сильных книг, своеобразно развивающих молодежную тематику, то, пожалуй, в ФРГ с большим основанием, чем в какой-либо другой из обсуждаемых здесь стран.

Э. ПАНКРАТОВА. Норвегия, как известно, страна маленькая, но отнюдь не в смысле литературных масштабов. Там и прежде была большая литература, есть она и сейчас. Если говорить о «молодежном романе», то этот термин может, конечно, истолковываться по-разному. Считаю бесспорным одно. Молодежная литература — это серьезная литература о людях, вступающих в жизнь, остро ставящая проблемы сегодняшнего дня (конечно, я не имею в виду какую-нибудь серию о «Фрёкен Детектив», популярную у некоторой части скандинавских подростков). Возраст авторов не может, на мой взгляд, служить абсолютным критерием при определении понятия «молодежный роман». Хотя, скажем, книги дебютантов — это во многом «барометр» интересов молодежи, и в этом плане они заслуживают пристального внимания. Георгий Андреевич упомянул Эспена Ховардсхолма. Эта фигура действительно очень характерна для сегодняшней норвежской литературы. Ховардсхолм был участником «молодежного бунта» 60-х годов. И хотя в Норвегии этот «бунт» носил характер более интеллектуальный, умозрительный, чем политический, как, например, во Франции, тем не менее для норвежских писателей события этих лет — важнейшая точка отсчета.

Эспену Ховардсхолму, Эйнару Экленду, Яну Эрику Волду, Дагу Сулстаду, Туру Обрестаду и другим было немногим более двадцати, когда они сгруппировались вокруг «левого» журнала «Профиль» (они так себя и называли «Profil» guttene»— «Ребята из «Профиля») и провозгласили несколько шумных манифестов, в которых констатировали «гибель» классического норвежского социально-психологического романа и наступление нового «золотого века» норвежской литературы. Причем если в Европе в это время происходила политизация литературы, то норвежские бунтари начали с провозглашения самоценности чистой формы, модернизма. Вплоть до этого времени в Норвегии не было безусловно выраженных модернистских тенденций, и

ПАНКРАТОВА ЭЛЕОНОРА ЛЕОНИДОВНА.

Советский критик кандидат филологических наук, автор статей по проблемам современной норвежской литературы.

«Ребята из «Профиля» испытывали, если так можно выразиться, своеобразный комплекс провинциальности. Они стремились наверстать упущенное, как им казалось, по сравнению с остальным Западом.

После публикации формалистического сборника Дага Сулстада «Ржавое! Зеленое!» и романа Тура Обрестада «Марионетки» наметился решительный поворот и даже полная трансформация в сторону «политизации». Появился роман «Сеуда! Забастовка!» того же Тура Обрестада, который я бы осмелилась назвать «авангардистским рабочим романом». Это книга коллажного типа, сборник документов без каких-либо комментариев. На первый взгляд — полная объективность, никакой авторской позиции. На самом деле книга была достаточно левацкая. (Хотя и не в такой степени, как, скажем, роман Дага Сулстада «Арильд Аснесс», где рассказывается о приходе норвежского интеллигента к «постижению» идей Мао Цзэдуна.)

Я остановилась на явлении литературной жизни середины 60-х — начала 70-х годов, на «болезни левизны», потому что без этого нельзя понять сегодняшнюю литературную ситуацию и творческое лицо таких писателей, как Эспен Ховардсхолм. Георгий Андреевич уже говорил сегодня о его «Истории о Калле и Рейнерте» и справедливо отмечал характерные для нее левацкие перехлесты. Однако книга эта, вышедшая, кстати, и на русском языке, знаменует новый этап в эволюции творчества писателя. В ней отчетливо отразился процесс становления самосознания сегодняшнего молодого человека, уясняющего суть истинных пружин и мотивов поступков людей, движущих сил классового общества. Виноват в смерти Калле не полицейский, «обыкновенный мужик», а система, которая заставляет этого полицейского применять оружие против беззащитного безработного паренька, хотя бы и правонарушителя. Да, из стихийного бунтаря Рейнерт может стать сознательным противником капиталистической системы.

Очень характерна и фигура Кнута Фалдбаккена, писателя одного поколения с Ховардсхолмом и духовно близкого «Ребятам из «Профиля». Его роман «Страна заката», который был опубликован в 1980 году в «Иностранной литературе», относится к широко распространенному ныне в Скандинавии жанру «framtids romaner» — романов о будущем. «Роман о будущем, в котором мы живем» — такую меткую характеристику дала ему в свое время норвежская критика. В романе нашли отражение важнейшие тенденции современной западной действительности. Безработица, полная бюрократизация общественной жизни, экологический кризис, достигший апогея,— все то, с чем сталкивается на Западе человек, вступающий в жизнь, доведено в романе до логического конца.

Перед нами картина разложения современной капиталистической цивилизации. Молодой архитектор с женой и ребенком поселяется в буквальном смысле на городской свалке, присоединившись к тем, кого принято называть «отбросами общества»,— безработный врач, проститутка, бродяги (ими стали иностранные рабочие, лишенные всяких средств к существованию). Все вместе они составили некую утопическую большую, дружную семью. Фалдбаккен показывает, как в них просыпается человечность, вера в естественные нравственные ценности, уничтоженные властью капитала...

Произведения Ховардсхолма и Фалдбаккена демонстрируют сложность понятия «молодежный роман». Он оказывается связанным и с детективом, и с антиутопией, и с рабочим романом. Причем последний особенно важен. Та неразрывная связь наиболее прогрессивной части молодежного движения с рабочим, о которой как о значительном явлении в литературе ФРГ говорила Нина Сергеевна, прослеживается и в норвежском «молодежном романе». Характерна, например, книга дебютанта Трульса Эры «Роман о Хельге Хауге». В нем описывается трагическая судьба пожилого рабочего с верфи — из-за внедрения новой, выгодной для хозяев технологии окраски судов он заболевает тяжелой, неизлечимой болезнью. Несчастный случай на верфи ускоряет его смерть. Молодой писатель, сам из рабочей среды, с волнением вглядывается глазами своего поколения в судьбу Хельге Хауге, которая может стать и его судьбой.

«Только любовь не спит» — так называется роман молодой писательницы Кирсти Блом, вышедший в 1979 году. Но роман этот не о любви, хотя тема в нем присутствует. Это своеобразный ретроспективный рабочий роман, попытка молодого поколения заглянуть в прошлое, охватить взглядом боевые 30-е годы.

Есть и «камерные» книги, в которых повествование сосредоточено на морально-этическом аспекте взаимоотношений молодых героев, их размышлениях о проекции одного человеческого сознания на другое, о преодолении психологических барьеров. Об этом, например, пишет Гуннар Люнне, об этом и роман Кьелля Мадсена со знаменательным названием «Стыки». Он появился тоже в 1979 году.

Сходная проблематика с некоторым креном к чисто женской теме занимает и молодую многообещающую писательницу Лив Колтзов. Последний ее роман — «Человек, беги» 1980 года — гораздо более социален, чем предыдущие. Его героине, девушке из рабочей среды, ставшей учительницей, кроме забот о собственной судьбе, присущи и общественные устремления.

Многообразен сегодняшний «молодежный роман» Норвегии. Он отражает пеструю картину современной действительности. Будет ли новый «бум», «третья волна» его в Норвегии, в других странах? Возможно. Жизнь покажет.

Ю. УВАРОВ. Развивая мысль Георгия Андреевича о двух этапах, которые прошла молодежная тема в западной литера-

---

УВАРОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ (род. в 1928 г.). Советский литературовед, критик, переводчик. Автор книг «Литература Франции сегодня» (1960), «Современный испанский роман» (1968) и многих статей по французской литературе 50—70-х годов.

туре, я хочу остановиться на третьем этапе, характерном для французской литературы конца 70-х — начала 80-х годов.

Тема молодежи не случайно привлекает сегодня и многих французских писателей. Во Франции, как и в других западных странах, в этой теме как бы сфокусировались наиболее волнующие и болезненные проблемы: безработица (из двух миллионов безработных пятьдесят процентов в возрасте до двадцати пяти лет), социальное одиночество, отсутствие реальной жизненной перспективы, дегуманизация личностных и общественных отношений. Вступающие в жизнь молодые люди обнаруживают, что для них вроде и нет места в современном мире. Это поколение кризиса, сотрясающего Францию, начиная с середины 70-х годов. Как здесь уже справедливо отмечалось и Алексеем Матвеевичем, и Цецилией Исааковной, как о том пишет в своей статье Юрий Николаевич, многие из представителей этого поколения к тому же утратили какие бы то ни было социальные идеалы и надежды, даже те иллюзорные и ошибочные, которые воодушевляли их старших братьев. Речь идет уже не только о разочаровании в лозунгах мая 1968 года, но и о безразличии к каким бы то ни было идеалам вообще. Социальная отверженность усугубляется идейным вакуумом. Естественно поэтому, что сегодняшние писатели моложе тридцати лет, вольно или невольно, сознательно или бессознательно, отражают в своем творчестве неустроенность, трагичность, отчаянье своего поколения.

«Живи как придется» — символически назвал свою вышедшую в 1980 году книгу двадцативосьмилетний прозаик Ален Леблан. Юная героиня романа Лоли ни от кого не может ждать помощи, ей приходится бороться в одиночку за свое существование в жестоком обществе. Несмотря на все усилия, она вынуждена «жить как придется», как получится, без компаса и перспективы. Поскольку действие романа развертывается с мая по октябрь 1968 года, на фоне тогдашних шумных событий, автор, видимо, хотел этим подчеркнуть, что «майская революция» с ее многоцветным идейным коктейлем и бурными речами была, по существу, далека от реальных нужд простого народа.

С горечью пишет о судьбе молодежи двадцатичетырехлетний Вальтер Прево. В его повести «Люк на море», тоже 1980 года, главный персонаж — молодой человек по имени Люк, который работает разгрузчиком вагонов в парижском центре сортировки почты, хотя имеет среднее техническое образование. Он не может примириться со своим положением, а еще больше с тем, что ему не во что верить, ибо он во всем разочаровался. Люк мечется, ищет духовную опору, находится в трагически смятенном состоянии. Но вот он полюбил и, как ему кажется, нашел счастье в любви. Он даже приходит к выводу, что любовь — единственная реальная ценность в его пустом и безнадежном существовании, но в это самое время он нелепо погибает в стычке с полицейскими во время забастовки.

Такой поворот темы чрезвычайно типичен для современной молодежной (да и не только молодежной) литературы Франции. Когда, казалось, рухнули идеалы и верования, когда обнажились бесцельность и бесперспективность жизни, в мире чувств, семье, привязанности к близкому человеку стали искать своеобразный «оазис в социальной пустыне». Но в обществе, где нормой стали внутренняя разобщенность и взаимное непонимание, найти такой «оазис» оказалось невозможным. Поэтому тема несостоявшейся или трагически оборвавшейся любви приобрела в сегодняшней литературе молодых особенно глубокий смысл: любовная драма усиливает трагедию социального одиночества, лишает личность последней надежды на счастье.

Очень симптоматична в этом отношении маленькая повесть молодого писателя Пьера-Луи Рея «Отлив», появившаяся в 1978 году, где показано, к каким страшным последствиям приводит взаимное непонимание двух любящих друг друга молодых людей. Студентка Элен — девушка из богатой буржуазной среды, а ее возлюбленный Дени, учитель начальной школы, происходит из семьи бедной. Дени не может поверить в то, что разделяющая их социальная преграда преодолима, и это неверие приводит его к ложному шагу. Стремясь самоутвердиться и показать искренне и горячо любимой им девушке, что он «не особенно в ней нуждается», Дени изменяет ей. А Элен, которая действительно глубоко и преданно полюбила, не сумев понять его сомнений, кончает жизнь самоубийством. Повествование строится в виде воспоминаний Дени об этой несчастной любви. Книга написана с внутренним надрывом и болью, она передает острое ощущение неудавшейся жизни, столь свойственное значительной части молодежи «поколения кризиса».

Особенно много в последнее время пишут на эту тему девушки и молодые женщины, и их книги пользуются большой популярностью. Никогда еще за всю историю французской литературы не было столько писательниц в возрасте от восемнадцати до двадцати восьми лет. Их книги, хотя и написанные с разной степенью мастерства и таланта, привлекают искренностью тона, эмоциональным накалом и взволнованностью. Большинство из них трагичны по содержанию.

Двадцатисемилетняя писательница, врач по профессии, Доменик Табон написала свой первый роман «Мужчина — сестра» в 1981 году. Она рассказала о счастливой вроде бы любви своей героини — медсестры по имени Мун, которая встретила тонкого, чуткого, душевного человека, способного на самоотверженную любовь, готового стать для нее и другом и сестрой. Он непохож на обычных, «нормальных» людей: слишком хрупок, легко уязвим, не защищен эгоизмом и равнодушием от жестоких и страшных сторон жизни. Немудрено, что столкновение с реальностью приводит такого человека к психическому заболеванию и самоубийству. Печальная интонация этого романа вообще характерна для женской молодежной прозы последних лет.

Однако не все книги молодых безнадежно пессимистичны. В романе Ортанс Дю-

фур «Мария — Крестная» (это третье произведение молодой романистки), переведенном и на русский язык,— 17-летняя Элеонора живет в городке дорожных рабочих, состоящем из фургонов, передвигающихся от одной стройки к другой. Это своеобразный «анклав», внутри которого сохраняются естественные, так сказать, экологически чистые человеческие отношения. Здесь все всерьез, все подлинное: работа, злость, любовь, ненависть, дружба, взаимопомощь. В отличие от героинь многих других молодежных книг Элеонора не одинока, она находит опору в окружающих ее людях — обыкновенных рабочих, не утративших нравственной основы и естественности, давно не свойственных буржуазной среде. Лирическое. взволнованное повествование о судьбе юной девушки перерастает в гимн людям труда. Не случайно, я думаю, героиня романа и полюбила человека, органично связанного с этими людьми, борющегося за их права,— коммуниста Люсьена. Таким образом, соприкосновение с живой реальностью, выход за рамки узко интимной темы помогают молодому писателю обрести веру в жизнь и мужество для борьбы с трудностями.

Рассмотрение темы молодежи в контексте острых социальных проблем (об этом говорила здесь, кстати, Нина Сергеевна) во Франции более характерно для авторов старших поколений (Ортанс Дюфур несколько старше упоминавшихся молодых литераторов), особенно для писателей-реалистов. Так, известная романистка Марилен Клеман (ее повесть «Ветер над домом» переводилась на русский язык) в романе 1981 года «Цветок лотоса» показывает, как калечит жизнь молодежи безработица. Рассказ ведется от лица матери, у которой и сын, и дочь (двадцать и восемнадцать лет) оказались безработными, попали в категорию так называемых маргинальных типов. Социальная трагедия молодежи пропущена через сердце матери, разрывающееся от боли за судьбу детей.

Другая крупная писательница, Франсуаза Малле-Жорис, в вышедшем двумя годами раньше романе «Дикки-Король» показала, как увлечение молодого поколения современной музыкой превратилось в источник наживы для дельцов. Герой романа молодой певец Фредерик Руа стал жертвой их эксплуатации.

Есть, однако, в творчестве писателей старшего поколения и книги, где молодые выведены не как жертвы, а, напротив, воплощают собой силы сопротивления и социального действия. Хорошо известный советским читателям Жан-Пьер Шаброль в документальном романе 1978 года «Каминарем» («каминарем» на южном диалекте — «идем вперед»), посвященном крестьянским волнениям на юге Франции, показывает, что именно молодые крестьяне и приехавшие к ним на помощь рабочие и студенты наиболее непримиримы и упорны в борьбе за права трудящихся. В 1980 году, в книге «Владимир и Жаки» писатель рассказал о том, как провел зиму 1979—1980 годов с молодежной бродячей театральной труппой «Жакерия» — писал для них пьесы, ездил по Франции. «Жаки», как они себя называют, ставят пьесы из жизни бедняков и показывают их самым обездоленным слоям населения. Они как бы «пошли в народ», желая пробудить его сознание и социальную активность. Несмотря на некоторую склонность к анархическим идеям и идеализации люмпенов, автору все же удалось выразить стремление определенной части молодежи к действию, создать серию ярких портретов молодых людей, не желающих мириться с господствующей в западном обществе несправедливостью.

Положение молодежи, каким оно встает со страниц сегодняшней французской литературы,— это и сгусток отчаяния, и проблеск надежды.

Обращение к молодежной теме помогает увидеть, чем живет молодежь, во что верит, на что надеется.

УВЕ ТИММ:

«ЛИТЕРАТУРА КАК ФРАГМЕНТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ — ВОТ МОЙ СПОСОБ УЧАСТИЯ В ДИСКУССИЯХ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

Интервью еженедельнику «Зоннтаг» (ГДР)

Вопрос. Все ваши книги, вышедшие в Федеративной Республике Германии и в других странах, свидетельствуют о том, что вы — писатель с четко выраженной политической ориентацией, стремящийся в художественной форме донести до читателя надежды, страхи и проблемы своего поколения. В конце 60-х — начале 70-х годов вы выступили со стихами, обращенными к самой живой современности, а позже принимали участие во многих общественных акциях и дискуссиях. Именно этот общественный опыт проступает во всех ваших книгах вплоть до настоящего времени, он определяет содержание двух ваших известных романов: «Жаркое лето» и «Бегство Кербеля».

Ответ. В самом деле, именно благодаря своим политическим взглядам я пришел к убеждению, что в нашей стране литература должна в значительной своей части принять на себя эту важную функцию — критически воспроизводить окружающую действительность. Разумеется, формы при этом могут

УВЕ ТИММ — UWE TIMM (род. в 1940 г.). Немецкий писатель (ФРГ). Автор романов «Жаркое лето» («Heisser Sommer», 1974), «Моренга» («Morenga», 1977), «Бегство Кербеля» («Kerbels Flucht», 1980), пьес для театра и радиопьес, репортажей и др. произведений.

быть самые разнообразные — от политически ангажированного, «агитационного» стиха до поэзии лирико-эмоциональной или иронической, от небольшого эссе до крупного романа. Я всегда придерживался мнения, что литературе должна быть присуща еще и просветительская функция. И я продолжаю так считать. Именно исходя из этого убеждения, я писал в шестьдесят седьмом и шестьдесят восьмом годах резко политизированные стихи, так называемые агитки. Вместе с тем подобная литературная форма, как мне представляется, неотделима от определенного общественного движения, точнее же, она возникает именно как его непосредственная составная часть. Движения точно такой же силы, как это было в ФРГ в конце 60-х годов, у нас потом долго не возникало. И только в наши дни мы переживаем новый общественный всплеск — уже в форме движения сторонников мира. А вот в период между этими двумя вехами, в годы экономического спада, таких больших, цельных общественных акций у нас не наблюдалось, не было такого движения, которое могло бы увлечь за собой широкие массы и которому понадобилась бы впрямую агитационная поэзия.

Это не значит, что мы разочаровались или, скажем, осознали свое бессилие, просто изменилась политическая ситуация, и мне, как литератору, пришлось реагировать на это изменение с помощью других художественных средств. Я думаю, что этот фактор в какой-то степени определяет и временну́ю последовательность моих публикаций. Сначала это были стихи, потом рассказы, потом уже романы. Что не означает такой же последовательности в процессе их создания. Я с самого начала работал над стихами и над прозой одновременно. Но только стихи были написаны непосредственно для наших выступлений, это был самый прямой на них отклик, проза же скорее обобщала движение тех лет; стихи были четко агитационны, проза строилась на опыте, который в те годы еще только накапливался, здесь я пытался — на основе собственной биографии — осмыслить студенческое движение конца 60-х, осмыслить период так называемой внепарламентской оппозиции, а также и некоторые, как я их определяю, «сопутствующие явления»,— это мое определение.

Вопрос. Какие процессы вы включаете в это понятие?

Ответ. Так получилось, что участие в студенческом движении было для меня поначалу исключительно спонтанным актом. Точно так же как и для моего героя из романа «Жаркое лето». Мы оба вышли из мелкобуржуазной среды, абсолютно далекой на первый взгляд от политики, нас воспитывали в прусском духе, в твердой вере. И вот с этой начальной точки прийти к определенному политическому интересу, пусть даже проявлявшемуся на первых порах только в том, что ты просто слушаешь и пытаешься вникнуть,— это было уже немало для наших условий, а тем более если за всем этим следовал непреложный вывод, что можно изменить общество, можно изменить себя, можно, по крайней мере, попытаться это сделать. Что такие вещи, как политическая манифестация, демонстрация, листовка, существуют реально. Вот что я понимаю под «сопутствующими явлениями», да плюс еще то, что ты все больше начинаешь задумываться о формах организации и о возможностях, которые такая организация предоставляет, начинаешь искать для себя соответствующие альтернативы, пытаешься вырваться из предписанного тебе, раз навсегда очерченного и на первый взгляд неизменяемого круга существования. Это было то, чему не учили ни в школе, ни в университете, это было внезапное прозрение, заставившее нас обратиться к марксистской литературе, но прежде всего это была наша политическая практика.

Для многих из нас студенческое движение было еще и процессом духовного становления, процессом обретения собственной независимости, мы все больше освобождались от влияния домашней среды, от предписанных нам с рождения ролей, которые до тех пор нами сомнению не подвергались. На собственном конкретном опыте мы вдруг осознали, что общественные изменения не являются некой далекой абстракцией, они всегда в конечном итоге зависят от субъекта. Политика перестала быть для нас чем-то внешним, выходящим за пределы нашего существования, чем-то, что не касалось нас непосредственно, она вошла в нашу плоть и кровь, она буквально вторглась в каждого из нас, и не было человека, которого она не затронула бы в той или иной степени, на которого так или иначе не повлияла бы, ибо даже во взглядах тех, кто, казалось, был от нее совершенно далек, тоже находила свое выражение определенная идеология.

И все то, что мы вырабатывали — каждый для себя — в плане теоретическом, требовало, в свою очередь, претворения в практику, а это значит, к примеру, что я и сегодня меряю коммуниста не только его взглядами, но еще и тем, как он проявляет себя в повседневной жизни, тем, что он, скажем, не бьет жену. Результатом такой вот проверки самого себя по нормам не только общественного, но и индивидуального бытия явилось для меня решение вступить в ряды Германской коммунистической партии.

Вопрос. Вслед за периодом острейших политических дискуссий в ФРГ пришло такое время, когда больше уже не вспоминали о студенческом движении, когда все больше углублялся экономический кризис, последствия которого сказались, в частности, и в том, что для многих бывших студентов возможности найти свое место в действительности оказались сильно ограниченными, а участие в политической деятельности в период студенчества грозило позже «запретом на профессию», когда многие оказались поставленными в ситуацию выбора между полным отходом от политики или же, напротив, все большей вовлеченностью в нее. И некоторым молодым людям подобный выбор оказался не по плечу. В это время появляется ваш роман «Моренга», действие которого происходит за пределами Федеративной Республики, в Африке, да и по форме своей он резко отличается от предыдущего. Это был уже лежащий где-то на грани между художественной литературой и документалистикой ана-

лиз немецкой колониальной политики в Намибии.

Ответ. Да, в этом романе действительно менялось место действия, но не менялась тема. Это был отнюдь не уход от действительности, поскольку нынешняя западногерманская действительность оказывается так или иначе связанной с процессами в Юго-Западной Африке, и даже весьма непосредственно. Там находятся урановые рудники, а 22% капитала на разработку этих рудников поступает до сих пор из ФРГ, там находятся алмазные копи, а западногерманские капиталисты очень хорошо считают, вплоть до сегодняшних дней, как получать максимальную прибыль, используя при этом нищету и бедственное положение местного населения. Крайне тенденциозное изображение освободительного движения в Намибии буржуазной прессой тоже, безусловно, нельзя отделять от амбиций немецкого империализма по отношению к этим странам. Ну, и еще надо отметить, что многие молодые люди, участвовавшие тогда в войне против готтентотов, утрачивали понемногу идеалы относительно своей страны, если только они не уверовали в ходячий пропагандистский лозунг, будто все их мечты осуществятся, как только собственные немецкие колонии создадут для этого необходимые предпосылки. В столкновении этих двух противоположных идеологий, в их единоборстве друг с другом мне открывалось много важных вещей, имевших прямое отношение к сегодняшней западногерманской действительности, очень многое из того, что мы обычно понимаем под моралью, под ценностями, под жизнью вообще. Кое-что не изменилось здесь вплоть до наших дней, и я думаю, что любой западногерманский читатель это поймет.

В романе «Бегство Кербеля» я попытался поставить другие, но тоже в общем-то экзистенциальные проблемы, выражавшиеся для многих в том, как жить — в обществе или вне общества, как найти для себя в жизни достойное место, несмотря на рост безработицы среди молодежи, несмотря на «запреты на профессии».

Вопрос. В дискуссии, развернувшейся в прогрессивной печати ФРГ после выхода в свет этого романа, неоднократно отмечалось, что образ Кербеля создан с большим проникновением в психологию героя; вместе с тем критики отмечали, что автор как бы бросил своего беспомощного в жизни Кербеля в полном одиночестве, образ же коммуниста Оберхофера, который по идее должен был бы указывать ему реальный путь в общество, скорее помогает окончательно завершить это состояние.

Ответ. По существу, это все вопрос о том, каковы возможности литературы вообще и писателя-коммуниста в частности. Безусловно, существуют проблемы, которые можно решить только индивидуально, в каждом конкретном случае, и, напротив, есть проблемы социальные, решить которые можно только коллективными усилиями. В этом, собственно, и проявляется наш марксистский взгляд на историю. В то же время существуют, конечно, и такие проблемы, которые для данного индивидуума — особенно если они связаны с определенной психологической предрасположенностью — неразрешимы. Отсутствие жизненных ориентиров ощущалось в ФРГ довольно долго, у многих даже начался, особенно в среде молодежи, своеобразный кризис духовной ориентации. Кербель — один из тех, кто ищет хоть какую-то осмысленную жизненную перспективу и вместе с тем не знает ни откуда он идет, ни куда. И когда я как писатель говорю, что я стремлюсь всеми силами к тому, чтобы каждый человек развивал свое политическое сознание, чтобы все люди имели возможность с помощью слова высказывать свое отношение к нашим закостеневшим общественным структурам, то это всего лишь мое желание. Достигаю ли я этого с помощью своих книг, этого я сказать не могу. Но думаю, что в целях большего обострения социальной чувствительности у моих читателей я должен прибегать к показу и теневых сторон действительности, порой даже самых мрачных ее сторон, ибо что уж может быть мрачнее: человек кончает жизнь самоубийством. И я думаю, что не всегда, не везде и не на всякую проблему у писателя должен быть в запасе образ коммуниста, который заранее знает готовое решение.

Отдельная книга не в состоянии исчерпать всего многообразия политических взглядов и возможностей да еще и указать перспективу на будущее. Если говорить по большому счету, то это задача всей литературы в целом. И я считаю, что судьбы, подобные судьбе Кербеля, тоже должны найти свое место в нашей литературе именно потому, что они способны продемонстрировать встающие проблемы во всей их остроте и социальной обусловленности. Литература как фрагмент действительности — вот мой способ участия в дискуссиях нашего времени.

Перевод с немецкого Н. Л.

От редакции

Предложенные вниманию читателя материалы дают, как нам кажется, основания для следующих выводов.

Во-первых. На Западе на протяжении прошлого десятилетия наблюдался все более глубокий спад молодежного протеста, который лишь подчеркивали разнообразные эксцессы террористического порядка. Однако спад этот отнюдь не свидетельствовал, что проблемы молодого поколения благополучно разрешились. Молодежное движение — во всяком случае в том виде, в каком оно заявило о себе в 60-е годы,— определенно ушло в прошлое, но проблемы, вызвавшие его к жизни, остались; следовательно, остается открытой и возможность нового «молодежного взрыва».

Явления самого последнего времени говорят о том, что «молодежный взрыв» на

Западе имеет перспективу повториться в новых формах — в условиях все ширящегося движения борьбы за мир, против безработицы, за охрану среды обитания.

Во-вторых. Хотя западная молодежь и ощущает себя некоей социальной целостностью, объединенной «судьбой поколения», но для нее в настоящее время менее, чем, скажем, десять лет назад, характерна тенденция противопоставлять себя «миру отцов». Нелегкий опыт разочарований, какими были так богаты 70-е годы, дал и положительный результат: осознание не только того, что различает, но и того, что сближает молодых людей с их отцами — стремление к восстановлению «связи времен».

В-третьих. Несмотря на то что на Западе молодежь до сих пор время от времени выступает с самостоятельными лозунгами и требованиями, утверждая специфичность своих общих проблем, нынешних молодых отличает более ясное и отчетливое осознание социальных, этнических и культурных барьеров, их разобщающих. В сочетании с углубляющейся в определенных слоях общественной апатией это сознание ведет к тому, что у части молодежи растет оппозиция «публичности», стремление «уйти в личную жизнь».

Важно отметить и то, что хотя нынешнему молодому поколению, как и молодежи вообще, не чужда «глобальная» постановка вопросов, его тем не менее отличает более трезвый (не лишенный даже изрядной доли скептицизма) подход к жизни; оно менее доверчиво к широковещательным лозунгам, зато ему свойственна бóльшая настойчивость и последовательность в стремлении к конкретно сформулированным целям. Известное снижение интереса к социально-политическому истолкованию человеческих проблем вплоть до самых последних лет компенсируется возрастанием интереса к их нравственно-философскому осмыслению.

Все это, вместе взятое, выражается в стилистических сдвигах, характеризующих литературу молодого поколения. Налицо серьезный поворот западной «литературы молодых» (и о молодых) к реализму и психологизму. Он особенно очевиден по контрасту с неоавангардизмом, волна которого поднималась вместе с нарастанием «молодежного бунта» 60-х годов и выплеснулась — как бы по инерции — в первую половину 70-х.

Абстрактному социологизму «новых левых» и «макрокосмической» метафизике контркультуры в литературе молодых противостоит программно заявленный интерес к вот этому, конкретному индивиду, к «микрокосму» человеческой души; снова (в который уж раз!) реабилитируется мир интимных человеческих отношений — «простая любовь», вернее, поиски ее, которые оказываются для сегодняшних молодых людей такими трудными. Реалистическая тенденция, «бытовизм» литературы, создаваемой молодым поколением сегодня, вступает в сложную и не лишенную драматических коллизий связь с романтическим истолкованием внутреннего мира героев. Интерес к простым законам нравственности сочетается с исконно романтическим влечением к «безднам» человеческой души, к ее «зияниям» и «провалам».

Однако наряду с этими явлениями общекультурного и литературно-художественного порядка, с которыми на Западе связывают ожидания в духе «осторожного оптимизма», сохраняют свою силу, время от времени давая о себе знать, и тенденции глубоко кризисного характера. Носителями их являются сегодня те же самые группы богемно-люмпенской молодежи, в среде которой формировались элементы нигилистического разложения культуры еще в 60-х и 70-х годах.

Рассмотренные в этой публикации явления сложны и незавершенны, и, естественно, возможны разные варианты их трактовки. Мы предложили одну из попыток их осмысления, не исключая возможности дальнейшего обсуждения темы с учетом коррективов, которые продолжает вносить социальное развитие и движение литературного процесса в странах Запада.

■

ТАМ, ГДЕ КАМОЭНС УМЕР ОТ ГОЛОДА

Португальская творческая интеллигенция всерьез озабочена судьбой национальной культуры, для которой мало что изменилось за годы, прошедшие после падения фашистской диктатуры 25 апреля 1974 года. Ярким свидетельством тому явился второй съезд португальских писателей.

У каждого народа с давними культурными традициями есть свой литературный гений, составляющий славу и гордость нации. У португальцев это Камоэнс, автор знаменитой поэмы «Лузиады», где придворный поэт — волею судеб солдат и мореплаватель — прославляет историю «лузитанов» (португальцев) и описывает плаванье Васко да Гамы в Индию. «Лузиады» увидели свет в 1572 году и сразу принесли автору известность на родине и за ее пределами, что не спасло величайшего поэта португальского Возрождения от нищеты: он умер в больнице для бедных.

Теперь, четыре столетия спустя, Луис де Камоэнс занесен в литературные «святцы». В Португалии торжественно празднуют все юбилейные даты, связанные с жизнью и творчеством поэта. Последние среди них — четырехсотлетие выхода в свет поэмы «Лузиады» и четырехсотлетняя годовщина со дня смерти ее создателя, отмечавшаяся в 1980 году.

Демократическая общественность Португалии, прежде всего писатели, отдает дань уважения поэту в многочисленных статьях и монографиях, поэтическими сборниками в его честь, переизданием его произведений. Однако литераторы страны с горечью отмечают, что официальные круги, с пафосом чествующие великого предка, проявляют гораздо меньше внимания к здравствующим поэтам и прозаикам.

Известный романист Жозе Кардозу Пиреш, выступая на втором съезде писателей, напомнил собравшимся это обстоятельство. В том, как авторитетом умерших классиков в Португалии «душат» живущих художников, романист усматривает некую официальную политику, которую он метко окрестил «стратегией реквиема».

Выступление Жозе Кардозу Пиреша, одно из самых острых и критических на съезде, нашло живой отклик у его собратьев по перу, и не случайно. В поисках ответа на вопрос о том, «что же такое сегодня португальский писатель», он коснулся главных «болевых точек» внутриполитической и тесно связанной с нею культурной жизни нынешней Португалии:

«День ото дня общественное мнение теряет силу, день ото дня протест поглощается, как привычная пища... И огромная усталость овладевает обществом, она подавляет его активную деятельность. От культурных задач общество уходит к заботам повседневного существования», — сказал романист.

Среди причин очевидной «девальвации культуры» в португальском обществе он назвал прежде всего переживаемый страной экономический кризис, который, как известно, правые использовали, чтобы прибрать к рукам рычаги политической власти и начать наступление на демократические завоевания революции:

«Экономические бедствия неизбежно ведут к ослаблению культурных интересов, а безработица не только снижает покупательную способность, но и делает более элитарным образование, и первой жертвой тут оказывается книга — в доме, где нет хлеба, никто не читает, и иначе и быть не может».

Кардозу Пиреш напомнил, что на протяжении всего периода фашизма в Португалии, наперекор цензуре, книга была «почти что предметом первой необходимости». Несмотря на гонения и прямые репрессии, португальская интеллигенция в подавляющем большинстве находилась в оппозиции к фашистскому режиму. И литература, антифашистская по своему духу, в глазах всей нации была едва ли не единственным голосом свободы. Сегодня, через восемь лет после падения фашизма, в условиях нарастающей инфляции, книга все больше становится «жалким и незащищенным товаром».

По убеждению Пиреша, писателя снова стараются изолировать от общества, но уже иными способами: не через открытое «насилие инквизиторов», не с помощью особого репрессивного аппарата, а путем «истребления культурных потребностей общества и торгашеского диктата». Поясняя свою мысль, писатель сказал, что как про-

дукт культуры португальская книга ценится ниже пластинки и кинофильма, ниже театрального спектакля, ниже произведений изобразительного искусства и иностранной книги. Жалкая роль, которая отводится национальной книге на рынке сбыта, определяется органами массовой информации: на телевидении, в радиопередачах и на страницах иллюстрированных журналов «португальская книга отсутствует как факт или презирается».

Незадолго до открытия съезда, отвечая на анкету лиссабонской газеты «Диариу», писатель Антунеш да Силва дал такую убийственную характеристику тому, как пропагандируется португальская литература:

«Страна переживает тяжкий кризис чтения... Телевидение, которое могло бы оказать поддержку писателю, организует (если организует) литературные передачи, лишенные смысла, утомительные, многословные, неинтересные, нудные, словом, скроенные на манер авангардистских постановок и плохо отрепетированные, говоря иначе, без ног, без головы, вроде пьесы, на которую после премьеры уже не ходят. Или вроде поэтических сборников, стихи в которых — настоящие шарады; эти книги не распродаются, потому что читатели их не понимают. Телевидение не помогает, а утомляет, дискриминирует, наводит тоску!

В литературных приложениях... перестали публиковать рассказы, очерки, стихи и печатают пустую болтовню вперемешку с эссе, напичканными цитатами. Нас погружают в мир литературных изысков, в нем царят беззаботность, высокомерие... а для души люди любят читать романы, стихи, пьесы... При условии, что они доступны восприятию...

Читающая публика устала, она ничего не понимает, она дезориентирована...»

В отличие от Антунеша да Силвы, склонного объяснять «кризис чтения» причинами чисто литературного порядка, Жозе Кардозу Пиреш прямо связывает сложившуюся ситуацию с политикой правящих кругов:

«Иерархия продуктов культуры... не зависит исключительно от рынка. Она тесно связана с политикой правительства, которое эту иерархию корректирует с помощью разного рода субсидий и особенно — средств массовой коммуникации...

Важно отдать себе отчет, спокойно и до конца, в цензурном гнете, который, судя по всему, был введен с помощью бюрократических уверток и вызвал изумление и растерянность... Это оскорбление разума и фальсификация образования, но для нас он представляет также покушение на само существование писателя и его культурное гражданство».

Стоит напомнить, что после революции 25 апреля 1974 года португальская интеллигенция, находившаяся в оппозиции к фашистскому режиму, с энтузиазмом включилась в движение за политическое и культурное обновление страны. На страницах прессы развернулась широкая дискуссия о целях и методах культурной революции, воспринимавшейся в качестве одной из кардинальных задач демократизации. Кульминационным моментом дискуссии стал первый съезд писателей, где велся ожесточенный спор о том, какой должна быть новая, революционная литература и как сделать культуру достоянием народных масс [1].

В первые послереволюционные годы большое распространение получили литературные диспуты, лекции, встречи с читателями, публичное чтение авторами своих произведений. Прогрессивные издательства при участии писателей выпускали дешевые книжные серии, рассчитанные на массового читателя. Большую работу по пропаганде чтения вела левая пресса, привлекая к сотрудничеству маститых и молодых литераторов.

По мере сползания политической ситуации в стране вправо замедлился процесс демократических преобразований, и вопрос о культурной революции практически был снят с повестки дня. А с приходом к власти в начале 1980 г. правительства, состоящего из представителей правых партий и группировок, стало очевидным стремление официальных кругов оттородить культуру от общественно-политической жизни, обратить литературу и искусство к их сугубо специфическим, творческим проблемам и заботам.

О разнообразных проявлениях этой дискриминационной политики говорили на втором съезде писатели Мариу Дионизиу, Наталия Коррейя, Алешандре Бабу, Эрнешту де Соуза, Луиш Фансишку Ребеллу, Жулиу Валаринью и другие. Их выступления прозвучали заметным диссонансом с приветственной речью, с которой обратился к литераторам президент Португальской Республики генерал Рамалью Эанеш. Пытаясь убедить присутствующих в том, что в Португалии культура традиционно оказывала и продолжает оказывать существенное влияние на политическую жизнь, президент заявил:

«Культура всегда будет той преградой, которую общество ставит на пути власти, внушая последней необходимый выбор между угнетением и этикой...»

Увы, съезд показал, что нарисованная португальским президентом картина единения культуры и политики весьма далека от реальности. Многие участники сошлись на том, что в стране не проводится подлинно демократической политики в области культуры, которая обеспечивала бы участие писателей в общественной жизни и в пропаганде национального культурного достояния, облегчила бы писательские контакты с широкой читательской аудиторией, создала бы для литераторов приемлемые социальные и материальные условия.

Быстрый рост цен на книги, кризис книгоиздательского дела, заметный спад сбыта книг, все более ощутимые трудности с опубликованием произведений, особенно начинающих авторов, коммерческий подход к отбору рукописей для издания, идеологический барьер, установленный некоторыми крупными издательствами, а с другой стороны, устаревшие законы об автор-

[1] См. «ИЛ», 1975, № 10.

ских правах, которые не защищают писателя от произвола издателей, непомерно высокий налог, при том что писательство юридически не признано профессией, поскольку не существует официального статута писателя и т. п.,— таковы условия, в которых находятся сегодня португальские литераторы.

Много говорилось на съезде о тяжелом положении переводчиков, авторское право которых ничем не гарантируется (этому посвятили свои выступления Луиш Пашеку, Крешпу Гранжейру, Роша Перейра и др.); о трудностях, которые приходится преодолевать на пути в «большую литературу» начинающим писателям (Барбозу да Понте, Сантуш Штоклер, Ариштидеш Гейшейра).

О том, насколько остро стоит в Португалии проблема «профессионализации», то есть перехода к профессиональному занятию литературой, для молодых писателей, свидетельствуют ответы на уже упоминавшуюся выше анкету газеты «Диариу» (кстати, наиболее полно освещавшей работу писательского съезда). Вот что сказал молодой прозаик Жоао де Мело:

«Сегодня, как и вчера... молодой писатель — это чернокожий португальской культуры: его превратили в вещь. Он может культуру создавать (и, несомненно, создает), но не может свободно и активно участвовать в ее распространении...

Пожалуй, излишне говорить, что молодежь в Португалии в этой, как и в других областях, не имеет будущего. Она годится для того, чтобы пополнять ряды безработных, годится для черной работы, как годилась для участия в колониальной войне, и для того, чтобы подставлять спины под удары полицейских дубинок. А вот для литературы она, как видно, не годится...

Сама по себе литература не так уж много значит: она не разрешает проблем народа, не открывает школ, не строит домов и больниц, не помогает устранить ужасающее зрелище нищеты и смерти. Однако культура — это отражение пороков и добродетелей общества, зеркалом которого она является. И в той степени, в какой она связывает себя с этим обществом, она помогает его освобождению...

Вот почему я хочу стать профессиональным писателем. По крайней мере я имею право избрать это поприще. Хотя я и знаю писателей, которые умерли или умирают с голоду...»

Писатели всех поколений потребовали с трибуны съезда улучшить условия их труда и повысить социальный престиж писателя. Эти требования нашли отражение в «Письме» — основной резолюции съезда. В нем они настаивают на *«эффективной и безоговорочной поддержке изданий произведений, представляющих культурный интерес, особенно молодых авторов»*, на строгом выполнении издателями положений о контроле над тиражами, на разработке типового договора, который на деле гарантировал бы соблюдение авторских прав и т. п.

Съезд потребовал также *«участия представительных организаций авторов, таких, как Португальская ассоциация писателей и Португальское общество авторов, в работе по пересмотру нынешнего кодекса авторских прав», «участия писателей, безо всяких ограничений идеологического или иного характера, в культурных программах радио и телевидения», в мероприятиях, организуемых в школах министерствами культуры и образования, в разработке, совместно с органами самоуправления, культурной политики на местах и т. д. В «Письме» настаивается на том, чтобы «все организации, представляющие португальскую интеллигенцию, получали поддержку от государства в виде соответствующих статей государственного бюджета, с тем чтобы иметь условия для осуществления деятельности по защите культуры и достоинства ее творцов».*

Для претворения этих требований в жизнь писателям нужно единство, говорил в заключительной речи президент Португальской ассоциации писателей Урбану Тавареш Родригеш. Эта же мысль прозвучала в выступлениях других участников — Адериту Лопеша, Модешту Наварру, Карму Ваша, порой принимая нарочито заостренную форму: так, романист Жулиу Конраду предложил создать «партию писателей» и «министерство литературы».

«Главный враг» на пути португальских писателей к единству — это индивидуализм, усиленно насаждавшийся фашизмом с тем, чтобы разобщить интеллигенцию, подчеркнул в своем докладе известный романист Мариу Вентура. Он сказал:

«В основе многих наших проблем, нашей слабости как общественной силы, нашей неспособности исполнить свой долг перед португальской культурой, лежит формула «писатель писателю — враг». Писатели не образуют единства профессионалов, монолитного и сплоченного общностью интересов, упорно борющегося за разрешение своих проблем... Независимо от своих эстетических склонностей и идеологических убеждений мы обязаны бороться против абсурдного общества, в котором живем, общества, где ежедневно попираются культурные ценности, сегрегируются и сводятся на нет роль и значение писателя, где книга превращается в избыточный продукт потребления и где уважение к культуре проявляется только в речах... Вместе с Ассоциацией писателей... мы обязаны самоопределиться в борьбе против обскурантизма, который снова у нас практикуется».

Португальские писатели полны решимости бороться за то, чтобы «родина-мачеха Камоэнса» (по выражению Жозе Кардозу Пиреша) стала наконец матерью для тех, кто приумножает ее духовное богатство и отстаивает право на него всего народа.

Т. КОРОБКИНА

Н. ФЕДОРЕНКО

МОРЕ И БЕРЕГА

Сквозь время

Морские дороги... Как много значат они в жизни человека.

После опубликования моих «Морских записей» прошло около двух лет. Многое изменилось с тех пор, произошло немало важных событий в международной жизни. Многое отошло в прошлое, но остались воспоминания о событиях и людях, без встреч и расставаний с которыми немыслимо наше существование. Призвание к общению, сотрудничеству глубоко заложено в природе человека.

В воспоминании самое прекрасное то, что оно живет вместе с нами. Самое несчастливое время жизни — время без воспоминаний, раздумий, мечтаний, хотя наши мечты есть плод желаний, страсти, любви, сродни человеческому воображению. Когда одно холодеет, то и другое остывает, и когда одно воспламеняется, то закипает другое.

Пока жив человек, он не теряет надежды, продолжая верить и не отчаиваться. Ничто не кончается для человека с душой и силой воли. Надежда не покидает человека, даже когда у него ничего не остается, сопровождая до последнего вздоха.

Жизнь каждого полна неожиданных встреч, внезапных разлук. Но какие силы сводят людей вместе? Что разлучает их? Каковы видимые или неразгаданные причины этого? Случайность, стечение обстоятельств, судьба? В старину люди приписывали это року, фатуму, провидению. И не только в старину. По словам современного поэта: «Ведь мы-то знаем, что фортуне на свете все подчинено» (Е. Винокуров. «Фортуна»).

Совершив новое морское путешествие, я впервые побывал в неведомых землях, познакомился с жизнью приморских городов и селений, встретил немало людей. Увиденное нередко волновало, тревожило мысли, захватывало. Не все, однако, отодвигалось в прошлое, многое укрепилось в памяти, стало рельефнее.

Удивительна способность памяти надолго сохранять события и людей, которые давно имели место в нашей жизни. Воспоминания чаще всего интуитивны, непосредственны, они глубоко укоренены в эмоциональном мире личности. Из тысячи подробностей, образующих нашу повседневность, в памяти остается лишь несколько — обычно самых неожиданных, а все остальные до поры до времени уживаются где-то в подсознании. И только потом во сне или в минуты душевной тревоги нежданно-негаданно всплывает прошлое, чтобы сгинуть или остаться с нами навсегда.

У каждого человека есть воспоминания, к которым он возвращается чаще всего, становящиеся неотторжимой частью его жизни. Нередко они обращены в будущее, становясь его надеждой и верой. И когда мне снова пришлось встретить одного из тех, кто был в круизе на теплоходе «Белоруссия», мы, естественно, заговорили о днях, проведенных в море.

— Да,— произнес он с едва скрываемым волнением,— это было упоительное путешествие. С ним связаны у меня личные переживания, надежды, даже моя судьба.

Это был чехословацкий журналист. На борту «Белоруссии» его неизменно видели вместе с болгарской спутницей. Тогда я наблюдал их со стороны, у нас не было случая познакомиться. Лишь теперь, когда мы встретились на приеме в болгарском посольстве в Москве, он отрекомендовался как Милан...

— Александр Константинов,— представился я.

Я заметил, что впервые вижу его одного.

— Вы имеете в виду Камелию? — спросил он.

— Я не знаю ее имени, но говорю о женщине, с которой вас видели на теплоходе и, не скрою, завидовали вам...

— Ее зовут Камелия Николова. Мы были вместе тогда. Я увлечен этой женщиной. Не буду скрывать, я люблю ее. На днях она улетела в Нью-Йорк, на работу в ООН. Трудно сказать, когда снова ее увижу.

— Пути людские неисповедимы. Вскоре мне тоже предстоит поездка за океан. Должно быть, побываю в небоскребе на Ист-Ривер... Может быть, мы там встретимся. Не передать ли что-либо Камелии?

— Передайте, пожалуй, привет... Сейчас я начинаю вам завидовать,— сказал Милан, прощаясь.

Теперь мой теплоход «Михаил Калинин», покинув Ленинград, взял курс на Хельсинки. Снова море и другие берега... Сегодняшний облик нашей земли предстанет в тысячах новых явлений и примет. И я опять принялся за разрозненные свои записи, которые творческой радостью связывают ночи и дни. Память всегда сохраняет нечто дорогое: книги, листки с заметками, кусочек моря в иллюминаторе, чью-то улыбку на пристани, людскую доброту... Время не возвращается, как не возвращается истинная любовь. И каждый миг нужно ценить полной мерой, ибо он неповторим...

РАЗДУМЬЯ ПЕРЕД ДВОРЦОМ «ФИНЛЯНДИЯ»

Первая стоянка теплохода — Хельсинки. После спокойного морского простора прямо на набережной окунаешься в шумную суету пестрой толпы, в поток автомашин, вдыхаешь неповторимый воздух приморской столицы, насыщенный солью моря и парами бензина. Еще ранний вечер, но Хельсинки уже залит неоновым светом и разноцветным половодьем реклам, придающих ему самые причудливые очертания. Зазывные рекламные надписи вспыхивают, мигают и гаснут, словно гигантский калейдоскоп.

Хельсинки расположен на полуострове, изрезанном множеством заливов и бухт, чередующихся со скалистыми мысами. Финский залив широко вторгается в столичный город страны.

Портовые причалы подходят к самому центру Хельсинки. Океанские суда швартуются в наиболее глубоководной гавани. Судоходство не прекращается круглый год, зимой с помощью ледоколов Хельсинки связывается с Ленинградом, Стокгольмом, Копенгагеном, Таллином и Травемюнде. Неоценима роль Сайменского канала, соединяющего Финский залив с юго-восточной озерной частью страны, где сосредоточены крупные предприятия лесобумажной промышленности. Из районов Сайменских озер осуществляются прямые, непосредственно от поставщиков, водные перевозки во внутренние районы Советского Союза, в Москву, Горький, а также Амстердам и другие центры товаров традиционного финского экспорта: бумаги, целлюлозы, картона, изделий легкой промышленности.

Там, где начинается Сайменский канал, у шлюза Брусничное, вознесся гранитный обелиск — символ добрососедского сотрудничества наших стран. На медных досках на русском и финском языках рельефные слова: «Реконструкция Сайменского канала — 1963—1968 годов — результат дружбы народов Советского Союза и Финляндии».

Издавна море играло крайне важную роль в экономике Северной Европы, оказывая воздействие на структуру хозяйства, внешнеэкономическое развитие, облик городов и отдельных районов. С морским положением северных стран связано формирование значительных отраслей их экономики — рыболовства в Норвегии и Исландии, международного судоходства в Швеции и Дании, Норвегии и Финляндии. Естественно, что к морю тяготеют все основные экономические районы и центры стран Скандинавии. На прибрежной полосе шириной всего в пятьдесят километров размещена, например, половина промышленного и сельскохозяйственного производства Финляндии и Швеции. В основном здесь же получили свое развитие наука, культура и национальное искусство, в котором причудливо соседствуют минувшие века и нынешний день.

Неразрывная связь общества, природы и культуры прежде всего основывается на том, что человек — часть природы. Но, разумеется, человек, говоря словами Маркса, является «деятельным природным существом», он преображает природу только в качестве существа общественного. «...Общество есть законченное сущностное единство человека с природой»,— указывает Маркс, подчеркивая, что общество видоизменяет природу согласно своим целям, «очеловечивает» ее...

Неподалеку от портовых причалов находится белоснежный дворец «Финляндия», который раньше я видел лишь на фотографиях. Летом 1975 года в нем был подписан Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. В немалой мере благодаря этому событию национальный архитектурный памятник приобрел всемирную известность.

Созданный архитектором Алваром Аалто дворец «Финляндия» сочетает необычайное своеобразие композиции с рациональной логикой. Строгая эстетика здания последовательно функциональна, монументальность не мешает тщательной продуманности каждой его детали. Ничего ненужного, излишнего. Взвешенность во всем и разумная гармония.

Примечательно, что светлая окраска многих зданий дала Хельсинки название «белого города на севере Европы»...

Совещание в Хельсинки по безопасности и сотрудничеству в Европе явилось беспрецедентной в истории встречей руководящих деятелей европейских государств, США и Канады, стало событием огромного международного значения. Оно положило начало новому этапу разрядки напряженности, ознаменовало важный шаг на пути закрепления принципов мирного сосуществования и налаживания отношений равноправного сотрудничества между государствами с различным общественным строем.

Находясь перед дворцом «Финляндия», невольно задумываешься над тем, сколь благородны были действия инициаторов хельсинкских договоренностей и какие надежды на будущее возлагались людьми доброй воли в связи с его решениями.

В наше время стремительного развития связей между народами все большее значение приобретают проблемы обмена духовными ценностями в целях лучшего понимания многообразия жизни и творчества разных стран Запада и Востока. Сегодня вряд ли отыщется на планете край, который не был бы вовлечен в этот непрестанно развивающийся процесс.

И в этом смысле трудно переоценить жизнеутверждающий дух хельсинкских договоренностей.

Наш народ неизменно стоит за полное выполнение решений общеевропейского совещания как в сфере политики и экономики, так и в сфере гуманитарной, за одинаково ответственный и внимательный подход ко всем трем звеньям этой единой цепи. Мы также руководствуемся положениями Заключительного акта, призывающего распространять «все более широкое знание и понимание различных аспектов жизни других государств», расширять взаимную информацию, развивать и изыскивать новые формы культурного общения. Нет нужды доказывать, что наше общество открыто для ознакомления со всем лучшим в художественном творчестве зарубежных стран и народов. Никогда мы не исповедовали великодержавной замкнутости и шовинизма, не отгораживались от зарубежных литератур в отличие, скажем, от Америки, где всегда были сильны традиции изоляционизма, логическим следствием которого оказывается неудержимый экспансионизм.

Обмен культурными ценностями между народами рассматривается нами как органическая часть процесса укрепления мира и взаимопонимания между государствами. И потому наша политика в области литературы и искусства в целом служит этому благородному делу. Нельзя не гордиться тем, что Советская страна — самая читающая держава планеты. Народ наш с небывалой в истории активностью стремится познать прогрессивные отечественные и зарубежные культурные ценности.

И позиция наша исчерпывающе ясна: мы открыты для всего правдивого и честного, готовы умножать творческие контакты, используя благоприятные условия, которые создает разрядка напряженности. Но наши двери закрыты для изданий, пропагандирующих войну, насилие, расизм, человеконенавистничество и аморализм.

В наше время, когда над человечеством нависла зловещая угроза ядерной катастрофы, международные связи, в том числе обмен духовными ценностями, приобретают особенно важное значение и актуальность. Суровая международная обстановка требует от нас не сжигать мосты, не закупоривать каналы связей между народами, но всемерно расширять пути общения и взаимного упрочения мира. Ибо помимо всего прочего война есть болезнь человеческого духа.

Участники общеевропейского совещания в Хельсинки, вырабатывая Заключительный акт — эту хартию сосуществования и добрососедства, привлекли внимание к проблемам культурного обмена между Западом и Востоком. Международное литературное общение — один из важных каналов взаимопознания народов и упрочения уз культурного сотрудничества.

...Прошлой осенью крупнейшие писатели мира собрались в четвертый раз в славной гостеприимством Софии. Они обсуждали самый животрепещущий, волнующий всех людей земли вопрос — судьбу всеобщего мира.

Здесь стоит вспомнить о недолгой, но весьма поучительной истории этого писательского движения. Первая Софийская международная встреча литераторов в 1977 году, созванная по инициативе болгарских писателей, провозгласила девиз: «Мир — надежда планеты». Мы собрались в столице Болгарии вскоре после успешного завершения совещания в Хельсинки.

Многозначителен факт, что Софийская встре́ча 1977 года явилась по существу первым представительнейшим форумом писателей мира после международного Конгресса писателей в защиту культуры, который проходил в борющейся с фашизмом Испании в 1937 году, и стала ныне прекрасной традицией. «Мир разделен на страны и континенты; в нем немало преград — социальных, политических, идеологических, языковых, культурных и других. Но в то же время мир неделим: это дом человечества. Мир в этом доме — залог счастья его обитателей», — сказано в Воззвании участников исторической первой встречи в Софии к писателям всего мира.

Софийская встреча стала плодотворным импульсом в развитии движения писателей планеты в борьбе за мир, взаимопонимание народов и социальный прогресс. В том же памятном 1977 году в Москве состоялась первая конференция «круглого стола» советских и американских писателей, также ставшая традиционной. В 1978 году прошла писательская встреча в Риме, а затем состоялись Берлинская (1981), Гаагская (1982) встречи и совсем недавно Международные дни литературы в Кёльне (1982), которые в известном смысле можно рассматривать как дальнейшее развитие писательского движения, чьи истоки восходят к Софии.

Примечательно, что на этих форумах литераторы всех континентов решительно выступали в защиту мира, против гонки вооружений, за обуздание ядерного безумия, за полное устранение оружия массового уничтожения, за справедливое решение международных проблем путем переговоров, без применения силы.

Писатели отдавали себе ясный отчет в том, что их цель — отбросить предвзятость и предубеждения, приложить усилия к лучшему пониманию не только друг друга, но и помочь своим народам и странам объективно смотреть на вещи, правильно оценивать происходящие события и ситуации, возникающие в тревожном и непредсказуемом современном мире. Творцы духовных ценностей полностью сознают, что авторитетное писательское слово правды, доброй воли и миролюбия находит и найдет доступ к умам и сердцам простых людей.

Нужно ли доказывать ту истину, что, только открывая для себя литературу, искусство, культуру иных народов, можно идти по пути возрождения и обогащения национального духовного мира. Писатели встречаются не для того, чтобы поучать кого-либо, но учиться друг у друга всему лучшему, что достигнуто народами и их культурами.

Люди творчества убеждены в необходимости и плодотворности таких начинаний, как Софийская встреча, по праву назван-

ная литературными Хельсинки, потому что писатели, ее участники, во весь голос выразили свою волю к миру, к укреплению доверия и сотрудничества между народами. Ибо они глубоко понимают, что невежество и предубежденность — основной источник превратных суждений и ошибочных заключений.

Вне всякого сомнения, многие художники слова стран Востока и Запада отдают себе отчет, что творчество — это могучее оружие, призванное выражать тревоги, боли и надежды народов, жизненно важные веления эпохи. Мастера культуры должны в полной мере сознавать ответственность за свой талант перед читателями и временем. Без сознания своего долга не может быть подлинного творчества. Талант — это обязанность, столь же высокая, сколь и ответственная.

И потому сегодня сверхзадача писателя состоит в том, чтобы силою убежденного слова нести правду о жизни современности, правду о чудовищной угрозе ядерной войны, нависшей над человечеством. Мы знаем, что в огне ядерной войны окажется уничтоженным все, что создано человеком, его руками и мудростью, его душой и духом.

По опыту прежних Софийских встреч известно, что писательский разговор проходит в атмосфере свободного и откровенного обмена суждениями, мыслями и личными мнениями его участников. И это особенно существенно уже потому, что писатели мира собираются в условиях чрезвычайного обострения международной обстановки, необузданной гонки ядерных вооружений. Но именно поэтому крайне актуален диалог между народами Запада и Востока. Поиски взаимопонимания необходимы именно теперь, пока еще не слишком поздно, пока молчит оружие.

Четвертая Софийская встреча писателей, состоявшаяся осенью минувшего года, происходила в условиях обострения международной напряженности, вызванной происками реакционных империалистических сил. И чрезвычайно важно, что в этой усложнившейся ситуации писатели вновь выразили свою непреклонную волю к миру, готовность отдать борьбе за него свои таланты, силы, время. Они вновь обратились с призывом — не допустить, чтобы погибла наша прекрасная планета. Разве не верой в сохранение земли и жизни мы живем, разве не это движет нашей деятельностью? Об этом наша тревога и забота. И мы убеждены: катастрофа не произойдет! Но мы знаем, что за это нужно ежедневно и ежечасно бороться, ибо история не предопределена свыше. История — это деятельность самих людей, она зависит от человека и человечества. Этим диктуется долг писателей. Наивысшим критерием здесь выступает воля народов к миру, и по нему мы можем судить о действиях того или иного правительства.

Не разжиганию войны и эскалации ненависти, а целям гуманизации жизни должны служить усилия мастеров культуры, все творческие силы художников слова. Если бы писатели делали вид, что не замечают, что планета в тревоге, что над миром нависают ядерные, нейтронные и всякие другие невиданные ранее чудовища, если бы они отстранились от всего этого, от сознания нависшей опасности для всех, немного осталось бы наших писательских работ и книг тоже.

Напомню в этой связи слова Л. И. Брежнева, сравнившего нынешнюю международную ситуацию с развилкой дорог, указав таким образом на великую ответственность выбора, перед которым оказалось человечество. Либо человечество, все мы избираем путь, который ведет от войны к миру, либо оно будет вынуждено продолжать гонку вооружений и жить в атмосфере конфронтации. И этот выбор касается всех без исключения, каждого человека. И выбор в пользу мира сделали все честные писатели земли.

Советский народ свой выбор сделал давно. Претерпев столько от войны, разрухи, испытаний, он стоит твердо, не сворачивая с пути мира и сотрудничества. Для нас это вопрос кровных интересов народа и страны, незыблемый принцип нашей внутренней и внешней политики. Нам не нужна война, ибо мы творим новый мир, общество высшей социальной справедливости. Чрезвычайно сложное это дело — прокладывать неизведанные пути в будущее. У нас, конечно, немало проблем, недостатков и трудностей. Но эти трудности мы одолеем прежде всего своими собственными силами. Но для этого нам, как воздух, нужен мир.

Находясь перед дворцом «Финляндия», уместно, пожалуй, привести слова, сказанные совсем недавно известным американским религиозным деятелем. «Мир переживает сегодня самый критический момент в своей истории,— констатировал проповедник, преподобный Билли Грэм, участвовавший во всемирной конференции деятелей религии против ядерной войны в Москве. — Никогда раньше, — подчеркивал он, — человечество не держало в руках столь чудовищное оружие. Из какой бы страны он ни прибыл, каждый из нас должен сделать все, чтобы спасти священный дар — жизнь — от ядерной войны. Международная гонка вооружений, — продолжал он,— должна быть изжита как безрассудная и преступная. Мы должны быть вместе, у нас общий враг — война»,— декларировал Билли Грэм.

Сверхзадача каждого честного писателя в нынешней обстановке — творчеством, силою своего слова нести людям правду об угрозе ядерной войны, нависшей над человечеством, и ее чудовищных последствиях, если она разразится.

Глядя на белоснежную, строгую громаду дворца «Финляндия», я думал и о том, какие глубокие корни пустил животворный «дух Хельсинки» и какие огромные возможности предоставил он для развития культурного обмена. Ведь прямым результатом хельсинкских договоренностей следует считать и конструктивное начало творческого диалога советских и американских писателей. Известно, что литературные взаимосвязи Советского Союза и Соединенных Штатов Америки долгое время носили нерегулярный характер. Они развивались особыми путями, на что были свои причины, обусловленные общественно-историческими условиями внутреннего разви-

тия США и эволюции их внешней политики.

Лишь в 1977 году, впервые в истории литературного общения двух стран, в Москве, по инициативе журналов «Иностранная литература» и «Сатердей ревью» (Нью-Йорк) был проведен «круглый стол» писателей СССР и США, посвященный теме «Взаимосвязи советской и американской литератур». Плодотворный диалог, свободный обмен мнениями вызвал живой интерес участников, среди которых находились такие крупнейшие художники слова Америки и СССР, как Роберт Лоуэлл, Эдвард Олби, Уильям Стайрон, Валентин Катаев, Чингиз Айтматов, Юрий Бондарев, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Сергей Залыгин, а также многие советские специалисты по американской литературе. Сопредседателями были Норман Казинс и автор этих строк.

Встреча эта явилась убедительным подтверждением того, что советско-американские литературные связи служат существенным фактором культурного обмена между двумя крупнейшими государствами мира, служат благородному делу духовного общения народов. Она стала началом постоянных творческих контактов литераторов СССР и США. И во время дискуссии, и позднее в печати отмечалось, что «круглый стол» сдвинул дело с нулевой точки, открыв новые горизонты в советско-американском литературном общении. Справедливости ради необходимо отметить, что не все заседания проходили гладко и миролюбиво, обсуждение отдельных проблем носило острый и нелицеприятный характер.

Было бы опрометчиво утверждать, будто московская дискуссия писателей США и СССР проходила в идеально благоприятной международной обстановке. Уже тогда противники разрядки любыми средствами пытались отравить отношения между СССР и США, вернуть их к временам «холодной войны». Кое-кто из вдохновителей западных средств массовой информации старался представить хельсинкские договоренности «промахом» Вашингтона, ибо, как они демагогически утверждали, «заключенное тридцатью пятью странами соглашение... знаменовало собой важный успех дипломатии Кремля».

Манипулирование общественным мнением, циничное искажение действительности — это давно и хорошо известные приемы буржуазной пропаганды, от которых, как говорят американцы, «улыбка холодеет на зубах». Но каждому непредвзятому человеку ясно, что в Хельсинки не было выигравших и проигравших, что совещание означало победу разума. Разве от разрядки международной напряженности, от мира и безопасности выигрывают не все народы, в том числе и американский? И все-таки жрецы «холодной войны» из «Нью-Йорк таймс» беззастенчиво пророчили: «То, что было сделано росчерком Форда, вполне может быть зачеркнуто росчерком Картера».

Помнится, дискуссия во время второй встречи за «круглым столом» в Нью-Йорке в целом проходила в доброжелательной обстановке. Участники ее затронули широкий круг вопросов, касающихся социального положения и творческого труда писателя в современном мире. Хотя здесь не обошлось без отдельных экстравагантных выходок. «Под занавес» к дискуссии присоединился Артур Миллер, популярный американский драматург, который не нашел ничего лучшего, как обрушиться с нападками на ее участников. Кстати, Миллер признался, что не знает участников заседания, не читал их сочинений, а посему и не видит смысла в подобного рода встречах. Если бы за «круглым столом», продолжал он, сидели его друзья и единоверцы, то все это имело бы смысл...

Напомню, что Миколас Слуцкис, со всей учтивостью заметив, что впервые встречается с Миллером, вынужден был сказать, что маститый драматург, видимо, не приметил сидящего рядом Валентина Катаева и других советских писателей с мировой известностью. Разумеется, наши писатели не виноваты, что Артур Миллер не удосужился познакомиться с творчеством всемирно известного художника слова. Справедливо сказано: невежество никогда не украшало никого, тем более оно не украшает драматурга, претендующего на роль вершителя судеб американской литературы. Хотя «миллеровская мизансцена» осталась лишь эпизодом в нашей, несомненно, плодотворной дискуссии, по-своему она симптоматична и не учитывать ее нельзя.

Невзирая на выпад Миллера, нью-йоркский «круглый стол», сохранивший лучшие черты московской встречи, помог нам продвинуть дальше литературные взаимоотношения Советского Союза и США.

Известно, что «эстетика» насилия и жестокости пронизывает всю сферу искусства и литературы США. Об этом шел разговор за нашим четвертым «круглым столом» в Лос-Анджелесе. Внимание было привлечено к статье «Опасность прячется в груди самой Америки», написанной Артуром Шлезингером, бывшим советником президента Джона Кеннеди, и опубликованной журналом «Сатердей ревью». Профессор Шлезингер — с ним мы встречались ранее, а также беседовали в Лос-Анджелесе — говорит о «револьверной этике», определяющей моральный климат современного американского общества, вскрывает социальные причины той атмосферы преступности и убийств, что господствует в США.

Убийства на протяжении всего пяти лет Джона Кеннеди, Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди, отмечает Шлезингер, заставляют задаться тягостным вопросом: что представляет собой современная Америка? «Это,— пишет он,— указывает уже не на случайные отклонения от нормы, а на все более четко выявляющуюся систему реакций и действий, на все возрастающую зловещую веру в эффективность насилия как средства политики... Теперь, в третьей четверти XX века, насилие в нашей стране опять вырвалось наружу. Что оживило нашу старую склонность? Что в атмосфере этого десятилетия способствует — а для некоторых даже узаконивает — смакование ненависти и обращение к насилию? Почему, согласно данным Федерального бюро расследований, число вооруженных напа-

дений возросло на 77 процентов за четыре года?»

Одна из причин возникновения атмосферы насилия в Соединенных Штатах, утверждает Шлезингер, несомненно, лежит в том, что средства массовой информации, особенно телевидение и кино, сосредоточивают внимание на насилии, всячески смакуя его. Тут следует ясно понять: сами по себе средства массовой информации не создают насилия, но, поддерживая, культивируя агрессивные и разрушительные импульсы людей, они пропагандируют насильственные методы и мораль преступности. «В последние годы кино и телевидение развили порнографию насилия, которая развращает человека гораздо хуже порнографической эротики. Наиболее сильно влияние телевидения. Дети электронного века сидят, загипнотизированные убийствами, избиениями, перестрелками, поножовщиной, пытками, пьяными драками, непрерывно сменяющими друг друга на маленьком экране...».

У самих американцев, в том числе писателей, можно найти множество свидетельств о духовном обнищании и моральном кризисе американского общества. Джон Стейнбек, например, в свое время опубликовал в журнале «Сатердей ивнинг пост» статью, где анализировал причины, приведшие Америку к моральной опустошенности, бездуховности, идейному краху. Задаваясь вопросом, почему американцы подошли к грани нравственного распада, автор «Гроздьев гнева» писал: «Думается, произошло это потому, что мы, дойдя до конца дороги, не нашли впереди никакого нового пути, у нас не оказалось ни долга, который надо было бы выполнять, ни цели, к которой мы могли бы стремиться».

В этом году состоялась пятая советско-американская литературная встреча в Киеве.

Киевская полемика носила широкий, раскованный и острый характер. И затрагивала она, разумеется, не только собственно литературные проблемы, но главное, что глубоко тревожит советских и американских писателей, всех, каждого человека — мир на нашей земле. Шел доброжелательный диалог писателей, нередко стоящих на разных позициях, но несомненно желающих добрых отношений между США и СССР, улучшения взаимопонимания и сотрудничества.

Подводя итоги встречи, американский писатель Г. Солсбери отметил, что такие встречи особенно важны в период обострения напряженности в мире и в отношениях между СССР и США. Они дают возможность писателям двух стран откровенно обмениваться мнениями, несмотря на то, что это люди, во многом по-разному смотрящие на мир. Но несмотря на разногласия, подчеркнул он, нас объединяет одна общая цель — стремление выжить, сохранить мир и достичь лучшего взаимопонимания.

Все мы хотим, продолжал Солсбери, продвинуть вперед дело взаимопонимания между нашими странами, создать такие взаимоотношения, которые дали бы возможность предотвратить ядерную войну. Все мы разделяем убеждение, что пора прекратить гонку ядерных вооружений, которую форсируют отдельные страны, по крайней мере хотя бы сократить ее размах. Невозможно себе представить, чтобы разумный человек не разделял подобной убежденности независимо от того, является ли он гражданином Соединенных Штатов или Советского Союза.

Не станем преувеличивать значение литературы в современном мире, сказал украинский писатель П. Загребельный, но почему бы нам со своей стороны не стремиться к тому, чтобы она была и честью, и славой, и главой человеческого духа, прибежищем свободы и проповедью добра, призывом к благоразумию и мирному сосуществованию, протестом против самоуничтожения человечества и мира, верой в неистребимость жизни на земле, в благородство и вечность человека.

Необходимость усиления борьбы против военной угрозы особенно отчетливо предстала сейчас, когда силы милитаризма и зла развернули наступление на разрядку и мир, предприняли попытку увести государства Западной Европы в сторону от маршрута, проложенного в Хельсинки. И все же ткань мирных отношений оказалась намного прочнее, чем думали зачинатели этого наступления. В Европе и во всем мире набирает силу движение протеста против новой угрозы войны и гонки вооружений, против попытки подорвать жизненно важный для народов процесс развития экономических, научно-технических и культурных связей.

Причалы Хельсинки наш теплоход покидал в ранний час. Из иллюминатора моей каюты открывалась панорама города, залитого лучами утреннего солнца, окутанного серебристым туманом. Привлекательное магическое зрелище «белого» северного города, музыка его улиц и площадей со множеством скульптурных памятников, светлых дворцов и домов.

Мысли незаметно увели меня в другой дворец — небоскреб ООН на Ист-Ривер...

Штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке я посетил в связи с обсуждением проблем международного культурного обмена в одном из ее комитетов. Сперва заглянул в кафе делегатского зала на втором этаже, где обычно собираются участники заседаний. Вскоре я заметил несколько знакомых лиц, поздоровался с ними, а затем уединился, чтобы выпить чашку итальянского капучино. Тут его умеют готовить.

В делегатском ресторане, как всегда, царит обычное в обеденный час оживление. Душистый запах пряных кореньев, индийского кари, аромат черного кофе густо разливаются в атмосфере огромного зала на четвертом этаже небоскреба международной организации, куда я зашел с коллегами. Неутихающий звон посуды и приборов перемешивается с людским разноязычным гулом. И сколько бы посторонний наблюдатель ни прислушивался к этой какофонии звуков — гортанных, клокочущих, темпераментных, — ничего положительно он не поймет, даже если владеет целой дюжиной разных языков и диалектов. И не оттого, что модуляция недостаточно высокая. Впечатление такое, будто все говорящие тут глуховаты от рождения. Между тем это гудение, безликое и безличное, не

только не мешает сидящим за столиками, но, напротив, благословляет их на взаимное понимание, притом чуть ли не с полузвука. Иногда мне кажется, что это какой-то особый язык, что-то говорится, но что именно — понять невозможно.

Места здесь никогда не пустуют. Тут свой ритм, свои правила, свои персонажи. Помимо дипломатов сюда стекаются журналисты всех толков, международные обозреватели — эти современные оракулы, — общественные деятели, университетская профессура. Нет недостатка и в разного рода полузагадочных личностях, чье амплуа, впрочем, распознается без всякого труда. Они являют собой примелькавшиеся фигуры, призраки, опасные и зловещие, которые кое для кого остаются привлекательными, окруженными заманчивым ореолом «тайных связей». Это грубоватые кадры разведывательных служб, облаченные в твидовые пиджаки лилового цвета. Они старательно прячут глаза, помня наставления своих шефов — не шаркать и не топать до времени слишком громко штатскими башмаками, которыми им заменили казенные служебные бутсы.

Здесь место назначенных свиданий и случайных встреч для всех — партнеров и противников. И обстановка тут порой напоминает ярмарочный аукцион с той лишь разницей, что торг ведется негласный, без громких ударов традиционного молотка.

Часто судят людей по первому впечатлению, но проверить человека, полагают иные, можно только тогда, когда с глазу на глаз посидишь с ним в ресторане за бутылкой джина или виски. За солидным куском обжаренного на гриле стейка из поясничной вырезки под доброе бургундское удачного урожая заключаются сделки, совершается купля-продажа информации, активно муссируются слухи и инсинуации против политических оппонентов. Словом, этот «базар» ни отца, ни матери не признает...

В этом месте, быть может, интенсивнее и пристрастнее, чем в любом национальном парламенте, дискутируются проблемы дня, въедливо штудируются проекты резолюций, разведываются планы и правительственные инструкции оппонентов, чтобы сподручнее застолбить наиболее выгодные для себя позиции. Энергично разрабатываются тактические комбинации, строятся прогнозы. Здесь говорят и о деталях, но говорят о них на редкость детально, чтобы герметически закупорить противника в бутылки джинна. За это, как и за все в жизни, приходится, конечно, платить надлежащую мзду, иначе ради каких причин затрачивались бы валюта и нервная ткань людей... Это так. Но здесь господствует реальность, каждодневный опыт дипломатии, без чего едва ли мыслимо движение международной колесницы. Это тоже, кажется, так.

Особая активность перед ленчем господствует у монументальной стойки бара, полки которого украшены рядами бутылок самой причудливой формы, по-своему представлен весь мир. В интерьере стеклянного небоскреба ООН много весьма специфического. Здесь на каждом шагу яркое своеобразие. Над экспозицией сосудов с веселящей влагой в баре лаунджа во всю поперечную стену смонтирована карта мира. По меткому определению одного дипломата, это, пожалуй, самая аполитичная карта в сердце самой политической международной организации. Одноцветная коричневая карта без каких-либо оттенков стран со столь различными структурами. Это скорее мир, как он видится людям у стойки бара, — смутно, в космополитическом тумане.

Примечательна и панорама делегатского фойе: если посмотреть на царящую тут обстановку со стороны, то может показаться, что это международный клуб или казино с пестрой и разноликой публикой. Столики, кресла, диваны, цветы и громкие голоса репродукторов, возвещающих о начале и окончании заседаний в конференц-залах. Вокруг — нарядные экзотические женщины, какие-то молодые люди, завсегдатаи, составляющие неотъемлемую часть местного пейзажа.

Вспомнились люди и годы в Организации Объединенных Наций, штаб-квартира которой расположена на берегу Ист-Ривер. Здесь, в сорокаэтажном комплексе из бетона, стали, стекла и мрамора, где сосредоточено около пяти тысяч сотрудников секретариата международного анклава, проведена мною не одна весна и осень. В его стенах «межсезонные периоды» относительного затишья сменялись марафонскими дебатами, острыми коллизиями, длящимися дни и ночи сессиями Совета Безопасности. И каждый раз, приближаясь к парадному подъезду этого дворца, у фасада которого ветер с Ист-Ривер раздувает на высоких флагштоках около ста пятидесяти разноцветных полотнищ государств — членов ООН, испытываешь озабоченность по поводу начала и конца открытых и неофициальных консультаций, за столом заседаний и во время кулуарных встреч. Тут всегда необходимы готовность к энергичной наступательности, чувство мгновенной реакции и стоическая выдержка. Здесь никто не может рассчитывать на дипломатический иммунитет, дающий гарантию от внезапных атак со стороны политических оппонентов или от допросов всеядных журналистов, которые неусыпно, круглые сутки несут свою вахту. Они, словно хищники, выжидают свою жертву и в ранний, утренний час, когда стеклянная громада залита солнечными лучами, и поздней ночью, когда вся она сверкает россыпью электрических огней.

И то, что этот международный анклав находится в центре гигантского Нью-Йорка, ощутимо сказывается на всей жизни и каждодневной деятельности дипломатического корпуса — начиная с условий быта и кончая выполнением служебного долга. В течение всех тридцати восьми лет существования ООН американский конгресс не удосужился ратифицировать соглашение о правовом статусе этой организации на территории США. Новый свет западного мира, пересаживая старое дерево, вместе с ним пересадил и его роковые недуги.

И здесь предо мной предстала обстановка гарнизонного государства, полная политических, социальных, психологических контрастов. Неупрощенный, противоречивый мир со своей трудно распознаваемой

расстановкой противоборствующих сил. Облик противника сложен и многолик. И внешность часто только маскарадное обличье сущности. Мир, где пожирают друг друга огромные корпорации, действующие в сфере военно-промышленного комплекса, гигантские банки, валютные биржи. Годы, проведенные в стране, помогают понять, что, несмотря на сатанинское могущество денег, у многих американцев все более колеблется вера в непреходящую ценность капитала. Возникает ощущение античеловечности всей этой чудовищной империи...

Но вернемся к нашему повествованию.

Вглядываясь в группу людей, оживленно что-то обсуждавших, я заметил знакомое женское лицо и невольно засмотрелся на него. Женщина, почувствовав на себе взгляд, повернулась в мою сторону, и наши глаза встретились. Похоже, она меня не узнала. Через некоторое время она вновь взглянула на меня и, словно вспомнив, слегка кивнула головой. Это заметили ее собеседники и тоже повернулись в мою сторону. Среди них оказался один из моих давних знакомых. Почувствовав, что они говорят обо мне, я отошел в сторону, где был менее заметен. Это позволило мне внимательнее рассмотреть увиденную женщину. Это была Камелия. Все такая же естественная и обаятельная, с большими темными глазами, одухотворенная, элегантная.

Я уже решил покинуть кафе, как все направились на заседание, и она проходила совсем близко от меня. Наши взгляды вновь встретились, и я осмелился обратиться к ней:

— Надеюсь, вы вспомнили круиз на теплоходе «Белоруссия»?

— Вы не ошиблись. Для меня это приятное воспоминание, — ответила она с улыбкой. И поинтересовалась: — Какими судьбами?

— Видите ли, американские университеты порой еще рискуют приглашать советских ученых для чтения лекций. Хотя, признаться, теперь это делается все реже...

— Надолго ли приехали?

— На месяц... Кстати, у меня поручение от вашего друга Милана, с которым мы недавно виделись в Москве. Он просил, если я случайно встречу вас в ООН, передать вам привет.

Ее лицо выразило заметную печаль.

— Мы не виделись так давно. Благополучен ли он?

— Затрудняюсь, право, сказать вам что-либо определенное. Выглядел хорошо...

Я почувствовал, что Камелия предпочла бы сменить тему разговора.

— Говорят, что в авиасообщении между Москвой и Нью-Йорком все еще продолжаются затруднения, — сказала собеседница.

— Как ни парадоксально, но остается упрямым фактом, что американские дипломаты не устают убеждать всех, будто они последовательно соблюдают хельсинкские договоренности, а в действительности бойкотируют экономические и культурные связи. Разве не абсурдно решение Госдепартамента о прекращении полетов советских самолетов в Нью-Йорк? Теперь, чтобы попасть из Москвы в Нью-Йорк, приходится совершать почти кругосветное путешествие.

— Достойно сожаления, но это не единственный случай. С абсурдом в американской внешней политике нам приходится сталкиваться чуть ли не на каждой международной конференции. Разве не абсурдны отказ США участвовать в Олимпийских играх в Москве, прекращение научного и культурного обмена с СССР?

— Профессор Николова, началось заседание Комитета, просим вас пройти в конференц-зал, — обратилась к Камелии подошедшая сотрудница ООН в голубой форме.

— Извините, мне пора... Быть может, мы еще встретимся с вами, профессор Константинов, — сказала Камелия.

— Вам известна моя фамилия? — вырвалось у меня.

— Да, коллеги успели мне кое-что рассказать о вас, — заметила она с улыбкой, повернулась и стремительно ушла на заседание.

Простившись с Камелией, я думал, что мы еще встретимся до моего отъезда. Судьба, однако, распорядилась иначе.

ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЛОНДОН

Лондон... Прошло всего девять дней после окончания войны на Мальвинских (Фолклендских) островах, а вокруг, кажется, ничего не случилось. В Гайд-парке, где я побывал, спокойно фланирует публика. Трафальгарская площадь, традиционное место демонстраций и митингов, заполнена мирной молодежью в синих джинсах и куртках. Лишь модные майки, выставленные в спортивных магазинах, напоминают о недавних событиях. На них крупными буквами оттиснуто: «Сохраним Фолклендские острова британскими». Какой жалкий «патриотический» призыв. Не удалось правящим силам Британии в связи с фолклендской авантюрой разжечь шовинистический угар в сознании англичан.

В Лондоне повсюду свидетельства прошлого, и поневоле мысль хочет вернуться на несколько веков назад. История, увы, категорична: Англия — одна из первых стран-завоевательниц, которая еще в начале семнадцатого века вторглась в Китай с «крестом и жаждой крови, опиумом и мечом». Чудовищны преступления английского колониализма! Ведь британские военные корабли проложили путь торговым. Не забыта история. Старинная историческая хроника сообщает: «Все корабли стали бешено обстреливать китайцев снарядами, а через два-три часа... до берега добрались на лодках сотни матросов... Они подняли на крепостной стене флаг Ее Величества королевы Великобритании. В ту же ночь перебросили на берег всю свою крепостную артиллерию, подожгли дом военного начальника и разгромили все, что можно было разгромить...»

Это — прошлое, а вот наше время. Впрочем, лучше предоставить слово зарубежной прессе и процитировать статью «Предали союзника». Во время недавнего англо-аргентинского вооруженного конфликта из-за Мальвинских (Фолклендских) островов Соединенные Штаты пошли на откры-

тое предательство Аргентины — своего союзника по межамериканскому договору о взаимной помощи. Об этом свидетельствуют новые факты, опубликованные американским журналом «Ньюсуик». Заметьте, так пишут американцы об англичанах, о тех, против кого в XVIII веке сражалась Америка во имя собственной независимости.

Специалисты из Агентства национальной безопасности, ведущего разведывательного ведомства США, сообщает журнал, нашли ключ к аргентинским военным шифрам. Таким образом, Пентагону стали известны секретные планы командования Аргентины по обороне Мальвинских (Фолклендских) островов. Эта информация, имевшая для аргентинцев жизненно важное значение, была передана британским военным.

Соединенные Штаты и Англия — главные кредиторы Аргентины — пошли на откровенно грубый нажим, стремясь навязать этой стране свои условия «пересмотра» отсрочки погашения ее задолженности. Основную ставку в этой неблаговидной игре Вашингтон и Лондон делают на так называемую «фолклендскую» проблему. Прибегнув к силе, Англия захватила Мальвинские (Фолклендские) острова и категорически отказывается от проведения каких-либо переговоров об определении их статуса. Великобритания добивается от Аргентины официального отказа от «возобновления военных действий» в районе Мальвинских (Фолклендских) островов в качестве предварительного условия предоставления новых займов и кредитов.

Не следует удивляться, что этот беспардонный нажим вызывает в Аргентине резкое возмущение. Представители военного командования, ведущих политических партий и общественных организаций страны в своих заявлениях подчеркивали, что правительство ни в коем случае не должно идти на поводу у Вашингтона и Лондона, соглашаясь на выдвигаемые ими и Международным валютным фондом условия еще большего закабаления аргентинской экономики. Общественность Аргентины не без основания требует от властей проявлять твердость и в вопросе о статусе Мальвинских (Фолклендских) островов.

Теперь присмотримся к реальности. Как говорилось в заявлении командования ВВС, а также ряда политических партий Аргентины, конфликт в Южной Атлантике прекращен «де факто», но окончательно отнюдь не разрешен. Путь к преодолению спора с Англией лежит через переговоры, которые, как предложила Аргентина, могли бы быть проведены под эгидой Организации Объединенных Наций. Путь этот долог...

По мнению политических наблюдателей, пройдут годы, если не десятилетия, прежде чем аргентинцы забудут предательство Вашингтона, открыто вставшего на сторону британского агрессора. Широкий резонанс в стране вызвало недавнее заявление в Мексике министра национальной обороны Аргентины Хулио Мартинеса Вивота. События в Южной Атлантике со всей очевидностью показали, подчеркнул он, что Соединенные Штаты не останавливаются перед вмешательством во внутренние дела других стран, если речь идет о сохранении их собственных интересов. Министр призвал латиноамериканские государства крепить единство для противоборства интервенционистскому курсу Вашингтона. Комментируя это заявление аргентинского министра, политические наблюдатели напоминают, что в странах Латинской Америки нарастает протест против превращения Мальвинских (Фолклендских) островов в крупную военную базу Англии и НАТО. По сообщениям печати, сейчас там полным ходом идут работы по сооружению взлетно-посадочной полосы и строительству других военных объектов. Вся эта авантюра дорого стоила Англии и, это можно сказать уверенно, будет стоить еще дороже.

— Как только мы будем жить, — жаловалась мне на теплоходе одна немолодая англичанка, — если уже сейчас люди считают каждый фунт, каждый пенс. Приходится отказывать себе во всем, приглашать друзей в гости стало просто невозможно. Мы нищаем, прозябаем в постоянной нужде, испытываем недостатки в самом насущном и необходимом... хотя супермаркеты переполнены.

Крупнейшая английская газета «Таймс», позволю себе процитировать, писала недавно: «Если вы хотите видеть самые сложные социальные проблемы сегодняшней Британии, отправляйтесь в центр почти любого нашего крупного города. Там, в грязных, полуразвалившихся кварталах, вы станете свидетелем ужасающей нищеты, безработицы, преступности, психических и физических заболеваний, столкнетесь с проблемой бездомности, плохих жилищных условий и перенаселенности».

Посетить эти места, увы, мы не имели возможности. Да и желания особого не было. И все же...

Былая владычица морей стала теперь всего лишь «маленьким перенаселенным островом». Меткие слова найдены в поэтических строках Л. Васильевой, многие годы прожившей в Лондоне:

Над Англией закат.
Великая держава
вела, вела захват —
себя не удержала.

В жизни английского общества идут глубокие процессы, политические, экономические, идеологические. Если говорить о жизни материальной, то цены скачут безудержно. Растут всевозможные налоги. Кто-то должен расплачиваться за потопленные эсминцы, оснащенные по последнему слову военной техники, за сбитые самолеты и вертолеты. А как оплатить жизни людей, потерянные в войне? Как их оплатить!

Удивительно ли, что среди европейских стран в Англии царит самая большая безработица? В августе 1982 года число официально зарегистрированных безработных достигло рекордной цифры за всю историю страны — почти три миллиона триста тысяч человек. Это означает, что сегодня на Британских островах не имеет работы каждый седьмой трудоспособный человек. Может быть, не наше это дело. Нет, позвольте, мы вправе напомнить всем об этой реальности капиталистической страны.

За этими цифрами — море трагедий, искалеченные человеческие судьбы, боль и отчаяние миллионов, оказавшихся за бортом пресловутого «общества всеобщего благоденствия», каким пытается изображать частнособственнический строй буржуазная пропаганда. Хотелось бы напомнить глашатаям западного образа жизни, что мы понимаем, отдаем себе ясный отчет, каково подлинное «благоденствие» этого общества.

После недавнего посещения Лондона особенно убедительным мне показался репортаж А. Масленникова «Искалеченные судьбы», опубликованный в «Правде». В нем правда времени, сегодняшняя британская реальность. Напомню, в чем суть дела.

Жительница Оксфорда, двадцатипятилетняя Сюзанна Мэлони, работала репортером в местной еженедельной газете. До поры до времени скромной зарплаты хватало на жилье, питание и одежду. Кое-что удавалось сэкономить и на отпуск. Сюзанна специализировалась на репортажах из зала суда и историях, связанных с социальным обеспечением безработных. «Написав очередную корреспонденцию,— признается она сегодня,— я редко задумывалась о том, что же стало с ее героями дальше. Нетрудно забыть о судьбе безработного, когда у тебя самого есть работа».

Но вот и ей судьба нанесла удар. Вернувшись из отпуска, Сюзанна Мэлони узнала, что она уволена.

Получив выходное пособие, которого, по ее расчетам, должно было хватить на месяц, Сюзанна отправилась на биржу труда, куда еще недавно советовала обращаться героям своих очерков. Однако здесь ее ждало первое разочарование. Чиновники биржи разъяснили журналистке, что она сможет стать в очередь на получение пособия по безработице лишь через месяц, когда кончится срок ее выходного пособия. После этого еще около двух недель уйдет на проверку и обработку сведений о ней.

«Пришлось срочно оставить квартиру, которую я больше не могла содержать, и снимать угол в Лондоне, где меня никто не знал,— пишет Сюзанна в своем дневнике, опубликованном в газете «Дейли миррор».— Но и это не помогло. Полученных при расчете денег вскоре стало не хватать не только на плату за жилье, но и на питание».

Позвольте заметить, что домой Сюзанна пробиралась тайком, чтобы, не дай бог, не столкнуться с хозяином. И все ее время было заполнено бесплодными поисками любой работы и непрерывным хождением в управление социального обеспечения. Первые чеки с пособием по безработице Сюзанне удалось выбить только к началу августа, когда она уже давно жила впроголодь и сильно задолжала. «Полученных денег,— пишет она,— хватило лишь, чтобы спастись от голода. Оплату квартиры пришлось отложить до лучших времен».

«По характеру я борец,— отмечает Сюзанна в своем дневнике.— А что же происходит с теми, кто не умеет постоять за себя?» В самом деле, что с ними происходит?

Массовая безработица и порождаемый ею страх оказаться за воротами предприятия или учреждения используются для усиления эксплуатации трудящихся, подавления у них воли к сопротивлению. И небезрезультатно. Под угрозой увольнения рабочие и служащие все чаще вынуждены соглашаться на «замораживание» заработной платы, несмотря на рост дороговизны, будучи больными, выходить на работу.

Хотелось бы задать вопрос английским ревнителям прав человека, проявляющим трогательную заботу о гражданах других стран: почему они хранят могильное молчание о положении трудящихся у себя на родине? Почему эти поборники «прав человека» из Би-Би-Си никогда не заикаются о бесправии своих граждан и произволе британских властей. Быть может, так угодно Маргарет Тэтчер?

В последнее время появляется все больше признаков, что терпение английских трудящихся иссякает. Об этом говорят проведенная забастовка железнодорожников, продолжающаяся вот уже несколько месяцев стачка работников здравоохранения. Она совпала по времени с нашим заходом в порт Тилбери. Помимо прочего забастовка британских железнодорожников отразилась и на английских туристах нашего круиза: они вынуждены были добираться домой разными путями, так как заранее купленные билеты оказались недействительными...

Вспомним о недавнем прошлом. Когда в 1950 году был основан Всемирный Совет Мира, его первый президент профессор Фредерик Жолио-Кюри сказал: «Объединившись, мы с еще большим энтузиазмом возьмемся за работу, чтобы создать международное движение, которое смогло бы утвердить волю народов там, где другие организации, призванные поддерживать мир, потерпели неудачу. Действуя со всей искренностью и силой убеждения в необходимости сохранить мир, мы докажем свою силу, свою способность разбудить совесть человечества, которая победит войну».

Теперь, более чем тридцать лет спустя, эта задача продолжает оставаться весьма актуальной. Почему? Накопленные запасы ядерного и другого оружия массового уничтожения за прошедшие годы увеличились во много раз. В 50-е годы лидеры США открыто вели разговоры об уничтожении советских городов атомными бомбардировками. За океаном находятся влиятельные политики, рассуждающие так же и сегодня.

Никто не может преуменьшать нависшую над миром угрозу, особенно сейчас, когда Израиль, совершив беспрепятственную агрессию против Ливана, угрожает зажечь пожар войны на всем Ближнем Востоке. Именно теперь Белый дом форсирует свои планы размещения крылатых ракет и нейтронного оружия в Западной Европе.

Однако, пишет Гордон Шаффер, вице-президент Британской ассамблеи мира, нельзя не видеть и то, что народы все активнее выступают в поддержку разоружения, полного запрещения ядерного и других видов оружия массового уничтожения, прекращения гонки вооружений. И в этом — источник нашей надежды и уверенности в будущем. В Великобритании фактически само правительство дало толчок новому подъему

движения сторонников мира, в частности опубликовав брошюру, в которой пыталось убедить население, что оно, мол, переживет ядерную войну в самодельных убежищах.

Не все так просто. Тысячи людей, которые раньше были склонны игнорировать нависшую опасность или соглашаться с официальной пропагандой, утверждающей, что «равновесие страха» способно сохранить мир, пришли к заключению, что их руководители безответственно мыслят бредовыми категориями «ограниченной» ядерной войны.

Несмотря на попытки английских средств массовой информации, отмечает Гордон Шаффер, организовать заговор молчания вокруг советских мирных предложений, их содержание доходит до сознания миллионов людей, ищущих пути к устранению ядерной опасности. Торжественно провозглашенное Л. И. Брежневым обязательство СССР не применять первым ядерного оружия никто не вправе оставлять без ответных шагов. Запад не имеет права отмахиваться и от предложения установить мораторий на ракетно-ядерное оружие средней дальности в Европе, как и от других конструктивных советских инициатив, принятие которых могло бы ускорить достижение соглашений на переговорах по проблемам укрепления безопасности и разоружению.

По мере того как все большее число простых людей будет осознавать, что выход из тупика имеется, что советские предложения указывают реальный путь к устранению угрозы войны, набирающее силу движение миллионов будет становиться все более определяющим фактором в борьбе за воплощение этих устремлений к миру в реальные политические решения.

И снова строки Л. Васильевой, которая провела на Британских островах не одну весну и осень:

Куда плывешь, ладья
британского величья,
во взгляде не тая
оттенка безразличья

к себе и ко всему,
что ныне правит миром?
Ах, твоему уму
быть только командиром.

Ты, как никто, могла,
весь мир тому свидетель,
дать людям чашу зла,
как будто добродетель,

и, благостью горя,
дарила свет неволи...
Ах, зря все было, зря —
переменились роли.

На склоне дня наш теплоход покинул лондонский порт Тилбери, выйдя на просторы открытого моря. Исчезли очертания берегов.

Лишь стайка чаек, отрывисто крича, неотступно сопровождала наш теплоход. Слышали ли вы, как кричат чайки в море? Они долго реяли над пенящимися волнами, внезапно появлялись и так же внезапно исчезали. Вдали — силуэты танкеров и сухогрузов, что едва заметно передвигаются в морской дымке.

Вскоре на горизонте показалось кроваво-красное предзакатное солнце, воспламенившее на мгновение зеркальную гладь моря. Такой закат, если верить приметам, предвещал сильный ветер... К вечеру море заволновалось, стало густо-палевым и дымным. Ночью разразился шторм.

Море стонало... Ударяясь с неистовой силой о стальные борта, волны разбивались на мелкие брызги, взлетавшие над нашим лайнером, который упорно шел вперед наперекор разбушевавшейся стихии.

До Мадейры — трехсуточный переход. Впереди — просторы океана. Невольно думаешь: разве не хватит всем места в этом мире, как звездам в небе или волнам в океане? Море объединяет людей и народы, ведь все человечество плывет на одном корабле...

Между тем пассажиры довольно быстро приспособились, и на судне закипела своя жизнь. В салоне красоты женщины изобретали прически к предстоящему балу. В кинозале демонстрировался новый фильм, получивший какую-то высшую академическую премию. В музыкальном салоне играл эстрадный оркестр, и отдельные пассажиры не упускали случая потанцевать. Бар заполняли мужчины, за стаканом виски или джина заинтересованно обсуждавшие последние новости с мирового чемпионата по футболу в Испании.

Я вышел на палубу и долго всматривался в освирепевшее море. Слушая звуки ночи, я вглядывался в нескончаемую игру волн. Дул холодный северный ветер. Внезапно показалась большая двухмачтовая шхуна и быстро исчезла в ночной тьме. Такие видения вселяют в душу великую меланхолию моря, метание волн, неисповедимость океанических дорог. Дорог наших встреч и разлук, неизбывных грез на затемненных палубах под парусами.

Вспомнились далекие берега Ист-Ривер, и в памяти всплыла встреча с Камелией. Я часто думал о ней, мне хотелось ее увидеть. И даже пытался представить себе, как могло бы это произойти. Но все получилось непредвиденно.

Шел дипломатический прием в советском представительстве при ООН. Множество людей, разноязычный разговор, оживленные споры, шутки, смех. Прием — это всегда новые лица, знакомства, непосредственность общения. Во время беседы с коллегами меня вдруг охватило какое-то предчувствие, будто кто-то незаметно приблизился ко мне сзади. Я невольно повернулся и увидел Камелию в длинном черном платье, с распущенными до плеч волосами.

Ее сопровождали незнакомые мне люди, приглашенные на прием вместе с участниками конференции по международному культурному обмену.

— Здравствуйте, профессор. Рада вас видеть, хотя и не ожидала,— обратилась ко мне Камелия.

— Неожиданность иногда интересна, не правда ли?

— Все, пожалуй, очень индивидуально. Кстати, мне необходима ваша поддержка. Не включитесь ли вы в дискуссию с моими западными коллегами. Я стараюсь доказать им, что социализм не страшится расширения культурного обмена между Востоком и

Западом, а наши духовные ценности, наша культура способны обогатить любого человека, независимо от его миропонимания и идеологических убеждений.

— Речь идет не о духовных ценностях социализма как таковых, но о том, что человеческие ценности западного общества не доходят до социалистических стран,— вмешался в разговор американец, мужчина среднего возраста, в старомодном сером костюме из какой-то мягкой, рыхлой ткани. Он был седой, белый как снег.

— У вас слишком отвлеченный взгляд на вещи,— сказал я.— И вы напрасно торопитесь с обобщениями. Факты ершисты. Смею заметить, что в области литературы, например, ваша концепция не выдержит критики. Многие произведения лучших американских, английских, французских и других зарубежных писателей издаются в Советском Союзе куда больше, чем на Западе книги современных советских писателей. Причем наши тиражи книг зарубежных писателей не могут идти ни в какое сравнение с тиражами произведений советских авторов, издаваемых в США и других западных странах.

— Что конкретно вы имеете в виду под тиражами, которые, по вашим словам, не идут в сравнение?..— вмешался другой участник разговора, датчанин неопределенного возраста. У него была голая, как ядро, голова.

— У нас издаются «толстые» литературные журналы, которых только Союз писателей СССР выпускает около ста. Они систематически печатают произведения зарубежных авторов. Выпускаем мы и специальный ежемесячник «Иностранная литература», объемом в триста страниц, тиражом около полумиллиона экземпляров. Его читают более десяти миллионов человек, причем не только в Советском Союзе. Неизвестно, существует ли на Западе, в том числе в США, издание подобного рода, где печатались бы романы, повести и рассказы писателей СССР и других социалистических стран? — ответил я на этот вопрос.

— Вы, русские, конечно же, знаете, что аналогичного издания на Западе действительно нет, но это еще не означает, будто вы единственные обладатели истины. Монополистов истины не бывает. У нас нет «Иностранной литературы», но мы издаем разного рода альманахи, сборники иностранных произведений и т. п., что, пожалуй, не менее существенно,— сказал мой собеседник.

— Как принято в таких случаях говорить у японцев, тыква на луну похожа, но это не одно и то же. Альманахи и прочее — это нечто другое, скорее некая видимость. Могу себе представить злорадство буржуазной пропаганды, если бы такие журналы, как «Иностранная литература», издавались на Западе, а в Советском Союзе выпускались бы лишь альманахи, сборники и т. п. Уж тут были бы расписаны и преимущества западного образа жизни, и творческие свободы, и права человека, словом, весь «джентльменский набор» буржуазных средств пропаганды.

После моей реплики разговор на мгновение прервался. Но один из оппонентов словно очнулся:

— Не стоит, по моему убеждению, растрачивать свои нервы и мысли на этот счет. Скажу лишь, что сфера духовного восприятия требует ныне особого осмысления, критического взгляда на формы и методы деятельности в этой области... Нужно ли так увлекаться переводами и публикацией зарубежной литературы? Плохие книги не только бесполезны, но и вредны. Надо стараться прежде всего прочесть и узнать самых лучших писателей всех веков и народов...

— Это лишь декларация,— продолжал я,— а на самом деле книги писателей социалистического мира на Западе — явление не слишком частое.

— Мы их не знаем, не читаем и не принимаем...

— Чем же вы хвастаетесь? Невежеством?! Разве книги Хемингуэя и Фолкнера, Гарсиа Маркеса и Неруды, Шолохова и Федина, Ясунари Кавабата и Кобо Абэ, книги яркие и разные, не важны читателям стран Запада и Востока, всего мира?

— Отбор произведений должен быть беспристрастным, осуществляться вне политики,— бросил другой собеседник.

— Беспристрастные американские издатели только делают вид, что стоят вне политики,— сказал я. — Пора бы прекратить это ханжеское притворство — трогательную заботу о современном читателе. Не пора ли назвать вещи своими именами: книги современных советских писателей, за редким исключением, не переводятся и не издаются в США. И происходит это по причинам политического и идеологического характера, а не по соображениям расчетливости и конъюнктуры книжного рынка. Дело здесь отнюдь не сводится к законам свободной торговли — спросу и предложению. Эта, с позволения сказать, базарная концепция рассчитана, видимо, на не вполне информированных людей, которые дезориентированы средствами массовой информации. Лицемерны и всякого рода пропагандистские заявления, будто западная демократическая система позволяет публиковать любые произведения литературы — как национальные, так и зарубежные. Это неправда, обман...

— Многое, на мой взгляд, зависит еще от рецензентов и литературных критиков, от того, как подают ту или иную книгу, — прибегнул американец к новому аргументу.

— Верно, от них многое зависит. Но посмотрите, кто выступает на страницах печати в роли судей советской литературы. Если бы я руководствовался, к примеру, разборами и сверхсамоуверенными оценками профессора Фридберга из Иллинойского университета, то как американский читатель я не мог бы не испытать отвращения к тому, что он говорит о советских писателях и их книгах. Фридберг читает лекции в университете... чего же ожидать от слушателей и читателей, если советскую литературу интерпретируют «просветители» с врожденной ненавистью к нашей стране. Это просто непорядочно и неприлично...

— Приличие, как говорят, наименее важно из всех законов общества, хотя и наибо-

лее чтимо, — с иронией заметил американец.

— Не потому ли говорят, что в США иметь права на огнестрельное оружие легче, чем получить библиотечный абонемент...

— Ну это уже оскорбление...

— Вместо развития обмена духовными ценностями между Востоком и Западом,— возразил я, — к чему нас обязывают хельсинкские договоренности, на Западе судорожно возводят барьеры против литератур социалистических стран. Американская полиграфия без устали издает всякого рода антикоммунистическую отраву...

— Настоящая книга обладает властью воздействовать на человека, его интеллект, способствует духовному обогащению и нравственному формированию личности. Если книги авторов социалистических стран наделены этими качествами, они все равно найдут доступ к сердцу читателя, — заявил американец, давая тем самым понять, что все зависит от самой книги, а не от рецензирования, рекламы, издателей и прочего.

— Сейчас вы фактически отрицаете роль средств массовой информации, греша перед действительностью современного западного общества, где все подчинено рекламе.

— Вы слишком преувеличиваете...— бросил датчанин.

— Скорее наоборот. Чем объяснить столь широкое распространение у вас литературы отчаяния и безнадежности, насилия и глумления над человеком? Подобная литература не помогает воспитанию общества, разрушает его основы, губит творческие устремления личности и дух нравственной правды.

— Думаю, это не совсем так. Нам трудно, конечно, судить об изданиях книг и журналов. Тут много конкретного... Но в области кино, по нашим сведениям, американские фильмы не имеют широкого доступа к зрителям социалистических стран, — заметил мужчина в сером.

— Простите, Джон, какие фильмы вы имеете в виду? — спросила Камелия.

— Всякие. В США производится более двухсот кинофильмов, из которых, как я знаю, в коммунистических странах демонстрируется лишь мизерное количество.

— Верно, далеко не все американские фильмы появляются на наших экранах, — возразила Камелия, — но от этого, если быть откровенной, Америка только выигрывает. Мы приобретаем и показываем нашему зрителю лучшие произведения киноискусства Запада. Хотя, должна отметить, тем самым мы создаем превратное впечатление, будто вся западная кинопродукция — это шедевры искусства. Мы идем на определенные издержки ради того, чтобы наш народ имел доступ к настоящему искусству, прогрессивному и высокохудожественному. И нельзя допускать, чтобы мутный поток серости, жестокости, насилия, порнографии затоплял наши кинотеатры, отравлял нравственный климат.

— Вы, кажется, просто боитесь показывать у себя откровенно сексуальные фильмы, Камелия, — бросил реплику датчанин.

— Мы их отвергаем, а не боимся. И поверьте мне, это потому, что наш народ здоров и не нуждается в искусственных стимуляторах, извращениях. Помнится, лет десять назад в Дании с шумом устраивались венчания и свадьбы мужчин. Не слишком ли все это печально, друг мой? — продолжала Камелия.

— Ну это уже вопрос свободы и прав человека, — саркастически произнес Джон.

— Вы называете это свободой и правами, а не распущенностью, не трагической деградацией личности? Вспомните историю, она дает нам немало горьких уроков. Разве в прошлом крушение империй и обществ не сопровождалось духовным и нравственным распадом?

— На что вы намекаете? Уж не Кассандра ли вы?

— Не нужно быть Кассандрой, чтобы заметить неостановимую деградацию вашего общества...

— Джон, — с деланной улыбкой предложил датчанин,— не собраться ли нам с остатками сил и не выпить ли в ближайшем баре за наше безвременно усопшее общество?

— Не присоединитесь ли вы, прелестная Камелия, к нашей траурной процессии? Тем более вам, я в этом непоколебимо уверен, доставит истинное удовольствие выпить за смерть капитализма,— не без ехидства произнес Джон.

— Хороните свое детище сами. Надеюсь, вы знаете, что мы против вмешательства во внутренние дела других стран, к тому же мне тяжело будет видеть ваши горькие слезы. Пожалуй, предпочту выпить с профессором Константиновым чашечку капучино,— уже совершенно серьезно отрезала Камелия.

И, вежливо поклонившись, наши оппоненты покинули прием...

Камелия, немного помолчав, спросила:

— А не выпить ли нам по чашечке ароматного эспрессо?

— Не слишком ли поздний час для кофе, Камелия?

— Тогда, может быть, выйдем в сад, на свежий воздух?

— С одним условием. Я принесу два бокала шампанского, и мы выпьем за наше состоявшееся наконец знакомство и ваш полемический талант...

— Благодарю, но ведь мы вместе участвовали в этом споре, хотя встреча наша была случайной,— сказала она.

— Надеюсь, Камелия, в дальнейшем наши встречи уже не будут случайными?

Она взглянула на меня большими лучистыми глазами. В них — очарование, полное тайных ожиданий. И без них мир для меня станет пуст и скучен. На миг, на минуту, быть может, на вечный час это опьяняет, приносит блаженство, забвение.

ЧАЙКИ И ЛЮДИ

Чайки... Неизменно сопровождали нас дивные эти существа, рея над теплоходом. Прекрасен образ чайки в общении с человеком той удивительной приязнью, которая извечно несет с собой жизнерадостность и без которой нет в мире бога, нет горения, нет всеисцеляющего чуда природы. Порой они спускались совсем низко, будто пытаясь заговорить со мной, когда я дер-

жал в руке пшеничный хлеб для них... Невероятно, но вольные чайки подлетали и мгновенно склевывали его с ладони, рискуя оказаться жертвой человека. Мне это казалось неправдоподобным. Верно, есть явления, которые непременно нужно увидеть собственными глазами, но главное — осознать их значение, понять их смысл. Ручные чайки в океане? Вспоминаются традиционные выражения, которые привел в своем словаре В. И. Даль: «Прилетела бы чайка, а весна будет», «Чай примечай, куда чайки летят (вестницы весны и хода рыбы)».

Когда писались эти строки, свет увидело стихотворение Алима Кешокова «Ладонь для птицы»:

На мою ладонь садитесь, птицы,
Прилетевшие издалека.
Пусть в гнездо на время превратится
Заскорузлая моя рука...

И далее:

Я ведь знаю, как страшна беда,
Если неожиданно случится
Человеку ль, птице ль очутиться
На земле без своего гнезда...

Хлеб на нашем судне, которым я делился с чайками, выпекался домашним, русским способом. И его животворный, свежий аромат разливался повсюду, доносился до верхней палубы. Это воскрешало мгновения детского прошлого, когда матушка деревянной лопатой подавала хлеба в горячую русскую печь, подстилая под них листья дуба... Тогда дом наш, как сейчас пароход, наполнялся хлебным благоуханием. Казалось, никто не умел выпекать такого хлеба, как матушка. Было у нее и другое пристрастие. Она любила книгу, хотя читать было недосуг. К тому же читала крайне медленно, почти по складам. Прочтет страницу — и вздохнет с облегчением. Но если выдавались свободные минуты, до слез зачитывалась Горьким...

Хлеб и книга — едва ли не самое существенное, что всегда присутствовало в отчем доме. Хлеб насущный почти не переводился в нашем очаге, а открытая книга на столе никогда не закрывалась. Немного нужно человеку!

И вот теперь, спустя полвека, стоя на борту «Михаила Калинина», вижу все это перед собой и вдыхаю неотразимый запах свежевыпеченного хлеба из муки грубого помола. Закрываю глаза и чувствую, как меня окутывает все, что было, что, казалось, отошло навсегда, но вот снова возникло. Будто любимая мелодия зазвучала, выражая все мое прошлое...

Опять летят над нами чайки... Какая это радость — прислушиваться к шуму моря, плеску и шипению волн, к тоскливым крикам чаек и альбатросов.

Я видел, что чайки непрестанно словно ищут и зовут кого-то. Но как понять их зов? Быть может, для них нет в мире чувств, нет приязни, нет любви. Они ничем не связаны, ничто не ограничивает их свободы. Слишком мало человек знает о природе, породившей его. Так много у нее тайн. И сама жизнь наша — не до конца разгаданная тайна. Кто знает, может быть, и чайкам дана любовь — великое украшение жизни, всего живого на земле. Великое это чувство заставляет природу нашу цвести, играть красками, петь чудесные песни, танцевать прекрасные танцы. И парить душой над морем...

Глядя на летящих над нашим теплоходом чаек, мне иногда думалось, что и они подобно людям понимают, что значит испытывать приязнь, любить и быть любимым.

Быть может, для них стать любимым означает счастливо и свободно летать над океаном. Ибо истинной любви неведомы ни мера, ни границы...

В памяти всплывают строки Расула Гамзатова:

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

По древнему восточному преданию, белый красноголовый журавль — священная птица, возносящая на небеса тех, кто достиг в своем земном существовании бессмертия, олицетворяет счастье и долголетие. И хотя бессмертный журавль — птица сказочная, он стал символом человеческих надежд, неистребимой веры в утверждающие начала жизни.

Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса,
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса.

Трудно объяснить причинную связь отдельных явлений, но печаль журавлей передается нашим сердцам, будит в памяти и подсознании невысказанные чувства, которые испытывают многие люди, видя в небе улетающие стаи птиц. Это хорошо выражено у Сергея Есенина:

Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.

В легендах и поэзии запечатлена высокая истина, что особенно остро чувствуешь, когда вглядываешься в небеса и видишь плавно парящих чаек. Древнее китайское выражение гласит: «Держаться вместе так тесно, как чайки на воде»... Замечу, что в китайском языке иероглифический знак «море» имеет также смысл «вселенная». Море — вселенная. Я не говорил бы об этом, если бы не знал, что иероглифическое обозначение записано в знакомом мне древнем тексте. Упоминаю об этом потому, что требует того и разум, и сердце. Разве удовольствия души не абсолютны?

Меня часто влекло на верхнюю палубу теплохода. Человеку необходимо хоть один миг подышать морским воздухом, полюбоваться океанской волной. Волна эта — будто продолжение неба, самой вечности...

И почти всегда здесь — плывущие надо мной белоснежные чайки. Многое входит в нашу память и душу, словно с детства знакомая песня. Нужно лишь изгонять из памяти все неистинное, зыбкое и случайное. Жизнь, помимо всего, — «серьезная музыка». А история — непрерывная цепь трагедий, хотя утверждают, будто былое — это нечто безмолвное. В жизни и истории существует какая-то загадочная недосказанность, неисчерпаемая глубина. Парадоксально ли, однако, возбуждать интерес к этим идеям, когда окружающий мир давно

претерпел разительные перемены, а сознание человека вознеслось в космические дали?

И вот теперь перед моими глазами пляшут в воздухе морские ласточки... Почему они так внимательно вглядываются в наш теплоход, в людей, в команду, несущую вахту? Неужели удивительные эти создания являют собой крылатые души матросов, неустанно несут память о мертвых и живых? Правда ли, что только журавли подают нам голос? Может быть, и чайки напоминают нам о бессмертии людей, отдавших жизнь морю?

Над морем простирался неправдоподобно белый, серебристый штиль. В свечении лазурного неба и воздуха — необычайная прозрачность, что можно наблюдать лишь в осенний погожий день. Какой контраст со вчерашним бешеным штормом. Какая свежесть вокруг, как обновилась природа! В такое неповторимое мгновение, любуясь беспредельными водными просторами, испытываешь желание, чтобы изо дня в день, каждый час опьяняла тебя новизна. Чтобы каждый час дарил удивление, рождающее тягу к поискам и творчеству. Ведь человеку от природы дано удивляться всему новому, неизведанному. Если он утратит этот дар, ему суждено вернуться к первоисточнику своему — превратиться в глину и прах.

Когда писались эти строки, на страницах «Правды» был опубликован очерк Ю. Батаева «Чайки над Байкалом». В нем рассказывается, что чайка, окольцованная прошлой осенью на берегах «славного моря» озера Байкал, поймана рыбаками в Северном море. Известно, что чайки отправляются зимовать за многие тысячи километров, не боясь больших расстояний. Сообщения о находках птиц, окольцованных иркутскими биологами, приходят из Вьетнама, Малайзии, с Филиппинских островов. Похоже, что сюда байкальских путешественниц привлекает теплый климат. Но что заставляет их отправляться на запад, где зимой властвуют холода, остается тайной...

Кольцевание чаек производится ежегодно в целях изучения путей их миграции, а кольца эти в шутку именуют «обручальными».

Изучая жизнь пернатых, ученые находят ответы на многие загадки байкальской природы. Специалистов давно интересовало, как байкальские чайки узнают на птичьем базаре своих птенцов. Теперь выдвинуто аргументированное предположение: серебристым красавицам помогает в этом слух. Настраиваясь на определенные «позывные», родители по голосам детенышей безошибочно ориентируются, где свои и где чужие.

Байкальская природа, открывая человеку свои тайны, вместе с тем ставит и новые загадки, ответ на которые может дать только терпеливый научный поиск.

Вот и сейчас за иллюминатором моей каюты, над спокойным, ровным морем раздаются волнующие крики чаек, которые то приближаются, то отдаляются, чтобы вновь взволновать своей загадочностью, словно музыка.

По замечанию Льва Толстого, музыка есть «воспоминание о чувствах», и писатель подробно раскрывает свою мысль в рассказанных им «музыкальных историях». Быть может, как ни у кого другого, музыка в произведениях Толстого органически входит в художественную ткань повествования или образа, воздействует на поступки действующих лиц, движет события сюжета. В 1851 году Толстой задает себе в дневнике вопросы, которые затем найдут отражение на страницах его произведений: «Отчего музыку древние называли подражательною?.. Отчего музыка действует на нас, как воспоминание? Отчего, смотря по возрасту и воспитанию, вкусы к музыке различны? Почему живопись есть подражание природе, очень ясно, хотя оно не полно; но почему музыка есть подражание нашим чувствам и какое сродство каждой перемены звука с каким-нибудь чувством?» Верно сказано у Верди: чтобы сочинять музыку, необходимо слышать ее в душе. Музыка — самое высокое откровение.

Мир красок и звуков способен оказывать поразительное воздействие, создавать настроение, приводя человека в состояние творческой активности, этого высшего дара природы. Разве очень многое не зависит от того, с каким чувством и настроением завершился твой вчерашний день, завершится день наступающий и завтрашний? Если человек насыщенно прожил день, он испытывает чувство удовлетворенности, которое всегда помогает ему плодотворно начать новый. Тогда и дышится легко, и мечте просторно...

В ранних стихах А. Ахматовой есть строки:

Засыпать под ропот моря,
Просыпаться с шумом сосен...
Жить, храня веселья горя,
Помня радость прошлых весен.

И у Брюсова в стихотворении «Близ моря»:

В созерцаньи одиноком
Наблюдать лесные тени,
Вечно с мыслью о далеком,
Вечно в мареве видений.

Слух древних, думал я, тоже услаждали гулкие раскаты волн, разбивавшихся о прибрежные скалы, дыхание и звуки моря, его песни — то сердитые, грозные, дикие, то жалобные и скорбные, спокойные и нежные. Едва ли человек когда-либо перестанет вслушиваться в стихийную симфонию моря. Всегда он будет находить в них и утешение, и восторг, вдохновение. Разве не воскрешают они в нашей памяти образ мифического Орфея, пение которого укрощало диких зверей и сдвигало с места деревья и скалы? Быть может, только люди с глухим сердцем не прислушиваются к музыке моря, к неумолкаемому его голосу.

Сколько поколений людей любовалось приливами и отливами моря, лунными ночами, мучилось и любило, мечтало, надеясь на что-то необыкновенное, волнующее душу. И как нет, кажется, конца-краю бегущей за кормой волне, не было и нет границ человеческим мечтам и надеждам. Уходят, рушатся одни, тотчас возникают другие. Так живет человек, перемогая не-

взгоды и напасти, стремясь к новым заманчивым горизонтам, за которыми он надеется увидеть звездопад своего счастья. Жизнь без музыки, по слову мудрого человека,— сад без цветов, ночь без луны...

Просыпаться на рассвете
Оттого, что радость душит,
И глядеть в окно каюты
На зеленую волну,
Иль на палубе в ненастье,
В мех закутавшись пушистый,
Слушать, как стучит машина,
И не думать ни о чем,
Но, предчувствуя свиданье
С тем, кто стал моей звездою,
От соленых брызг и ветра
С каждым часом молодеть.

Разве, подумалось мне, не созвучен этим чувствам марш за мир парижан 20 июня 1982 года, которому посвятил Луи Арагон стихотворение, напечатанное в газете «Юманите». Изображение голубя мира с пальмовой ветвью, сопровождающее поэтические строки, символически раскрывает смысл этого страстного призыва к миру:

...Земля есть путь любви.
Все тоньше жизни нить,
Но даже в эти дни,
Дни крови, слез и тьмы,
Нам долженствует жить!
Здесь, на земле одной,
С людьми соседи мы —
И мы должны любить,
Как никогда — любить.

(Перевод с французского Н. Разговорова)

Приближалась полночь, но палубу освещали лучи заходящего солнца. Пассажиры, пользуясь белой ночью, продолжали принимать воздушные ванны, комфортабельно устроившись в шезлонгах.

На корме стоял мужчина с морским биноклем. Он подолгу вглядывался в даль, изредка наводя его на чаек, кружащихся над нами и поджидавших корма. Я тоже вышел на корму, чтобы бросать им сухие галеты, которые они наперебой подхватывали на лету.

— Какое удивительное влечение у этих птиц к человеку, к его щедрости и доброте, с каким доверием они относятся к нему,— произнес англичанин с биноклем, подойдя ко мне и назвав свое имя.

— Вас тоже привлекают морские птицы? — спросил я.

— Да, и не только чайки. Мне доставляет удовольствие всматриваться в море, наблюдать загадочное движение волн. Мне интересно следить за судами, что встречаются в открытом море.

— Да, это очень увлекательно. У моря своя жизнь, свои законы, своя романтика.

— И встречи, и расставания... Только что мимо прошел шведский лайнер, тоже совершающий круиз.

— Неужто в бинокль можно разглядеть даже маршрут?

— Нет, я знаю это и без бинокля. Еще в Лондоне мы с женой тщательно изучили все маршруты. Ведь деньги на наше путешествие мы копили почти всю жизнь.

— Почему, извините за любопытство, вы предпочли советский теплоход?

— По весьма простой причине. Нам, служащим, не по карману путешествия на английских, шведских, голландских и прочих лайнерах. Стоимость круиза на тамошних теплоходах была бы в два раза выше, если не больше. Иными словами, мы бы никуда не поехали.

— Не разочарованы ли вы выбором советского теплохода?

— Нет, напротив. Мы получаем подлинное удовольствие от нашего путешествия. Здесь комфорт, хороший сервис и очень внимательное отношение к пассажирам. Посещение Ленинграда стало для нас вознаграждением за долгие годы ожидания встречи с этим прекрасным городом и его непокоренным народом.

— Все это очень отрадно, но нет ли у вас каких-либо замечаний и пожеланий?

— Да, некоторые есть. Нам, например, недостает здесь музыки разных жанров... И, конечно, желательно получать информацию о событиях в мире. В наш век человек привык следить за всем, что происходит...

И после краткой паузы мой собеседник добавил:

— Впрочем, моя жена вполне довольна отсутствием информации. Она говорит, что хоть здесь можно наконец-то отдохнуть от потока дезинформации и полуправды.

«Михаил Калинин» уверенно продвигался вперед. Море вело себя неспокойно.

— Правда,— продолжал англичанин,— нам пришлось изрядно поволноваться из-за событий на юге Атлантики, этой «странной войны». Мы опасались, что наше путешествие на советском теплоходе сорвется из-за нелепостей, которые позволяет себе во внешней политике наша амбициозная «железная леди». Достойно сожаления, но Тэтчер — одна из самых активных партнеров политики Рейгана.

— Понимают ли простые английские труженики абсурдность подобной политики, которая не приводит ни к чему положительному ни для Запада, ни для Востока?

— Весьма огорчительно, но англичане в массе не отдают себе отчета в последствиях политики Тэтчер. Их взглядами манипулируют средства массовой информации, которые держат в своих руках правящие круги. Парадоксально, что в условиях, когда непрестанно растет безработица, повышаются цены на самое необходимое, когда экономический кризис душит народ, Тэтчер удалось с помощью неоколониальной войны на Фолклендских островах отвлечь внимание от насущных социально-экономических проблем и добиться успеха на частичных выборах.

— Не потому ли армаду английских войск отправили за океан, чтобы защитить честь «великой империи» на островках, находящихся в тысячах миль от Англии?

— Прежде всего нужно помнить, что консерваторы уже успели разжечь в стране националистические и шовинистические чувства. Не следует также забывать, у Англии армия наемная. И армада, о которой вы говорите, сполна оплачена как пушечное мясо. Я слышал и видел репортаж, который Би-Би-Си передавала в момент отправки войск на Фолклендские острова. Солдат спрашивали, какие чувства движут ими? И многие из них отвечали, что их вынуждает на этот шаг безработица. Другие говорили, что у них не было

выбора, жить-то надо. Правда, выжить удалось не всем.

Мы оба замолчали. Официальные английские сведения, что в войне за острова погибло лишь двести сорок англичан, вряд ли могут внушать доверие.

Голос по судовому радио объявил, что пассажиры из Англии приглашаются на прощальный коктейль, который устраивает капитан теплохода Леонид Андреев.

— Жаль,— сказал мой собеседник,— что наступил час прощания. Мне, к счастью, удалось совершить это незабываемое плавание. Но вот окажутся ли достаточно мудрыми наши лидеры, сохранят ли трезвый рассудок в политике. Я хочу, чтобы народы жили в мире, чтобы не только я, но и мой сын смог хотя бы раз в жизни совершить такое же путешествие.

НОЧЬ В БИСКАЙСКОМ ЗАЛИВЕ

Бывалые мореходы не преминут напомнить, что в мировом океане есть немало мест, где всегда следует ждать неожиданностей. Быть может, Бискайский залив и не принадлежит к самым беспокойным районам, но мне пришлось пережить там тревожные минуты. Не без причины моряки говорят: пройти Бискай — значит все завершить благополучно.

В воды Бискайского залива мы вошли поздно. Дул сильный ветер, поднимавший устрашающе высокие волны. Море вздыбилось и в гневе раскачивало наш лайнер. Где-то над Атлантикой, видимо, проходил циклон.

Мне не спалось. Пробовал читать, но сосредоточиться не мог. В голову навязчиво лезли вздорные мысли, которые не в силах был отогнать. Не находя себе места, я вышел из каюты и спустился в музыкальный салон, где происходил своего рода смотр модных нарядов и шли танцы. Люди развлекались и ни на что не обращали внимания. Вскоре я направился в кинозал «Аквариум», где демонстрировался фильм «Рождение звезды» с участием Барбары Стрейзенд и Криса Кристофферсона. Но и здесь не задержался. Попытался заглянуть в бар, но оттуда на меня пахнуло такой едкой смесью сигаретного дыма с алкогольными парами, что у меня перехватило дыхание.

И в памяти тотчас всплыла атмосфера штаб-квартиры ООН, где курят все, много и не переводя дыхания. Сигареты курят обычно на ходу, для скорости. Трубка — излюбленное занятие тех, кто предпочитает постоять. А сигары — привилегия мужчин сидящих, вечно залегающих в креслах на деловых заседаниях или на диванах у камина.

Курит все человечество, припомнились сказанные кем-то слова, но курит по-разному. Оно курит, склонившись над столиками кафе и ресторанов; курит в служебных кабинетах; курит, развалившись на диване, сунув ноги в мягкие домашние туфли и включив телевизор, с экрана которого ему неопровержимо доказывают, что «капля никотина убивает лошадь»; курит под увещевающий рассказ диктора радио о резолюции, принятой Всемирной организацией здравоохранения,— не курить в зале заседаний, ибо сигарета является «основной причиной преждевременной смерти». Смотрит, слушает, поражается огромному количеству курильщиков, умерших от рака легких, холодеет при мысли, сколько яда попадает в организм при каждой затяжке, и... непреклонно курит!

Сидя однажды в кабинете Генерального секретаря ООН У Тана, который расставался с одной сигаретой только для того, чтобы закурить другую, я услышал от него довольно любопытную историю о «сигарах для президента»...

Поглядывая сквозь витраж с высоты тридцать восьмого этажа небоскреба на Ист-Ривер, У Тан не без удовольствия предавался воспоминаниям о запомнившейся ему встрече с президентом Д. Ф. Кеннеди.

— Курил я тогда наши бирманские сигары из черного табачного листа. Простые, почти самодельные, но привлекательные, может быть, своей примитивностью и какой-то вороненой окраской,— повествовал собеседник, изредка вынимая изо рта сигару и стряхивая пепел.— Сигара моя обратила на себя внимание президента, поинтересовавшегося ее происхождением. И я, разумеется, счел за честь предложить ему отведать бирманскую сигару. К моему изумлению, она ему понравилась. С этого вся история и началась...

— У вас, видимо, не оказалось более сигар? — спросил я, поддерживая разговор.

— Не только при себе, мой запас вообще кончился,— заметил Генеральный секретарь.— Разве мог я подумать, что нехитрые бирманские сигары удостоятся такого внимания?

Далее У Тан подробно рассказал, как он немедленно подал депешу в Рангун — срочно купить сотню сигар и прислать самолетом в Нью-Йорк.

— Сигары обошлись всего в пять долларов. Доставка — пятнадцать. Но их пришлось переупаковать...

— Жаль, ведь упаковка оригинальная...— вырвалось у меня.

— Нет, их прислали в каких-то листьях... В Нью-Йорке сделали деревянную коробку с надписью. Ушло еще пятьдесят долларов,— выразительно произнес У Тан.

— Не лучше ли было бы...— заговорил я.

— Нет, нет! — воскликнул он.— Никаких советов, прошу вас. Я поклялся, что доморощенную эту отраву более в рот не возьму! На людях, конечно...

Я снова вышел на палубу и поднялся на ходовой мостик... Ночная тьма висела черным непроницаемым занавесом... Трудно было что-либо разобрать, кроме мятущихся волн, которые превращались в белую пену, яростно ударяясь о корпус судна. За бортом — необъятный океан. И, закрывая глаза, человек, как капля в потоке веков, чувствует себя в такой момент ничтожной былинкой.

— Что, профессор, привело вас сюда в столь поздний час? — спросил меня незаметно приблизившийся капитан теплохода Леонид Андреев.

Истины ради должен признаться, что ка-

питан дальнего плавания в моем представлении — это прежде всего человек особых физических данных: крупное телосложение, широкие плечи, прокаленное на морских ветрах и солнце лицо. Словом, мое воображение рисовало этакого морского волка, чей образ длительное время создавался в книгах маринистов и фантастов.

И когда я впервые увидел Леонида Николаевича Андреева, весь его облик никак не вязался с книжным образом капитана. По мере нашего общения передо мной все четче выступал иной человек, значительно более близкий к подлинному живому капитану не по внешним признакам, но по самой сути своей. А книжный герой отступал в небытие, уступая место реальному.

Я увидел молодого, спортивного вида человека среднего роста, подтянутого, с симпатичным загорелым лицом, и только большие его глаза выдавали твердость и силу характера.

— Случается, что человек не находит себе места, чувствует какую-то нервозность... Волнение, что ли... Здесь я впервые, с морем не знаком,— ответил я.

— Понимаю. Наверное, так порой происходит и с другими. В Бискае я бывал и раньше...

— Верно ли, что это беспокойный залив?

— Как когда... Для меня он особенно памятен. Именно здесь состоялось мое капитанское крещение несколько лет назад.

— Как же это было?

— Шли мы на грузовом судне. Начался шторм, и нас стало неистово мотать... Ветер пронзительно свистел в мачтах. Бискай проявил свой истинный нрав, свою строптивость. А капитан, мой наставник, сурово отрезал: «Меня здесь нет, справляйся сам. Держи свой экзамен».

— Чем кончился рейс?

— Груз доставили своевременно. Экзамен выдержал... Тогда меня произвели в капитаны... С тех пор вожу лайнеры самостоятельно.

— Как это повлияло на вас?

— Очень сильно. Когда знаешь, что над тобой стоит еще кто-то, можешь многое себе позволить — дерзать, идти, порой без крайней нужды на неоправданный риск, рассчитывая, что тебя всегда поправит более опытная рука. С тех пор как мне вверили судно, стал замечать за собой большую сдержанность, осмотрительность. Почувствовал особую ответственность за команду, за пассажиров, жизнь которых фактически доверена мне. Это немало. Дело прошлое... — продолжал он. — Я, кажется, взял тогда слишком круто, и наставник заявил о несогласии с моим решением Возникла, признаюсь, чуть ли не конфликтная ситуация...

— И что же?

— Наставник грозно предупредил, что может отобрать у меня штурвал.

— А вы?

— Мне неловко говорить об этом, нескромно... Но между мужчинами, по-моему, нужна откровенность. Я набрался храбрости и сказал наставнику, что отстранить меня — это его беспрекословное право.

— А что же он?

— Он лишь бросил в ответ: «То-то и оно»... И, больше ничего не сказав, ушел.

— А потом? — нетерпеливо спросил я.

— Потом? Примерно через неделю мой наставник, ему я навсегда благодарен, сурово сказал мне при встрече: «Правильно ты действовал, Леонид». Но тогда, в тот шторм, мне пришлось туговато, правда, справился, хотя и был на пределе. И представьте себе, железная громадина, на которой прошел штормовое испытание в Бискае, словно стала для меня каким-то дорогим, живым, близким существом.

И мне подумалось, слушая рассказ капитана: разве не заблуждаются те, кто считает горячность и упрямство признаком силы?

Судьба Леонида Андреева столь же интересна, сколь и поучительна. Не завершив среднего образования, он в четырнадцать лет стал работать на одном из ленинградских заводов. Оставшись без отца, в семье с тремя детьми, рано начал помогать матери. Было не просто совмещать дальнейшее образование с работой. Потребовались годы напряженного труда, чтобы заочно закончить курс высшего мореходного училища. Семья, постоянные заботы, извечные проблемы человеческой жизни. Морские дороги. Разлуки, встречи, снова долгие разлуки с родными и близкими...

— Влечет ли вас на берег, капитан? — спросил я.

— Как ни странно, но в море нас влечет на сушу, а на суше тянет в море. Человек впитывает в себя и соль, и морские ветры. Он как бы вбирает в себя море, вживается в его стихию. Моряк — часть моря, он живет его жизнью.

— Правда,— признался мне как-то в беседе на палубе старший механик Анатолий Александрович Бачагов, сорок лет проработавший на флоте,— месяца на берегу мне, пожалуй, маловато. Пройдет месяца два, и начинаешь чувствовать себя на суше как-то неуютно, просто места не находишь. Близкие понимают тебя и говорят: «Пора тебе в море, дорогой, пора».

— Дома моряка всегда ждут. Дома он рад всему и ему все рады,— заметил Леонид Андреев.

Как отрадно человеку сознание, что его ждут, что он нужен, желанен, любим. Но разве это касается только моряков, уходящих в дальние плавания и намеренно обрекающих себя на одиночество, жизнь вдали от самых дорогих тебе людей, семьи, детей и внуков? А если всего этого нет, если человек совсем одинок и уходит в море? Или человек лишь думает, что не одинок, что его ждут и верят, а на самом деле всего этого нет. Что у него на душе, чего ищет он?

Я поинтересовался возрастом капитана и его службой на флоте.

— Мне сорок два, на флоте с восемнадцати лет, хотя на теплоход «Калинин» направлен совсем недавно...

— Довольны ли вы назначением? Ведь переход с грузового судна на пассажирское рассматривается обычно как повышение и поощрение.

— Здесь не все однозначно. Мне была по душе работа на грузовом судне. Подходила она мне по многим соображениям.

Я к суровой жизни привык. Характер у меня такой, жестковатый, что ли... Но обстоятельства складываются по-разному. Пригласили к партийному руководству, спросили, почему не хочу переходить на теплоход. О дисциплине и долге у меня четкое представление.

— Работа и здесь, на «Михаиле Калинине», Леонид Николаевич, далеко не простая, как вы могли убедиться. И проблема дисциплины для нас крайне важна. В составе экипажа много новых людей, с ними необходимо найти общий язык,— заметил первый помощник капитана Иван Михайлович Алипов, принимавший участие в беседе.

— Совершенно правильно,— продолжал капитан.— Работа сложная... Ответственное отношение к делу каждого члена экипажа, стремление к высокому профессиональному мастерству, к совершенству приобретают чрезвычайное значение в долгих морских рейсах. Недопустимо малейшее отклонение от служебного долга и обязанностей. На борту нашего лайнера многие иностранные пассажиры впервые сталкиваются с советскими людьми, с их образом жизни и труда. О социалистическом обществе судят по нашему поведению, по нашей работе, по тому, как мы воспитаны и достойно ли представляем нашу державу.

— Экипаж — это прежде всего коллектив, взаимная поддержка, товарищеская честь,— сказал мне как-то Костя Говоров, проработавший на флоте около тридцати лет.— Видят это, конечно, и зарубежные туристы. Не могут не видеть. И некоторые из них относятся к нашей команде с одобрением и благожелательством. Мне приходится встречать на нашем лайнере пассажиров, которые совершают круизы повторно. Запомнился старик по имени Джон, которому «Михаил Калинин» полюбился, как дом родной, за теплоту и сердечность отношения со стороны экипажа.

— Первостепенная наша задача в том и состоит,— добавил Иван Михайлович,— чтобы каждого члена экипажа — независимо от его должности и звания — никогда не покидало сознание, что мы находимся в условиях соприкосновения с людьми иного мировосприятия, иного понимания вещей, чуждой нам идеологии. Мы постоянно в окружении людей, у которых другие представления о морали, нравственных принципах, человеческих ценностях. Все это налагает на каждого из нас высокую ответственность, обязывает строго соблюдать нравственный кодекс социалистического образа жизни.

Понять озабоченность командиров экипажа, особенно в условиях современной международной обстановки, нетрудно: ведь в разных странах свирепствуют явные и тайные силы мафии, гангстеризма, терроризма. Сотрудники советских организаций в зарубежных странах, дипломаты, специалисты, члены экипажей наших судов, журналисты, ученые постоянно подвергаются со стороны этих сил шантажу, провокациям, налетам, актам произвола и расправы. Нередки случаи вооруженных нападений на советских работников, находящихся в странах Запада. Сколько раз подвергалось обстрелу Постоянное представительство СССР при ООН, сколько раз жизням наших сотрудников угрожали смертельной опасностью террористические силы США... И что же? Ограждены ли советские сотрудники от покушений на них, членов их семей и детей? Речь здесь идет не просто о гуманизме, а о соблюдении обязательств по международным договорам. Но ни на час не прекращается эта преступная деятельность, и все сходит с рук. Виновники, как правило, никогда не обнаруживаются, мало помогают протесты, заявления и демарши. Официальные власти обычно ограничиваются стереотипными заверениями, что, мол, будет произведено соответствующее расследование или выявление обстоятельств, что власти займутся розыском преступников и т. д., однако никаких эффективных мер по защите советских людей власти западных стран не принимали и, похоже, принимать не собираются.

Те, кому приходилось выполнять свой служебный долг в зарубежных странах, смею думать, поймут пишущего эти строки. Вряд ли тут нужны пространные объяснения. Обстановка враждебности остается, преступные силы часто действуют вкупе с теми, в чьих руках находится машина власти и управления. В условиях дискриминации и незащищенности оказываются и представители социалистических стран, работающие в капиталистических странах.

Тем более необоснованно звучит обвинение со стороны администрации Рейгана в адрес Советского Союза, будто СССР инспирирует «мировой терроризм». Вот уж поистине с больной головы на здоровую. Разве не США представляют собой очаг и рассадник внутреннего и международного терроризма?

Стоит лишь обратиться к полицейским отчетам о преступности в США, чтобы понять причину психоза и страха, которыми охвачены американцы. Против прогрессивных сил непрестанно ведутся кампании полицейских репрессий, организуются идеологические диверсии. Средства массовой информации предают анафеме марксизм и коммунизм.

Между тем под лицемерными предлогами защиты своих интересов и граждан американские правящие круги, с помощью широко разветвленной сети шпионских органов, бесцеремонно вмешиваясь во внутренние дела суверенных стран, осуществляют грубые подрывные и террористические акты, жестоко расправляются с неугодными политическими деятелями, свергают правительства, насаждая своих марионеток.

— Я разговаривал с отдельными английскими туристами на борту «Михаила Калинина», и у меня сложилось впечатление, что они довольны круизом на нашем лайнере. Притом они откровенно признают, что это путешествие обходится им раза в два дешевле, чем, к примеру, на шведском, голландском или другом западном теплоходе. И я подумал: неужто мы несем убытки?

— Нас, конечно, интересует мнение наших пассажиров,— ответил капитан,— скажу даже вам: оно для нас очень важно. Мы стараемся, чтобы наш труд за-

служил их высокие оценки. Однако убытков мы не несем. Напротив, наш теплоход вполне рентабелен. Мы конкурентоспособны, иначе наша работа была бы бессмысленной. Хотя мы не ставим целью наживаться за счет пассажиров, но и на государственную дотацию возвращаться не собираемся.

— Каковы ваши перспективы? — спросил я.— Говорят, что судьба лайнера «Михаил Калинин» уже предопределена — идет на списание. Между тем каждый день я вижу, как это старое судно преображается прямо на глазах. Ведутся энергичные ремонтные работы, многое обновляется, идет покраска...

— Перспективы, как и многое другое, во власти человека,— ответил Леонид Андреев.— Мы постараемся продлить жизнеспособность теплохода, увеличить срок его службы. Мы хотим, чтобы он заслужил добрую славу в отечественном пароходстве.

Затем, после небольшой паузы, продолжал:

— Во всем этом есть и другая сторона — человеческая, социальная. На судне трудятся ветераны, они здесь с первого дня, почти двадцать пять лет. Например, Евгений Рогоза — наш бессменный рулевой. Работает со времени крещения «Михаила Калинина», всю жизнь неразлучен с ним. Он, как и многие другие ветераны, все готов сделать, чтобы продлить срок службы лайнера. Без него Евгений Рогоза не мыслит своего существования.

Ночной разговор на капитанском мостике, казалось мне, только начинается. Мы затрагивали все новые и новые стороны морской службы. Касались многих обстоятельств жизни и труда мореходов, которые, быть может, не всегда задумываются о том, что помимо неустанной своей вахты они выполняют извечную миссию общения между людьми, народами, странами Востока и Запада. Благородна их миссия.

Было уже поздно, давно перевалило за полночь. Но хотелось продолжить наш разговор. Многое мне здесь импонировало. Сами собеседники, сдержанная, скупая их речь.

— Товарищ капитан, вызывает эфир! — доложил помощник.

Вскоре я вернулся в каюту, но долго не мог уснуть. Мысли о встрече с людьми так мало известного мне мира заставляли над многим задуматься, осмыслить свою собственную судьбу, все, что удалось в жизни, и то, что еще способен сделать.

Шторм постепенно затихал. Море успокаивалось. Казалось, все это происходило словно на полотнах великого Айвазовского, в чьих произведениях запечатлена вечная изменчивость морской стихии. В них передано все богатство красок бушующего моря, волны сверкающие россыпью лунных бликов, грозные скалы, на которые обрушиваются водяные громады. Чтобы так ярко писать море, художник должен пылать страстью к нему. Он должен отдать ему всю свою любовь, все свое чувство прекрасного. Такие полотна не могут быть написаны душой холодной, рукой равнодушной.

Глядя из иллюминатора, я подумал: небо потому прекрасно, что в нем такое множество звезд — ярких и печальных, суровых и загадочных. Оно не было бы столь чарующим, если бы светило одно солнце.

Наше судно подошло к бухте Фуншал около шести часов вечера. За кормой садилось солнце, заливавшее все вокруг красновато-золотистым светом. Теплоход описал дугу и медленно пошел к пристани. Жадные взгляды ловили каждую деталь, будто никому не удастся ничего увидеть в раскинувшемся перед нами порту.

ОСТРОВА В ОКЕАНЕ

Архипелаг Мадейра

Еще из школьных учебников я знал, что Мадейра — группа островов в Атлантическом океане и самый крупный среди них — Мадейра, у северо-западных берегов Африки. Затем узнал, что он образует округ Португалии. Помнится, что архипелаг Мадейра — вершина подводных вулканов, что климат здесь океанический, средиземноморского типа. Растительность — субтропическая саванна, в горах — лавровые леса. Плантации бананов, виноградарство, виноделие, прославленная мадера...

Когда-то Мадейра слыла плавающим садом Атлантики благодаря необыкновенному изобилию цветов и фруктов, а также благодатному климату. По-португальски «Мадейра» означает «лес». Название это дали острову первые португальские навигаторы, открывшие его в 1419 году, когда весь он, от горных вершин до побережья, был покрыт лесами. Открытие архипелага положило начало далеким путешествиям португальских мореходов в XV и XVI столетиях. Тем самым было доказано, что Атлантика не является опасной бездной, населенной устрашающими монстрами, как это считалось в древности.

Вскоре после проникновения на остров португальские колонисты неистово взялись за расчистку его для земледелия. В исторических отчетах сохранились записи, что на острове в течение пяти-семи лет бесконтрольно выжигались леса. Когда в XVI и XVII веках испанцы правили в Португалии, англичанам удалось получить право для поселения своих подданных на Мадейре благодаря бракосочетанию Карла II и португалки Катарины де Браганса в 1662 году. Это позволило британским войскам прибыть сюда для защиты острова от вторжения в эпоху Наполеона. В викторианские времена Мадейра была любимым курортом богатых англичан, что приезжали сюда зимой.

Мадейра нас встретила порывистым океанским ветром, который сек косым ливнем, обрушивая на теплоход пенистые молочно-бирюзовые волны. Наше судно подошло к южному берегу и вошло в бухту Фуншал. Высокие берега бухты образованы скалистыми утесами. Пляжи здесь галечные, с разбросанными булыжниками и каменными глыбами, которые требуют специальных настилов, чтобы можно было ими пользоваться.

Восточная часть острова пологая, а в западной его части с востока на запад тянется высокий горный хребет, который

занимает всю среднюю часть острова. Самая высокая часть хребта называется Куррол-даш-Фрейраш.

По берегу бухты, на скалистых вершинах, раскинулся город Фуншал с населением около трехсот тысяч человек — административный центр острова Мадейра.

Бухта Фуншал, глубоко вдающаяся в остров, хорошо защищена от ветров. Над горными вершинами висит шапка густого тумана. Древняя крепость, построенная из горного камня, возвышается зубчатыми стенами, почерневшими от времени и морских ветров. В ночной тьме она, когда специально подсвечена, выглядит величественно и загадочно. Вообще Мадейра производит впечатление лишь ночью. С моря открывается удивительная панорама: горы от самых вершин до подножий, омываемых волнами океана, представляют собой феерию из тысяч разноцветных огней, мерцающих словно далекие звезды. Трудно оторвать взор от этого редкостного зрелища. И кажется, что жизнь здесь тоже должна быть какой-то праздничной.

Но это зрелище обманчиво. Ночь скрадывает множество граней уродливой реальности. Когда все видишь вблизи, твои иллюзии тотчас рассеиваются, словно внезапный мираж. Парадный фасад Мадейры видишь, входя в бухту. Но пройдясь по городу, мы увидели узкие, изогнутые улицы, вымощенные булыжником и каменными плитами, низкие невзрачные домишки, за дверями которых таятся убожество и серость.

На главной магистрали города, правда, ряды магазинов, баров, кафе со столиками под тентами, выставленными прямо на тротуар. Киоски с сувенирами, журналами, бестселлерами, комиксами, «массовая литература» в глянцевых переплетах. Все это, однако, глубоко провинциально. Зато удивляет множество такси, которые вас буквально преследуют, чадят, трещат, оглушительно стреляя выхлопными газами. Они охотятся за иностранными туристами, которые не скупятся, чтобы прокатиться по сонным улицам Фуншала.

Мадейра жила обычной жизнью — безмятежно, лениво, полусонно. К нашему удивлению, в центре города, на асфальте мы увидели лежавших в полусне огромных волов, запряженных в тяжелые сани на железных полозьях. Два юных кучера терпеливо ждали золотого случая, чтобы прокатить по набережной Фуншала какого-либо заморского любителя экзотики. Похоже, что «ковбои» эти не зря ждут своей удачи. Иначе чем объяснить их терпение и затраты на оригинальные одеяния, тоже привлекающие туристов?

Трудно объяснить порой собственное состояние, но встреча с Мадейрой оставила грустное впечатление. Она принесла мне разочарование, беспощадно развеяла миф, созданный воображением в школьные годы. И невольно начинаешь задумываться над прошлым и сегодняшним, чтобы понять изменения в своем сознании. Разве человеку не свойственна потребность осмыслить себя, окружающее бытие, постигнуть мир, в котором он живет, понять, зачем приходит в этот мир? Ему не чужда стремление проникать в тайны реальной жизни и прекрасного, в сокровенность искусства — живописи, поэзии, музыки. Неужто действительность недостаточно просторна и емка для человеческого воображения?

Вспоминаю, как в Созополе, приютившемся на болгарском Черноморье, при въезде в город, особенно в приморском парке, мне часто попадались старые судовые якоря, порыжевшие от едкой ржавчины. О них непременно говорят и пишут почти все посетившие эти места. Для иного странствующего ока, ищущего необычайного и диковинного, они, быть может, находка, экзотическая изюминка. Старые якоря на берегу, наверное, воспринимаются многими как нечто романтическое.

Но эти якоря способны вызвать и другие мысли, грустные раздумья. Опрокинутые и брошенные, как потерпевшие крушение шхуны, они ведь когда-то были нужны человеку, который не обходился без них, неразлучно отправлялся с ними в море, делил невзгоды и испытания... Теперь их лишили естественной водной стихии, вышвырнули за ненадобностью на сушу, как на обочину жизни. Напоказ прохожим, на праздное обозрение толпы...

Истинно, все не вечно на этом изменчивом свете, как и неумолимо течение реки, что несет человека в жизни и во времени. Не ново и то, что в «безумном этом мире» все приходит, чтобы безвозвратно уйти. И было бы наивно, конечно, мечтать о возрождении динозавров. Они для нас тень далекого, навсегда канувшего в бездну прошлого. Сущность, однако, в ином: какова тут, так сказать, сама метаморфоза, как меняется человек и его отношение ко всему окружающему, какова здесь нравственная диалектика. Каким путем и образом обходится человек со всем тем, что приходит, а потом определяет, что должно уйти, отлететь, как листья с осенних ветвей. Всегда ли и во всем нужны кресты и звезды только по старости? Оправданна ли декоративность, за которой скрыто давно уже устаревшее, отжившее, насквозь проржавевшее, но все еще цепляющееся за однажды занятые позиции, хотя давно бы уже пора стать на якорь, чтобы не оказаться за бортом времени и событий.

Интересна, на мой взгляд, заметка «Якоря на пьедестале», опубликованная газетой «Правда» от 23 ноября 1979 года. В ней говорится, что у входа в Керченский городской парк культуры и отдыха, на берегу пролива, сотрудники местного историко-археологического музея открыли необычную выставку «Якоря судовые».

Здесь демонстрируются якоря разных эпох. Очищенные от морских наслоений и ржавчины, выкрашенные в черный цвет, они установлены на специальных цементных площадках, опоясанных цепями. Все экспонаты снабжены пояснительными надписями. На одной читаем: «Более четырех тысяч лет назад древние придумали якорь. Первые якоря классического принципа были деревянными. С появлением профессии кузнеца железный якорь становится его основным изделием наряду с лемехом плуга, мечом, топором, подковой... У древних греков и римлян якорь считался свя-

щенным орудием, символом надежды. Якорь — изобретение международное и является неотъемлемой принадлежностью каждого корабля...»

Деревянных якорей на выставке нет. Они не могли сохраниться до наших дней. Но здесь экспонируются три каменных округлых тяжелых штока — приспособления к деревянным якорям для придания им тяжести, чтобы удерживать в подводном положении. Они были обнаружены аквалангистами Керченского музея в районе мыса Тузла. Эти штоки использовались на судах в VII—IV веках до нашей эры, то есть в период развития Созопола.

Здесь же выставлен двухлапый, кованый адмиралтейский якорь, применявшийся на парусных военно-морских судах в XVII—XIX веках. Рядом с ним четырехлапый, которым оснащались крупнотоннажные торговые суда в XVI—XVIII веках.

С утра до позднего вечера идут горожане и гости Керчи в городской парк, и никто не проходит мимо выставки якорей. Экспозиция напоминает о древнем городе-герое Керчи, родословная которого насчитывает более двадцати пяти веков. Он стоит как страж Родины на стыке Азовского и Черного морей.

Вторжение науки и современной технологии в нашу действительность радикальным образом видоизменяет привычный порядок нашего существования и деятельности, вековой уклад нашей жизни — общественной и частной. Во всем утверждается новизна, прогресс, происходит великое созидание и ломка наших прежних представлений. Человек обретает все более активную жизненную позицию...

И все же правомерно спросить: без остатка ли уходит старое в небытие? Не поддаемся ли мы искушению, называемому забвением?

Нет, память истории, ее опыт и мудрость не исчезают бесследно, а передаются, наследуются из поколения в поколение, утверждаются в памяти человека, в его опыте, надеждах и мечтах.

Мадейру мы покинули в ранний час. Остался позади Фуншал... Эта маленькая точка на земном шаре, город, в котором своеобразно сосредоточились контрасты, парадоксы и противоречия нынешнего мира. Видимо, Фуншал был задуман как образец островной цивилизации, а стал сценой, где выступают все те же пороки частнособственнического мира.

Вдали, у самого горизонта, подымается над морем прозрачная струя дыма, едва заметно движется силуэт загадочного судна в загадочные земли. И ночью, в смоляной тьме, когда долгие часы бессонницы заполняются чтением и раздумьями, случается наблюдать, как проходят редкие корабли, тускло освещенные, одинокие, таинственные.

Шум моря, постоянно окутывающий, стал привычным, неотторжимым. Гул прибоя за иллюминатором воспринимается так, будто волны ударяются о собственное мое тело. И когда природа осыпает непроглядную тьму ночи звездами, верю, что свет их ниспосылается потерявшим свой путь мореплавателям, беспомощно блуждающим во мраке...

Канарские острова

Еще в школьные годы Канарские острова пленяли детское наше воображение. Они рисовались мне, со слов первой учительницы географии, чем-то экзотическим, загадочным. Но в учебных пособиях и в энциклопедии, увы, о Канарских островах говорилось крайне скупо. На борту «Михаила Калинина» я обнаружил скромный путеводитель на английском языке, где содержатся некоторые данные о Канарских островах, хотя и они проливают мало света на прошлое и нынешнее положение островов.

Канарские острова когда-то назывались Елисейскими полями, островами Вечной Весны и Счастливыми островами. Существует гипотеза, будто на месте Канарских островов когда-то располагалась легендарная Атлантида.

В свое время они были населены племенем гуанчей — высокими белокурыми людьми с голубыми глазами. Некоторые ученые считают, что гуанчи происходили от викингов. Гуанчи обитали в горных пещерах, поклонялись природе, вели мирный образ жизни. В племени гуанчей сохранялась полиандрия — женщины могли иметь до четырех мужей, по одному в каждое время года...

Когда испанцы впервые прибыли в XV столетии на Канарские острова, их встретили желтые свирепые собаки. Испанцы вынуждены были отступить, сочтя, что острова заселяют злые собаки. И назвали острова Канарскими (от латинского слова «canis» — собака).

Ныне Канарские острова являются двумя провинциями Испании — Лас-Пальмас и Санта-Крус-де-Тенерифе. Самые значительные из островов архипелага — Гран-Канария, Тенерифе и Фуэртевентура. Общее население Канарских островов — около полутора миллионов человек, говорящих на испанском языке. Климат на островах тропический, умеренно жаркий и сухой. Канарские острова, лежащие вблизи оживленных морских путей, отделены от западного берега Африки проливом шириною около ста километров. Все острова гористые, вулканического происхождения, имеют высокие вершины, большую часть года покрытые снегом.

Остров Тенерифе, который мы посетили,— самый большой и наиболее примечательный в гряде Канарских островов. Посредине острова Тенерифе почти по всей длине проходит горный хребет, склоны которого круто спускаются к морю. Остров частично порос лесами и кустарником. В некоторых его долинах растительность необычайно пышная. Здесь много вечнозеленых кустарников, растут редкие породы деревьев — драконово дерево, .канарская финиковая пальма, канарская сосна.

В центре острова Тенерифе высится действующий вулкан Тейде (3718 метров), видный с расстояния более девяноста миль. Вулкан Тейде на две трети от основания покрыт растительностью, остальная часть его голая.

С моря Тенерифе выглядит горным островом вулканического происхождения. На нем несколько городов, среди которых са-

мые крупные — Санта-Крус-де-Тенерифе, Пуэрто-де-ла-Крус и Ла-Лагуна. Канарские острова — важная транзитная база в Атлантике.

Архитектурный стиль Санта-Крус-де-Тенерифе эклектичен — это смешение традиционной испанской колониальной и современной архитектуры. Дома преимущественно белые, они карабкаются по склонам гор, в отдельных местах достигая вершин. Когда смотришь на город издали, с палубы отходящего судна, создается впечатление, будто подножие гор засыпано снегом.

Общее для Канарских островов — крайняя ограниченность земель, пригодных для обработки, низкий уровень развития экономики и культуры. Возделываются бананы, цитрусовые, зерновые, картофель, бобовые, виноград. Часть населения занята рыболовством и разведением овец, коз, крупного рогатого скота.

И удивительно, что, несмотря на мое недоверчивое отношение к рекламным советам туристических справочников, на этот раз я не жалею, что английский путеводитель привел меня именно сюда, на вершину огненной горы, возвышающейся над истерзанной землей. На площадку, утрамбованную ногами любителей экзотики, приезжающих сюда со всех континентов. Она словно разжатая ладонь, по которой ясновидец может прочесть жизнь острова, его прошлое и нынешний облик.

Лансароте — израненная земля

Остров Лансароте на первый взгляд кажется мертвой землей. Голые горы. Безжизненные поля. Вокруг — остывшая лава. Все напоминает поверхность луны, как она выглядит на фотографиях. Не без основания американские астронавты проходили здесь подготовку к высадке на Луну. Слишком велико сходство.

На острове нет ни рек, ни озер. Не существует и артезианских колодцев. Поля орошаются лишь естественными осадками.

По мере продвижения в глубь острова картина меняется. Все больше появляется обработанных участков земли, то есть остывшей лавы, на которой выращивают хорошие урожаи картофеля, кукурузы, различных овощей, табака, винограда.

В 1730 году Лансароте постигла чудовищная трагедия. В течение шести лет на нем извергались вулканы, которые покрыли почти весь остров расплавленной магмой толщиной до десяти метров. Под кипевшей лавой погибли города и селения, все живое. Остров превратился в необитаемую пустыню, самую загадочную землю мира.

И все же человек не покорился. Он временно отступил перед страшной силой разбушевавшейся стихии, но не сдался на ее милость. Долго остывала огненная масса, пока человеческая нога снова смогла вступить сюда. Но вулкан до сих пор остается действующим, хотя ныне спокоен.

Последние следы вулканической активности можно видеть на вершине Монтанос-дель-Фуэго (Огненная гора), которую мы посетили. Караван верблюдов в течение часа доставил нас к месту зрелища. Дорога ведет непосредственно к вершине вулкана, где под остывшей и затвердевшей поверхностью продолжаются внутренние процессы. Здесь температура грунта на глубине четырех дюймов достигает шестидесяти градусов, а на глубине двух футов она равна двумстам сорока градусам по Цельсию. Для доказательства наш гид ловко, быстро продемонстрировал это, бросив древесные ветви в прорытый в земле колодец. В считанные секунды они превратились в языки пламени. Затем он налил воды в трубу, уходящую в глубину грунта на пятнадцать футов, откуда тотчас пар высокой температуры ударил в воздух. Здесь, можно сказать, ощутимо дыхание земли, слышен голос магмы.

На вершине вулкана Монтанос-дель-Фуэго построен современный ресторан круглой формы, с приплюснутой крышей. Стены его сделаны из кусков лавы. В этом ресторане, названном «Эль Дьябло» (Дьявол), все готовится на вулканической тепловой энергии. Мы, разумеется, отведали приготовления и «дьявольской кухни». Они оказались выше всяких похвал.

Со временем местные крестьяне научились дробить лаву, превращать ее в почву, обрабатывать и выращивать на ней плоды. Своим упорным трудом люди одолели стихию. Воскресили жизнь из остывшей магмы. Пришлось им, однако, специально привозить краснозем с северной части острова, чтобы покрыть лаву слоем почвы толщиной приблизительно в один фут. И вот в районе Ла-Герия возникло земледелие, единственное в мире по своей оригинальности.

Когда смотришь на обработанные участки земли, покрытой лавой, внешне кажется, что это черноземные поля. Лишь при внимательном взгляде обнаруживаешь, что это раздробленная лава и вулканический пепел. Оказалось, что лава содержит многочисленные минеральные элементы и соли, которые служат хорошим удобрением и помогают получать высокие урожаи зерновых и овощей. Сверх того, поля из лавы обладают гигроскопичностью, хорошо задерживают и сохраняют влагу, которая содержится в земле. Почти неправдоподобно, но урожаи овощей здесь не могут не вызывать удивления. Достаточно сказать, что выращиваемые луковицы достигают до килограмма веса, а клубни сладкого картофеля — до десяти.

Не менее примечательно, что виноград на острове выращивается в небольших ложбинах, огражденных от северных ветров кусками лавы. На каждой парцелле снимается урожай от ста до двухсот килограммов винограда в год, из которого производят два вида тяжелых вин — мальвазию и мускатель.

Из пористой лавы нарезают кирпичи и строят жилища, а также ограды полей и пастбищ, особенно виноградных плантаций, чтобы предохранить растения от сильных северных ветров в зимний период.

Клочок за клочком, метр за метром отвоевывают труженики у земли пространство для жизни. Безжизненная эта лава невольно ассоциируется с тем изображением земли, которое в американских фантастических фильмах выдается за то, что ожидает

нашу планету после ядерной катастрофы.

Не могу не признаться, что остается глубоко удручающее впечатление от посещения «огненной земли», которая все еще не остыла от магмы и по-прежнему угрожает человеческой жизни.

Каким же должен быть оптимизм человека, когда, зная, что новое извержение отнюдь не исключено, он под боком огнедышащего кратера воскрешает жизнь? Хвала человеку и его мужественному каждодневному сражению за утверждение жизни.

В народе говорят: человек, не посадивший дерева, зря прожил на свете. Мы же менее всего задумываемся над тем, что каждая травинка, каждый листок ныне у природы на счету. Все не без причины. И если брать у нее, то с умом, с определенной целью, а не ради прихоти, кратковременного развлечения, забавы.

Примечательно, что смоковница — одно из самых долгоживущих деревьев земли — олицетворяет собой долгожительство, непрерывность роста, неприхотливость. Кроме того, во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки, где произрастает это дерево, тень, отбрасываемая его раскидистыми ветвями, служит местом собраний и встреч. Под сенью индийской смоковницы шумят деревенские рынки, здесь заседают советы старейшин, свершаются празднества. В ряде районов это дерево имеет ритуальное значение, под ним происходят религиозные обряды.

Характерная особенность этого дерева — воздушные корни, которые опускаются с ветвей до самой земли и представляют собой как бы дополнительные стволы. Благодаря этим стволам индийская смоковница как бы шагает по земле, разрастаясь в целые рощи. Существуют старые смоковницы, занимающие пространство до шестисот метров в окружности. Под таким деревом-рощей могут разместиться до двадцати тысяч человек. Высота смоковницы достигает тридцати метров.

Поразительно, что одни прилагают неимоверные, поистине нечеловеческие усилия, чтобы одолеть стихию и возродить жизнь, а другие, в руках которых сосредоточены средства, огромные материальные ценности и неограниченная власть, судорожно заняты разработкой стратегии умерщвления всего живого на земле.

Наш теплоход отходил от берегов вулканического острова, а перед моими глазами продолжали стоять картины непрестанной борьбы человека с грозной природной стихией. Неужели, думалось мне, огнедышащие горы снова начнут извергать вулканическую магму? Неужели смерть снова восторжествует над израненной этой землей и сметет все, что человеку удалось создать своим титаническим трудом?

КАСАБЛАНКА

К вечеру мы приблизились к порту Касабланки. Солнце уходило за горизонт. Океан, казалось, хранил спокойствие.

Единственное представление об этом городе у меня связано с американским кинофильмом «Касабланка», который я как-то смотрел в Нью-Йорке. Я подошел к окну своего номера в гостинице-небоскребе, чтобы зашторить его перед фильмом по телевидению. И в глаза мне ударил свет. Его излучало чистое небо, сверкающий свод которого словно касался крыш белых высотных громадин.

«Касабланка» вызывала интерес. Игра Хамфри Богарта и Ингрид Бергман в заглавных ролях не могла не волновать. Смотря этот фильм, я испытывал редкое удовольствие.

В фильме показана история людей мужественных и бесстрашных, чья судьба связана с борьбой против фашизма.

И вот в далеком марокканском городе Касабланка, казалось оторванном от остального мира, вновь встречаются герои фильма, которых разлучила война. В оккупированной нацистами Касабланке раскрылась сила всепокоряющей любви...

Внезапный телефонный звонок отвлек меня от телеэкрана.

— Профессор Константинов? — услышал я голос Камелии.

— Слушаю...

— Если у вас есть время, включите третью программу. Показывают фильм «Касабланка». И еще... мне хотелось бы пригласить вас сегодня вечером на ужин с интересными американскими коллегами, если это не нарушает ваших планов.

— «Касабланку» не отрываясь смотрю, хотя и раздражает реклама. Благодарю за любезное приглашение. Непременно буду...

Вечером мы встретились в небольшом итальянском ресторане. Уже при входе перед нашими глазами предстали щедрые дары моря: свежие лангусты, крабы, креветки, всевозможная океанская рыба... А внутри ресторана на потолочных балках из потемневшего мореного дуба висели вяленые окорока прошюто, различные колбасы и копчености.

Американские хозяева ожидали нас в уютном баре, где приглушенно звучала итальянская музыка. Они любезно встретили нас и предложили аперитив. Камелия представила меня своим коллегам.

— Мы выбрали итальянский ресторан, потому что нам нравится эта кухня. Надеемся, что и вы, как европейцы, не отвергаете ее, — сказал наш хозяин, директор одного из исследовательских институтов по внешнеполитическим вопросам, обслуживающего конгресс США.

— Я вообще готова променять любую кухню на итальянскую, — подхватила жена директора Мэри, аппетитно справляясь с тонко нарезанным прошюто с дыней.

Разговор зашел о деликатесах и кулинарном искусстве. Американцы откровенно выражали недовольство своей стандартной едой, приготовляемой с помощью химии, критиковали «быстрое питание на ходу», жаловались, что все реже встречаются натуральные, без искусственных примесей и суррогатов продукты.

— «Хот догс», «франки», «гамбургеры» и прочее, — заметила Камелия, — скорее следует рассматривать как выход из положения при вынужденных обстоятельствах. Нам, болгарам, постоянно питаться ими было бы трудно. Мы привыкли жить ближе к природе, пользоваться натуральными плодами — зеленью, овощами, кислым моло-

ком, брынзой, пшеничным хлебом. Любим острые приправы — это у нас в характере — перец, чеснок, чабрец. Наша кухня в чем-то схожа с итальянской.

Постепенно разговор перешел на другие темы, неизбежно затронув внешнеполитическую проблематику...

— Пожалуй, я не выдам великой тайны, если скажу, что в нашем институте одной из актуальных тем, которая заставила нас сколотить международную группу, является феномен болгаро-советских отношений. Нас интересуют их корни и причины, определяющие столь тесные взаимосвязи, — произнес заместитель директора, который явно отдавал должное доброму итальянскому вину.

— Мне лично кажется, что тут дело в хорошо поставленной пропаганде, которую ведут обе стороны — Болгария и Россия,— заметил Дэвидсон, ответственный сотрудник «Голоса Америки», человек средних лет, живого ума, приятной внешности и манер. Сидя рядом с Камелией, он настойчиво проявлял к ней интерес.

— Вне всякого сомнения, средства массовой информации используются в этих странах весьма интенсивно, и с нашей стороны неразумно отрицать эффективность этой пропаганды в данном случае, — сказал Уильямс, сотрудник спутниковой системы телевидения, деловой, предприимчивый американец, которому можно было дать не более сорока.

— С моей точки зрения, нельзя все сводить к пропаганде, хотя она тоже вершит свое дело. Уверен, что корни болгаро-советских отношений таятся в экономических взаимосвязях и определенной зависимости, — вмешался директор.

— Не могу ли я попросить еще немного прошюто и артишоков? — диссонансом прозвучал голос Мэри, которая словно не слышала нашего разговора.

Директор метнул на жену неодобрительный взгляд.

— Не думаете ли вы, что причину феномена следует искать в общности славянского происхождения болгар и русских? — впервые и единственный раз за весь вечер заговорила Лиз, супруга заместителя директора, молодая, привлекательная особа.

Реплика Лиз явно снискала благосклонность шефа института, поднявшего бокал и отпившего несколько глотков вина в знак понимания.

— Не слишком ли наивно в наше время искать здесь главную причину? Разве поляки, чехи, югославы не принадлежат к тому же славянству? — язвительно заметил супруг Лиз.

— А как думаете вы, моя дорогая Камелия? — спросил директор.

— Уж не собираетесь ли вы включить меня в вашу компанию исследователей болгаро-советского феномена? — с улыбкой бросила Камелия. — Кстати, мне хотелось бы знать, является ли создание международных исследовательских групп системой в работе вашего института?

— Да. Дело в том, что сам наш институт можно назвать международным. В составе его сотрудников — ученые различных стран, — ответил директор.

— Каких именно? — попросила уточнить Камелия.

Директор начал перечислять, но когда насчитал пятнадцать, Камелия не без иронии заметила:

— Так, значит, ваш институт трудится не только ради конгресса США, но и во благо НАТО! У вашего института весьма неординарная миссия... Поэтому, согласитесь, было бы нелепостью включать меня в подобного рода затею, ибо у Болгарии, смею напомнить, весьма негативное отношение к агрессивному блоку НАТО.

— Собственно, речь не идет о прямом включении вас, Камелия, в исследовательскую группу. Нас интересует, как вы смотрите на суть дела, — произнес директор.

— Вы, пожалуй, правы, директор. Всегда надежнее познавать истину, черпая из первоисточников. И вообще научное исследование требует достоверности, — счел уместным заметить я.

— Да, друзья мои,— сказала Камелия,— все это чрезвычайно сложно. Тут комплекс причин, которые не следует упрощать. Не надо забывать исторически сформировавшихся отношений, братских уз болгар и русских. Скажу вам, что болгары это помнят. Пять веков мы находились под ненавистным турецким игом. И когда наш народ поднялся на борьбу против османских поработителей, то цивилизованная Европа, позвольте напомнить, предпочла холодное, бездушное отношение и безучастие к трагедии, разыгравшейся на Балканах.

— Правда, — добавил я, — нашлось несколько европейских писателей и деятелей искусств, даже один американский журналист — Мак Гэхан, которые описали зверства турок и пытались призвать европейские страны безотлагательно вмешаться, чтобы прекратить бесчинства турецких карателей.

— Но Европа, — продолжала Камелия, — осталась безмолвной. Оттуда никто к нам не пришел. Зато пришли русские, сражавшиеся насмерть во имя свободы славянских братьев. Десятки тысяч русских воинов пали в бою на болгарской земле. Нужно ли напоминать, что в 1944 году Болгария освободилась от фашизма благодаря помощи Советской России. Разве могут болгары это забыть? Не говорю уже об идейной и социальной общности наших народов, созидающих социалистическое общество. И глубоко ошибочно смешивать такие понятия, как содружество и взаимопомощь, с тем, что вы называете зависимостью...

— Ах, Камелия, вы неотразимы! Не думаешь ли ты, мой дорогой,— воскликнула жена директора, — что этот болгарский профессор уже заслужил сегодняшний ужин? Не скупись, прошу тебя, закажи всем нам по хорошей порции лангустов.

Мне казалось, что Мэри со свойственной ей непосредственностью выразила мысли всех присутствующих. На ее реплику компания весело реагировала общим одобрением.

— Как жаль, что мы не прихватили с собой магнитофон, чтобы записать речь нашей болгарской коллеги, — мрачно сказал заместитель директора.

— К чему эти оговорки, Ричард? Неужели вы сомневаетесь в безупречной работе

записывающих устройств, о которых кое-кто уже заранее здесь позаботился. Я, конечно же, высоко ценю вашу тактичность, которую вы приобрели за долгие годы дипломатической службы, но, думаю, что и после получения скрытой записи вы все равно не последуете моей мысли и напишете все наоборот,— уязвила Камелия своего оппонента.

— Мой дорогой, неужели тайком увековечен и мой голос?! — воскликнула Мэри.

— Не тревожься, мое сокровище, я позабочусь, чтобы твои невоздержанные звуки были стерты с пленки раз и навсегда,— в сердцах отреагировал директор под веселый смех всей компании.

— То, что мы услышали от профессора Камелии, очень интересно, но как бы это лучше сказать: это односторонняя или неравная любовь? — вырвалось у заместителя директора, который привык видеть во всем своекорыстие, даже в том случае, когда его не существует.

— Нет, это не так. Мы испытываем чувства глубокой признательности к болгарам, которые, помимо всего другого, из чистых рук своих дали нам, русским, бесценную письменность — кириллицу, — заметил я.

— Что бы вы ни говорили, но тут, в общем, известная зависимость малого народа от большого, причем и в экономике, и в сфере культуры, — продолжал заместитель.

— Вы, уважаемый коллега, заставляете меня напомнить крылатые слова великого болгарина Георгия Димитрова, о котором вы, возможно, слышали. На пресловутом Лейпцигском процессе он заявил, что в культуре нет малых и больших народов, есть лишь подлинная культура, которую создают все без исключения народы. Что касается любви, то всем известно, что любовь лишь тогда любовь, когда она взаимна, и чудо это едва ли объяснимо, хотя столько мудрецов уже пытались это сделать.

— А не пожелаете ли вы, профессор Камелия, и, разумеется, вы, профессор Константинов, выступить в программе «Голоса Америки»? Поверьте, за гонораром мы не постоим, — предложил сотрудник «Голоса Америки».

— Позвольте уточнить, на какие страны вы вещаете? — спросила Камелия.

— Разумеется, на все социалистические,— не задумываясь, ответил Дэвидсон.

— А как же Западная Европа обходится без ваших передач? — не без иронии спросила Камелия.

— Она и без того обязана прислушиваться к нашему голосу, — самодовольно воскликнул Дэвидсон.

— Не кажется ли вам, что у Западной Европы в последнее время как-то неладно со слухом, или, может быть, ваш «Голос» ослабел? — продолжала Камелия.

— Не беспокойтесь, мы как-нибудь это отрегулируем... Так как же насчет вашего выступления по «Голосу»? — настаивал Дэвидсон.

— Скажу вам откровенно, что с удовольствием выступила бы по американскому радио для американской аудитории. А чтобы меня услышали болгары, не требуется ехать в Америку и пользоваться чужим голосом.

— А разве болгары не слушают наши передачи?

— Если и слушают, то, думаю, не слишком много. Вам мало кто верит. Разве можно верить, если вы собрали в «Голосе Америки» одних предателей Болгарии? Вчера эти проходимцы оплевывали вас, а сегодня за ваши деньги оскорбляют свою родину, — парировала Камелия.

— Боже мой, Камелия, если предлагают хороший гонорар, почему бы не рискнуть? — снова заговорила Мэри.

— Сколько я знаю, мое сокровище, в последние пятнадцать лет тебе гонорара никто не предлагал,— язвительно бросил ей супруг.

— Ну уж этого, мой дорогой, я тебе так не прощу. И все же, Камелия, подумайте насчет щедрого вознаграждения...

— Мэри, я прекрасно знаю, что в Америке зря денег не платят, тем более щедрых, — ответила Камелия.

Я все время любовался Камелией, но она будто этого не замечала. Лишь теперь наши взгляды встретились и надолго задержались.

Через несколько дней я должен был покинуть Нью-Йорк. В международном аэропорту Кеннеди я вдруг увидел Камелию, которая спешила мне навстречу.

— Беспощадное время не позволило мне попрощаться с вами. И у меня не оставалось ничего другого, как приехать сюда... сказать вам «до свидания»... До свидания в Болгарии, которую, надеюсь, вы посетите,— сказала она, с трудом переводя дыхание.

— Да, Камелия, хотя бы ради того, чтобы встретиться с вами...

Воспоминания мои были прерваны сообщением по судовому радио: наше судно пришвартовывалось к причалу Касабланки.

Касабланка — многоязычный город, где говорят на арабском, французском и английском языках. Во время знакомства с городом нас сопровождал гид, пояснивший на английском, вернее, на пиджин инглиш:

— Мое имя Ахмед, но для вас я не араб... Зовите меня Скоти,— это сокращение от «скотиш» (шотландец). В автобусе ехали главным образом англичане, которые не могли скрыть своей иронии.

Скоти, не мешкая, предупредил туристов, что в Марокко месяц рамадана.

— Коран запрещает в это время курить, пить, любить... С шести утра до восьми вечера...— уточнил он.— А сейчас мы посетим городской рынок. Просьба ко всем: снять драгоценности и украшения, спрятать их подальше... Будьте благоразумны.

— А как же запреты рамадана? Разве они благословляют этакие занятия в это священное время? — с наивным удивлением спросила пожилая англичанка.

— Какой же это грех: некоторые люди скромно подбирают себе кошельки и сумки, заодно коллекционируя драгоценности, — молниеносно парировал гид.

Скоти явно стремился развеселить клиентов. Подъехав к дворцу Хасана II, гид облюбовал одну русскую пару, сидевшую впереди меня, и предложил молодой привлекательной женщине сфотографироваться с ним на фоне дворца.

— У нас нет фотоаппарата, — ответила она.

— Неужели ваш муж не позаботился о такой малости для вас, моя прелесть? — воскликнул Скоти.

— О чем здесь идет речь? — спросил подошедший муж.

— За какую цену вы согласны уступить мне вашу жену? — обратился к нему гид.

— Не по вашему карману! — ответил муж.

— Вы итальянцы? — спросил Скоти.

— Нет, русские.

— Коммунисты, значит?

— Верно, и женами не торгуем!

— Даю вам за вашу жену шесть верблюдов, — решительно заявил Скоти.

— Как бы не просчитались!

— Обычно я даю пять верблюдов... Лишь в исключительных случаях прибавляю осленка... А вам сразу — шесть двугорбых, непопорченных верблюдов,— почти закричал Скоти вдогонку удалявшейся паре.

Когда наш автобус проезжал наиболее аристократический квартал Касабланки, Скоти снова нарушил молчание:

— Здесь живут только очень богатые люди... И мой особняк тоже тут. Не хотите ли посмотреть?

— Хотим, хотим! — весело закричали англичане.

— Вот он, видите, справа, мой скромный дворец. Очень он мне нравится, не нравится только, что его владелец не признает меня хозяином... Правда, у меня есть второй дом, он пустует, я должен привести в него вторую жену, но пока еще не приобрел ее,— грустно произнес Скоти.

Вскоре мы подъехали к палаццо эмира Саудовской Аравии, чьи владения раскинулись до самого побережья.

— Обратите внимание,—продолжал гид,— у дворца мечеть. Набожный эмир специально построил ее здесь, чтобы быть ближе к богу. Не правда ли, это так мило и удобно? А главное, экономно — одна мечеть на одного человека. Просто удивительно, почему этого не делают другие честные магометане...

И тут Скоти пустился в толкование Корана.

— Коран, божественное откровение аллаха, содержит главные установления: молиться пять раз в день, иметь не более четырех жен и т. д. Повторяю, не более четырех, при условии, что каждая получит отдельное жилище. У меня всего одна жена, но, как я сказал, два дома, один из них все еще свободен... Не согласится ли кто-либо из вас уступить мне свою жену, чтобы она стала хозяйкой в нем? — спросил гид, вызвав общее оживление и смех англичан.

— Скажите, Скоти, не слишком ли разорительно для вас — каждой жене покупать по дому? — спросил кто-то из мужчин.

— Все мы, скромные люди, страдаем от этого, невыносимо мучаемся... И завидуем тем, кто имеет миллионы и содержит свой гарем в одном доме. Ведь это так выгодно, такая экономия — все жены вместе, под одной крышей. Им веселее, интереснее живется. Да и самому супругу на душе спокойнее — все жены под надежным присмотром... Здесь уж никто не допустит шалостей и шуток, — произнес на одном дыхании наш гид и будто погрузился в сладостные мечты о своей новой жене.

Скоти не упустил подчеркнуть, что в Касабланке люди работают только до часу дня.

— А потом уже не работают. И они так счастливы...

В чем же видят они свое счастье? Усевшись в тени у стены или под крышей, они либо безразлично смотрят прямо перед собой, либо жадно разглядывают проходящих женщин, особенно привлекательных и экстравагантных иностранок. И праздность эта продолжается, как отметил Скоти, девять солнечных месяцев, а в остальные три дождливых месяца это излюбленное занятие переносится под укрытие.

Но есть на улицах Касабланки другая весьма предприимчивая категория людей— мелкие торговцы еще более мелкими сувенирами. Они чрезвычайно навязчивы, упорно вас преследуют, всячески стремятся сбыть вам разного рода жалкие поделки, фальшивые украшения.

Экскурсия по городу окончилась.

— При выходе из автобуса не оставляйте ваших фотоаппаратов, биноклей, сувениров и особенно жен...— поспешил предупредить Скоти, которого англичане наградили аплодисментами и мелкими монетами, оставшимися у них после уличных приставал.

Покидая Касабланку, я не мог избавиться от мысли, что в моем сознании перемешались впечатления о двух совершенно разных городах. Одном, созданном собственным воображением после просмотра голливудского фильма о Касабланке, и другом— реальном, со всеми вопиющими контрастами частнособственнического уклада, всей роскошью, грязью и нищетой.

И как бы ни поражали нас эти социальные явления полукапиталистического и полуфеодального общества, как бы мы ни относились к штукарству и меланхолии Скоти, они в определенной мере отражают существующую действительность. Временами от шуток Скоти у всех «улыбка холодела на губах». Это так. Мы, конечно же, не можем многого принять в «свободном мире», многое в нем осуждаем и многим возмущаемся. Но эти уродливые черты существуют в жизни независимо от нашего отношения. Мы только увидели какую-то часть буржуазной действительности.

У нас могут быть самые отрицательные реакции на разного рода явления. И не всегда правильные, потому что мы иногда недостаточно подготовлены, не обладаем необходимыми сведениями и знаниями.

— Мы нуждаемся в книгах по страноведению и краеведению, хотим и должны знать традиции, обычаи, привычки людей в зарубежных странах, особенно тех, которые посещаем. К сожалению, у нас слишком мало таких книг и мы часто оказываемся неподготовленными, чтобы правильно и достойно ориентироваться в различных обстоятельствах, — как-то признался мне капитан лайнера «Михаил Калинин».

И мне вспомнился один из досадных случаев непонимания, который произошел на моих глазах. В одном из портов на арабском Востоке члены экипажа нашего судна

хотели отблагодарить начальника навигационной службы за оказанную помощь и внимание. Решив, что наилучший способ выражения признательности и расположения преподнести ему хлеб-соль, как это издавна делается согласно нашей славянской традиции.

— Зачем вы меня унижаете! — отрезал начальник.— Неужели вы думаете, что я нуждаюсь в вашем куске хлеба?! — повернулся и в гневе ушел.

Нужны ли здесь пространные комментарии? Многое людям кажется странным до тех пор, пока они не знают жизни других людей, традиций и обычаев различных народов земли.

От многих собеседников во время морских путешествий мне нередко приходилось слышать рассказы о бесконечных недоразумениях между людьми разных культур и образа жизни, возникающих на почве незнания, непонимания и неосведомленности, порой в самых простых вещах. Достойно сожаления, что книг по страноведению, научных и популярных очерков краеведческого характера издается у нас крайне недостаточно, хотя в стране существует много разного рода институтов и исследовательских организаций, которые явно призваны этим заниматься.

В прямой связи с проблемой познания зарубежных стран и народов находятся международные культурные контакты и обмены.

ГЕРКУЛЕСОВЫ СТОЛБЫ

...Высокие, голые и пустынные, острые и черные скалы среди раскинувшейся вокруг морской стихии. Наш лайнер, пройдя пролив, отделяющий Европу от Африки, вошел в порт Гибралтар, расположенный на юге Пиренейского полуострова.

У этих мест — своя, древняя легенда. Как необъяснимое чудо по обеим сторонам пролива высятся две гигантские островерхие скалы, известные под именами Гибралтар и Сеута. Предание гласит, что они созданы во время одного из походов прославленным героем античности Геркулесом, почитавшимся римлянами как воинственный бог, «победитель» и «непобедимый». Отсюда и название скал — Геркулесовы столбы.

Не без причины, видимо, античной этой легендой связано имя воинственного бога и героя Геркулеса с двумя скалистыми громадами, стоящими в проливе между Европой и Африкой. Именно здесь сооружены военные крепости, имеющие важное стратегическое значение. Крепости эти неоднократно захватывались в сражениях и переходили из рук в руки, но владели ими в основном страны Средиземного моря. В 1713 году Гибралтар был закреплен за Великобританией. Этому, разумеется, предшествовала сложная борьба между Испанией, Голландией и Англией, в историю которой едва ли уместно вторгаться в этих записях.

Достаточно лишь напомнить, что на протяжении веков Гибралтар был предметом вожделений и римлян, и арабов, и испанцев, и, наконец, англичан. Когда смотришь на древние стены крепости, сооруженной в VIII веке на западном склоне горы, не можешь отделаться от мысли, сколько здесь гремело кровопролитных битв и погибло людей. Впечатление это усиливается еще и потому, что своими глазами видишь средневековые артиллерийские орудия, сохранившиеся на самой вершине гибралтарской горы.

Одно несомненно — англичане ловко воспользовались династической войной между претендентами на испанский престол и в 1704 году силою овладели Гибралтарской крепостью. Это, увы, случай не единственный в кровавой истории великобританского колониализма. Но, кажется, Гибралтар — единственный осколок Британской империи на Европейском континенте, который выжил до нашего времени. Историческая летопись сохранила имя адмирала Джорджа Рука, который понимал, что не мертвая это земля, и вооруженным путем затвердил Гибралтар за Англией. Тогда же Британии удалось оформить свои притязания на Гибралтар на основании Утрехтского договора 1713 года.

Нет, не миражные и не экзотические видения руководили великобританскими завоевателями. Гибралтар — одна из ключеных стратегических баз на Средиземном море... Расчет британских колонизаторов был безошибочен.

На моей памяти — происходило это в дни моей службы в ООН — Испания обратилась в 1963 году за поддержкой со стороны мировой организации... Помнится, Комитет 24-х стран единодушно одобрил резолюцию, настаивавшую на том, чтобы Великобритания вступила в переговоры с Испанией в поисках согласованного решения проблемы деколонизации Гибралтара. Никакие дипломатические ухищрения Англии, никакие ее хитроумные шаги не имели успеха. Комитет вынес недвусмысленное решение — начать переговоры. В известной мере решением этим было признано законным требование Испании об установлении ее суверенитета над Гибралтаром. Обстоятельство это расценивалось тогда в недрах ООН как несомненный успех процесса деколонизации.

Великобритания, увы, предпочла иное решение. Не подчиняясь воле ООН, она провела в 1967 году референдум, во время которого, как и следовало ожидать, большинство населения Гибралтара высказалось против присоединения к Испании. И все же результаты этого референдума Генеральная Ассамблея ООН не сочла возможным признать действительными. Лондону было вновь рекомендовано вступить в переговоры с Испанией. Но Британия и на этот раз игнорировала решение мировой организации. В результате это привело к закрытию Испанией в 1969 году своей границы с Гибралтаром, что и продолжается до сих пор. Закрытие границы оказалось крайне неблагоприятным для Англии. Это отразилось на экономических отношениях с Испанией и привело к многочисленным затруднениям во взаимоотношениях с испанским населением Гибралтара.

К этому следует добавить, что события на Фолклендских (Мальвинских) островах не только не способствовали решению проблемы, но привели к отмене намечавшей-

ся попытки приступить к англо-испанским переговорам по урегулированию проблемы Гибралтара. А после событий в Южной Атлантике, когда Англии удалось расправиться с аргентинцами, Лондон занял еще более несговорчивую позицию. И премьер-министр М. Тэтчер сочла сложившуюся обстановку подходящей для заявления о бесспорности английского суверенитета над Гибралтаром. Такая позиция Британии, разумеется, оказалась возможной благодаря активной поддержке со стороны НАТО и США, которые отнюдь не делают из этого какого-либо секрета. Более того, Вашингтон в свою очередь стал подумывать о том, как бы этот стратегически важный пункт превратить в свою военную базу. Известно, что американские ястребы видят в Гибралтаре ту самую гранитную скалу, которая могла бы служить опорным пунктом для дислокации частей, известных под названием «сил быстрого развертывания».

Открыто бросая вызов Организации Объединенных Наций и мировому общественному мнению, Лондон упорно стремится сохранить власть над Гибралтаром, оставшуюся в наследство от давно пережившей себя эпохи великобританского колониализма.

Когда я вышел на Мейн-стрит — главную улицу Гибралтара, солнце уже поднялось над самой горой, над Геркулесовыми столбами. Покрасневшие его лучи стали совсем острыми, будто позолоченные копья, которые вонзаются во все расщелины между скалами и каменными домами на побережье, во все проемы и зеркально блестящие просветы зданий.

Гибралтарская Мейн-стрит начинается у самого южного порта, где пришвартовался наш теплоход, и проходит по набережной к небольшому песчаному перешейку. Здесь — граница, открытая со стороны Гибралтара и закрытая с испанской стороны. И в этом нельзя не видеть лицемерную политику Лондона, его игру в политику «открытых дверей», «свободной торговли», «открытой границы»...

Вся жизнь города сосредоточена на торговле, которой подчинены главные интересы местных жителей. Здесь каждый клочок земли занят под магазины, базары, лавки. Тут услужливо предлагают товары любого производства, доставленные буквально со всего света. Но доминируют в сбыте своей продукции Япония, Индия, Китай, Тайвань Южная Корея, Гонконг... Вольная коммерция, неограниченный валютный обмен и безграничные доходы, но только для тех, у кого власть и капитал... Гибралтар во многом напоминает Гонконг. Богатым и сановным здесь нечего бояться: закон, полиция, администрация — все поставлено на стражу их интересов. Все высокие, командные должности занимаются в Гибралтаре только англичанами, чистокровными подданными Ее Величества королевы...

Очевидно, есть доля истины в старой и очень простенькой английской поговорке: «Здесь, кажется, хорошо жить, но мне не хотелось бы приезжать сюда в гости».

На борт нашего судна мы вернулись в поздний час. Над Гибралтаром спустился редкий влажный туман, пронизываемый огнями ночного города. Гибралтар приобрел какой-то красноватый цвет, прорезываемый синеватыми отражениями неонового света. Город постепенно исчезал в дымке за кормой нашего теплохода, стремительно уходившего в открытые воды Атлантики.

Я долго еще оставался на верхней палубе и мысленно перенесся в Софию, куда во второй раз привела меня судьба... Помнится, стояла дивная осень. Воздух был напоен медовым благоуханием цветов. Улицы и бульвары заполнены множеством людей.

И я решил пройтись по тем местам, где одиннадцать лет назад бывал с женой. Правда, она уже была тяжело, неизлечимо больна, и это не могло не омрачать наше состояние. То было другое время, другое настроение...

За минувшие годы очень многое изменилось и в облике города, и в облике людей. Прежняя София стала неузнаваемой. Она собрала нас в тревожное время во имя спасения сил прогресса и демократии, мира и международной безопасности.

Среди участников всемирного «Парламента народов за мир» в Софии, которые угощались кофе и прохладительными напитками в фойе зала «Универсиада», я заметил Милана. Он беседовал со своими знакомыми. Я подошел к нему и поздоровался.

— Добрый день! Рад вас видеть на гостеприимной болгарской земле. Давно ли прибыли? — спросил Милан.

— Вчера, но вашу просьбу исполнил еще в Нью-Йорке. Мне посчастливилось встретиться там с Камелией и передать от вас...

— Благодарю за любезность, мне все известно, — неожиданно прервал меня собеседник.

— А где она, кстати?

— Участвует в одном из комитетов и будет здесь только завтра,— сухо сообщил Милан.

— В таком случае, может быть, нам удастся встретиться втроем?

— Не сомневаюсь, — весьма прохладно обронил мой собеседник.

Я счел разумным ограничиться извинением и удалился.

На следующий день Камелия действительно появилась, но быстро исчезла. Все же мне удалось с нею увидеться. Она принесла извинения за то, что не располагает временем сейчас, но хотела бы встретиться сегодня вечером в небольшом ресторане. Я спросил, кто будет на ужине — знакомые или новые для меня люди?

— Узкий круг друзей,— бросила Камелия на ходу, сказав, что заедет за мной.

Вечером мы были в уютном ресторане «Ропотамо». Круг действительно был узким, мы оказались втроем. Вскоре я заметил, что Милан, который был чем-то удручен и нервничал, явно давал понять, что предпочел бы встречу с Камелией наедине. Зато хозяйка была приветлива и полна обаяния.

— Помните, профессор, когда мы были в китайском ресторане в нью-йоркском «Чайна таун», вы угостили меня морскими деликатесами китайской кухни... Мне хотелось бы в свою очередь предложить вам наши национальные блюда, дары болгар-

ской земли. Не начать ли нам с форели?— обратилась к нам Камелия.

Я не успел еще сказать что-либо, как у Милана вырвалось:

— В китайском ресторане? Ты никогда об этом мне не говорила...

— Разве?! Значит, как-то упустила...

— А кто еще из счастливцев наслаждался с вами китайской экзотикой? — продолжал Милан.

— Китайцы, дорогой, одни китайцы... Надеюсь, вопросов больше нет, Милан? — спросила Камелия и наградила собеседника неотразимой улыбкой.

— От форели, пожалуй, воздержусь,— несколько подавленно ответил Милан.

Я счел разумным не вмешиваться в их диалог, хотя мне, зачем скрывать, он был далеко не безразличен.

Заказав форель для двоих, Камелия предложила нам несколько типично болгарских блюд.

— Увы, не могу угостить вас прошюто с дыней, не говоря уже о гарганзоле, как это было на борту «Белоруссии», но думаю, что наша вяленая оленина и луканка, а также овечья брынза, запеченная в гювече, не уступят изысканным итальянским деликатесам.— Затем, посоветовавшись с официантом, Камелия почти торжественно произнесла: — Сегодняшний ужин, скажу по секрету, не обойдется без нашего прославленного «великденско агнишко» — «пасхального ягненка», одного из любимейших болгарских яств. А сейчас, дорогие пираты, разрешите предложить тост в честь встречи «белорусской тройки» уже не на борту лайнера, а за столом в ресторане «Ропотамо», названного именем нашей удивительной реки, что неподалеку от Созопола.

Мы выпили крепкую гроздевую ракию. Слова Камелии будто вновь вернули нас на «Белоруссию».

— То были самые счастливые дни в моей жизни, — тихо произнес Милан и осушил рюмку до дна.

— Это было заметно и со стороны. Многие любовались вами, а некоторые и явно завидовали, когда вы появлялись на палубе и, кажется, никого не замечали вокруг.

— Самые счастливые... говоришь? Но ведь ты же, Милан, оставил меня одну в Барселоне, — с укоризной заметила Камелия.

— Перестань, Камелия... Ты же прекрасно знала, почему я отправился в Мадрид. Тогда мы были настроены оптимистичнее, больше ожидали от международного совещания по итогам выполнения Хельсинкских договоренностей. Но дело слишком затянулось, и трудно сказать, когда и чем все это кончится...

В ресторане звучала испанская музыка. Она воскресила во мне песни, которые Хулио Иглесиас исполнял в барселонском кафе, где я наблюдал со стороны Камелию и Милана. Звучал мягкий, чистый голос певца, погасив все ненужные звуки. Одна мелодия подчас способна открыть тайну всей человеческой жизни. Запомнившиеся песни пробудили во мне воспоминания... И какая-то смутная мечта неудержимо стремилась к дивной этой мелодии...

— Мне очень нравятся эти песни и голос певца. Звучание их всегда живое, светлое, — сказала Камелия, чью руку нежно взял Милан. Я сделал вид, что ничего не замечаю, но на мгновение почувствовал себя лишним...

— Помните, профессор, наш разговор с американскими коллегами по вопросу болгаро-советских отношений. Он ведь имел продолжение, — обратилась ко мне Камелия, непринужденно высвободив руку, которую продолжал держать Милан.

— Похоже, что американский исследовательский институт при конгрессе и НАТО не на шутку занят этой проблемой, — заметил я.

— Не может быть никаких сомнений. Интересно, что эта проблема привлекает внимание не только исследователей, но и представителей большого бизнеса. Впрочем, источник финансирования все тот же: ставит задачи и платит американский военно-промышленный комплекс, — сказала Камелия.

— Могу ли я пригласить тебя на танец, Камелия? — заговорил Милан после долгого молчания.

— Но ведь это же диско, дорогой, это для подростков, — уклончиво ответила она.

Нетрудно было заметить на лице Милана молчаливую ярость.

Мне подумалось, что Милан проявлял назойливую настойчивость увлечь Камелию и поговорить с ней наедине. Но она, похоже, этого избегала. Я не понимал ее поведения. Со мной она вела себя сдержанно, даже учтиво. Зачем же ей понадобилось приглашать меня? Отблагодарить за ужин в китайском ресторане? Так при чем тут Милан?

Многое для меня раскрылось на приеме, который на следующий день устраивали болгарские друзья.

— Вот уже две недели я в Софии, Камелия. Мне очень нужно поговорить с тобой о нас, о нашем будущем... Я много раз пытался встретиться с тобой наедине, но мне это не удалось,— услышал я голос Милана, стоявшего ко мне спиной.

— Но разве ты не видишь, что я занята,— ответила Камелия.

— Вижу, конечно, но от этого мне никак не легче. Мне стоило это больших трудов, дорогая, но я уже все подготовил для развода с женой. Не хочу посвящать тебя во все детали, но, поверь мне, это оказалось дьявольски сложно. Люблю тебя... Такая, значит, моя судьба. Не могу больше жить без тебя,— продолжал Милан, твердо убежденный, что она ответит взаимностью и соединит с ним навсегда свою жизнь.

— Все это ты делаешь ради меня или потому, что больше не можешь жить с женой?

— Она человек добрый и порядочный, ты это знаешь, я говорил тебе... Но я не хочу потерять тебя, меня это страшит. В Софии я еще пробуду десять дней и очень хочу, чтобы мы решили за это время самое важное — вопрос о нашей будущей жизни...

Невольно я оказался свидетелем чужого интимного разговора. Не скрою, во мне боролись два чувства — стыд и любопытство. Стыд, потому что я всегда считал безнравственным и недостойным всякое

подслушивание и подглядывание. Не вызывало во мне одобрения и пустое любопытство, которым страдают многие. Но скоро я поймал себя на мысли, что тут не простое любопытство и что разговор этот для меня вовсе не безразличен. Весь вечер не упускал я Камелию из виду, стремился к ней...

И вот теперь, слушая их объяснение, я живо представлял, как смотрит она на Милана, видел ее лицо, готовность произнести слова любви, сказать ему нечто сокровенное, навсегда... Видел ее прекрасные большие черные глаза, от которых он не отводил взгляда. И вдруг до моего слуха донесся ее голос:

— Благодарю, Милан, за откровенность. Но, кажется, все это слишком поздно... Не надо больше об этом... Значит, не судьба. Останемся друзьями...

— Прошу тебя, Камелия, умоляю... нам нужно поговорить обо всем, не торопись с ответом!

Взрыв страданий и наслаждений... Он неподвластен контролю, как неподвластен огонь словам. Это чувства и страсть, которые одним отпущены сверх меры, другим не даны вовсе.

— Хорошо, Милан. Пообедаем завтра вместе,— ответила Камелия.

— Надеюсь, наедине?

Любовь — это отдача себя другому человеку. Уязвимо, однако, это чувство потому, что связано с завистью тех, кто вожделенно рассчитывал, но ошибся, ибо его ожидания не оправдались.

Прогуливаясь вечером следующего дня в японском саду гостиницы Нью-Отани, я вдруг услышал голос Камелии:

— Как я не догадалась сразу, что именно здесь могла бы вас найти... А где же еще? — с улыбкой произнесла она.

— Я пришел полюбоваться цветами, но не думал, что увижу здесь и Камелию...

— Не очень ли разочарованы?

— Если в сердце живут надежда и вера, человек никогда не останется одиноким...

— Ну как вас после этого не пригласить присоединиться к нашей небольшой группе, чтобы совершить путешествие по болгарскому Черноморью. Это займет всего неделю, если у вас нет иных планов,— несколько приподнято сказала Камелия.

— Благодарю вас, мне уже приходилось бывать в тех краях, и у меня там немало друзей. Впрочем, большая ли у вас компания?

— Весь «караван» — две машины с многонациональным экипажем...

— Значит, нечто вроде американской исследовательской группы по «болгаро-советскому феномену»... А как Милан, участвует?

Лицо Камелии заметно изменилось, в глазах промелькнула грусть.

— Завтра он улетает в Прагу. Прошу вас, больше не спрашивайте меня о нем...

Похоже, иное море влекло Камелию, иные берега...

«ПИРАТСКАЯ» НОЧЬ

Из тропической жары мы вновь оказались в благостной прохладе.

Сегодня на борту нашего теплохода — ночь морских пиратов... Собственно, ночь английских пиратов, ибо на нем в подавляющей массе плывут английские туристы. Речь, разумеется, не о бандитской оргии на Фолклендских островах, а всего лишь о безобидных забавах великобританцев.

Еще утром можно было наблюдать необычную активность престарелых, но достаточно бодрых английских леди и джентльменов, старательно трудившихся над своими одеяниями морских разбойников.

Но уже вечером все общество разительно преобразилось. Перед моими глазами возникали персонажи, словно только что вышедшие из исторического кинобоевика. Загримированные лица англичан — «всей королевской рати» — были покрыты свежими следами ножевых ран и ссадин, травм на теле и пр. Достопочтенные английские леди выглядели как «дамы» из ночных кабаре и лучших морских притонов. Признаюсь, «пиратки» вели себя шумно, невоздержанно, вызывающе, словом, как и положено настоящим подругам морских грабителей.

Происходящее тем более удивляло, что люди эти, ежедневно проходя мимо меня, не упускали случая произнести: «Доброе утро, сэр, добрый вечер, спокойной ночи, приятных сновидений, сэр...». Сверх того, они успевали спросить меня о самочувствии, но, не дожидаясь ответа, тихо проходили мимо... Словом, были по-настоящему вежливыми людьми... Невольно возникает вопрос, откуда этот «пиратский» порыв, что за бесы вселились в души этих людей, какие источники питают духовный их мир?

Показательно, что тихие британцы, воспитанные, особенно если судить по художественной литературе, в духе добропорядочности и традиционной сдержанности, старались показать себя во всей красе разбойников, буквально наперебой позировали перед фотообъективами и кинокамерами. Они выбирали при этом самые уродливые и устрашающие позы, строили угрожающие рожи, размахивали огромными кухонными ножами, стараясь произвести впечатление на окружающих своим звериным оскалом. А может быть, это были их естественные лица, не защищенные масками?

На следующее утро все английские «пираты» были снова облачены в свои привычные одежды и соблюдали приличную благопорядочность, надев маску холодного спокойствия и учтивости.

Но под этой маской и правители Лондона нередко выступают с политических трибун, говоря о международных отношениях. Разве «железная леди» не под такой же маской произносит свои речи в английском парламенте и на международных форумах, в велеречивых речах проповедуя мир и справедливость, озабоченность правами человека, свободой личности и т. д.?

Очень странно было наблюдать столь разительную перемену в поведении британцев, удивительную их способность внезапно и столь натурально преображаться, давать волю своим эмоциям.

Невольно мысли переносятся к событиям, которые вызвали «странную» войну на Фолклендских островах, где по-своему произошел взрыв великобританских неоко-

лониалистских амбиций. Проснулись дремавшие инстинкты, дикие захватнические устремления.

Разве все это не свидетельствует о том, что, выступая в особой маске, человек тем самым раскрывает или прячет за ней свою личность, истинную свою сущность.

Между тем едва ли не все люди хотят выглядеть лучше, чем они есть на самом деле. Лишь немногие стремятся не к украшательству, а к подлинной оригинальности, самобытному проявлению своей индивидуальности. Последние — скорее редкость.

На борту нашего судна происходил «пиратский бал». А вот то, что происходит в мире. В миланском издании «Панорама» я прочел недавно: «Спасите наши души... Нас обстреляли пираты. Вы слышите? Отвечайте, отвечайте...»

Такие сигналы и сегодня звучат в мировом эфире. Пиратство процветает у берегов Колумбии и в Средиземном море, на Ближнем Востоке и Тихом океане, у африканских берегов, около Таиланда, Малайзии и Филиппин, где пиратские традиции никогда не исчезали.

Но чаще всего пиратство встречается, причем в самой жестокой форме, в Карибском море. Моряки напуганы. Антилы, которые недавно считались «туристическим раем», сейчас превратились в заповедную территорию, где действуют всевозможные авантюристы и контрабандисты, которые следуют по стопам пиратов прошлого.

Современные пираты нашли себе убежище в потайных уголках архипелагов. Вечерами они посещают портовые ресторанчики, пьют ром и виски, вербуя людей. Потом совершают вооруженные нападения на яхты и корабли.

По данным, содержащимся в одном секретном докладе американского торгового флота, с 1971 года загадочно погибло более шестисот судов. Газета «Майами ньюс» утверждает, что шестьсот кораблей исчезли лишь за последние три года. По некоторым сведениям, ежегодно потопленными оказывается сто пятьдесят яхт. Власти во Флориде оспаривают эти цифры. Все же специальный комитет, которому поручено изучить этот вопрос, установил, что с 1977 года двести яхт затонули при «странных обстоятельствах». «Сегодня, может быть, существует больше пиратов, чем во времена испанцев»,— сказал один из членов комитета.

Явление это приобрело такие размеры, что в ООН был обсужден проект конвенции по морскому праву. Пираты XX века — это иногда бедные рыбаки, которые грабят американских и европейских туристов. Но в значительной своей части пиратство связано с перевозкой наркотиков и в известной степени оружия.

По мнению американских властей, ежегодно в США незаконно поступает из Колумбии пять тысяч тонн марихуаны и пять тысяч тонн кокаина; оборот составляет около пятидесяти миллиардов долларов. Богатая добыча для пиратов.

И мне вспомнилось посещение вместе с известным японским писателем Кавабата ресторана «Пираты» — удивительно колоритного заведения в Дзуси, на самом берегу океанского залива, неподалеку от древней японской столицы Камакура. Вход его расписан сочными фресками. Цвет для художника, кажется, значил очень многое. Птица могла оказаться зеленой, дерево — огненным, рыба — радугой, но мастер словно убеждал нас в том, как существенны и напряженны эти цвета. Быть может, все это выдумки или игривость воображения?

Интерьер ресторана оформлен с претензиями на оригинальность — в виде огромного пиратского судна. Вдоль стен развешаны различные доспехи морских разбойников: пики, трезубцы, топоры, цепи, оружие. Все — настоящее либо же мастерски имитировано.

Вся прислуга наряжена в стилизованные пиратские одежды. Об официантах тут поговаривали, что по искусству лишать посетителей денег эта «команда» оставила далеко позади самых отчаянных морских грабителей. Такие и у живой лошади глаз смогут вынуть!

«Пираты» — дань западной моде. Модерн, комфорт, сервис, джаз, о котором кто-то сказал, что это веселая музыка в мрачном мире. Все здесь сделано в подражание самым броским американским образцам. Крайности заморской, западной моды в Японии последних лет стали особенно зримы. «Раз это модно — так пусть хоть трахома»,— гласит японское изречение. Иногда даже создается впечатление, что сегодня многие японцы, особенно молодежь, все более порывают с обычаями и самобытными традициями Японии. И вот здесь, перед нашими глазами, сидит унылая артель стареющих хиппи. Глядя на них, никак не скажешь, что «за модой могут гоняться лишь кокетливые гейши...». У самодовольства и подражательства — два непременных признака: для них нет ничего невозможного и чуждого. Люди этого разряда не отбирают, не фильтруют. Разборчивость — не их удел.

НЕОЖИДАННОСТЬ В ЛИССАБОНЕ

Лиссабон встретил нас своим привычным молочным туманом. И первое, что предстало перед нами,— гигантская статуя Христа с простертыми руками. Воздвигнутая на бетонном постаменте на берегу залива, при самом входе в порт, статуя возникает в тумане будто из поднебесья. За светом последовал звук... Из судовой рубки раздался голос:

— По соображениям безопасности просим пассажиров при выходе на сушу соблюдать предельную осторожность. Ничего лишнего с собой не брать. Деньги, чековые книжки, паспорта рекомендуется оставлять в судовых сейфах.

Словом, не искушать, не привлекать внимания местных «коллекционеров» драгоценностей. Что-то похожее, помнится, было уже на Ямайке, когда мы прибыли в Кингстон.

— Ничего с собой не брать,— последовал настоятельный совет. Все драгоценности и украшения в этом городе срываются похитителями... Никакой гарантии.

Впрочем, нашим пассажирам, прошедшим через «пиратские ночи», все это не так уж страшно, подумалось мне.

Видит небо, я не был обременен сокровищами. И потому решительно вступил на португальскую землю. Здесь ожидала меня непредвиденная встреча с моей юностью. Невольно на память приходят слова Гераклита, сказавшего: если человек не ожидает неожиданного, то он не найдет сокровенного.

Но не боясь впасть в банальность, все же повторю, что жизнь поистине полна неожиданностей. Мог ли я думать, что в Лиссабоне встречу старого школьного товарища. Он и я учились в одной школе в родном Пятигорске вместе с Сергеем Михалковым. Имя моего друга Евгений, ему шестьдесят пять лет. Не виделись мы, должно быть, лет двадцать.

Вспомнили школьные годы в Пятигорске, соучеников, товарищей, говорили о жизненных перипетиях... Вернувшись на борт нашего теплохода, я сделал краткие записи в своей тетради.

Скромная таверна неподалеку от порта. Я заметил, как вошла группа моряков. Разговор на русском тотчас насторожил меня. Привлекло лицо, которое не сразу вспомнил. Слишком необычной была обстановка. Он только посмотрел на меня. Мыслимо ли здесь, в Лиссабоне, где я оказался впервые в жизни, встретить своего давнего соученика. Узнали друг друга, конечно. Густая его шевелюра словно превратилась в снежную шапку.

— Не ожидал встретить тебя здесь, дорогой Александр, хотя знаю, что ты все время путешествуешь, паришь, так сказать, над земным шаром. Верно, тесен мир. Серебра, как видишь, больше стало на голове, а золота — во рту. Каждый седой волос — опыт и драма. Не очень много в моей жизни было веселья...

Евгений на минуту умолк, а затем продолжал:

— Скажи, как Сергей, что нового написал, какими фитилями зажег общественное мнение? А помнишь ли, был он, бог мой, сыном «куриного профессора», мешковатым, безответным...

И он пришел в восторг, потом заговорил о детстве, школе, нелегком бытии в родном городе, и о давно ушедших из жизни учителях, и о наших школьных сверстниках.

И мы вспомнили, как в пятигорской школе Чередничка, находившейся вблизи Казенного сада, в мальчишечьей гурьбе шутили и награждали тумаками заикающегося Серегу, с которым учились в одном классе, сидели за одной партой. А за что? За то, что он очень хорошо умел заикаться при ответах на уроках, но зато был неотразим со школьными подругами. Особенно с очаровательной Иолк, которая одновременно сумела обаять и многочисленных соперников Михалкова. Это, разумеется, было не только причиной мальчишеской его гордости, но и осложнений с товарищами.

Каждому хочется заглянуть в свое детство. На память пришли строки С. Михалкова из стихотворения «Школа». Я начал читать:

Умчались школьные года,
И не догонишь их.
Но я встречаю иногда
Товарищей своих.
Один — моряк, другой — танкист,
А третий — инженер,
Четвертый — цирковой артист,
А пятый — землемер.

Шестой — полярный капитан,
Седьмой — искусствовед,
Восьмой — наш диктор, Левитан,
Девятый — я, поэт.

А Евгений подхватил:

И мы, встречаясь,
Каждый раз о школе говорим...
— Ты помнишь, как учили нас
И как не знал я, где Кавказ,
А ты не знал, где Крым?
Как я старался подсказать,
Чтоб выручить дружка,
Что пятью восемь — сорок пять
И что Эльбрус — река?
Мы стали взрослыми теперь,
Нам детства не вернуть.
Нам школа в жизнь открыла дверь
И указала путь...

— Когда ты, Александр, заговорил о романтической истории Михалкова и Иолк, мне вспомнилась Лариса Изюмская... Она ведь покоряла не только своей внешностью, но и тем, что была лучшей ученицей в нашем классе, да, пожалуй, и во всей школе. Лариса Изюмская, она была несравненна. А главное — очень индивидуальна. Природа щедро ее одарила. Училась лучше всех и обладала необыкновенной привлекательностью. Не скрою, до сих пор, спустя более полувека, образ ее стоит передо мной. Будто все происходило только вчера...

— Не забывай, именно на Ларису Изюмскую были устремлены взоры многих твоих соперников...

— В том-то и дело, что у нее были куда более завидные поклонники, не мы, юнцы, хотя душой она, кажется, была с нами. Ее заботило другое. Она очень зрело смотрела на жизнь. Ни на кого не могла рассчитывать — ни на родителей, ни на близких и знакомых. У нее, увы, не было выбора. И она связала свою судьбу с обеспеченным человеком, строительным техником, что по тем временам немало значило...

— И все кончилось?

— Да, но только...

— Вы встречались потом?

— Однажды, случайно, когда она уже была мамашей. Это было в цветнике, у Лермонтовской галереи...

— И что же?

— Не спрашивай, об этом мне неловко вспоминать... Вел я себя неразумно, просто глупо... стыдно мне и теперь.

— Не в этом дело. Бывают безотчетные поступки... Знаешь, довольно об этом. Скажи лучше, как жена твоя, Нина?

— Буду откровенен с тобой. Лет десять назад я стал замечать, что Нина после моего возвращения на сушу не могла терпеть меня более двух дней... Только внук, кажется, ожидал меня с подарками. И вот один мой друг, редкого сердца человек, рассказал, что у моей Нины... давно уже есть другой мужчина, ее коллега — врач по профессии. В сущности, они и не скрывали своих отношений. Но ты же знаешь, что муж, как всегда, узнает последним. Объяснение... Предложил развод. Она не соглашалась, ее это не совсем устраивало. Пришлось все оставить по-прежнему, однако все между нами кончилось. Как ни

странно, но после всего она даже стала меня уважать — за безразличие к ней, что ли...

— Тем временем,— рассказывал мой школьный друг,— меня назначили капитаном пассажирского лайнера, довольно потрепанной посудины. Экипаж был разнородным, несобранным, службу нес плохо. Работалось трудно. Мне пришлось неоднократно докладывать об аварийном состоянии судна. Требовал я срочного ремонта, но бумаги, видно, не доходили до нужных людей. Тем не менее работал я увлеченно. Других интересов у меня не было. Все время отдавал этой посудине, поверь мне, Александр.

Вскоре, не дожидаясь приглашения, официант подошел и вежливо предложил свои услуги. Евгений, знавший местные обычаи и фирменные блюда, заказал крепкий напиток, напоминавший французский коньяк, и черный кофе, который здесь готовят по-итальянски.

— На судне,— продолжал Евгений,— работала парикмахерша, женщина лет сорока пяти, веселая, забавная, остроумная, хорошо знавшая английский. Как-то приводя в порядок мою голову, она спросила меня, кто же нежно гладит эту шевелюру. Были с ее стороны и другие намеки. Подолгу и со значением она останавливала на мне свой взгляд. И я стал посматривать на нее. Словом, увлекся...

— Прости, Евгений, но ведь ты не школьник...

— Видишь ли, я понял, что значит, когда тебя любят, когда тебя ждут, думают о тебе. Не стану отрицать, что посматривали на капитана и другие женщины на нашем судне. Предлагали, так сказать, свою дружбу и даже сердце. Я чувствовал, что вокруг меня много друзей, добрых людей. Веришь ли, считал себя счастливым...

— И что же?

— Случилась беда. Во время шторма наша старая посудина дала трещину, чуть было не пошла ко дну. С этого все и началось. С капитанской должности меня быстро сняли, перевели на сушу, дали незначительную должность. Шло долгое разбирательство. Все мои доказательства — доклады, заявления и прочие бумаги — во внимание не принимались. Добивался личных встреч и объяснений, но весьма мало людей, которые бы искренне хотели выслушать о других и о себе всю правду.

Евгений прервал разговор.

— Разреши мне, Александр, заказать еще по порции португальской ракии. Помнишь, как мы лихо заходили в родном Пятигорске в ресторан «Бристоль», нынешний «Машук», где умели подать жареный картофель и бутылку кахетинского.

И не дожидаясь моего согласия, Евгений сделал заказ.

— Наташа, с которой мы готовы были решить наш личный вопрос, круто изменила свое отношение ко мне. Откровенно, я ожидал этого шага. Женская гордость, если женщина ею обладает, на мой взгляд, должна взять верх. Словом, Наташа заявила, что, в сущности, она ошиблась... Что настоящих чувств ко мне у нее не было, а было просто временное увлечение...

Евгений поднял бокал, приглашая выпить португальский выдержанный, очень старый напиток, и продолжал:

— Многие мои друзья, будто сговорившись, исчезали из поля зрения, обманули надежды, отвернувшись в трудную минуту. Их круг все редел. Мною овладело гнетущее чувство подавленности. И я не мог не задумываться о дружбе, мужской дружбе, вспоминал, что говорили умные люди в старину...

Разве не справедливо, подумал я, изречение мудрецов, что человек не может жить на свете, если у него нет впереди ничего радостного. Все же, по выражению Л. Толстого, жизнь должна и может быть неперестающей радостью. Человек всегда должен быть радостен. И если жизнь не представляется тебе огромной радостью, то лишь потому, что твой путь ложно направлен. Ведь радость нам дает наше отношение к окружающему...

— Но были два друга, которые все время оставались со мной, искали правду, верили мне до конца. Знаешь ли ты, как это важно, особенно в море?

Возвращаясь месяца четыре спустя в мой опустевший дом (жена очень ловко освободила меня от всего имущества), я увидел у подъезда молодую женщину с сумкой. Это оказалась стюардесса нашего теплохода Люда, заботившаяся, как принято говорить, о кают-компании. Ей было лет тридцать пять. Молчаливая, замкнутая, скромная.

— Вы оставили ваши вещи в своей каюте, капитан. Я постирала ваши сорочки и все другое. Теперь решила принести их вам. Раньше не могла.

— Я, извините, уже не капитан... так что не заслуживаю...

Думал, что она расскажет о Наташе, но она ни о чем не обмолвилась. Мы выпили кофе, и она ушла. Прощаясь, Люда сказала, что у нее набралось три месяца отпуска и все это время она будет в Ленинграде.

Разве не правда, подумалось мне, что люди часто выбирают: одни — карьеру, благополучие и комфорт, другие — любовь?

— С удовольствием, как и прежде, помогала бы вам: постирала, убирала бы, словом, позаботилась...

И мне подумалось: когда тебе бывает трудно, помоги другому, которому еще труднее, и тебе станет легче на душе.

— Зачем же, Люда?

— Потому что верю в вас, знаю, что не виноваты вы ни в чем...

Это не могло меня не удивить. Человек, которого я не замечал, на кого не обращал внимания, вдруг обнаруживает такое участие... Да, если в человеке остается вера и любовь, нужно хранить и растить их, ставить жизнь других выше своей, быть готовым на самопожертвование. Отсюда и нечто сокровенное — даже умереть ради сохранения жизни любимого человека.

Наступила пауза. Евгений, уже не спрашивая меня, попросил официанта подать еще крепкого итальянского эспрессо.

— Пойми меня, Александр, такая встреча дорогого стоит. Ведь ожидание радости, пусть непредсказуемой, само по себе радость. И еще какая! Ты не согласен? Ведь

радоваться в одиночку грустно, даже нам, школьным товарищам. Горе можно снести одному, но для радости, думаю, нужны двое. Воспоминания радости, которые не сохранились в нашей памяти, извини меня,— не настоящие радости.

— Конечно, Евгений, но часто на крыльях радости к нам прилетает печаль... Трогает сама способность человека переживать за других больше, чем за себя самого.

— Прошу прощения, но я неравнодушен к Паустовскому, сказавшему, что тот, кто лишен чувства печали, так же жалок, как и человек, не знающий радости или потерявший ощущение смешного. Отсутствие хотя бы одного из этих свойств свидетельствует о духовной ограниченности.

— Помнишь ли гениальное лермонтовское: радость забывается, а печаль — никогда. Умная печаль, конечно. Грусть — ведь жестокий властелин.

— Поверишь ли, единственно, что я себе позволил,— это спросить: почему ты, Люда, всегда так грустна? Почему замкнута?

— Не знаю,— ответила она,— просто такой уродилась...

— Я просил Люду,— продолжал Евгений,— не беспокоиться. Просил ее заходить просто, по-дружески, когда будет возможность. Через неделю Люда вновь пришла, чтобы поздравить меня с днем рождения. Это меня поразило, так как сам я забыл об этом.

Это, кажется, значит испытывать судьбу, подумал я.

— После всего, что со мной случилось,— добавил Евгений,— я стал каким-то мнительным, начал подозревать людей во всех грехах, особенно женщин. Я не сдержался и спросил Люду, зачем она делает все это... Ведь у меня давно нет капитанского мундира.

— Я прихожу к вам не из-за капитанских нашивок. Не знаю я ничего и не хочу знать. Чистила я вашу форму, но вензелями не любовалась. Я видела в вас человека, а не ваши золотые нашивки. И, не хочу скрывать, всегда восхищалась вами, вами, человеком и мужчиной. Только вы не замечали этого...

Слушая доверительный рассказ Евгения, я думал не только о нем и о ней. В каждой ситуации — самой сложной и драматической — разве люди не должны сохранять человеческие качества, оставаться самими собой, отдавая себе отчет в истинном значении регалий, всяческих титулов и прочих знаков иерархической условности? Разве не прекрасен человек в его непосредственных чувствах и мыслях, а главное — поступках?

Официант принес наш заказ.

— Ну что же, Александр, неужто мы не способны выпить за людей, которые смотрят не на почетные кресла и вензеля на погонах...

— Ты о чем, Евгений? Неужели на нашем флоте моряки...

— Слушай, не смешно ли мне в конце концов убеждать тебя в том, что̀ есть должное и что̀ не есть должное... Не мне внушать тебе, как редко, к сожалению, нам удается знать и видеть истинных друзей вокруг себя. Друзей бескорыстных, готовых ради нас на все...

Настала пауза. Мы оба молчали.

— После этого,— заговорил Евгений,— Люда долго ко мне не приходила, во всяком случае мне так показалось...

— Что с ней теперь?

— По счастью для меня, Люда — моя жена, и я ей верю. Теперь я знаю, что она ждет меня после долгого рейса. Меня, меня, а не подарки... И потому не жалею, что поступил так. Скорее жалею о том, чего не сделал. Но чувствую, что жизнь подарила мне гораздо больше, чем я мог ожидать.

Нередко приходится слышать жалобы друзей, что жизнь проходит, а для истории они так ничего и не сделали. Почему они так переживают, что их не вспомнят потомки? Почему не заботятся о том, чтобы в нынешнем дне сделать что-то нужное людям, современникам, оставить о себе добрую память? Жизнь всем воздает за содеянное.

Я взглянул на часы... С чувством грусти понял, что через считанные минуты мой теплоход «Михаил Калинин» уходит в море.

Прощаясь, Евгений просил меня заходить к нему, познакомиться с Людой...

Похоже, школьный мой друг не убивается теперь каждодневной мыслью, где и как найти себе утешение. Долгий путь его позади.

Но мой удел — не пропустить свой «поезд».

Поистине, как у Михаила Дудина в стихотворении «Крик вдогонку»:

Твои отходят корабли.
А я как рыба на мели.
С последним кораблем
Вода уходит тоже навсегда.
На жабрах желтого песка
Скрипит смертельная тоска.

И никогда опять прибой
Здесь не появится с тобой.
И нужно миллион веков,
Чтоб руки вместо плавников,
Чтоб я твоих коснулся рук
И чтоб открылся новый круг.

Чувство грусти? Да. Когда еще в непредсказуемом нашем существовании суждено нам встретиться с нашей юностью, поговорить, вспомнить, чтобы не дать угаснуть своим мечтам, пройти в мыслях путь, отмеченный радостями и страданиями, песнями и слезами. Впрочем, это обычная жизнь многих людей моего поколения.

Хриплый гудок корабельной сирены. И судно мое снова уходит в море... Какие странности бывают в непостоянной нашей жизни, какое щемящее чувство рождают неожиданные встречи...

Вернувшись на борт лайнера, я все думал и думал об этой столь нежданной встрече с Евгением, над его рассказом о своей жизни, о нашей дружбе школьных лет.

Трудно объяснить почему, но на память пришла история одной удивительной судьбы, о которой я узнал во время посещения Калифорнии.

Произошло это в Сан-Франциско... В начале XIX века туда из Аляски впервые прибыли русские люди во главе с извест-

ным российским мореплавателем Николаем Резановым. Они зашли в гавань этого приморского города в поисках продовольствия для соотечественников на Аляске.

Вскоре Резанову, обладавшему большим обаянием, удалось установить дружеские связи с испанскими властями Сан-Франциско и даже завоевать доверие местного губернатора.

События развивались почти неправдоподобно. Между Резановым, которому было сорок два года, и шестнадцатилетней дочерью губернатора Кончитой, отличавшейся умом и красотой, завязался роман. Трудно сказать, как и почему рождается любовь. Но несмотря на множество препятствий, влюбленные победили и были помолвлены.

Надо добавить, Кончита во многом помогала любимому. И благодаря этому Резанов смог получать от испанцев продовольствие в обмен на русские товары.

Однако на бракосочетание Резанову с Кончитой, по существовавшим тогда порядкам, необходимо было получить благословение папы римского и российского императора.

Дошедшие до нас сведения сообщают, что Резанов тотчас отправился через Аляску в Петербург. Но в дороге его постигло несчастье: конь, на котором он ехал, проломил лед и вместе со всадником провалился в студеную воду. Резанов сильно простудился и вскоре скончался.

Кончита же терпеливо ждала Резанова тридцать лет, не зная о том, что случилось с ее возлюбленным. Когда ей сообщили о гибели Резанова, она, потрясенная, не колеблясь приняла монашество и провела остаток жизни в монастыре, где и скончалась. Похоронена Кончита на кладбище неподалеку от Сан-Франциско, среди могил францисканских монахинь. До наших дней сохранилось скромное каменное надгробие с ее именем.

Остался позади Лиссабон, неожиданная встреча, которая породила новые мысли и ощущения.

И вот передо мной за овальным иллюминатором раскинулся вновь необъятный простор моря, залившего весь горизонт своей волнующей синевой. В природе человеческому взгляду раскрываются не только радость, ощущение естественной красоты, но и всегда манящие перспективы. Она служит вдохновением, поднимая его дух.

В прощальном тревожном крике чаек мне почудилось обещание вернуться к нашему теплоходу. Вернуться к новому рейсу, чтобы сопровождать человека у берегов и в открытом море. Нужно еще терпение и вера...

МАГИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Наш лайнер стремительно шел в открытом океане.

Минувшей ночью над ним выл мрачный норд, бушевал жестокий шторм. Гневное море металось в необузданной ярости. Ударяясь о борт, волны, обессилев, откатывались, неистово разбрасывая брызги и глухо, угрожающе шипя, продолжали пениться густой, долго тающей пеной.

К рассвету шторм утих. Отгрохотало море, вскидывая последние крутые волны. Верна примета: после бури наступает тихая погода.

Занимался солнечный день. Я вышел на палубу полюбоваться бескрайним водным простором, подышать морским озоном, пропитанным йодом и солью. Над палубой разливалась мелодичная итальянская музыка. И вдруг я стал замечать, как на зеркальной поверхности начали появляться всплески, а затем — спины дельфинов. Вскоре они стали совершать плавные прыжки над водой, изящно выгибая свои сильные тела.

Солнечная морская дорога убегала далеко за горизонт. Лишь дельфины на мгновенья разрывали океанскую позолоту, предаваясь своей грациозной игре. Они долго не отставали от нашего судна. И вот исчезли внезапно так же, как и появились. Мне хотелось понять причину их поведения. Я погрузился в размышления и вскоре заметил — на судне прекратилась музыка... И я подумал: уж не привиделось ли мне все это? Воображение — бог творчества.

Всему живому, всем процессам в мире свойственны свои ритмы. Вне ритма нет движения, нет времени. В словесном искусстве ритм — естественное, подобное дыханию явление, без которого невозможно рождение подлинно совершенного произведения.

В основе музыки заложен ритм. Она возникает из глубин мировой гармонии.

Музыка, по замечанию Берлиоза, с помощью звуков стремится вызвать у нас ряд представлений о различных чувствах. Обращаясь к нашему слуху, она пробуждает в нас такие ощущения, которые в реальной действительности могут возникнуть лишь при посредстве остальных органов чувств. Именно в этом заключается суть выразительности «музыкальной живописи» и музыкальных образов. Сохранившиеся записи в старинных литературных памятниках свидетельствуют, что музыка, например, чрезвычайно высоко ценилась древними китайцами, рассматривалась ими как важнейшее средство воспитания человека, его этических и эстетических взглядов.

Говоря о начале раскрытия всех добродетелей со времени появления легендарного Шуня в Поднебесной, китайский историк Сыма Цянь пишет, что, когда сыграли «девять напевов», на звуки их явились удивительные твари, прилетела и стала кружить пара фениксов. В древнейшем памятнике «Шуцзин» («Книга преданий») также говорится: «Когда на флейте исполнили мелодию шао девять раз, фениксы явились на ритуал».

Разве не возникает в нашей памяти столь популярный в искусстве образ мифического Орфея, чье пение укрощало диких зверей, сдвигало с места деревья и скалы?

В китайском каноническом памятнике «Лунь юй» находим следующие высказывания Конфуция о музыке и ее значении в нравственном самоусовершенствовании личности: «Начинай образование с поэзии, упрочивай его правилами и завершай музыкой». Под словом «поэзия» Конфуций здесь имел в виду именно поэзию бессмертной «Книги песен».

В другом литературном памятнике «Юэцзи» («Записки о музыке») встречаем следующую запись: «Пусть музыка будет совершенной, и тогда не будет недовольства. Пусть правила будут совершенными, и тогда не будет вражды». И далее: «Музыка доводит гармонию до полного совершенства, а «ли» доводит до полного совершенства соблюдение (правил приличия)». Говорится здесь и о генезисе музыки: «Музыка появилась в Великом начале (появление всех вещей), а правила возникли после появления всех вещей». Иными словами, музыке придается начало первородности, органической взаимосвязи ее с возникновением окружающих человека вещей, естественной природы. При этом конфуцианство интерпретировало музыку как духовную деятельность лирического свойства, относящуюся к внутренней жизни человека.

Такой взгляд на музыку характерен не только для китайской старины. Как чистая, освобожденная от всякой предметности форма, отмечал Вагнер, музыка словно закрывает нам весь внешний мир, заставляя нас смотреть исключительно в наш внутренний мир, а вместе с тем и во внутренний мир всех вещей. Музыка своими мотивами дает нам характер всех явлений окружающей жизни в ее глубочайшей внутренней сущности. По природе своей музыкальное искусство поистине являет собой непосредственный язык людского сердца.

В древнекитайском трактате «Юэцзи» («Записки о музыке») Гунсунь Ницзы, ученика Конфуция, находим следующее положение: «Когда чувства внутри вас возбуждены, они проявляются в звуках голоса, и когда эти звуки образуют комбинации, возникает то, что мы называем мелодиями... музыка возникает из движения души человека; тоны являются проявлением музыки, а различные изящные компоненты представляют собой украшения для тонов... а когда ваши чувства возбуждены под воздействием внешнего мира, вы их выражаете своим голосом, то есть ваш голос должен соответствовать возникшим чувствам».

Особое значение придавал Конфуций музыке, в которой он слышал живое звучание народных дум, осуждения и похвалы; слушая музыку, он узнавал о состоянии народных нравов, о настроениях в различных царствах Древнего Китая. Именно музыка, призванная завершать важные начинания, вызвала к жизни специальный канон «Юэцзин».

Как много в природе таинств. И как мало еще знает человек. Нередко фантазия заменяет людям истинные знания. Рождаются легенды, предания, мифы. С незапамятных времен известно удивительное отношение дельфинов к человеку. В бесчисленных легендах рассказывается, как дельфины приходят на помощь людям, терпящим бедствие в морской стихии.

Одна из таких легенд повествует о спасении матери Аполлона — бога солнца и искусств.

Предание о храме Аполлона в Дельфах сохранилось в греческой мифологии. Свой храм олимпийский бог Аполлон решил возвести в самом центре земли, чтобы видеть все вокруг, чтобы повсюду от него исходил свет и он был священным источником у прорицалища. Когда же после долгих поисков бог солнца облюбовал место у подножия Парнаса, в глаза ему бросилась царившая там пустынность и дикость. Вскоре он заметил испуганных людей, которые прятались в пещерах среди скал, боясь выходить оттуда. На расспросы Аполлона несчастные обитатели пещер поведали ему, что уже давно жестоко страдают от драконообразного чудовища Пифона, который пожирает всех овец и людей, попадающихся на глаза.

И действительно, Пифон возник перед взором Аполлона, готовый растерзать его. Разъяренное чудовище с окровавленной пастью скрежетало челюстями. Но не успел Пифон и шевельнуться, как был сражен насмерть стрелой из серебряного лука Аполлона. Лучи солнца превратили Пифона в прах. С тех пор во всей округе наступил мир и покой.

В природе нередко уживаются источники недуга и средств исцеления. Часто все это остается тайной для человека. Но люди все-таки проникают в секреты природы, постигая пути исцеления, которые иногда оказываются простыми, как сама истина.

В одно прекрасное утро над ущельем между скал вознеслись прекрасные белые стены и колоннада храма Аполлона. Позднее вокруг него стали строить жилища местные пастухи и землепашцы. И вот настал час дать имя селению при храме. На совете Аполлон предложил наречь его Дельфы — в честь дельфина, который спас мать солнечного бога от смерти, вынеся ее на своей спине. Так и порешили. С тех пор мир знает о храме прорицаний Аполлона в Дельфах.

Легенды и действительность... Как часто они переплетаются в жизни. Перед моими глазами и сейчас словно живая картина: ныряющие в море дельфины у берегов Созопола, где мы после завершения работы «Парламента народов за мир» побывали вместе с Камелией и небольшой группой зарубежных деятелей культуры.

В жизни каждого человека бывает так, что проходят нередко дни и даже годы, но мало что, а то и вовсе ничего не остается в памяти. Все будто смывается потоком времени. После смерти жены я долго находился в каком-то забытьи. Встречались, правда, умные и привлекательные люди, были интересные знакомства, но все это быстро проходило, не оставляя после себя никаких следов.

Случается, однако, совсем по-другому. Так наша встреча с Камелией будто все преобразила во мне и в окружающем мире. И в сознании моем стало сохраняться все, что связано с ней, буквально все, до малейших подробностей. Фотографически запомнилась мне во всех деталях и поездка в Созопол с Камелией и группой зарубежных коллег. В памяти продолжает жить все, что радовало и омрачало, все, что испытывал я в те короткие дни... Чем дольше я наблюдал Камелию, тем больше обнаруживал в ней интеллектуальность, ее природные обаяние и мягкость.

Созопол, городок на болгарском Черноморье, произвел на всех нас чарующее впечатление. И хотя по программе мы дол-

жны были уехать через два дня на Солнечный берег, а затем на Золотые Пески, наши зарубежные коллеги решительно высказались, чтобы не кочевать по курортам и гостиницам, а все время провести в Созополе. Это означало отказаться от заранее согласованного и организованного плана поездки по Черноморью...

— Все в наших силах, друзья. Понадобится лишь несколько часов, чтобы договориться с созопольцами о «крыше и рыбе», — уверенно заявила Камелия и тотчас взялась за дело.

К обеду нас уже удобно разместили в двух небольших частных домах, и мы за первой же трапезой отметили нашу удачу. Восторгам не было конца, когда на столе появилась свежая жареная рыба и охлажденное домашнее белое вино.

— Позвольте мне, профессор Камелия Николова, выразить глубочайшую надежду, что мы будем иметь удовольствие наслаждаться этой изысканной, вкуснейшей рыбой хотя бы дважды или трижды в день, если, конечно, море окажется достаточно щедрым,— сказал неизменно улыбающийся Сакамото, японский архитектор.

— Разрешите мне напомнить о таком чудесном продукте Болгарии, как овечья брынза, с которой могут сравниться лишь лучшие сорта французских сыров, и нижайше просить нашу любезную хозяйку, чтобы рыба постоянно была вместе с брынзой, — сказал французский физиолог Пьер, изящным жестом подняв свой бокал.

— Камелия, дорогая, мне хотелось бы присоединиться к оптимизму джентльменов и намекнуть всем, что к рыбе очень неплохо подойдет немного зелени и овощей, которые, думаю, здесь доступнее, чем в моем туманном Лондоне, — добавила английская писательница Лесли, веселая, симпатичная женщина. Она сидела рядом со мной и угощала нас шотландским виски, не упуская случая напомнить о стремительном росте цен на спиртное в Великобритании.

— Разумеется, — с улыбкой сказала Камелия, — все это здесь есть и будет на нашем «круглом столе». Нет ли других ценных пожеланий или конструктивных предложений во благо нашего интернационального сообщества?

Полушутливый этот разговор возобновлялся и в дальнейшем, возникали все новые мысли по поводу болгарской кухни. словно разрабатывалось меню на несколько месяцев. Не скрою, мне тоже хотелось привнести нечто в это обсуждение, но я сдержался. Вспомнился багряный сок розы, уникальный ликер, которым угощал меня болгарский коллега в дни нашей службы в мировой организации. Я знал, где и как добывается этот удивительный эликсир...

Мне посчастливилось как-то летом, в июне, побывать в старинном городе Карлово, где болгарские друзья предложили сделать остановку. Случайно, конечно, но мы попали на открытие «розовой жатвы».

И вот перед нами «королева роз»... Ее окружают «феи» — прелестнейшие черноокие болгарки, которые обращаются ко всем участникам торжества, преподнося им букеты роз под звуки национальных мелодий. И невольно спрашиваешь себя: где ты, что происходит с тобой? Не волшебство ли все это?

Лишь потом начинаешь ощущать, что это реальность и ты не во сне, а наяву — в долине роз... Это волшебство создается людьми. В этом краю каждый с юных лет приобщается к культу роз — сажает, холит или собирает их нежные лепестки. Особенно собирает, что происходит в июне месяце, когда на плантации по утрам выходят все — и стар, и млад. Нет, не прост этот труд. Нужно дорожить каждым часом. Вставать приходится затемно, пока роса еще не сошла с лепестков. Пропустишь урочный час — снимать распустившиеся бутоны роз напрасно. Слишком мало остается в них бесценных эфирных масел.

Болгарские друзья рассказали, что в мире известно несколько тысяч разных сортов роз, хотя местная, казанлыкская, обладает наиболее устойчивым ароматом. Но, добавили они, цветок этот самый прихотливый — не переносит холода, не любит жары... Из этих нежнейших лепестков казанлыкской розы производят многочисленные продукты, обладающие целебными свойствами. В том числе и розовый ликер...

Однако вернемся в Созопол. Застолье наше было оживленным и веселым.

Лишь итальянский журналист Джакомо никак не участвовал в кулинарной дискуссии, хотя не упускал ни малейшей возможности, чтобы поухаживать за Камелией. Он все время ее развлекал, что-то шептал на ухо, изредка поглаживая свою округлую бороду. Похоже было, однако, что он перешел границы приличия и вызвал раздражение у Камелии, которая тактично, но очень недвусмысленно попросила:

— Пожалуйста, без пошлостей, синьор Джакомо.

— Помилуйте, ведь это же анекдот,— воскликнул итальянец в свое оправдание.

Шел второй день нашего пребывания в Созополе, но Камелия не проявляла ко мне внимания. Настроение мое с каждым часом портилось, хотя я старался этого не показывать. Я ломал себе голову, ради чего Камелия пригласила меня вместе с этими людьми. Часто вглядывался в ее лицо, стремясь найти ответ, но ничего утешительного для себя не находил. Она улыбалась, вежливо со всеми беседовала, и только грустные ее глаза выдавали, что на душе у нее не так уж весело.

Я замечал, что навязчивое поведение итальянца ей было неприятно, и мне показалось подходящим случаем напомнить о том, что у нее здесь есть друг.

— Когда же ваш муж, Камелия, присоединится к нашей компании? — спросил я достаточно громко, чтобы все услышали.

— У вас есть муж, синьора Камелия? — удивленно воскликнул Джакомо.

Камелия посмотрела на меня, и наши взгляды встретились. Она наградила меня признательной улыбкой...

— Кто же он, Камелия, где вы его скрываете? — полюбопытствовала англичанка.

— Поскольку профессор Константинов выдал мои семейные секреты, он должен быть последовательным и теперь рассказать о своем друге,— парировала Камелия.

Я тут же начал расписывать достоинства Милана.

После моего короткого, но вроде бы впечатляющего рассказа Джакомо сказал мне:

— До сих пор я просто не понимал вашей миссии здесь, синьор профессор. Теперь я, кажется, знаю, что вы выступаете в роли верного телохранителя прелестной Камелии.

— Еще нет, неотразимый Джакомо, но если потребуется...— ответил я итальянцу.

— Не могу ли и я рассчитывать на вашу рыцарскую защиту, профессор Константинов? — осведомилась англичанка.

— А кто, собственно, вам угрожает, любовь моя? От вас надо скорее защищаться,— вмешался американский ученый Норман, вызвав общее оживление и смех.

— Уж к американцам за защитой я, пожалуй, никогда бы не обратилась. Вы слишком невоздержанны и агрессивны,— бросила Лесли.

— Как только,— включилась в разговор Лида, негритянская активистка женского движения,— американцев попросят о помощи, они тотчас начинают вас рассматривать как сферу своих жизненных интересов...

— Ну как же нам не защищаться, когда на нас набрасываются буквально все, даже в этом узком кругу друзей, занятых всего-навсего истреблением щедрых даров моря?! — взмолился американец.

— Набрасываются? — спохватился Сакамото.— В вас бросают слова, а вы на нас бросили атомные бомбы!

Разговор все более накалялся. И мне казалось, что мы, в сущности, продолжили дискуссию, начатую на «Парламенте народов за мир»,— об ответственности каждого человека и народа в деле защиты мира и жизни на земле.

На следующий день Камелия пригласила нас на морскую прогулку — от Созопола к устью реки Ропотамо. Впервые за несколько дней она подошла ко мне, когда я стоял на корме нашего катера. День был на редкость ясным, море отливало бирюзой.

— Позвольте нарушить ваше гордое одиночество... Мне хотелось бы с вами посоветоваться, но прежде всего поблагодарить вас за находчивость и дружескую выручку во время вчерашнего застолья,— сказала Камелия, пристально посмотрев мне в глаза.

— Вмешательство это показалось мне уместным, хотя, должен признаться, Джакомо не без резона заметил о неясности моей здесь миссии. Да и сам я этого пока не понимаю...

— Вы, кажется, несколько торопитесь... Сейчас, думаю, поймете, насколько существенна ваша роль. Дело в том, что в нашем институте изучается идея проведения в Софии международного симпозиума на тему «Роль культуры в сохранении мира». Предполагается участие деятелей науки и культуры из социалистических и капиталистических стран. Мне очень важно знать ваше мнение по этому поводу,— сказала Камелия.

Я изложил свои мысли, и мы еще долго обсуждали с Камелией различные аспекты проведения симпозиума. Увлеченные разговором, мы не заметили, как катер вошел в реку Ропотамо и бесшумно заскользил по ее глади. Капитан катера рассказывал удивительную легенду о происхождении местных гор и реки Ропотамо, но я ничего не слышал: был погружен в разговор с Камелией. Мне, наконец, становилась понятна причина моего участия в созопольском путешествии. Оказывается, Камелией задумана не просто увеселительная прогулка. Все намного интереснее. И цель оправдывает средства.

На берегу Ропотамо мы посетили редкостный заповедник водяных лилий и насладились благоухающей свежестью нежных цветов, вдоволь нагляделись на эти удивительные растения.

При входе мы прочли предупреждение: «Здесь заповедник красивых и нежных лилий, просьба руками к ним не прикасаться!»

Не прикасаться.

У Ван Вэя, великого китайского поэта и художника, жившего в VIII веке, в стихотворении «Заводь, где цветут лотосы» находим такие строки:

Плыву что ни день
По лотосы в утлом челне.
Остров велик.
Допоздна замедляю возврат.
Толкаюсь шестом.
Не плещу, скользя по волне:
Боюсь увлажнить
Цветов черепеный наряд.

Не поразительно ли, что в отношении к лотосу и лилии, имеющим общие корни в своей родословной, люди извечно упреждали: не трогать эти прекрасные создания природы руками В старом, древнем Китае и в наши дни, в Болгарии. Какое в этом удивительное совпадение, откровение земли, природы, человека.

— Нет, это немыслимо, просто неправдоподобно! — восклицал Сакамото.— Заросли лилии и лотосов в Болгарии?! Разве это возможно? Ведь эти цветы — дар природы в странах Дальнего Востока... Только наша земля, казалось мне, способна породить такое чудо. Лилия и лотос — предмет любования у японцев... У нас это — древнейший культ не просто растения, но олицетворение чистоты и совершенства. Это — истинная шедрость небес. Чистота в них никогда не погибает. Она наделена магической силой: прорастать сквозь топкий ил и грязь, куда уходят их корни, и гордо возвышаться над ними. Редкостной красотой отличается черная лилия, которая, сколько мне известно, растет лишь на японских островах... О ней сложено немало поэтических строк. Описана она знаменитым японским художником слова Кавабата Ясунари в его романе «Стон горы».

По возвращении в Созопол с морской прогулки, за ужином. Камелия не сразу начала разговор о симпозиуме. Случилось так, что Сакамото произнес целую речь, в которой вновь выразил восхищение природой Болгарии, легендами о ее земле и людях, заповедником водяных лилий...

— Скажите, Сакамото-сан, удалось ли нежным лилиям выжить после ядерного взрыва в Хиросиме? — мрачно произнес западногерманский ученый, физик Зигмунд, который до этого молчал.

— Поразительно, Зигмунд... Так вы, оказывается, не только исправно поглощаете еду и вино, но еще изредка проявляете способность высказываться,— язвительно заметил американец.— Мне ли вам рассказывать, что, по данным наших ученых, на хиросимской земле впоследствии стали бурно произрастать овощи и очень щедро плодоносить деревья...

— А вы, сэр, не хотели бы испытать на себе благотворное воздействие ядерных бомб и таким образом превратить всю Америку в цветущий сад? — выпалил Сакамото.

— Не лучше ли, друзья мои, сохранить нашу землю такой, какая она есть, и покончить с ядерными экспериментами, которые могут привести человечество к самым трагическим последствиям,— спокойно сказала Камелия, желая разрядить атмосферу.

— Давно уже следовало бы очнуться и прекратить ядерное безумие. Иначе все людские ценности, сам род человеческий могут сгореть в термоядерном огне...— взволнованно сказал Зигмунд.

— У меня семеро детей. И я хочу вам сказать, что не знаю ни одной женщины на свете, которая спокойно взирала бы на смерть своих детей,— добавила Аида.

— Верю в человеческий разум,— снова заговорила Камелия.— Неужели мы допустим, чтобы веками создававшиеся цивилизации так бессмысленно погибли навсегда? Кто же, если не мы, несет ответственность за собственную нашу жизнь и за судьбы будущих поколений? Я спрашиваю: кто, если не мы?

— Что же мы можем сделать? Ведь не мы решаем судьбы,— словно оправдываясь, сказал француз.

— Мы не должны недооценивать роль деятелей науки и культуры в борьбе за сохранение международной безопасности и жизни на земле. Вспомните, первая строка Устава ЮНЕСКО гласит: «Мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей следует укреплять идею защиты мира». Культура и искусство — прямой путь к сердцам людей, пролагаемый сквозь мрак фатализма, невежества и амбициозности сильных мира сего. Именно художественная и творческая интеллигенция призвана быть совестью человечества,— заметил я в свою очередь.

— Нельзя не согласиться, что это касается нас всех. Творения человеческого гения, достижения науки, шедевры искусства, которые тысячелетиями создавали народы земли, должны быть спасены. И в одиночку нам тут не справиться. На всех нас возложена особая ответственность. Необходимы усилия всех верующих в торжество разума, чтобы сознание этого довести до самых отдаленных земель,— эмоционально подчеркнул Джакомо.

— А не собраться ли нам, дорогие коллеги,— сказала Камелия,— в более широком кругу для продолжения начатого сегодня столь активного диалога? Мы могли бы на международном симпозиуме, например в Софии, в ближайшие год-два обсудить проблему «Роль культуры в сохранении мира», а затем издать на разных языках сборник выступлений его участников, сделав работу этого форума достоянием широкого круга людей.

— Еще один симпозиум... Мало нам всяких конференций, конгрессов и «круглых столов», где принимаются блистательные и самые гуманные решения и резолюции, которые тут же всеми забываются. Не знаю, насколько все это продуктивно, но точно знаю, что чрезвычайно хлопотно,— отреагировал наш американский коллега.

— Признаться, я несколько устала от бесконечных симпозиумов, коллоквиумов... Войну нельзя отменить резолюциями и воззваниями. Это лишь трата времени и валюты,— меланхолично высказалась Лесли.

— Творческой интеллигенции, ученым лучше бы заниматься своим делом, сидеть в своих студиях, лабораториях и...— вновь заговорил Норман.

— И что? — оборвал Зигмунд.— Создавать новые виды оружия массового уничтожения, нейтронные бомбы, крылатые ракеты, биологическое оружие... или разрабатывать стратегию и тактику психологической войны. А разве уже созданных нами ракетно-ядерных средств недостаточно, чтобы не однажды, а сотню раз уничтожить все живое на планете, навсегда покрыв ее пеплом смерти? Нет, ученые никогда не должны забывать о своей причастности к созданию самого чудовищного оружия уничтожения, обязаны возвысить свой голос перед всем миром и безоговорочно потребовать прекращения создания и производства новых ядерных средств, уничтожения уже существующего смертоносного арсенала,— гневно закончил ученый-физик.

— В Японии, конечно, есть немало сторонников милитаризации страны, форсированного развития военной промышленности... Как будто люди эти не насытились кровью, пролитой во второй мировой войне. Но в Японии неостановимо растут ряды трезвомыслящих, те силы, которые не позволят, поверьте мне, никому не позволят забыть постигшую нас атомную трагедию и готовы сражаться вместе со всеми людьми на Западе и Востоке против ядерной катастрофы, нависшей ныне над человечеством. И для этих целей всегда можно изыскать средства,— заявил Сакамото.

— Это немалые деньги, да и трата времени. А время для нас, американцев, прежде всего деньги, друзья,— подчеркнул Норман.

— Верно,— заговорил француз,— все это требует и времени, и денег, но лучше тратить их не на создание самого изощренного оружия уничтожения человечества, а на спасение и совершенствование материального и духовного бытия людей.

— Я далек от какого-либо преувеличения роли научной, технической и художественной интеллигенции в решении таких глобальных проблем, как война и мир на земле,— заявил Джакомо,— но все же не могу не признать аргументов моих коллег. Все мы охвачены озабоченностью тем неостановимым процессом, что может привести к термоядерному самоуничтожению рода человеческого, всего прекрасного, что им сотворено на земле.

— Что я слышу, Джакомо?.. Просто диву

даешься! Или здесь собрались одни коммунисты? — воскликнул Норман.

Начавшаяся полемика, то затихая, то вновь вспыхивая с новой силой, продолжалась до конца нашего пребывания в Созополе. И мы все ближе подходили к сознанию необходимости проведения симпозиума, предложенного Камелией. Идея издания книги с выступлениями деятелей науки и культуры по вопросам самой жгучей актуальности явно приобретала популярность и поддержку.

Все мы были захвачены дискуссией и обсуждением практических сторон организации симпозиума. Особенно энергично и целенаправленно действовала наша хозяйка. Ее деловитость и находчивость не могли нас не восхищать.

Перед самым отъездом из Созополa я решил пойти на пристань попрощаться с городом, ставшим столь близким моему сердцу. Стоял тихий, безветренный вечер. Слышалось лишь легкое шипенье изредка набегавших волн, плещущих о серые глыбы скал, да отрывистые крики паривших у берега чаек...

Рядом со мной проходила небольшая группа людей. Вскоре я заметил среди них Камелию, которая также увидела меня. В последние дни мы совсем не могли поговорить наедине. И вот она опять в окружении людей, подумалось мне. Но когда я подошел к ней и мы заговорили о наших делах, ее болгарские друзья незаметно отделились и оставили нас вдвоем.

Мы шли вдоль берега, у самой кромки моря, по дороге от центра города к школе на улице Кирилла и Мефодия. Камелия выглядела усталой, но, как мне казалось, счастливой, хотя сама она не стремилась этого показывать. Скорее сдерживалась.

Теперь мне удалось, наконец, поздравить ее с большой удачей, личным ее успехом. Сказать, что все мы испытываем глубокое удовлетворение от пребывания в Созополе, весьма полезного диалога, от того, что одобрена ее идея проведения в Софии симпозиума...

— Благодарю вас за добрые слова и лестный отзыв, но все, что удалось в Созополе, есть наше общее дело, это общий успех. И потому хочу поздравить вас, профессор Константинов, с хорошим началом. Думаю, что многое еще впереди...

Она сияла счастьем в то мгновение, и на ее лице выражалась вся ясность и обаяние женщины классической Греции. Черные как воронье крыло волосы, свободно падающие на плечи, строгая чернота бровей, большие темные глаза, светлый лик, изящно очерченный рот с чуть припухшей нижней губой, подбородок, словно сотворенный ваятелем. Ее глаза, пожалуй, могут сказать за мгновенье больше, чем другие за всю жизнь.

Мы шли, словно боясь продолжения разговора.

— Мне хотелось так много сказать вам, Камелия... Все эти дни я стремился к тому, чтобы остаться с вами наедине. А теперь, когда мы оказались одни, вдруг молчу.

— Бывает, что молчание оказывается куда красноречивее слов. Впрочем, в многословии вас не обвинишь. Лишь однажды я заметила не очень экономное обращение со словами, когда вы живописали портрет Милана, моего «мужа».

— Мне, кажется, выпала роль Кассандры...

— Но, профессор, вы ведь рисковали впасть в немилость у самого Аполлона. Понимали ли вы это?

— Могу ли я быть с вами откровенен, Камелия? Я, видимо, та самая вещунья, которая меньше всего хотела, чтобы предсказание ее сбылось. Когда я говорил о Милане, в ваших глазах была какая-то печаль. Или я ошибся?

— Продолжайте...

— Почему, Камелия, в вашем взгляде затаилась такая печаль, ведь вы же были счастливы с ним?

— Счастлива? — удивленно спросила она.

— Он сам мне сказал, что давно вами увлечен и любит вас...

— Но для настоящего счастья нужны взаимные чувства...

— Разве их не было?

— Поймите меня верно... Милан — очень достойный человек, добрый, умный, способный. Он хороший мой друг. Но, как вам сказать, как бы лучше выразить?..

— Я, кажется, понимаю вас...

— Опасный вы человек...

— Опасный для кого?

— Противники ваши меня не волнуют, вы с ними сами справляетесь. А вот над своей участью мне надо призадуматься...— И после короткой паузы продолжала: — Завтра вы возвращаетесь домой, на родину, кончится ваше одиночество...

— Кончится? А не начнется ли?

— Мне на самом деле угрожает опасность. Придется искать спасения...

— С Миланом?

— Забудьте о нем, прошу вас...

— Значит, Камелия, нам вместе предстоит спасаться?

— А вам разве угрожает кто-нибудь, профессор?

— Да, и очень серьезно.

— В Болгарии?

— Именно, Камелия. А не пора ли вам называть меня по имени?

— Значит, Александр Николаевич или Александр? Нет, лучше Алекс, так, надеюсь, вас никто не называл?!

Мы шли рядом. Я едва сдерживал волнение, словно предчувствуя приближение чего-то большого, захватывающего, прекрасного. Мне хотелось прикоснуться к ней, ощутить ее дыхание, передать ей то, что я испытывал. И сама мысль, что через несколько часов мы должны расстаться с Камелией, ввергала меня в отчаяние.

Заметив, что Камелии холодно и она торопится вернуться, я снял шерстяную кофту и накинул ей на плечи. Она поблагодарила.

— Мне надо с вами поговорить, Камелия. Недавно Софийский университет пригласил меня прочесть трехмесячный курс лекций по зарубежной литературе. Я был готов отказаться, но теперь, кажется, воспользуюсь. Не знаю лишь, какое время было бы наиболее подходящим...

— Не надо слишком затягивать... Чем раньше, тем лучше.

Но этому не суждено было сбыться. В моем институте ставились все новые зада-

чи, решение которых требовало много времени и научных командировок. Я писал ей письма, посылал телеграммы, звонил по телефону. И вдруг несколько месяцев назад наша связь оборвалась. Камелия будто исчезла. Что с ней могло случиться? Я терялся в мучительных догадках.

...Мои воспоминания и раздумья были прерваны шкипером, пригласившим меня зайти к капитану. Входя в капитанскую каюту, я был приятно поражен голосом Хулио Иглесиаса, воспроизводимым стереоскопическим касетофоном.

— Мы приближаемся к родным берегам. В Ленинграде нам предстоит расстаться, но мне верится, что мы с вами сохраним добрые отношения и еще не однажды встретимся на широких морских путях. Между нами говоря, у меня сегодня день рождения, и я хотел бы разделить с вами дружескую трапезу...

Мне доставило искреннее удовольствие принести капитану сердечные поздравления, пожелать многих лет, новых удач в жизни. Мы выпили по бокалу шампанского.

— Случайно ли только что прозвучала испанская мелодия? — спросил я капитана.

— С испанской музыкой, признаюсь, никогда не расстаюсь. Она постоянно звучит здесь и в моем сердце. Она меня вдохновила на изучение испанского языка.

Передо мной раскрылась еще одна грань в личности капитана и одаренного человека. Импонировали мне его непосредственность, простота обращения, доступность. Во время нашей встречи в каюту постоянно заходили офицеры и помощники для доклада и получения распоряжений. Он неизменно был деловит и доброжелателен.

— Остается ли у вас, Леонид Николаевич, время для чтения? — поинтересовался я.

— На грузовом судне читать удавалось намного больше, чем теперь. Чтением увлекаюсь. Собираю книги любимых авторов...

— А кто ваши любимые герои?

— Это, вероятно, прозвучит странно, но более всего мне по душе Григорий Мелехов. Для меня он — не книжный, а живой человек, сложный, противоречивый, мятущийся, но очень реальный и убедительный. Шолохову веришь и восхищаешься его знанием жизни, умением воплотить ее в художественных образах.

Вскоре я покинул каюту капитана и прошел на ходовой мост. Отсюда можно было различить очертания родной земли.

Видится вновь, милая, светлая родина, которой — вся безграничная сыновняя наша любовь, с которой все наши устремления

И вспоминаются неожиданные и живописные сочетания, будто на полотне: неспокойное море, чайки над волнами, две гнущиеся под ветром березки, крутой обрыв, подсвечиваемый солнцем. С моря доносится студеное дыхание, слышится крик чаек, и березки вот-вот умчатся за обрушившимся на них вихрем.

В Ленинградском порту мы вновь встретились с капитаном Арнольдом Русевым, о котором я слышал много доброго на борту «Михаила Калинина». Он снискал себе большое уважение как капитан теплохода «Александр Пушкин» и человек огромного обаяния.

Дома меня ожидал целый ворох писем и телеграмм. И среди них долгожданная весть: «Возвращаюсь из Японии. Хочу видеть в Москве первого июля. Камелия».

Первого июля... судьбе было угодно забросить меня в Бискайский залив. А когда вернулся домой, все мои попытки разузнать что-либо о ее пребывании в Москве остались безрезультатными.

Разошлись? Ненадолго. Знаю, она — в Болгарии. Теперь найду. В ближайшее время — опять в Созопол...

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Говорят, что у мореходов и дипломатов дом везде, но только не у себя дома... Но умудренная птица, давно заметил человек, не на всякое дерево садится.

Дальние путешествия — это всегда разлука. Разлука с близкими, с родной землей. Но вдали от родины еще острее и глубже ощущение приязни к отчему дому. Как остро наслаждение миром подмосковных белоствольных берез, каждодневным трудом над рукописями под сенью бревенчатого сруба, неподалеку от которого взметнулся в небесную голубизну увенчанный маковкой шатер колокольни.

Перед глазами — любимая грустная сосна. Опускаются на землю желтые, уставшие жить листья клена. Чаща стоит легкая, прозрачная. Алой змейкой обвивают деревья лозы. Рдеет рябина у восточной ограды, а внизу — тяжелые шапки хризантем.

Радостное чувство — свободно мыслить, из памяти своей пробуждая к жизни и перенося на бумагу картины, которые доводилось наблюдать и которые сохранились во мне без намерения, неосознанно...

В моих зарубежных путешествиях калейдоскоп Организации Объединенных Наций, к примеру сказать, нередко сменялся галереей персонажей вне стен дворца из стекла и стали на Ист-Ривер, когда мелькали перед глазами проповедники антикоммунизма, хулители марксизма, голые короли антисоветизма. Среди них такие столпы, как Уинстон Черчилль, Гарри Трумэн, Барри Голдуотер, Эдгар Гувер, Джордж Уоллес и прочие бесноватые сенаторы и конгрессмены — всех не перечесть, — совершавшие идеологический стриптиз перед объективами американских телекамер. Особенно в разгар избирательной истерии, а то и из недр своих скотоводческих и плантаторских бунгало в Алабаме, Техасе, Аризоне, Милуоки...

Конечно, кто бывает на чужих берегах, тот невольно приходит к сопоставлениям, задумывается над большим и малым в жизни родного края. Всякий раз меня обновляла необыкновенная радость при возвращении в родные палестины. Разве счастье людей не в том, что они, не теряя очага отцов, отеческой земли, всегда стремятся досвивать родное гнездо былинками с других берегов, которые им суждено познать, или, часом, странниками оказаться на них? Не только у окна своего посадить

ели и серебристые березки, чтобы добавить красоты родной земле. Патриотизм, веками закрепленная любовь человека к родному краю, означает — смотреть на все глазами своего народа, действовать вместе с ним. Любить свою родину, писал наш великий соотечественник Белинский,— значит пламенно желать видеть в ней осуществление идеала человечества и по мере сил своих споспешествовать этому. В противном случае это будет называться уже не патриотизмом, а как-нибудь иначе — любить свое только за то, что оно свое, и ненавидеть все чужое лишь за то, что оно чужое, и не нарадоваться собственным безобразием и уродством...

И, быть может, оттого все нарастает эскалация мысли, будто неуемный прибой в бесконечном человеческом сознании подступает и бередит память, вдохновляет и освежает, словно пыль вздыбленных волн.

Никогда, кажется, не поздно выразить свою дружбу и любовь. Ведь любовь действительная рождает и действительную ненависть, даже если это относится уже к минувшему, которое, по старинному речению, служит «зерцалом для настоящего».

Когда мы любуемся морским побережьем и океанским простором, нас пленяет чувство возникающей перед нами иной красоты, преисполняют мечты, раздумья, поэтическое настроение. И мы не можем не ощутить, что, к слову сказать, поэзия полуостровного Несебра — древнего городка на болгарском Черноморье — разнится от варненских берегов, а поэтичная красота болгарского предгорного селения Банско, раскинувшегося у подножия величавых Пирин, совершенно иная, чем поэзия горного аула Абхазии или на родном моем Кавказе. Хотя зодческий замысел всюду — сама природа, вечно новая природа.

Море и берега... Я видел здесь рассвет и наступление ночи. Видел, как над засыпающим морем догорает теплая вечерняя заря, каким острым огнем горят осенние созвездия над безбрежной гладью океана. В раскрытый иллюминатор моей каюты врывался норд-ост и вольно листал рукописи на столе, вызывая желание запечатлеть забавы бога морей Посейдона, владыки морской стихии. Видел бушующий океан, гневно бросавший гигантские волны на скалистые утесы и звучавший стихийной музыкой. Видел, как на остроносых гемиях уходят рыбаки и возвращаются с уловом к родному берегу. Слышал, как стучит дождь по листьям разлапистой смоковницы, любовался, как падают крупные капли благостной влаги, как дымится после дождя красная черепица на крышах бесподобной Флоренции. И я знаю: каждому даны свои печали и радости...

Дороги ведут нас через перевалы жизни. Дарят нам встречи и впечатления, познание неизвестного, подтверждение и отрицание ранее познанного, эмоционального, взволновавшего. И приводят нас в отчий дом. Тут для нас солнце встает...

...Осень в моем Подмосковье. Сугробы пожелтевших листьев. Скоро отлетят последние, подобно хлопьям снега, подобно осенним звездам в пору звездопада Будто светлее становится вокруг. Воцаряются лишь свет и тень. Весь мир — их сочетание, в котором все — таинство, все — очарованье...

Над крышами домов — несказанное сияние с его изменчивыми цветовыми оттенками. Мерцают переливы красок — багряный, огненно-желтый, лазоревый... В них — извечная игра, перед которой человек останавливается в восхищении, с замиранием сердца...

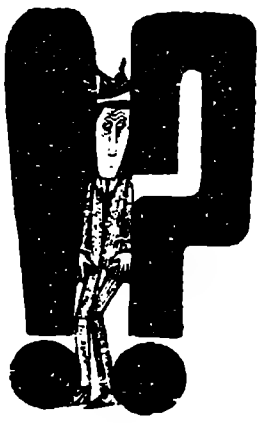
Золотые ветви берез, лучащихся белизной на темном фоне голубых елей и синеватых сосен с их бронзовыми стволами, устремляющимися в поднебесье. Простые березы, сосны и ели милой русской природы...

А за окном моего внуковского сруба все время раздается шум взмывающих реактивных лайнеров, уходящих в просторы вселенной или возвращающихся на землю. Для одних здесь начало пути, для других — окончание. И мне чудится, что в одном из них непременно находится родная душа, устремленная в мыслях к бревенчатому моему очагу...

София — Москва

◆

Антирубрика



СТЭН ДРАЙЕР (США)

ПОКОРЕНИЕ МОНУМЕНТА ВАШИНГТОНУ

Перевод с английского МИХАИЛА ЗАГОТА

Совершить восхождение по идеально гладкой поверхности монумента Вашингтону — об этом мечтает каждый монументолаз. Это восхождение 7-й степени сложности[1] на высоту 170 м по твердому мрамору, на всем пути приходится пользоваться искусственными креплениями. Этот объект не покорялся никому, и я долго вынашивал мысль о его штурме. Я тщательно изучил документы об экспедиции Харкинса, которую постигла неудача (см. журнал регистрации приводов по г. Вашингтону от 7 мая 1971 года),— ей пришлось повернуть назад уже на 13-метровой отметке по северной стороне монумента. Насколько я понимаю, они пали жертвой собственной небрежности: не вывели из строя прожектора у основания мраморного колосса, и полиция вскоре их заметила. Этой ошибки мы не повторим, но обязательно возникнут другие препятствия — всего не предусмотришь.

Я знал, что готов к этому восхождению. Я был в составе экспедиции, штурмовавшей в июне 1969 года монумент памяти героев Банкер-Хилла в Чарльстауне, штат Массачусетс[2], кроме того, у меня большой опыт лазания по столичным монументам, в частности на моем счету ночное восхождение на Мемориал Линкольна. Таким образом, я был хорошо знаком с принципами лазания по твердому мрамору, а также с деятельностью полиции в этом районе.

В партнеры себе я выбрал Уоррингтона Халла из нью-йоркского клуба небоскребов. Ранее совместных восхождений у нас не было, но его послужной список стенолаза выглядел впечатляюще, а недавно ему удался штурм дотоле непокоренной западной стены здания ООН. За эту дерзновенную вылазку он лишился свободы, но его обещали выпустить под залог. Он писал мне оттуда, что «вот уже три месяца лезет на стенки своей камеры», и значит, решил я, он должен быть в хорошей форме.

Я не собираюсь снисходить до ответа на абсурдные обвинения в вандализме, с которыми напустился на меня Халл в недавней статье, опубликованной в «Журнале американских стенолазов», в то же время, как это ни грустно, следует признаться: технические возможности Халла я переоценил. Покорение «Эмпайр стейт билдинга», безусловно, говорит о решимости и силе духа, но оно не дает практически никакого опыта для работы с мраморным монолитом. Точно так же и методы лазания по стеклу (здание ООН) абсолютно неприменимы при восхождении на монументы. У меня нет намерения обливать Халла грязью, но я обязан сказать, что его трусливое предательство, когда три четверти пути были уже позади, поставило меня в крайне опасные условия, и я остался цел и невредим лишь благодаря сноровке и мастерству.

При выборе маршрута были сделаны следующие выводы: южная сторона хороша для подъема в зимнее время, северная и восточная — для восхождения летом. Обледенения практически не бывает, разве что в лютые морозы. Стояла весна, и по соображениям освещенности мы выбрали для восхождения южную сторону монумента.

Мы не взяли в путь никакого специального снаряжения за исключением комплекта новых разрывных ударных болтов. Когда их применяешь, мраморная поверхность

---

[1] Здесь и далее используется пересмотренная шкала Общества североамериканских монументолазов (ОСМ). Ее не следует путать с непересмотренной шкалой ОСМ, с Национальной классификационной таблицей коэффициентов лазания, с десятичными системами Иосемита и Дьюи.

[2] Это восхождение подробно (хотя и тенденциозно) описано в статье «Монументолазы — вандалы или сумасшедшие», опубликованной в бюллетене службы безопасности Национального парка номер 69—22

© 1977, by William Kittredse and Steven M. Krawzer.

покрывается значительными трещинами, но держатся эти болты хорошо и довольно надежны при подъеме по гладкой поверхности. На ноги мы надели горные ботинки с шипами. Такие подошвы цепляются за мрамор лучше резиновых, а видимые рубцы на монументах появляются лишь после третьего-четвертого восхождения.

Чтобы дать вам наиболее полное представление о том, как проходил подъем, я приведу здесь свои путевые заметки, снабдив их незначительными пояснениями.

14 апреля 1973 года, 2 часа 30 минут. Старт. Прожекторы мы накрыли одеялами и на первых 30 метрах работаем быстро. На этом этапе подъема ни о каких изящных выкрутасах не может быть и речи, просто врубаешь болты и движешься наверх, фонарь включаешь только при крайней необходимости. Мы работаем слаженно и дружно. В этой механической и спокойной работе есть что-то прекрасное, тишина прерывается лишь щелчками при всаживании болтов [1].

5 часов 30 минут. Рассвет над Потомаком. Мы намного выше 30-метровой отметки. Подъехали две полицейские машины, сильный луч света выхватывает нас из темноты, и нам что-то кричат в рупор. Мы не обращаем внимания и продолжаем восхождение. Появляется пожарная машина. После небольшой задержки выдвигают лестницу на максимальную высоту. Пожарник взбирается на самый верх, но все равно не достает до нас метра три. Он кричит, угрожает нам тюрьмой. Халл смеется. «Это еще вежливо,— говорит он мне.— Ты бы слышал, как ругались ньюйоркцы».

7 часов. Совсем рассвело, и можно серьезно планировать дальнейший маршрут. При изучении монумента в бинокль мы обнаружили неравномерную трещину, которая начинается где-то у отметки 45 метров и уходит за 55 метров. Халл идет впереди, он и находит трещину. По его предложению начинаем работать с крюками. Он вбивает их скальным молотком, куски хрупкого мрамора откалываются и летят вниз. У подножия монумента собралась толпа, в основном это рабочие, идущие на работу. Некоторые трясут кулаками и что-то выкрикивают.

7 часов 30 минут. Расшатывается крюк, и Халл срывается, но пролетает не больше трех метров — точно маневрируя телом, я успеваю подстраховать его. Он висит и клянет последними словами «проклятый скользкий мрамор». Я подтягиваю его и становлюсь первым в связке. Снова перехожу на разрывные болты. При дневном свете хорошо видно, что откалываемые куски мрамора относительно невелики — от 15 до 25 сантиметров.

10 часов. После трещины поднимаемся только по болтам. Полагаем, что пройдено не менее 60 метров. Одного из полицейских Национального парка спускают к нам на веревке, он затевает разговор. Спрашивает, какова цель нашего подъема, предлагает нам амнистию, говорит, что нам предоставят возможность совершить восхождение по наиболее удаленным и фантастически опасным маршрутам в национальных парках Запада, покроют все расходы. Мы не отвечаем, хотя мне очень хочется объяснить ему: делать такие предложения монументолазам бессмысленно. Монументолаза привлекает именно чистота восхождения, а какая может быть чистота при подъеме на неровный кусок скалы, исковерканный по прихоти природы? Вся прелесть именно в том, что поверхность мраморного монумента гладкая и чистая.

10 часов 45 минут. Первый полицейский исчез, появился другой, он зачитывает нам решение суда с требованием прекратить осквернение национальной святыни. Я подобную белиберду слышал не раз и продолжаю спокойно работать, но Халл как будто прислушивается. Неужели он дал слабинку?

Неожиданности мне не нужны. Впервые за все годы восхождений на монументы я отвечаю полицейскому, но отвечаю так, чтобы уничтожить все сомнения, зашевелившиеся в мозгу Халла: «Мы не оскверняем святыню, а припадаем к ней».

11 утра. Полицейского утащили наверх, и мы привязываемся к поверхности монумента, чтобы немного передохнуть. Высота около 90 метров. Вид потрясающий. К западу от нас виднеется Мемориал Линкольна, довольно интересный объект для восхождения, особую трудность представляет нависающая глыба со степенью сложности 7,1. Прямо на юг — Мемориал Джефферсона, степень сложности восхождения 6,3, впервые покорен автором и Нугат-Смитом в 1968 году. Наконец, к востоку, за длинным рядом правительственных учреждений (многие из них до сих пор не покорены), простирается главная, самая трудная и почетная вершина, купол Капитолия. Подняться на него пытались многие, но всегда безуспешно, это восхождение позволяет применить разнообразнейший арсенал средств, к тому же ты бросаешь вызов самым бдительным полицейским в США.

11 часов 40 минут. Продолжаем подъем. Что-то мне не нравится Халл. Забив болт, он каждый раз ощупывает поверхность камня, разглядывает, какой нанесен ущерб. Он также не хочет, чтобы его ботинки впивались в мрамор, ставит ногу осторожно. Это очень опасно, два или три раза он уже поскользнулся.

12 часов 15 минут. Они затащили на вершину монумента шланг и начали поливать нас водой. Счастье, что сейчас не зима. В морозную погоду мы обледенели бы за считанные минуты. Но сейчас под жарким апрельским солнцем струи воды даже освежают. Халла же словно парализовало. Я понимаю, в чем дело. Видимо, он вспомнил, как карабкался на здание ООН, каким непослушным и опасным стало влажное стекло. «Это же мрамор,— кричу я ему,— твердая глыба». В подтверждение своих слов стучу по поверхности горным молотком, и Халл, кажется, меня понимает. По стеклу никто так стучать не будет.

12 часов 20 минут. Халл возобновляет движение прямо навстречу падающей воде. Но работает очень медленно. «Шевелись,

[1] Установка разрывных болтов сопровождается звуком, напоминающим выстрел из малокалиберного пистолета. Мы надеялись, что эти звуки полиция отнесет на счет преступлений, которые в этом районе не редкость.

Халл,— подстегиваю я его.— Не распускайся из-за какой-то капли воды».

12 часов 45 минут. Халл явно тянет резину. «В чем дело?» — спрашиваю я.

«Выдохся,— отвечает он.— Потерял форму Жизнь в тюрьме — не сахар».

«Ты же писал, что каждый день лез на стены».

«Это фигурально, в смысле был готов всех растерзать».

Я потрясен. Истинный монументолаз никогда не позволит себе такой двусмысленности. Но я стараюсь подавить отвращение и подгоняю Халла вперед.

13 часов 25 минут Почти 140 метров. За последние 15 минут Халл не продвинулся и на сантиметр. Нас прекратили поливать, спустился полицейский и предлагает помощь Халл разговаривает с ним. До моих ушей долетает просьба об амнистии Какая мерзость — слышать, как лебезит и унижается взрослый человек.

Небольшой спор из-за того, у кого останутся разрывные болты. Халл соглашается передать их полицейскому — в знак капитуляции Это вопиющее нарушение этики монументолазов, но я молчу, потому что в сумке у меня — резервный комплект. Полицейский спрашивает, не хочу ли и я прекратить восхождение. Я даже не поворачиваю головы. Халл и фараон исчезают вместе с веревкой.

13 часов 45 минут Поднимаюсь в одиночку, не могу сказать, что безмерно счастлив. Сверху спустили веревочную лестницу. Я оттолкнул ее и продолжаю вгрызаться в мрамор. Все удовольствие от восхождения пропало, теперь от болта к болту меня ведут отчаяние и решимость. Думаю только об одном: сколько еще осталось до вершины. С каждым новым болтом эта пытка близится к концу.

14 часов 45 минут Наверное, я близок к успеху, потому что отношение собравшейся внизу толпы изменилось Теперь меня подбадривают криками Такое поведение толпы при восхождениях на монументы не редкость. К концу восхождения зрители заражаются азартом борьбы с вершиной, они словно сами участвуют в штурме и искренне болеют за монументолаза.

15 часов 10 минут. Откуда-то сверху до меня доносится голос Халла: «Хватай лестницу Стэн Они все равно не пустят тебя наверх». Я понимаю парней из службы безопасности Парка — стоит одному добиться успеха, следом сразу же полезут другие Но полицейские ошибаются — чей-то успех здесь ни при чем Само существование монумента — уже достаточная причина для его покорения

Видимо, они попробуют схватить меня, когда я буду двигаться мимо маленького окошечка неподалеку от крыши Что ж, выбора у меня нет. Я меняю направление движения, ближе к краю поверхности. Чтобы выбраться наверх, придется преодолевать трудный участок — острый, как лезвие ножа, угол. Кроме всего прочего, у меня кончаются болты Я забиваю их как можно дальше друг от друга, это опасно даже при парном восхождении, при подъеме в одиночку это сродни самоубийству.

15 часов 35 минут. Я около угла монумента. Доверху добрых два метра, а у меня осталось всего два болта. Я тянусь как можно выше и начинаю забивать первый. Неожиданно он выскальзывает из моей уставшей руки и улетает вниз. Меня охватывает ужас — неужели это поражение? С одним болтом наверх не залезть. Что же остается? Вернуться назад, ухватиться за веревочную лестницу и с позором капитулировать? Нет, такая судьба не для меня! Достаю последний болт, как следует забиваю его и поднимаюсь на новый рубеж Теперь надо отдохнуть и подумать. За углом открывается ослепительная панорама, на северо-западе исчезает в горах Потомак, а внизу передо мной — Белый дом. Я уже обдумываю обратный путь, как вдруг в одном из окон Белого дома вижу какой-то отблеск. Солнце, отраженное от бинокля? Неужели за мной наблюдает Он? Все знают, что наш Президент не пасует перед трудностями. Я должен выбраться наверх!

Внимательно осматриваю мрамор: нет ли где трещинки? Есть одна, малюсенькая, я не заметил ее раньше. Достаю молоток, Отбиваю кусок мрамора — и вижу трещину, в которой должен удержаться крюк. Я вытягиваюсь и вколачиваю его в мрамор. Держится! Вошел прочно с первого же удара. Остальное — дело техники.

15 часов 55 минут. Я переваливаюсь через край — победа! Возле дверного проема в крыше меня ждут несколько мрачных полицейских. Я, пока вне зоны их досягаемости, достаю спрятанный на теле складной флагшток с маленьким американским флагом поверх цветов Общества североамериканских монументолазов. Я стою во весь рост и гордо держу в руке флагшток Возможно, власти считают нас изменниками, но я остаюсь патриотом своей страны.

16 часов. Ко мне медленно, но верно подбираются полицейские. Прямо надо мной зависает вертолет, похоже, это газетчики. Разумеется, меня ждут фотографы, небольшая реклама — и мы поднимемся еще на одну ступень в борьбе за легализацию нашего дела.

16 часов 03 минуты. Я уже почти в руках представителей закона Неожиданно вертолет опускается совсем низко, и из него вылетает канат. Я ловлю его, и вот я уже в воздухе, над перекошенными от злости лицами полицейских.

Я в свободном полете, весь Вашингтон внизу как на ладони. Меня подтягивают наверх, на борт вертолета, где три представителя прессы горячо поздравляют меня Они предлагают сделку. Я продаю им исключительное право на публикацию моего рассказа о восхождении, взамен они высаживают меня в Виргинии, где приготовлена машина. Мы жмем друг другу руки Они тараторят о правах на телепередачу, о том, что мой подвиг надо увековечить в кино. Я киваю головой и подписываю бумаги. Но я уже не думаю о только что совершенном восхождении, о столь долгожданном признании нас прессой. Вертолет круто поворачивает, и в дверной проем я вижу длинную центральную аллею, указывающую путь к объекту моего следующего восхождения — да, да, сердце мне подсказывает, что оно состоится именно здесь,— к величественному, непокоренному и потому еще более желанному куполу Капитолия.

1974 г.

ДЖОНАТАН СВИФТ

«...КОГО СВИРЕПЫЙ БОГ ОГНЕМ ПОЭЗИИ ОБЖЕГ»

Перевод с английского АЛЬФРЕДА СОЛЯНОВА

250 лет назад великий англичанин, подаривший нам «Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей», Джонатан Свифт написал «Стихи на смерть доктора Свифта», итог своей жизни и творчества. Первого декабря 1731 года он писал своему другу поэту Гэю: «...я сочиняю около пятисот строк на одну приятную тему только для того, чтобы сказать, что мои друзья и враги будут говорить обо мне после моей смерти. Я скоро закончу, так как добавляю по две строки, вычеркиваю четыре и переделываю восемь...» Но поэма была опубликована лишь семь лет спустя, искаженной и сокращенной. И это понятно: Свифт был беспощаден к «хапугам-сенаторам», «рабам-блудодеям», что бы он ни писал — политический памфлет или «стишок-загадку» для своих друзей. Поэзия Свифта-сатирика всегда горяча, открыта и правдива, потому, наверно, трудно сказать, где глубже печаль и горькая ирония — в поэме-завещании «Стихи на смерть...» или в этих строчках:

Язык мой черен, рот набух,
И слово в муке ищет дух.
И не оплакан, позабыт,
Мой прах навозом будет скрыт.

(«Загадка»)

Творчество Свифта нерасчленимо, его поэзия — органическое продолжение его прозы. Вспомним самый свежий — для советского читателя — пример: «Дневник для Стеллы». Письма, стихи, лирические посвящения и поэмы его — единое целое. Известно, что одновременно со страстным публицистическим памфлетом в защиту родной Ирландии он писал на ту же тему злое, гневное стихотворение, которое, попав в руки уличным продавцам баллад, мгновенно становилось популярной песней.

К сожалению, наследие поэта-сатирика Свифта пока мало знакомо нашему читателю. В сборник 1955 года «Памфлеты» вошли пять стихотворений и поэма, тогда как их насчитывается несколько сотен: баллад, элегий, од, кантат, эпиграмм, загадок, среди них подражания Горацию и народным английским балладам, сатирические стихи и смешные, веселые, шаловливые зарисовки. Конечно, скорее в шутку, чем всерьез, Свифт писал:

Я злюсь, когда сатиры Гэя
Моих изящней и острее.
И Арбетнот противен мне
Своей иронией вдвойне:
Ведь я открыл ее значенье
И первый ввел в употребленье.

(Перевод Ю. Левина)

Наша подборка — лишь микроскопический срез с огромного, богатейшего мира сатирической поэзии Свифта, которая сохранилась благодаря кропотливому, преданному труду английских издателей и филологов, благодаря его друзьям — Шеридану и Попу, его великому соотечественнику Вальтеру Скотту, дважды издававшему собрание сочинений поэта. Автор «Гулливера» обращался равно как к своим современникам и соотечественникам, так и к читателям всех времен. Обращался и к нам. Он учил мужеству, жизнелюбию и чувству юмора. А кто не нуждается в этом?!

ЗАГАДКА

Юнцом я в небесах парил,
Омыт в купели чистой был;
Природа, к радостям маня,
Одела в белое меня:
Я был и строен и высок,
Невинен и красив, как бог;
Но вот узрел меня тиран,
И я попал к нему в капкан;
Не диво, что в его клещах
Стал наг и бос я вмиг, исчах.
Он голову мне отрубил,
Содрав всю кожу, ног лишил
И по костям разъял всего:
Не сердце — камень у него.
Он выбрал худшее из зол —
Язык змеи дал мне в глагол,
С его указа речь свою
На суд чужой я отдаю.
И маскараду нет конца:
Тиран растит во мне лжеца
И доверяет мне он всласть
Питать его и гнев и страсть.
Все тайны у него просты;
Он полон чванства и тщеты:
И пустоту его я рад
Перед врагом открыть стократ.

Любой язык дано мне знать,
Ни слова не могу понять.
Но без меня толмач святой
Не вникнет в суть строки простой:
Законник, право не толкуй,
Не умствуй, книжный чистоплюй.
Но мой тиран — мой раб, друзья,
Казню и милую лишь я.
Хочу — смогу озолотить,
Бродягу в пэра превратить.
Однако, жизнь сию влача,
Я тороплю лишь палача.
Язык мой черен, рот набух,
И слово в муке ищет дух.
И не оплакан, позабыт,
Мой прах навозом будет скрыт.

(Отгадка: перс)

■ ■ ■

Нам лучше б гнить в могильной яме,
Чем в рабстве жить и быть рабами,
Свободней хаос водяной,
Где рыба с рыбой рвется в бой;
Где мелюзгу к высокой цели
Ведут, тиранствуя, форели
И мирно тешат спесь свою,
Пока нет щуки в их краю,
Но только щука их накрыла,
В грязи от страха прячут рыла.
Вот так пескарь смиряет прыть,
Боясь плотве навстречу плыть;
Зато он дерзко что есть духу,
Домицианом треплет муху.

ЦАРСТВО ПРОКЛЯТЫХ

Кто верует в бога и в милость его,
Тот в спорах — где АД? — не достиг ничего;
Но, взяв дефиниций логический ряд,
Как царство проклятых представлю я АД.
Бесспорно, что АДОМ то царство зовут,
Где чаще проклятые богом живут —
Пиит и зоил, дурачок и злодей,
Хапуга-сенатор и раб-блудодей;
Судья и защитник, гордец и делец,
Доносчик и шпик, правдолюбец и лжец,
Разврат изощренно творящий урод,
И жрец-соглашатель, пасущий народ;
Мной отдан в то царство невежда-прелат,
А тайный советник там явно проклят,
И пастыри нас не загонят во тьму —
То царство мы все различим по клейму.
В Париже и Риме сей АД мы найдем,
Везет нам, что он миновал отчий дом.

МОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Я в дождь обедаю один,
Топя в веселой кружке сплин.
И заедать мне в дождь дано
Цыплячьей косточкой вино.
Но мой слуга костит весь свет
За то, что съел я весь обед.
А в вёдро жаль мне медяка,
Пожить не прочь за счет дружка;
И коли он не так богат,
Вхожу я в долю и — виват!

ЭЛЕГИЯ
ПАМЯТИ ДИКИ И ДОЛЛИ

Под камнем сим мирно спят Дики и Долли,
Долл первой ушла, и был Дик обездолен,
И жизнь показалась лишенною соли.

Утратил Дик вкупе с любимой женою
Права на владенье семейной казною —
Никто не платил столь безумной ценою.

Дик скрещивал руки, скорбил и вздыхал,
Он Долл и поместье ее потерял,
Грустил — без нее, без поместья — страдал.

Вздыхал Дик и слезы горючие лил,
В разлуке он целых три месяца жил,
Не вынес потери и сам опочил.

Лежали в постели одной Долл и Дик.
Резвились в карете одной в чудный миг,
И оба в могиле одной — Haec et Hic.[1]

Свое завещанье составя на совесть,
Дик плакал над ним, к скорой смерти готовясь,
Не повод для смеха печальная повесть.

Схватились сынки за такую удачу,
Мит сцапал поместье, улыбки не пряча,
Гравюру испанскую Куф взял в придачу.

День вечных надежд воскресает в секунде,
Воскресную яму им вырыли в грунте,
Здесь дом их. Sic transit gloria mundi[2].

---

[1] Она и он *(лат.)*.
[2] Так проходит земная слава *(лат.)*.

■ ■ ■

Однажды дубасила Тома жена,
И он улизнул от нее из окна.
Три старых дружка его — так или эдак —
Спасли от злой бабы и верных соседок
И трезвый совет ему дали потом,
Но был благороднейшим рыцарем Том:
Друзьям отвечая отважно и мудро,
Всех трех на дуэль рыцарь вызвал под утро.
Тройною победой отмстил им сполна,
И вновь отдубасила Тома жена.

■ ■ ■

Когда за чуб ухватит Марджи Неда,
Пойдет трепать супруга до обеда.
Добрей жены на свете не сыскать —
Старается за рожки не таскать.

ВАСИЛ СТАНИЛОВ

РАССКАЗЫ

Перевод с болгарского ЕВГЕНИИ РИЗКИНОЙ

Единодушие

В театре города Н. заседал художественный совет. Надо было что-то ответить драматургу, который представил в театр свою пьесу. Судя по тому, что говорилось о пьесе ранее — конфиденциально и не только,— шансы автора были невелики. Мнения, таким образом, вырисовывались. На заседании следовало их обобщить, а выводы запротоколировать. И тогда все было бы оформлено официально.

— Надо, наконец, что-то ответить этому человеку, а то я ему на глаза не могу показаться,— так сформулировал цель заседания директор театра.

Автор Х. был местный житель. Он не занимал крупной должности, но имел отношение к театру. Он был со всеми знаком и со многими дружен.

До заседания пьесу прочитали всего несколько человек. Поэтому сейчас режиссер прочел ее вслух. (Собственно, кроме этих же нескольких человек, никто его сейчас и не слушал. Остальные думали о том же, о чем люди обычно думают на концертах симфонической музыки.)

Директор приглашал высказаться то одного, то другого из заседавших. (Так было принято.) Почти все выразили свое истинное мнение. (Речь шла об отсутствующем.) Надеялись, что директор дипломатично утаит от автора истинную причину отказа. В таких случаях автору обычно сообщалось, что в театре уже идет похожая пьеса, что нет подходящего актера на главную роль, что в пьесе слишком много действующих лиц или, наоборот, она слишком камерна, и т. д.

Итак, мнение (заранее известное) вырисовывалось. Состояло оно в том, что пьеса слабая, больше того — что это вообще не пьеса, а какая-то мешанина из всего, что автор видел, слышал или читал; и хоть бы какое-нибудь связующее звено, какая-нибудь интрига; но куда там — все скреплено на живую нитку, самым шаблонным образом. (Оказалось, что никто и не ожидал ничего путного от автора Х.) Приблизительно в таком духе высказались все.

Итак, они сидели полукругом перед столом директора, и директор всем по очереди предоставлял слово; наконец предложили выступить последнему; когда он сказал все, что счел нужным сказать, один из молодых актеров (первый год в художественном совете) поднялся и спросил:

— Вы кончили? (Он торопился на какую-то халтуру.)

— Кончили,— ответил ему директор.— Осталось только проголосовать. Мы должны указать в протоколе, сколькими голосами отклонена пьеса. Кто...

— Я думаю, все предпочтут тайное голосование,— сказал один из немолодых актеров. (Это был очень немолодой актер.)

С ним согласились. Начались лихорадочные поиски листочков бумаги. Все были благодарны немолодому актеру.

Решили, что каждый напишет либо «да», либо «нет»,— воздерживаться нельзя.

Бумажки положили на стол директора, и директор стал читать, что на них написано.

После тщательного подсчета голосов выяснилось, что пьеса принята единогласно. Каждый был уверен, что остальные напишут «нет»; если бы и он написал «нет», пьесу отклонили бы единогласно и все бы знали, что он тоже написал «нет». А если хоть на одной бумажке будет написано «да», он сможет спокойно смотреть в глаза автору и рассказать ему, что говорили о пьесе все остальные. Пьеса публике нравится.

В ожидании следующего

Мы стояли на остановке и ждали автобуса. Не успел он подойти, как мы увидели, что люди стоят прямо у дверей, на ступеньках.

— Товарищи, проходите вперед,— говорим мы им.

Они молчат.

— Да проходите же,— кричим мы.

Они отвечают: для того чтобы пройти вперед, нужно, чтобы те, кто стоит перед нами, тоже прошли вперед.

И автобус уходит.

А мы остаемся. На остановке. Под дождем.

И опять ждем следующего автобуса.

А вот и следующий.

— Эй, товарищи, вперед! — снова кричим мы.— Вперед проходите!

Я бегу, и стучу в стекло, и кричу:

— Эй, вы там! Вперед!

Люди за стеклом пожимают плечами и не могут понять, что я им кричу.

— Вперед! Вперед! — призываю я.

Автобус уходит.

И появляется следующий.

Потеряв терпение, мы проталкиваемся вперед.

Наконец-то! Мы поднимаемся по ступенькам Еще немного. И еще немного. Все в порядке, мы вошли.

Теперь можно и ехать.

Снаружи кто-то стучит по стеклу и что-то кричит.

Но что? Я не могу понять.

Тяжелый случай

Патриархальную тишину города взорвал вой сирены. Машина мчалась с бешеной скоростью; на ее крыше вспыхивали и гасли темно-синие огни. Прохожие останавливались, с уважением следя за этим полетом. Машина резко повернула и остановилась у здания редакции Мужчина в плаще и темных очках выпрыгнув из нее, таинственно проскользнул в кабинет главного редактора.

— Вы меня вызывали,— сказал незнакомец. У него был звучный баритон.

— Кто вы? — спросил испуганный редактор.

— Я — эксперт-графолог, специалист по почеркам. Вы меня срочно вызвали из управления.

— Ах, это вы,— обрадовался редактор.— Вы нам очень нужны. Вы, наверно, знаете, что мы объявили конкурс на лучшее стихотворение. Тема — патриотическая. Стихи присылаются без подписи...

— Знаю, как не знать,— откликнулся густой баритон.

— Ну вот. А вы ведь можете по почерку и отпечаткам пальцев определить, кто писал данный текст?

— Да, могу...— сказал человек в плаще, слегка недоумевая.

— Очень хорошо. Нам стало известно из достоверных источников, что среди тех, кто прислал нам свои стихи, есть классик. Вы, надеюсь, понимаете, в чем состоит ваша задача?

Философия случайностей

Жизнь полна случайностей. Но что такое случайность? Рассмотрим такой пример. Ты идешь по улице, и вдруг тебе на голову падает кирпич. Что это такое? Это случайность. Но чем она обусловлена? Во-первых, тем, что в определенный момент ты оказываешься в определенном месте; во-вторых, тем, что как раз в этот момент кирпич падает тебе на голову. Итак, эта случайность состоит из двух необходимостей. Необходимости твоего появления в данном месте и необходимости падения кирпича...

Некий человек, очень приятного и солидного вида, объяснял все это другому человеку, маленькому, скромному и невзрачному.

Выслушав объяснение, маленький невзрачный человек встал, пожал руку солидному и приятному собеседнику и тихо закрыл за собой дверь.

А приятный человек поднял телефонную трубку и коротко скомандовал:

— Все по местам! Приготовить кирпич!

◆

Среди книг

Издано в СССР

В ЗЕРКАЛЕ ОБЩНОСТИ И СВОЕОБРАЗИЯ

Русская и польская литература конца XIX — начала XX века. Под редакцией Е. Цыбенко, А. Соколова. Москва, Издательство МГУ, 1981.

По-разному можно прочесть биографию того или иного литературно-художественного явления. Но глубина понимания всегда будет неполной без панорамы окружающих его связей и сцеплений. Давние и органические контакты русской и польской литературы — один из интереснейших историко-культурных феноменов. Поэтому не удивительно, что советские и польские ученые, посвятив многие годы изучению обширного круга взаимодействия двух культур, продолжают исследования и обнаруживают все еще неисчерпанный материал, новые факты и закономерности.

Благодаря книге «Русская и польская литература конца XIX — начала XX века» мы вновь убеждаемся, что каждая эпоха писала свою летопись совместной борьбы и живых человеческих, общественных и культурных связей.

Век девятнадцатый оставил нам в этом отношении богатое наследие. Но и в его историческом пространстве есть время, насыщенное особенной остротой противостояния сил: революционно-прогрессивных и консервативно-охранительских, демократических и антинародных. Страницы книги, написанной совместно учеными Московского и Варшавского университетов, ведут нас от 90-х годов XIX века через революцию 1905 года к ставшему переломным и для России, и для Польши 1917 году. Авторы вглядываются в события и факты этого необычного времени, запечатленного и в русской, и в польской литературе. Вглядимся вместе с ними. Проследим важнейшие этапы идейных и художественных исканий обеих литератур в это бурное время.

...90-е годы. Могучий реализм Льва Толстого, переживающий новый этап, доминирует эстетически и нравственно над всей русской и не только русской культурой. В Польше на смену увлечению Тургеневым, сильному в 80-е годы (впрочем, для Стефана Жеромского его имя навсегда осталось «святым»), пришла пора огромного авторитета великих моралистов Толстого и Достоевского. В жизни польской интеллигенции начиная с 80-х годов и вплоть до первой мировой войны резонанс их творчества и формы распространения были настолько огромны, что сами могут составить отдельную проблему исследования. По поводу философских концепций и эстетических воззрений автора «Войны и мира» и «Анны Карениной» велись настоящие баталии, пишет польский литературовед Я. Урбаньская-Слиш. В одном только 1900 году вышли одновременно три польских издания «Воскресения». Вокруг великого имени скрещивались воззрения Болеслава Пруса и Станислава Виткевича, Розы Люксембург и Стефана Жеромского. Однако у Жеромского многое в толстовском творчестве пробуждало — по его собственному признанию — «сопротивление». Но Толстой, автор рассказа «За что?», не мог не стяжать симпатии народа, отданного во власть ненавистному самодержавию Романовых. «Да будет мне позволено поблагодарить великого человека,— писал Прус,— за те выступления от имени всего польского народа и всех людей, гонимых и несчастных, у которых хотели бы отнять не только сыновей и дочерей, но и убить их дух».

Сравнительно поздно овладел умами читающей публики Польши Достоевский. Первые переводы его произведений относятся еще к 1887 году, но активный интерес к Достоевскому возник позже: в книге рассматривается несколько аспектов его восприятия. Многие польские писатели испытали воздействие творчества Достоевского,—и среди них такие противоположные фигуры, как Станислав Пшибышевский и Зофья Налковская. Наступление новых времен рождало все новые возможности и для постижения Достоевского, но даже полное перечисление всех сочинений о нем, появившихся в Польше до первой мировой войны, как справедливо замечает один из авторов книги, было бы затруднительным.

В главах, написанных А. Соколовым, А. Авраменко, Б. Бугровым, польскими учеными М. Маковецким, Р. Таборским, И. Мачеевской, рассматриваются все «отражения», которые получали произведения Толстого, Чехова, Горького в жизни той литературы, в которой на первые рубежи уже выходили Жеромский и Реймонт.

Нас знакомят с тем столкновением мнений, которое возникало в Польше вокруг творчества Чехова. Любопытно также, что глубокие и серьезные суждения о Чехове высказывал один из самых скептических критиков современной ему польской литературы и, кстати, горячий апологет Достоевского Станислав Бжозовский.

Необычайно скоро услышали в Польше голос Максима Горького. Уже в 1898—1899 годах «зоркая наблюдательность», «тонкое художественное чутье этого первоклассного новеллиста», непривычная тональность повествований о жизни и быте пролетариата были замечены критикой и донесены до читателей Польши. Здесь, а также в Германии последних лет XIX века, создалась благодатная почва, на которой творчество Горького получило особую популярность, во многом благодаря издательской деятельности Юлиана Мархлевского, выдающегося деятеля трех революционных движений — польского, немецкого и российского. Уже к 1907 году в Польше переведены все важнейшие горьковские произведения той поры, в том числе «Двадцать шесть и одна», «Трое», «Фома Гордеев»; в 1902 году на сцене Краковского театра поставлены «Мещане», годом спустя — «На дне».

Интересны разделы книги, прослеживающие судьбы романтических течений в поэзии начала XX века. Тем более что сама проблема не угасла и не исчерпалась с течением времени — ведь романтическая традиция продолжает насыщать польскую художественную культуру вплоть до современности. Убедительным материалом подкреплено положение И. Мачеевской о том, что литература польского символизма — так же как и экспрессионизм, многими узами связанный с символизмом, — были генетически обращены к романтическому искусству. И уже тогда, в самые первые годы нашего века, поэзия и драматургия неоромантических течений выявили и обнажили остро осознанный дуализм добра и зла, духа и материи, бывшие исходным пунктом в критике современной цивилизации, ведущей к исчезновению духовных ценностей.

Поэтический взрыв, своеобразная экспансия лирики в литературно-художественном течении «Молодой Польши» на рубеже веков были важной вехой движения: в поэзии возникли новые направления художественного творчества, на ее базе формулировались их основные лозунги.

В русской поэзии этого периода, где сильнейшим аккумулятором антидеспотических настроений тоже стала поэзия символизма («Генезис русского символизма — в отрицании победоносцевской России», — пишет советский автор) и где активные настроения в творчестве младших символистов стремительно нарастали, произведения А. Блока, А. Белого Вяч. Иванова перекликаются с произведениями Станислава Выспяньского, Яна Каспровича, Болеслава Лесьмяна. Открываются несомненные, пока еще ожидающие своего исследования моменты внутренней близости между Блоком и Яном Каспровичем — в минуты роднящего их отчаяния («Я здесь и плачу... как ранняя птица, как птица ночная, что смотрит глазами, налитыми кровью, на солнечный блеск»,— писал Каспрович в 1905 году) и в минуты горечи (Блок: «Страна под бременем обид, под игом наглого насилья — как ангел, опускает крылья...»). Но есть и родство по силе духа, стремление к революционной очищающей буре между мощной провидческой поэзией Выспяньского, возносящего голос из бездны трагического падения («...выше, к солнцу, путы рвем!»), и вновь и вновь — Блоком, взломавшим оцепенение той ужасной поры, когда «безмолвствует народный гений и голоса не подает»...

Наступает первое пятилетие нового века, и вместе с ним подъем революционных настроений, когда сам воздух накален и пронизан чувством «чрезвычайности» наступившего времени. Как справедливо пишет А. Г. Соколов: «Это вызвало такую интенсивность художественной жизни, какой не знала история русского искусства». Те же годы в Польше историк литературы Я. Кульчицкая-Салони характеризует как «бесконечно богатый и разнообразный период, время поисков новых общефилософских ценностей, новой концепции мира и человека, новых форм выражения... бунт против буржуазного миропорядка».

Советские и польские критики показывают, что и для младопольского, и для русского символизма революция 1905 года стала вершиной испытания, обновившего, переродившего (и по сути, «отменившего») столь авторитетное в свое время литературное и художественное течение. Дальнейшее развитие прогрессивных сил обеих литератур шло под знаком надежды на новый, девятый вал революции.

Насыщена материалом заключительная глава книги, написанная Е. З. Цыбенко. Здесь небезразличен и весом каждый факт. Немалое значение в истории взаимодействия двух культур имело то обстоятельство, что в России была хорошо известна польская драматургия рубежа веков. Постановки пьес Габриэли Запольской и Станислава Пшибышевского на сценах театров России соперничали в популярности с постановками русских драматургов того же времени — и не только добротных реалистов Чирикова или Найденова, но и такого дерзкого провозвестника экспрессионизма, как Леонид Андреев. Напомним, что первый перевод самой популярной пьесы Пшибышевского «Снег» был сделан еще в 1903 году А. Ремизовым для постановки Вс. Мейерхольда. В 1904—1907 годах Вера Комиссаржевская исполняла чуть ли не все значительные женские роли в драмах Пшибышевского. Но ни восторженные отклики прессы, ни шумный зрительский успех не заслонили от взгляда наиболее проницательных современников сути явления: творчество Пшибышевского, явившего, по мнению современного польского исследователя, «типичный пример натуралистического и модернистского синкретизма», прозвучало симптомом кризиса литературной и сценической культуры на-

чала XX века. О его отталкивающей бездуховности писал Александр Блок. По поводу мещанского привкуса философии декаданса и куда более тревожной тенденции внеобщественного, негуманистического изображения человека высказались Воровский и Луначарский. Именно в те годы было положено начало марксистской оценке русской критикой различных направлений в европейской драме начала XX века. Широко познакомить русского читателя и зрителя с иными польскими драматургами — Мицкевичем, Словацким, Красиньским, Выспяньским — мечтали Горький, инициатор издательства «Знание», и Бальмонт-переводчик. С Жеромским Горького уже в начале 900-х годов связывали не только деловые, издательские но и чисто человеческие узы дружбы.

Думается, что авторы не ставили своей специальной целью выявить все примеры типологических «схождений» в русской и польской литературах рубежа веков, но общность исканий в прозе, поэзии, драматургии, эстетической и общественной мысли подчеркивается во многих разделах книги, которая воспринимается как свидетельство давно существовавшего живого взаимодействия между русской и польской культурами.

НАТЭЛЛА БАШИНДЖАГЯН

ОСНОВА НАРОДНОГО СОЗНАНИЯ

Верхом на урагане. Из американского фольклора. Составление и пересказ с английского Н. Шерешевской. Предисловие А. Зверева. Художник С. Алимов. Москва, «Детская литература», 1980.

...Мне не приходилось бывать у ковбоев в Техасе, на Дальнем Западе, и не просто бывать, а жить с ними их жизнью — арканить и перегонять скот. Говорю это не ради хвастовства, но в обоснование своего права сказать об этой книге: «с подлинным верно».

Уже на обложке и на шмуцтитуле видим мы широкополые шляпы, седла с высокой лукой, лассо и уздечки — основные атрибуты ковбойства. А на страницах книги все это оживает, приходит в действие, и мы полностью попадаем в особый мир, где охота, погоня, одним словом, приключения — самое обыкновенное дело. Тот же мир отчасти знаком нам по другим книгам, но книги, как правило, пишут писатели, здесь же жители этого мира рассказывают о себе сами. Перед нами сборник американского фольклора, так называемого «пограничного» фольклора, возникавшего на передовом крае борьбы за жизненное пространство, борьбы прежде всего с суровой природой, а иногда и с неуживчивыми соседями.

Но вот в чем загвоздка. Приключения — ведь это неожиданность, нечто необычайное. А что поделаешь, если приключения подстерегают на каждом шагу и случаются изо дня в день? О, это совсем другое дело! Когда приключения становятся повседневными, о них как-то и рассказывать трудно. Сегодня от зари до зари в седле и завтра от зари до зари, и так каждый день из года в год... Тут уж, скажу вам по себе, не до затейливых рассказов, тут поскорей бы до какой-нибудь койки добраться и перейти из вертикального в горизонтальное положение. Однако есть у людей некий спутник, помогающий им в труде и во всевозможных жизненных тяготах, это, разумеется, юмор. Стоит только вовремя пошутить — и пыль уже не так першит в горле, и солнце не особенно палит, и спину не ломит. В свете шутки люди как бы смотрят сами на себя со стороны, а дистанция американцам в особенности нужна: у них ведь история короткая — век-другой, и обчелся! «Жили-были дед да баба» — в нашей сказке, и когда они жили, и когда только это было! А среди современных американцев ничего не стоит отыскать прямых правнуков тех ковбоев и охотников, о которых в этой книге рассказывается будто о легендарных богатырях. Да какие же они легендарные, если пыль с их сапог еще не успела осыпаться?

Книга выпущена издательством «Детская литература», и соответственно, в первую очередь для детей. Стало быть, по законам сказки, здесь чудеса выглядят чудесами, храбрецы — храбрецами, разбойники не только карают, но и милуют, они по большей части благородные разбойники. Здесь, как во всяких преданиях и мифах, запечатлена преимущественно героическая сторона какой бы то ни было борьбы. Дэви Крокет чувствовал себя в лесу как дома. Из ружья бил без промаха. А если пуль у него не хватало, он брал зверя... улыбкой. Улыбнется какому-нибудь еноту или барсуку, а тот уже сам идет к нему в руки. Ну чем не герой? Или Пекос Билл — он верхом держался так крепко на любой лошади, объезженной или дикой, что ему ничего не стоило оседлать ураган, вихрь. Разве не удалец? Конечно, дети с интересом будут читать эти рассказы о храбрых, находчивых людях, которые ковали свою судьбу собственными руками, творили свой мир, обживали его как скотоводы, охотники, рыболовы. Полем их деятельности были лес и прерия. Нетронутый лес и девственная прерия. Они сами, на свой страх и риск, прокладывали охотничьи тропы, корчевали пни, распахивали поля, проводили дороги, показывая, как всякий трудовой народ, поистине чудеса трудолюбия и стойкости. Об этом, прежде всего об этом, рассказывает эта книга.

Она рассказывает также и о том, как эти люди учились жить вместе. А им приходилось этому учиться, потому что тот же Дэви Крокет, охотник и зверолов, поставил свою первую бревенчатую хижину в совершенно глухом лесу и привык жить совершенно один. И первые ковбои вроде Билла Пекоса, которые пасли свои первые стада на бескрайней равнине, встречались с соседями так редко, что смотрели на них будто на какой-то другой народ, из другой страны. Короче, эта книга рассказывает о том, как переселенцы, приехавшие через океан на новый материк, в конце концов объединились и стали называться американцами.

Но даже в сказочной схватке Георгия Победоносца со змием археологи ищут следы

существования каких-то доисторических животных; историки до сих пор выясняют, кем же все-таки по рождению был Робин Гуд, потому что дыма вовсе без огня не бывает и где-то в легенде отразилась реальность. А что касается американцев, то за счет краткости их истории в их преданиях и без археологической помощи просматривается конкретная историческая подоплека. Разумеется, это уже не для детей. Однако дети, которые сейчас читают с интересом эту книжку, потом подрастут, и, наверное, им столь же интересно будет узнать, а что все-таки скрывалось за обворожительной улыбкой Дэви Крокета и правда ли, что Малютка Кид или Сэм Басс — это то же самое, что Робин Гуд? Да, сейчас можно встретить в Америке человека, на которого укажут как на прямого потомка какого-нибудь легендарного персонажа. А потому многие помнят, что чудодейственная улыбка Дэви Крокета была вывеской, политической вывеской, обозначавшей определенную политическую программу. Многие знают, что фигура легендарного фольклорного охотника составилась из многих реальных фигур, которые устремлялись в лес по-разному, с разными целями, и одни добывали енотов и барсуков, другие стремились истребить вообще все живое, в том числе коренное население американского материка — индейцев. Дэви Крокет обозначал своей улыбкой как раз миролюбивую политику, относительно миролюбивую. Он считал, что с коренными жителями надо помириться и поделиться. Однако президент Джексон был другого мнения. Он считал, что договоры с индейцами — это клочки бумаги, которые всерьез рассматривать не стоит. Поэтому в результате Дэви Крокет вернулся туда, откуда пришел, в лес. Он, как выражается историк, опять построил хижину, свою последнюю хижину, которая как две капли воды напоминала первую. Впрочем, ради фактической точности следует сказать, что улыбчивый Дэвид погиб в перестрелке при Аламо, в перестрелке, где лилась индейская, мексиканская, американская кровь. Так что его миролюбие имело свои границы, достаточно узкие. А что касается Малютки Кида или Сэма Басса, то, конечно, пусть дети почитают, какие это были храбрые ребята. Но ковбои, с которыми мне случалось разговаривать, рассказывали: и Кид, и Басс имели обыкновение стрелять своим жертвам в спину... Разумеется, это всего лишь деталь, одна черта, которая при создании легенды как-то сгладилась.

Подчеркну еще раз: книжка для детей, она и передает несколько наивный, как бы детский взгляд американцев на самих себя. Такими — прямодушными и отважными — им хотелось бы выглядеть в собственных глазах и в глазах других народов. Что ж, это — эпос, подчиняющийся своим обобщающим законам. В реальности, в конкретности, мы знаем, все обстоит неизмеримо сложнее. И все же при чтении этой книги я все время вспоминал об одном. Вернее, это как-то само собой под воздействием читательского впечатления всплывало в памяти. В Америке мне случалось бывать в разные времена, в том числе в очень напряженные. Сверху — яростная антисоветская пропаганда, правящие круги жмут и жмут, вдалбливая мысль о «советской угрозе», жмут так, что начинаешь думать, а не примут ли тебя в конце концов здесь в самом деле за «врага»? И вдруг подходит ковбой и, словно подслушав мои тревожные мысли (ведь слушаем мы одно и то же радио, читаем одни и те же газеты, смотрим все тот же телевизор), хлопает по плечу и говорит: «Ты — гость, ты — друг, что бы они там ни говорили!» Твердо говорит. Это проснулся в нем дух того одинокого охотника, который когда-то прокладывал первые тропы в этих местах, одного из тех, о ком рассказывается в этой книге.

Д. УРНОВ

СМУТНАЯ ВЕСНА НАД РЕЙНОМ

Самолет над домом. Рассказы писателей ФРГ о молодежи. Перевод с немецкого. Составление, предисловие и справки об авторах Н. Литвинец. Москва, «Молодая гвардия», 1981.

Есть особая прелесть в рассказах о детстве — они прозрачны и солнечны, как античная классика. Но и в рассказах о юности не менее притягательное обаяние — хотя царит в них, как правило, другой, лунный свет. Они порывисты, напряженны и зыбки, как романтическое искусство.

Младенчество нашего века совпало, кажется, с юношеским устремлением к торопливому, максималистскому разрешению проклятых вопросов. Юношеская экзальтация, видимо, не случайно оказалась в фокусе художественного внимания, оставив немало достаточно ярких запечатлений. Взбудораженная, чуткая к переменам литература начала века словно бы находилась под знаком «пробуждения весны», говоря названием нашумевшей тогда пьесы Франка Ведекинда. В прозу высокого, не потускневшего до сих пор достоинства отлились смятения юношей той накаленной предчувствиями поры — Тёрлесса Роберта Музиля, Тонио Крёгера Томаса Манна, Каменцинда Германа Гессе. Рядом с ними их французские, английские, русские ровесники — юный герой эпопеи Пруста, Стефан Дедалус Джойса, гимназисты, студенты, юнкера Бунина, Куприна.

Беря в руки книгу о нынешней молодежи одной из крупнейших европейских стран, невозможно не сравнивать ее с теми, теперь уже хрестоматийными книгами. В чисто ценностном отношении такое сравнение на первый взгляд откровенно разочаровывает. Однако по некоему парадоксальному закону обратной перспективы писатели прежние всегда кажутся нам значительнее и крупнее писателей настоящих. Сразу хочу подчеркнуть: качественные претензии вызывает определенный этап в развитии западногерманской литературы в целом, дело тут не в составе сборника, ограниченного требованиями «молодежной» темы. В книгу включены рассказы маститых, уже извест-

ных нашему читателю Г. Э. Носсака, З. Ленца, М. Вальзера, А. Андерша, П. Шаллюка. Здесь и авторы помоложе, но уже признанные, много переводимые — Г. Воман, А. Мехтель, А. Кюн. Есть и — что особенно ценно — «сердитые» молодые, выступающие с острыми социальными обличениями (П. Хотьевиц, Г. Эльснер), принадлежащие в отдельных случаях к тем самым рабочим писательским кружкам, о которых мы до сего времени знали только понаслышке, из критической литературы (Л. Фельз, У. Вандрай и др.).

Понятно, что антология, обращенная в основном к живой, текущей современности, имеющая дело с «горячим», не отстоявшимся материалом, не может обеспечить качественную однородность: вопросы жизни в таком обзоре иной раз справедливо теснят вопросы эстетики.

Так что будем пока говорить не об уровне прозы в ФРГ в целом, а о ее тенденциях. И тут сравнение с классикой начала века окажется не лишним. Потому что когда, держа ее в уме, читаешь рассказ за рассказом из первой половины нашего сборника, где опубликованы рассказы 50—60-х годов, то становится ясно: с литературой что-то случилось. Не то чтобы она стала хуже — эти мысли мы договорились гнать, но она стала другая. Великолепный Ивлин Во — когда вирус этих изменений еще только начинал активно вторгаться в европейскую литературу и искусство — писал в одном из писем: «Тициан скорее всего отнес бы Фрита (английский художник XIX в.— *Ю. А.*) в разряд заурядностей, но он бы, конечно, признал, что они оба делают одно и то же искусство. О Пикассо он бы так не подумал. Чосер, Генри Джеймс и, с Вашего позволения, я — мы все делаем одно искусство. А мисс Стайн — другое».

Так же и в нашем случае. Музиль, Манн или Гессе делают в общем-то то же искусство, что Гёте, Штифтер или Фонтане. А Мартин Вальзер, Носсак или Кестнер — искусство другое, хотя и не столь радикально отличающееся от традиции, как искусство «мисс Стайн». Заметить это легче всего, когда задумываешься об идентификации, то есть о вживании в образы героев. Уж как далеки от нас, казалось бы, кадеты и гимназисты кайзеровской Австро-Венгрии или вильгельмовской Германии, но мыслят и чувствуют они в основе так же, как современный московский студент. А близкие к нам по времени студенты Вальзера или Шаллюка живут словно бы на другой планете.

И дело здесь, конечно, не в самих студентах. «Остраненная», смещенная, ирреальная манера изображения заметно потеснила классическую пропорцию и перспективу: после экспрессионистов и Брехта писателям ФРГ в традиционной манере словно бы неудобно работать — как «стесняются» западногерманские художники удаляться от Кандинского или Нольде. Запретной манеры, понятное дело, в искусстве не может быть, и такая, «антимиметическая» — введем еще один термин,— может быть оправдана, может прошуметь освежающей грозой, но представьте, каково жить под непрерывные грозы? Конечно, послебрехтовские электрические разряды могут быть эффективными и зачастую, как показывает сборник, являются таковыми, но ведь эффект этот однобокий, сугубо умственный, отсекающий возможность «нутряного» вживания. Попробуйте, в самом деле, вжиться в каннибальскую фантасмагорию, разбуженную ревом низко летящего самолета (Вальзер), или в судьбу девушки, ноги которой вросли в землю, как корни (Кестнер), или в страдания юноши, о которых неизвестно, суть ли они наяву или пригрезились в кафковском кошмаре (Носсак), или в приключения человека, который поселился на столбе (Хильдесхаймер), и т. д. и т. п.

«Человек из зеркала», шпигельменш,— так звался когда-то герой одноименной пьесы экспрессиониста Франца Верфеля. Это гомункулус, плод оптического обмана, вымышленный трюк механической оптики. О нем вспоминаешь, когда сплошь и рядом сталкиваешься в литературе ФРГ с «гадательной» манерой построения образа, когда высказываются разные «предположения» о человеке, когда человек предстает как искомая точка в системе координат, арифметическая сумма зеркальных отражений других, «чужих» сознаний. Образчик такой литературы рассказ Шаллюка «Наш Эдуард».

Условность, гротеск представляли собой мощную художественную силу и в былые эпохи, но никогда, кажется, они не преобладали настолько явно. Их назойливость, по правде сказать, утомляет. Умом понимаешь: в стране, где остры буржуазные противоречия, где происходит жестокая схватка вещей и душ, где человечность задыхается под натиском чистогана, такое преобладание карикатуры как будто оправданно. Но разве не прав П. Палиевский, написавший как-то о том, что не может ведь чистоган пожирать самого себя, есть ведь, очевидно, в жизни нации то здоровое, чем он кормится? И разве не заслуживает это здоровое прямого, непосредственного изображения?

Вот почему так жадно отдыхаешь на прелестной новелле Альфреда Андерша «Дочь», в которой спокойно и уверенно отстаивается власть устойчивых, проверивших себя в деле традиций. Эту линию доверия к жизни поддерживает и Зигфрид Ленц («Случай на границе»), в который раз доказывающий, что возможности изящного реалистического письма еще не исчерпаны.

О тонкой поэзии повседневности, не имеющей ничего общего с карикатурой, все громче говорил к концу шестидесятых годов Дитер Веллерсхоф, глава «кёльнской школы нового реализма». Заметный поворот к очезримой реальности в прозе ФРГ произошел в семидесятые годы, после того как схлынула волна леворадикального движения и студенческого бунта. Этот поворот зафиксирован и в сборнике. Правда, во многих случаях этот поворот, не подкрепленный зрелым мастерством, повел лишь к старательной очерковости. Далее других продвинулся в этом отношении опытный Гейнц Пионтек. Сонная одурь захолустья, которую, кажется, может разбудить лишь совершенное здесь преступление («В провинции»), описана уверенной рукой освоившего реме-

сло человека. В поколении помоложе более других обнадеживают писательницы: Габриэла Воман, Ангелика Мехтель, Ингеборг Древиц, Гизела Эльснер.

Первые две из них уже достаточно известны, в том числе и у нас. «Плавание вольным стилем» Воман — рассказ о «негероическом» мальчике, о слабости в атмосфере культа силы, о трудностях подростковой аккомодации. По тону повествования, характеру персонажа и даже сюжету он напоминает рассказ «Урок гимнастики» Райнера Марии Рильке — и тут уже перед нами отрадный случай, когда современная проза выдерживает сравнение с началом века (пластичность и музыкальность, конечно, утрачены, рисунок стал суше, но выразительность не погибла).

Еще большей жесткостью, почти жестокостью отличается манера Мехтель. В ее трезво выписанных «Волчатах» — и детский эгоизм, и юная, безоглядная привязчивость, и уже чутко усваиваемые уроки взрослых хищников. Ломкость изображаемых характеров хорошо улавливает и рваный ритм повествования с нервными перескоками точек зрения изнутри вовне и обратно. В результате — живые мальчишки и девчонки, легко узнаваемые, хотя, может быть, и не увиденные воочию реалии их жизни: вот крутая насыпь железной дороги, вот пустырь за ней, брошенный в кустах мотоцикл, потертые джинсы на сговорчивой подружке.

Вполне убедительными выглядят опыты и двух дебютанток — импрессионистически яркий «Уличный театр» Древиц и саркастически едкая «Помолвка» Эльснер. Пример Эльснер (опирающейся, конечно, на предшественников: Моргенштерн, Брох и особенно Бернгард) показывает, что пристрастие к «формальным» вопросам — словесной фактуре, игре иронически ритмизованными рефренами и т. д.— вовсе не обязательно должно уводить от натуры: напротив, именно звонкая, чуть вычурная фраза, ёрнический джазовый ритм помогают писательнице выявить всю пустоту буржуазной показухи, невсамделишного, рекламного счастья. Этот свежий пример заставляет с сожалением вспомнить о том, что некогда столь распространенное в немецкой литературе понятие словесного искусства как-то незаметно улетучилось из западногерманской прозы, вытесненное проблемой приема, то есть способа изображения.

К числу решающих достоинств изданного «Молодой гвардией» сборника как раз и относится то, что он чутко реагирует на прилив в западногерманскую литературу новых сил, новых обнадеживающих талантов. Их перспективы — как и перспективы самой общественной жизни в ФРГ — смутны, неясны, но сформулированный одним из немецких философов «принцип надежды» приманивает к себе как маяк, обещая, что здоровые тенденции все же пристанут к твердому берегу.

Ю. АРХИПОВ

Издано за рубежом

«ТРЕПЕТ ЖИЗНИ МОЛОДОЙ...»

Auswahl 1980. Neue Lyrik. Neue Namen. Berlin, Neues Leben, 1980.

Антология 1980 года. Новые стихи. Новые имена. Берлин, 1980.

Молодые писатели всегда были и будут надеждой литературы; написанное ими нельзя измерять одними лишь литературными критериями. Вопрос не только в том, хороши ли сами по себе стихи молодого поэта; еще важнее тот побудительный мотив, тот живой напор, который вызвал их к жизни, тот путь, который в них намечается, то обещание на будущее, которое (подчас еще смутно) угадывается в них. Поэтому каждая строка молодого автора кажется нам письмом в запечатанном конверте, которое еще ждет своего часа: чаще всего только будущее автора может прояснить истинное значение его первых опытов.

С такими мыслями мы открываем «Антологию 1980 года», напечатанную в ГДР «молодежным» издательством «Нойес лебен». Традиционный подзаголовок книги: «Новые стихи. Новые имена». Серия книг с такого рода подзаголовком выходит в этом издательстве начиная с 1964 года. Наряду с оживленными семинарами поэтической молодежи, происходящими на севере республики, в живописном старинном Шверине близ большого Шверинского озера, эта серия — одно из наглядных свидетельств того внимания, которым в новой Германии окружены молодые поэты.

К началу восьмидесятых годов в молодой поэзии ГДР возникла своеобразная ситуация, которую нельзя понять без небольшого «исторического экскурса». Германистам и критикам памятен тот литературный взрыв, та бурная детонация, которые в начале шестидесятых годов чуть ли не за одну ночь почти неузнаваемо изменили весь облик молодой (да и не только молодой!) поэзии ГДР. Как из раскаленной массы вещества возникли молодые поэтические светила первой величины — Фолькер Браун, Карл Микель, Райнер Кирш, Хайнц Чеховский, поэт-фантаст Уве Грессман (к сожалению, вскоре безвременно умерший) и множество других. В своем большинстве названные поэты, выйдя из разряда молодых, и поныне составляют украшение поэзии ГДР. Семидесятые же годы, по общему мнению, такого яркого качественного роста не дали, хотя и не были бедны новыми именами. Развитие молодой поэзии, конечно, не остановилось, но несколько замедлилось и шло в более спокойном ритме. Наиболее талантливые дебютанты семидесятых годов — Юрген Реннерт, Фридеман Бергер, Вульф Кирстен, Андреас

Райман, Уве Грюнинг, Рихард Питрас, Петер Тилле и другие (отдельные, пока немногие их стихотворения печатались и в русских переводах).

Разговор об «Антологии 1980 года» стоит начать с тех ее участников, имена которых более известны. В самой антологии их стихи выделяются четкостью художественного почерка.

Двадцатичетырехлетний Стеффен Меншинг успел выпустить первую книжечку своих стихов (в том же издательстве, в популярной серии «Поэтический альбом»). С фотографии на нас смотрит узкоплечий, хрупкий юноша, с русыми, по-девически длинными волосами; небольшие задумчивые глаза прячутся за стеклами очков. Медлительным раздумьем окрашены и его стихи; их удлиненные строки и спокойное, неторопливое поэтическое дыханье нередко напоминают раздумья выдающегося поэта-философа Георга Маурера (1907—1971), повлиявшего на многих молодых поэтов. Счастливой поэтической находкой можно по праву назвать стихотворение Меншинга «Вымышленная прогулка с Розой Л.», которое хотелось бы как можно скорее увидеть в русском переводе. Эта загадочная Роза Л.— не кто иная, как Роза Люксембург: строки из ее исповедальных «тюремных» писем вплетаются в текст стихотворения. В ГДР чтут память павших мучеников революции: день убийства «красной Розы» и Карла Либкнехта (15 января) ежегодно отмечается в столице демонстрацией трудящихся. Памяти Розы посвящены многие стихи — в том числе суровая эпитафия Брехта и пронзительно скорбная, лаконичная элегия Бобровского.

Чуть постарше Меншинга Ута Мауэрсбергер (родилась в 1952 году), которая с мужем и двумя детьми живет в небольшой лужицкой деревушке между Дрезденом и Котбусом. Ей принадлежит стихотворение «Кусок коры», выделяющееся свободой и богатством лирических ассоциаций. Что можно сделать из куска коры?

...Сначала хотел ты сделать кораблик
потом что-то похожее на сновиденье
сумасшедшее солнце
прошло по июльскому лугу
притворившись июлем
из куска коры огнем опаленного
хотел ты вырезать
сперва человека
потом амулет
потом что-то похожее на лицо твое

кусок коры
под твоим слишком острым ножом
слишком быстрым слишком
жестоким ножом — высох
и стал совсем осенним...[1]

Мне кажется, критики, упрекавшие молодую поэтессу в чрезмерной элегичности, проявили некоторую поспешность. Гораздо ближе к истине журналистка и литературный критик Астрид Фольперт, которая в интервью с поэтессой, опубликованном в газете «Юнге вельт», особо выделила ее постоянный интерес к родной истории и к этическим проблемам современности. (Этот интерес не всегда открыто выражается в стихах, иногда он скорее угадывается в подтексте — как у Бобровского, которому посвящено одно из проникновенных стихотворений Уты Мауэрсбергер.) Однако мы найдем у поэтессы и открыто антифашистские стихи, например, о повстанцах из гетто в ее первой книге или напечатанное в нашей антологии «Странствие по моей стране», где мы встречаем простые и выразительные строки:

Я не заблужусь,
у меня много времени.
. . . . . .
Я должна прожить столько же,
сколько моя страна.

Среди других молодых авторов книги, чей поэтический облик отчетливо определился, назовем Яна Флигера (удачно дебютировавшего вместе с Петером Тилле в совместном сборнике «Переправа») и Роланда Эрба, который известен и как переводчик Блока, Брюсова, Перси Биши Шелли.

Но и у явных дебютантов есть серьезные удачи. Одно из самых оригинальных по форме стихотворений принадлежит Томасу Бёме (род. в 1955 г.). Подчеркнуто спокойный заголовок «Виды Болгарии» контрастирует с необычностью этого произведения, написанного ритмической прозой, близкой к гекзаметру. Пейзаж горной болгарской деревни дышит величавым покоем, поэт славит простые радости жизни: вино, хлеб, плоды. Неожиданная искра возникает при столкновении разнородных ассоциаций: поэт то обращается к осовремененным античным образам, то видит себя и всех окружающих в обличии бродяг Керуака.

Из начинающих поэтов хочется отметить и ровесника Бёме Ганса-Эккардта Венцеля (в 1978 году получившего диплом имени Бехера). В антологии напечатаны три его стихотворения; все они любопытны, ни одно не повторяет другие. Его «Винкельман» — своего рода исторический этюд в стихах — сдержанно-ироничен по тону; но ирония относится не к герою стихотворения, а к безрадостной феодальной Германии XVIII столетия, из которой рвется на волю великий мыслитель. Здесь Венцель (подобно Бобровскому с его знаменитыми лирическими портретами Баха, Моцарта, Гёльдерлина) прибегает к интонационно свободному верлибру. Но ему доступно и оружие политической песни с ее четкими рифмами (таково стихотворение «Записка. 1979», посвященное борьбе никарагуанских повстанцев против тирании Сомосы). Оба стихотворения отличает напряженность и некоторая «жесткость» образного строя, они далеки от фольклорной мелодичности (увлекавшей, например, Фюмана или Уве Бергера в пору их дебютов).

Знакомство с «Антологией 1980 года» (хотя далеко не все в этой книге равноценно) подтверждает предположение, что поэзия восьмидесятых годов, возможно, будет ярче и красочнее, чем лирика предшествующего десятилетия. Мы ждем поэтов нового поколения, хотим услышать их слово — свежее, самобытное. Это — чувство вечно обновляющейся и вечно зеленеющей жизни, ее безостановочного движения и роста. В памятных строках выразил это чувство уже

[1] Переводы стихов принадлежат автору статьи.

на склоне своей трудной жизни один из величайших русских лириков Афанасий Фет:

Покуда на груди земной
Хотя с трудом дышать я буду.
Весь трепет жизни молодой
Мне внятен будет отовсюду.

За этот «трепет жизни молодой», который явно ощутим в первых, подчас угловатых поэтических строках, мы и благодарны авторам книги.

Г. РАТГАУЗ

«СТРАНИЦЫ НЕ НАПИСАННЫЕ, А ЗАПИСАННЫЕ...»

Robert Matteau. Dire et figures. Contes et portraits de l'Estrie. Québec, Éditions Naaman, 1978.

Робер Матто. Слова и лица. Сказки и портреты кантона Эстри. 1978.

Прошлое заложено в настоящем. Современные франкоязычные писатели Канады восприняли во всей полноте и значимости старую истину: национальная литература начинается с национального самосознания. И поняв это, Квебек устремился на поиски своего лица и своих корней — в деревни, в поселения первых колонистов, туда, где еще можно найти следы становления нации. Как отмечает критика, в картине канадской литературы последних лет преобладают деревенские пейзажи. Писатели возвращаются на заросшие проселочные дороги, по которым так привольно ходилось в детстве, и, всматриваясь в прошлое, пытаются понять свою судьбу, судьбу своей страны и народа. Возвращение к истокам дает свои плоды. Если раньше литература Квебека считалась лишь бедной родственницей крупных франкоязычных литератур, то теперь ее роль стала более заметной. Доказательством тому — Гонкуровская премия 1979 года, присужденная канадской писательнице Антонин Майё за роман «Пелажи с повозкой» [1], написанный как раз на национальном материале.

Новая книга Робера Матто «Слова и лица» имеет подзаголовок — «Сказки и портреты кантона Эстри». «Я родился в стране Квебек, и другой мне на надо»,— заявляет писатель. Обращая взгляд к своему детству и дальше — в середину XIX века, времени первых поселенцев в Эстри,— с нежностью и грустью пишет он о своей родине. Ностальгия по невозвратному заставляет с пристальным вниманием изучать его. Мы живем в быстро меняющемся мире, и вот — исчезли старые патриархальные деревни с их духом и бытом. Писатель не в силах задержать, приостановить уходящее, а ведь в этом уходящем — его дом родной. И если не дано сохранить его в реальности, то можно сохранить в памяти и записать на бумаге. какой он был.

Для Матто прошлое дорого не только своими идеалами, но и само по себе — уже тем, что оно было. Каждый человек значителен и самоценен, и нельзя допустить, чтобы память о нем канула в Лету,— и писатель воскрешает к жизни уже полузабытых персонажей своего детства и местных легенд. Со скрупулезной точностью фиксирует Матто приметы минувшего, обращаясь к личной памяти и коллективной памяти нации. (Значительную часть его «былей» можно назвать так же, как и многотомное собрание фольклора Жермена Лемье — «Старики мне рассказали»). В рассказах Матто обитатели кантона Эстри предстают во всей полноте и объемности реального бытия.

Все они очень разные, но у большинства из них есть нечто общее — неблагополучная судьба. Избирательные свойства памяти (не только авторской, но и народной) очень ярко проявляются в таком подборе персонажей для легенды — неустроенных, обделенных природой или обществом, а то и нелепых чудаков и забавных врунов. Лишь однажды, в рассказе «Семья Ремийяр», Матто вспоминает об иных, сугубо благополучных людях, образце трудолюбия, хозяйственности и добропорядочности, восхищается их сплоченным кланом, но это холодное, рассудочное восхищение, а не то живое и искреннее авторское сочувствие, которым согреты остальные персонажи. Одни воистину достойны его — например, аббат Анселем, от которого веет обаянием доброты. Внешне он настолько уродлив, что одна прихожанка, впервые увидев его, даже воскликнула: «Господи, возможно ли это?!» И тем отчетливее — на фоне безобразной внешности — видна прекрасная душа аббата: «Идти десятки километров по лесам, чтобы напутствовать умирающего, или отдать все до последнего су — было для него обычным делом». Другие же герои, напротив, выходят за рамки общепринятой морали. Но и этих, казалось бы, сомнительных персонажей Матто щедро оделяет своей симпатией. Чем же объясняется подобная «неразборчивость» писателя?

Можно выявить несколько тенденций, по которым в литературе «доброе старое время» противопоставляется настоящему. Иногда в прошлом ищут путей в будущее, иногда — забытые ныне идеалы. Порой неспешность и устойчивость прежней жизни сравнивается с безумной гонкой «века больших скоростей» — и сравнение явно не в пользу последнего. Интерес Матто направлен на «слова и лица», составляющие индивидуальный облик человека. Нередко современная западная литература звучит как реквием по индивидуальности; тщетно отыскивают писатели в пестрой толпе кого-то, кто привлек бы «лица необщим выраженьем». Массовая культура обезличивает — это уже трюизм. В книге Матто противопоставление современного «массовидного» человека прежнему индивиду не декларируется в открытую, но ощущается подспудно. Каждый обитатель старого Эстри не похож на прочих, и за эту неповторимость облика писатель многое им прощает — безделье, вранье, пристрастие к выпивке. Тем более что даже в самых «отпетых», казалось бы, персонажах сохранилась какая-то открытость, почти трогательная незащищенность и доверчивость.

Да и разве можно осуждать враля Ла Фуэта? Пускай его россказни о морских сра-

[1] См. интервью А. Майё в «ИЛ», 1980, № 3.

жениях и ночных встречах с русалками — сплошная выдумка, но это ведь не банальное вранье, а, если хотите, настоящее творчество! Безудержный полет фантазии Ла Фуэта придает будням яркость и красочность: недаром же вся деревня собирается послушать его. Пусть герой другого рассказа, поэт и сказитель «пророк Исайя», живет на чужой счет, за стол и ночлег расплачивается историями — но ведь в его памяти хранится целый свод старинных преданий...

Пусть герои рассказа «Собственники» — совершеннейшие бездельники и пьяницы, зато сколько в них живой жизни! Стихийную антибуржуазность Толстяка, Тощего и Простака Матто противопоставляет благополучной жизни собственников. Подчеркиваю: именно стихийную, ибо сами герои ее подлинного значения не понимают. Толстяку неожиданно привалило наследство, и он искренне мечтает, как сделается добропорядочным гражданином, купит дом, назовет его, как Руссо, Ле Шарметт и будет счастливо жить в нем с друзьями, они заведут корову и кота, а по вечерам будут наслаждаться музыкой Моцарта и чтением древних авторов. Но этой буколической мечте по антично-руссоистскому образцу (доказывающей, что Толстяк не зря учился когда-то в коллеже) не сужденo осуществиться. И дело здесь не только в том, что героя неожиданно выгоняют из его дома — просто по сути своей ни Толстяк, ни Тощий не способны стать собственниками, как невозможно влезть в чужую кожу. Бродягам казалось, что их асоциальность не кожа, а платье, которое ничего не стоит сменить на новое — не бог весть какое шикарное, но сравнительно чистое и приличное. Однако когда Толстяк робко просит друзей хоть чуть-чуть помочь ему по дому (собственность требует ухода!), Тощий возмущенно заявляет владельцу: «Я никогда в жизни не работал, но жил как порядочный человек!» И уходит, сманив с собой Простака. А незадачливый собственник, оставшись в одиночестве, с грустью размышляет: «Вроде я разбогател, а получается, что обеднел... лишившись моей свободы».

Матто не берет на себя роли учителя или тем более судьи, он только рассказчик, непосредственно обращающийся к читателю, по-соседски ведущий доверительный разговор, искренне, заинтересованно и без малейшей назидательности. Взгляд писателя — извне, а не изнутри: «эти страницы не столько написаны, сколько записаны», нужны лишь «бумага да чуть-чуть фантазии». И хотя автору явно симпатичны его герои, он сумел избежать идеализации — греха, в который часто впадают ностальгически настроенные литераторы. Матто спасает привычная ирония человека, не склонного чрезмерным восторгам и умилению, однако эта ирония присутствует в книге на равных правах с традицией фольклорной — простодушным народным юмором. Такое органическое сочетание литературного и фольклорного показывает, что университетский профессор и магистр искусства Робер Матто не утратил живой связи с народной — и даже простонародной — стихией. В этом и кроется секрет особого обаяния авторской интонации, которая — как и доброжелательное отношение к персонажам — объединяет самые разные истории.

Однако одного из своих героев Матто особенно любит. И это естественно: ведь месье Луи — персонаж не из легенды, с ним связаны дорогие детские воспоминания самого писателя... Что делать детям, когда появляется таинственный призрак, а взрослые говорят: «Его не существует»? А он приходит по ночам, добрый, чудесный призрак, и рассказывает сказки, и нельзя не поверить в него и не полюбить. И хоть призракам есть вроде бы не положено, детишки подкармливают своего хлебом с джемом. Но в какой-то момент все чудеса разъясняются, в реальности призрак — несчастный изгой, которому вдруг повезло самым парадоксальным образом: отец рассказчика, случайно ранив месье Луи на охоте, принес пострадавшего домой, а женщины его выходили. Материализация призрака сделала тайную детскую любовь явной и дозволенной, но не уменьшила ее, хотя, лишившись мистического ореола, «добрый гигант» оказался совсем небольшого роста. Но душа старого француза достаточно велика, чтобы вместить сокровища искусства и литературы — и приохотить к ним маленького Робера. Это он объяснил будущему писателю, что «есть книги, которые необходимо прочитать, иначе всю жизнь будет чего-то не хватать». Да и весь дом под влиянием пришельца постепенно пристрастился к чтению.

В лице месье Луи Матто предлагает читателю свой идеал — мягко, неназойливо, но достаточно определенно. Этот идеал особенно привлекателен контрастом между аскетическим образом жизни — и сложностью, изысканностью внутреннего мира, напряженной жизнью духа. Постаревший в скитаниях месье Луи сумел не растерять почти по-детски наивное, простодушное восприятие мира и свое духовное богатство, и одно из горчайших сожалений его жизни — что он так и не успел прочитать, «может быть, самый прекрасный роман, написанный когда-либо человеком»,— «Войну и мир». Воскрешенный благодарной памятью ученика, «милый призрак» дает возможность ответить на главный вопрос, волнующий писателя: где, на каких путях искать живую душу?

Л. ЗЛОБИНА

◆

Из месяца в месяц

АРГЕНТИНА

С большим успехом прошли в Дании гастроли известной своими прогрессивными взглядами аргентинской певицы Мерседес Соса. В ее репертуаре — народные латиноамериканские песни, а также песни, положенные на стихи Пабло Неруды и Виктора Хары. Мерседес Соса, отмечает рецензент газеты «Ланд ог фольк», поет о жизни, борьбе и чаяниях простого народа, и потому ее искусство преодолевает языковой барьер.
На снимке: Мерседес Соса.

(Газета «Ланд ог фольк»)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ЦЕННЫЙ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ ТРУД

Об английской скульптуре последних 75 лет рассказывает богато иллюстрированное издание «Британская скульптура двадцатого столетия», вышедшее недавно в Лондоне. Книга подготовлена Институтом современного искусства совместно с лондонской художественной галереей «Уайтчепел». В книге напечатано семнадцать эссе, посвященных различным аспектам современной английской скульптуры. Среди авторов выступают многие молодые историки искусства и искусствоведы, наиболее интересными из которых рецензент журнала «Британ бук ньюс» считает Стюарта Моргана, Джона Глейвз-Смита и Ричарда Калвокоресси, пишущих о развитии скульптуры на Британских островах в 20-е и 30-е годы, а также о новых веяниях в подходе к этому виду искусства, наметившихся в 60—70-е годы.

«Хотя это издание и не задумано как обзорное,— пишет рецензент,— оно охватывает весь период от Джорджа Фрэмптона до Джильберта и Джорджа и содержит многочисленные иллюстрации, которые особенно порадуют читателя».

Предыдущее издание подобного типа — «Современная английская скульптура», подготовленное Хэммейчером, вышло в 1967 году.

На снимке: скульптура Фрэнка Добсона «Две головы».

(Журнал «Британ бук ньюс»)

ВЕНГРИЯ

О ПУТЯХ И СУДЬБАХ МОЛОДЕЖИ

Венгерского писателя Эндре Фейеша советские читатели знают по рассказам, публиковавшимся в различных сборниках, и роману «Кладбище ржавчины», вышедшему в 1981 году в издательстве «Прогресс».

Новый роман писателя «Юноша с ангельским лицом» вызвал большой интерес читателей и литературной общественности.

«Значительным событием в литературной жизни, произведением о разных путях и судьбах современной молодежи» называет этот роман критик Эрвин Хаваш на страницах газеты «Непсабадшаг».

Большая статья о романе была опубликована на страницах еженедельника «Элет эш иродалом». Ее автор Эндре Варьяш пишет, что все крупные произведения Эндре Фейеша — а это помимо романа «Кладбище ржавчины», драмы «Супружество Маргит Черепеш» и «Добрый вечер, лето, добрый вечер, любовь», а также книга эссе «Кто бы мог подумать!» — посвящены утверждению социалистической нравственности и критике неприемлемого для нового общества потребительского отношения к жизни.

Взгляд на жизнь и образ жизни — тема и нового романа «Юноша с ангельским лицом».

В этом произведении говорится в статье, автор попытался обобщить многообразие человеческих типов, по-разному проявля-

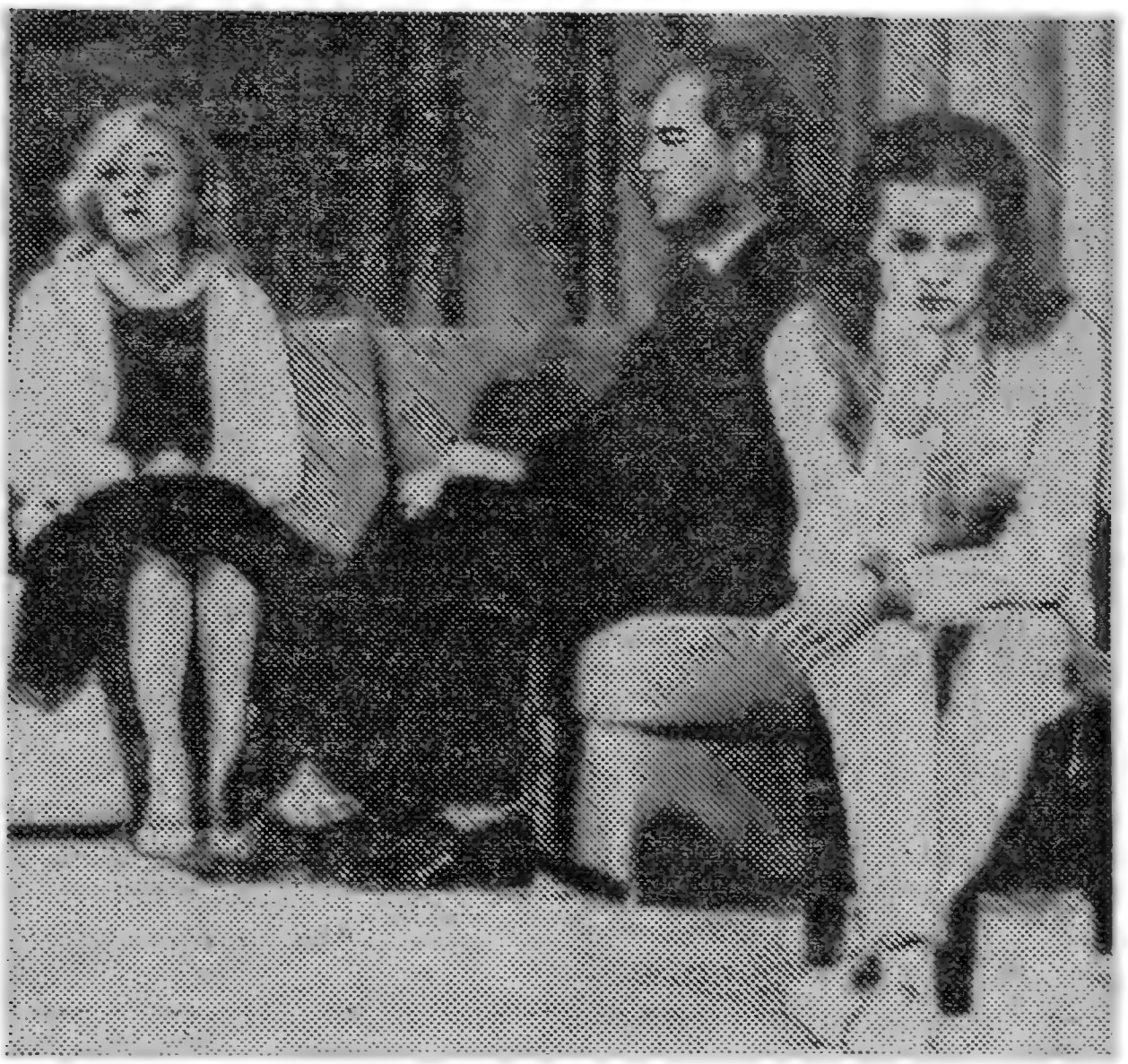
ющих свое «я» в условиях обострения неантагонистических противоречий — противоречий между постоянно растущими потребностями членов социалистического общества и уровнем развития производства, между социалистическим бытием и пережитками капитализма в сознании людей.

Потребительство как пережиток, отмечает Эндре Варьяш, принимает в романе мефистофельское обличье. Как древний бес, оно завлекает, искушает, заставляет слабых отдавать душу в обмен на земные блага. Но, подчеркивает критик, Фейеш не пуританин, «земные блага» в его глазах только тогда являются «грехом», когда они — плод нечестного труда, легкой наживы, использования авторитетов.

Автор показывает бесцельное, растительное существование, прожигание жизни определенного круга молодежи.

По образному определению Эндре Варьяша, судьбы героев в романе Фейеша, подобно нитям тканевой основы, не пересекаются друг с другом, а «бегут» параллельно, и только одна среди них — нить-судьба «юноши с ангельским лицом» — ложится в поперечном направлении. Этот гамлетовского склада молодой человек, идущий против течения, будоражит чувства и мысли читателей, привлекает их к участию в его поисках истины.

Роман полифоничен, пишет критик, и эту полифоничность придает ему авторская позиция: отношение к описываемому выражено в самых различных тональностях — от вдохновенно-лирической до гротескно-сатирической, и это богатство интонаций обладает огромной силой воздействия, говорится в заключение статьи.



На снимке: сцена из спектакля «У всех на глазах» в берлинском «Театер им паласт». Артисты Марлиз Людвиг — в роли Эльки, Отто Меллиз — в роли Теске и Карин Уговски — в роли Лизы.

(Газета «Берлинер цайтунг»)

ГДР

НОВАЯ КОМЕДИЯ РУДИ ШТРАЛЯ

«У всех на глазах» — так называется новая комедия известного драматурга Руди Штраля (о нем см. «ИЛ», 1977, № 6; 1977, № 12; 1980, № 12).

...Обычная средняя семья с налаженным бытом. Неожиданно размеренная жизнь нарушается: именно эту семью выбрали объектом социологического исследования. В доме появляются чужие люди, они вторгаются, иногда довольно бесцеремонно, в каждодневные события, исследуют поступки, разговоры и даже чувства и мысли членов семьи. Это приводит к комическим, часто к драматическим ситуациям...

«Я хотел показать, что у людей как бы два лица — одно для узкого круга, другое — для общества», — сказал в одном из выступлений о своей новой пьесе Руди Штраль.

«Комедию «У всех на глазах» можно назвать комедией философской, — пишет газета «Берлинер цайтунг». — Она ставит вопросы о том, что значит «быть» и что — «казаться».

С большой статьей, помещенной в газете «Нойес Дойчланд», выступил писатель и драматург Райнер Керндль. Отмечая, что комедия Штраля с успехом идет сразу в двух театрах: в лейпцигском «Шаушпильхауз» и в берлинском «Театер им паласт», а кроме того, готовится к постановке в Ростоке, Керндль пишет: «Зрители весело смеются на спектаклях. Но как и в других комедиях Штраля, здесь много серьезного. Пьеса заставляет задуматься о противоречиях человеческой личности, о ее подлинной ценности, о ее месте в обществе».

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ

Состоялось присуждение национальных премий за 1982 год. Премии получили писатели: Хорст Безелер — «за все творчество в целом», Вальтер Вернер — «за все творчество, в особенности за лирику», Бенито Вогацкий — «за большой вклад в современную литературу и искусство».

Кроме того, премии получили также режиссер Хорст Зееман, актеры Хельга Гёринг, Гюнтер Науман и Райнер Иоганнес Баур, певец Эберхард Бюхнер, композитор Рут Цехлин, художники и графики Вернер Тюбке, Герхард Госсман и Зигхард Гилле, ряд творческих коллективов.

ГРЕЦИЯ

ПОЛВЕКА НА СЦЕНЕ

Популярнейший комический актер Мимис Фотопулос с его лукавым взглядом, озорной улыбкой и добрым, искристым юмором вошел в сердца нескольких поколений греков. Яркое дарование актера, в котором органично слились мудрая насмешливость, душевность и доброта, острое чувство комического и трагического, поразительная способность перевоплощения, сегодня, как и двадцать — тридцать лет тому назад, в Греции никого не оставляет равнодушным. «Когда в 1931 году я сдавал вступительные экзамены в актерскую студию Национального театра,— вспоминает М. Фотопулос,— мне предсказывали будущее комического актера. В то время, конечно, в это было трудно поверить. Разве мог стройный, симпатичный паренек с густыми кудрями — ох, какие это были кудри! — играть комические роли? Страстных любовников еще куда ни шло... Тем не менее как-то незаметно для себя я и в са-

На снимке: Мимис Фотопулос (на первом плане) и Д. Илиопулос в фильме режиссера Р. Мантулиса «Рыцарская богиня».

(Газета «Ризоспастис»)

мом деле стал комическим актером».

За пятьдесят лет работы в театре М. Фотопулос сыграл сотни ролей в пьесах греческих и зарубежных драматургов. Большинство образов, созданных актером на сцене, по праву вошли в золотой фонд греческого театра. Сам Фотопулос больше всего ценит свои роли, сыгранные в пьесах Аристофана, Мольера, Чехова, Горького. В сорок лет актер впервые снялся в кино и сразу же завоевал признание зрителей. Сегодня в его кинематографическом багаже около ста ролей. Фотопулос на экране — это почти всегда незадачливый хитрец, бедняга-комбинатор. Ему постоянно не везет. Но несмотря на превратности судьбы, киногерой Фотопулоса остается отзывчивым к чужому горю, всегда приходит на помощь таким же беднякам, как он сам.

Мимис Фотопулос — автор нескольких поэтических сборников, сборника эссе «25 лет в театре» (1959), документальной повести «Заложники англичан» (1981), ряда сценариев и пьес яркой сатирической направленности. Недавно актер завершил работу над книгой воспоминаний, где в форме писем молодому, начинающему актеру обобщил свой богатейший опыт, накопленный за полвека работы в театре.

ЕГИПЕТ

НОВЫЙ РОМАН МЕГИДА ТУБИИ

Как сообщает журнал «Ас-Сакафа», в Каире опубликован новый роман известного прогрессивного египетского писателя Мегида Тубии «Милосердие».

В этом романе Тубия, по словам рецензента журнала «Ас-Сакафа», рисует правдивую картину жизни египетского общества в 70-е годы, подвергая критике мероприятия правительства Садата, в частности политику «открытых дверей».

ИНДИЯ

ОБРАЗ ХУДОЖНИКА

Индийская пресса отметила выход в свет книги воспоминаний «Брат мой Балрадж», посвященной жизни и творчеству популярного киноактера, покойного Балраджа Сахни. Автор книги — младший брат Балраджа, выдающийся современный прозаик хинди Бхишам Сахни. Известный критик и литературовед, Кеваль Госвами отмечает: Бхишам Сахни создал волнующий человеческий документ, со страниц которого встает образ большого художника, своим творчеством обогатившего индийский кинематограф. За свою творческую жизнь Балрадж Сахни снялся более чем в ста фильмах, в которых создал яркие, впечатляющие образы людей труда. Среди фильмов, созданных Балраджем Сахни, такие ленты, как известные советскому зрителю «Два бигха земли», «Горячий ветер», другие, которые вошли в золотой фонд индийской кинематографии и получили известность далеко за пределами Индии. «Создав целую галерею образов, — пишет рецензент,— он выразил чувства, надежды и чаяния сотен тысяч простых людей Индии».

В рецензии особо отмечается выдающаяся роль Балраджа Сахни в становлении прогрессивного киноискусства Индии. Балрадж всю свою жизнь боролся за утверждение реализма, высоких принципов гуманизма — против засилья коммерческого кинематографа с его проповедью секса и грубой силы. Искусство Балраджа Сахни было близко и понятно народным массам, поэтому оно до сих пор служит благородным целям борьбы против сил обскурантизма и реакции, за социальную справедливость и прогресс. «Такие художники, как Балрадж Сахни, не умирают,— пишет в заключение рецензент,— потому что продолжает жить их искусство».

ИРАК

«СТРАДАНИЯ ГОСПОДИНА МААРУФА»

Как сообщает издающаяся в Адене газета «Ас-Саури», вышел в свет сборник рассказов известного иракского писателя Гаиба Туамы Фармана «Страдания господина Мааруфа».

Г. Т. Фарман — автор многих рассказов и романов, в которых отображена жизнь современного Ирака. Ряд его рассказов и два романа — «Пять голосов» и «Муки рождения» — переведены на русский язык. В русском переводе вышла также публицистическая книга Фармана «Черный режим», разоблачающая преступления монархического режима в Ираке, свергнутого революцией 14 июля 1958 года.

По словам рецензента «Ас-Саури», рассказы сборника отличаются особым иракским колоритом, свойственным художественным произведениям этого писателя.

ИСПАНИЯ

РОМАН КАМИЛО ХОСЕ СЕЛЫ НА ЭКРАНЕ

Роман Камило Хосе Селы «Улей» давно признан одним из лучших произведений испанской послевоенной литературы. Это была первая книга, автор которой беспристрастно взглянул на окружающую действительность и показал, что через несколько лет после гражданской войны жизнь для рядового испанца стала тяжелым, бессмысленным бременем. Не случайно роман этот долгое время не издавался в Испании. Написанный в 1943 году, он впервые вышел в 1951 году в Аргентине, а затем в Мексике, но оба издания были изъяты властями из книжных магазинов Испании.

Действие романа происходит в 1942 году и сосредоточено вокруг маленького кафе в одном из мадридских кварталов. В книге около ста шестидесяти персонажей, среди которых нет главных и второстепенных. Люди появляются в кафе, обмениваются несколькими

фразами и исчезают в гигантском улье города, уступая место другим. Но в их судьбах есть нечто общее: все они принадлежат побежденной Испании, а значит, неизбежно составляющими их жизни являются нищета, голод и страх, все они задыхаются в спертой атмосфере самых тяжелых лет франкизма.

Один из ведущих испанских кинорежиссеров Марио Камю приступил к экранизации романа «Улей» для телевидения. Режиссер поставил себе задачу передать духовную атмосферу начала 40-х годов. Любовно была воссоздана подлинная обстановка мадридского кафе тех лет, одежда героев, найдены подлинные предметы быта 40-х годов вплоть до таких мелочей, как хлебные карточки, по которым выдавалось сто граммов хлеба. В фильме заняты лучшие испанские актеры, преимущественно старшего поколения, те, кто хорошо помнят это тяжелое время и могут привнести в фильм свое ощущение эпохи. «Фильм будет передавать атмосферу тех лет, когда все мы чувствовали страх и думали только о том, чтобы выжить, когда каждым владело ощущение полного одиночества»,— рассказывает один из участников фильма. Камило Хосе Села принимает участие в создании фильма не только как литературный консультант, но и как исполнитель одной из ролей.

ИТАЛИЯ

КНИГА, БЬЮЩАЯ ТРЕВОГУ

Наркомания становится подлинным бедствием для молодежи страны. Это болезнь социальная. «Это одно из последних проявлений отчаяния... внутренней пустоты... конформизма»,— к такому выводу приходит журналист радиотелевизионной компании Лучано Доддоли, автор недавно вышедших в издательстве «Риццоли» «Писем отца к дочери-наркоманке». Началом этой необычной по жанру книги, полной тревожных раздумий о судьбах современной молодежи и шире — о современном буржуазном обществе, стало действительное письмо автора к собственной дочери — жертве наркомании, опубликованное в марте 1980 года на первой странице газеты «Паэзе сера». Дочь журналиста излечилась от этой страшной болезни. Однако письмо Доддоли вызвало поток писем других родителей к своим детям-наркоманам.

Эти письма самые разные, но во всех дается анализ наркомании как социального зла, и в этом плане та борьба, которую повел Лучано Доддоли сначала со страниц газеты, а затем книги, выходит далеко за пределы борьбы только с наркоманией. На вопрос корреспондента «Паэзе сера» он прямо ответил, что вина за это явление ложится на все капиталистическое общество. И если история молодых наркоманов очень коротка, то «предыстория — гораздо длиннее, и предыстория эта — мы сами»,— утверждает Доддоли.

Наркомания — средство забыться, подменить жизнь снами, а цель автора «Писем» — заставить молодежь пробудиться ото сна, осознать свою причастность ко всему, что происходит в мире. «Сами по себе наркотики не имеют классовых примет, но борьба с наркотиками носит глубоко выраженный классовый характер»,— заявил Лучано Доддоли в беседе с корреспондентом «Паэзе сера» по выходе его книги из печати.

В прессе отмечают, что при всей своей публицистичности, документальности книга звучит как художественная проза. Сам автор книги признается, что пытался создать произведение поэтическое, и определяет свою необычную по жанру книгу как повесть.

ЛАОС

ПЕРВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

Все большее развитие получает лаосская кинематография. Уже создано немало документальных лент, рассказывающих об истории страны и борьбе ее народа за свободу, о ее сегодняшнем дне. В городах и других населенных пунктах открываются новые кинотеатры, до самых отдаленных уголков республики добираются кинопередвижки, число которых уже превысило сто.

На недавно созданной во Вьентьяне киностудии начались съемки первого в истории Лаоса художественного фильма «Залпы орудий в Долине Кувшинов». Картина снимается по известному роману писателя Сувантхонга «Второй батальон» и рассказывает о событиях более чем десятилетней давности, разыгравшихся в одном из самых живописных районов Лаоса — Долине Кувшинов. Именно там шли тогда упорные бои между лаосскими патриотами и войсками марионеточного королевского режима.

Фильм повествует о борьбе лаосского народа за свою свободу и независимость. Снимает картину молодой режиссер Сомчит. Большую творческую и техническую помощь в создании этой ленты оказывают кинематографисты Вьетнама.

ЛИВАН

КОНЧИНА БУЛОСА САЛЯМЫ

По сообщениям арабской прессы, в Ливане на восьмидесятом году жизни скончался известный поэт и писатель Булос Саляма. Перу Б. Салямы, которого критики считают одним из основоположников арабской эпической поэзии, принадлежит ряд книг, важнейшие из них: «Дневник раненого», «Рассказ о жизни», «Под падубом», «Хлеб и соль».

В своей мемуарной книге «Рассказ о жизни» поэт нарисовал картину ливанского общества во времена французского колониального правления, рассказал о своем участии в национально-освободительной борьбе. Патриотическими и освободительными мотивами проникнуты танже многие другие поэтические и прозаические произведения Б. Салямы.

ЛИВИЯ

«ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ В ЛИВИЙСКОЙ ДЖАМАХИРИИ»

Редакция журнала «Ас-Сакафа» выпустила специальный номер «Литературная жизнь в Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии», посвященный современной литературе Ливии.

В передовой статье, написанной главным редактором журнала Мидхатом Аккяшем, подчеркивается, что целью выпуска специального номера является ознакомление сирийского читателя с литературой братской страны, которую объединяет с Сирией общая борьба. В подготовке номера большая помощь была оказана ливийской Ассоциацией писателей и работников литературы и искусства. На страницах журнала широко представлены поэзия, проза и литературная критика Ливии.

Специальный номер журнала «Ас-Сакафа» — ценный вклад в изучение пока еще малоизвестной в других странах ливийской литературы.

МЕКСИКА

ИНТЕРВЬЮ КАРЛОСА ФУЭНТЕСА

Корреспондент американской газеты «Интернэшнл геральд трибюн» А. Холмберг взял интервью у известного мексиканского писа-

теля Карлоса Фуэнтеса в связи с премьерой на американской сцене его первой за последние десять лет пьесы «Сады в лунном свете».

— Когда я был молод,— сказал Фуэнтес,— я писал, чтобы жить. Теперь, когда мне 54 года, я пишу, чтобы не умереть. Как Шехерезада из «Тысячи и одной ночи», я жив, пока у меня есть еще одна история.

Название пьесы повторяет название знаменитого танго, которое танцевали мексиканская киноактриса Долорес дель Рио и Фред Астер в музыкальном фильме 1933 года «Спускаясь на Рио». Содержание пьесы составляет диалог Долорес дель Рио и Марии Феликс, другой звезды мексиканского экрана. Третий персонаж — американец, поклонник кино, который вторгается в их мир и разрушает его.

Одним из кульминационных психологических моментов пьесы является сцена, в которой две стареющие «богини» экрана смотрят отрывки из своих фильмов. Теперь их соединяет лишь этот призрачный мир, мир грез, столь далекий от их настоящей жизни.

— Кино,— говорит писатель,— создатель коллективных грез, хранилище современных мифов. Голливуд изготовляет архетипы, с помощью которых мы воспринимаем нашу реальность. Мэрилин Монро — величайший тотем современного племени людей... Архетипы американской попкультуры заполонили мир от гор Тибета до джунглей Бразилии.

Моя пьеса рассказывает о мифах культуры и о культуре мифов. Но в еще большей степени это пьеса о памяти, о тех фильмах, которые я видел в Мексике много лет назад. Ведь современные архетипы связаны с модой, они то обретают популярность, то забываются. Наши иконы эфемерны, наши боги подвержены разрушению. Мы выбрасываем их. Наша цивилизация основана на забвении. Поэтому моя пьеса — путешествие в прошлое, которое воскрешает двух прекрасных женщин, так много значивших для меня в юности. Я любил их потому, что они были сильными и независимыми. Они поколебали все мифы, созданные мужчинами. Они не были тем, чем хотели видеть женщин в Латинской Америке: маленькими куклами для мужчин. Мария Феликс была «Панчо Вильей» в юбке.

Я рассказал о двух женщинах, которые очень нуждались друг в друге. Это повесть об одиночестве, а оно универсально. Каждый, кто любил, поймет мою пьесу.

ПОЛЬША

ИЗБРАННОЕ ГАБРИЕЛИ ЗАПОЛЬСКОЙ

В Кракове вышел сборник избранных пьес Габриели Запольской, куда вошли «Жабуся», «Их четверо», «Козырь», «Панна Маличевская», «Мораль пани Дульской».

Эти пьесы прочно вошли в репертуар польских театров, но особенным успехом пользуется «Мораль пани Дульской», которая неизменно ставится не только польскими театрами, но и зарубежными. Знакома она и советскому зрителю.

В этом произведении наиболее полно проявился талант писательницы, ее глубокая наблюдательность, страстная ненависть к житейской подлости и пошлости мещанского быта.

Пьеса «Мораль пани Дульской», осуждающая своекорыстие, невежество, жестокость, лицемерие, все, что разрушает человеческую личность, не утратила своего общественного звучания и в наши дни.

РУМЫНИЯ

ПРОШЛОЕ, КОТОРОГО ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

«Ромыния литерарэ» опубликовала рецензию известного критика Ов. Крохмэлничану на сборник рассказов Нормана Мани «Октябрь, в восемь часов» (советскому читателю знаком его рассказ «Свитер», опубликованный на страницах «ИЛ», 1982, № 3).

Среди румынских прозаиков, отмечает рецензент, Нормана Маню выделяет пристальное внимание к теме формирования личности подростка в условиях фашистских репрессий, когда «дети становились стариками». Страшная жестокость этой жизни передана с удивительной сдержанностью, даже остраненностью автор как бы фиксирует поведение ребенка, его повадки преследуемого зверька, защитные реакции, странные порой умозаключения, маленькие хитрости, убогие радости. Эта кажущаяся бесстрастность, с которой излагаются события, значительно усиливает воздействие произведений Н. Мани на читателя.

Рассказы о «старении» детской души в мире, огороженном колючей проволокой, исполнены трагизма еще и потому, что следы этих лет обнаруживаются позднее, когда ребенок становится взрослым, они вновь напоминают о тягчайшем преступлении фашизма — о мертвящем воздействии его на души детей.

США

ДЖ. К. ОУТС: РОМАН В ВИКТОРИАНСКОМ СТИЛЕ

В конце 1979 года популярный литературно-критический еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью» провел симпозиум на тему «Американский роман 80-х годов». Принявшая участие в симпозиуме Дж. К. Оутс предсказала тогда появление в США романов, «которые по сути своей окажутся стихами в прозе, будут написаны с проникновенно-воздушным лиризмом и вместят в эластичные рамки романного жанра буквально все стороны сегодняшней действительности... Романисты будут все чаще обращаться к истории и документу, но, внедряя их в роман, станут видоизменять их самым вольным образом, даже с долей фантастичности, во имя создания всеобъемлюще метафорического видения мира». Как показывает творчество Оутс в нынешнем десятилетии, ее пророчества опирались главным образом на собственный эстетический опыт: в ее книгах начала 80-х годов и впрямь достигнут тот сплав «истории» и «фантастичности», в котором она, по ее словам, видит путь дальнейшего развития американского романа.

Новый, уже четырнадцатый по счету, роман Оутс «Бладсмурская повесть» принадлежит к своеобразному жанру «ромэнс», то есть приключенчески - фантастического романа, который бурно расцвел в эпоху романтизма. В центре книги, рассказывающей об Америке 1870-х годов, судьба пяти сестер Зинн, живущих в крохотном пенсильванском городке Бладсмур (дословно: «Кровавая Топь»). «Бладсмурская повесть» рассказывается от имени старой обитательницы городка, перед глазами которой проходит вся жизнь сестер Зинн. Как и в традиционном «ромэнс», в «Бладсмурской повести» причудливо сочетаются самые разнообразные сюжетные линии: здесь есть и захватывающая история о любви-страсти с тайным похищением, и увлекательные приключения, и таинственные события, балансирующие на грани сверхъестественного. По мнению рецензента еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью», Оутс удалось создать в избранном ею жанре роман-стилизацию «под викторианство»: образцом для нее тут могли послужить классические викторианские романы сестер Бронте и Дж. Элиот.

«Основной идеей этого романа,— пишет рецензент,— является вопрос о месте женщины в американском обществе, об обычаях, предрассудках, которые в конце XIX века ложи-

лись тяжким бременем на плечи женщины и которые до сих пор еще не изжили себя». В этом стремлении Оутс исследовать «удел женщины» в Америке, пусть даже на историческом материале, рецензент видит острую актуальность ее нового романа.

Сегодняшние романисты, пишущие в реалистической манере, замечает в заключение рецензент, имеют часто склонность отказываться от искусно разработанного сюжета во имя свободной формы повествования, должной, по их мнению, имитировать бесформенный поток жизни. В «Бладсмурской повести» Оутс лишний раз доказала, каким достоинством обладает искусство занимательного рассказа. Оттого этот роман, повествующий в общем-то о скучноватой провинциальной жизни вековой давности, читается с неослабевающим интересом.

ФРГ

На экранах страны с большим успехом идет фильм Ульриха Эделя «Кристиана Ф» о судьбе тринадцатилетней наркоманки, в основу сценария которого легла книга самой Кристианы Ф. В одном из интервью Ульрих Эдель сказал: «Говорят, что я сгустил краски, что картина употребления наркотиков в Западном Берлине не столь ужасна. Я утверждаю, что правда гораздо страшней и беспощадней, чем я показал. Решение проблемы я вижу в изменении самого общества». Критики отмечают прекрасную игру непрофессиональных актеров — девочек и мальчиков, которых Эдель нашел в школах и дискотеках Западного Берлина.
На снимке: Натя Брункхорст, которая, по свидетельству прессы, отлично справилась с ролью Кристианы Ф.

(Газета «Интернэшнл геральд трибюн»)

ФРАНЦИЯ

НОВЫЙ РОМАН РОБЕРА МЕРЛЯ

Робер Мерль, крупный французский писатель-реалист, уже более пяти лет работает над циклом исторических романов, посвященных эпохе религиозных войн во Франции XVI века. В романах «Судьба Франции» (1977), «В наши юные годы» (1979), «Париж, мой добрый город» (1980) автор рассказал о детстве и юности дворянина Пьера де Сиорака, увлеченного наукой, смелого, искреннего и живого человека, который представлял собой тип активного гуманиста, порожденного эпохой Возрождения.

Недавно в издательстве «Плон» вышел четвертый роман этой серии, названный «Вот он, принц!», где писатель показывает Пьера де Сиорака в 1580-е годы при дворе Генриха III в должности королевского врача. Герой Мерля оказывается втянутым в острую политическую борьбу. Он становится доверенным лицом короля, который направляет его с ответственными и секретными поручениями в наиболее опасные провинции королевства, а затем в Лондон. Молодой врач нередко с риском для жизни выполняет все задания, проявляя при этом незаурядную волю, мужество, ловкость и изобретательность. В отличие от чисто развлекательных псевдоисторических романов, книга Р. Мерля строго документирована.

В интервью корреспонденту газеты «Монд» писатель рассказал, что он внимательно изучал литературу XVI века: романы, хроники, а также сохранившиеся прямые свидетельства современников. История Пьера де Сиорака органично вплетена в описание политической и религиозной борьбы того времени.

На вопрос корреспондента: «Что же вас привлекло к эпохе позднего Возрождения?» — писатель ответил: «Начало интеллектуальной и духовной эволюции, связанной главным образом с периодом религиозных войн: дворяне, занятые до того только войной и потреблением благ, начинают интересоваться науками, сельским хозяйством, производством... Пьер де Сиорак, дворянин и медик, сторонник гугенотов, явился собирательным образом этого нового человека». В той же беседе Р. Мерль отмечает массовое увлечение читателей историей и романами о прошлом. Он связывает это с потребностью обращения к «истокам», к «корням», которую испытывает сегодняшнее общество. Сам же писатель изображает эпоху Возрождения и показывает высокие человеческие качества и возможности личности для того, чтобы защитить гуманистические идеалы, оказавшиеся под угрозой в современном дегуманизированном капиталистическом обществе.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«ПОМОЩНИК»

Так называется фильм молодого словацкого режиссера Зорослава Загона, снятый на братиславской студии «Колиба».

Зоро Загон, обратившись к творчеству известного современного словацкого писателя Ладислава Баллека, воссоздал на экране события, происходящие в 1945—1946 гг. в небольшом пограничном городке Южной Словакии. Скромный, незаметный мясник Риечан, пришедший в городок откуда-то с гор, получает национализированный магазин. В «наследство» ему достается и помощник бывшего хозяина этого магазина Волент Ланчарич. Это человек необыкновенно ловкий, хитрый и в то же время удивительно трудоспособный. Он, несмотря на свой примитивный духовный мир, прекрасно разбирается в создавшейся ситуации. Автор показывает личную драму деликатного, мягкого Риечана, который нашел в

На снимке: кадр из фильма «Помощник». В роли Риечана— Ело Романчик, в роли Валента — Габор Конц, в роли жены Риечана — Илдико Пёчи, в роли дочери — дебютантка Марта Сладечкова.

(Журнал «Филм а дивадло»)

себе силы остаться самим собой.

История семьи Риечана полна жизненной правды, в фильме ставится вопрос о том, к чему приводит человека желание обогатиться любыми средствами.

Режиссер Зорослав Загон, как пишет в своей статье «Помощник, или Мефисто» в газете «Руде право» ведущий кинокритик Ян Климент, очень тщательно подобрал актеров. Ело Романчик в роли мясника Риечана удивительно мягко и точно играет свою роль. Венгерский актер Габор Конц создает образ необузданного и жестокого Валента Ланчарича с большой убедительностью. Также темпераментно сыграла роль жены Риечана венгерская актриса Илдико Пёчи.

Фильм «Помощник» был удостоен Большого приза на XXIII Международном кинофестивале в Карловых Варах и также был отмечен премией чехословацкой кинокритики — 1982 как лучший фильм года.

Фильм, вне сомнения, является остросоциальным. Ян Климент в той же своей статье о значительных успехах словацкого кино «Помощник, или Мефисто» отметил, что «Помощник» является в самом лучшем смысле увлекательным фильмом.

ШВЕЦИЯ

БЕРГМАН ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ

Ингмар Бергман вернулся на родину после шести лет добровольного изгнания в ФРГ, где он снял три последних фильма. Американский журнал «Сатэрдей ревью» публикует его интервью в связи с объявленным им решением уйти из кино.

— Я с удовольствием думаю о возвращении в Национальный королевский драматический театр...

— Вы не думаете, что когда-нибудь оставите и театр?

— Нет, никогда, пока не выгонят. Это большая радость для меня. И потом — это подходящая работа для уставшего человека.

— Вы как-то сказали, что в наши дни искусство не играет роли, которую играло раньше. Связан ли ваш уход с этим убеждением?

— Мои взгляды не изменились. Современное искусство может иметь большой «терапевтический эффект», но времена, когда оно способствовало переменам, ушли. Если моя работа помогает кому-то что-то понять, я считаю, что снял хороший фильм,— искусство существует, чтобы утешать озарять, помогать, потрясать. И оно может и дальше продолжать выполнять эти задачи. Но полагать, что оно может дать свежие идеи, указать новые пути — я мало верю в это.

— Это одна из причин вашего решения? Оно вызовет огорчение у многих.

— Нет. Я просто устал, слишком большое напряжение... Я знаю, что многие будут огорчены, но за сорок лет я снял 45—46 картин. Это очень много. Я буду работать на телевидении, мне это интересно. Там фильм длится 50 минут, а его съемки две-три недели, а не полгода, как в кино... И в театре проще, сегодня ты работаешь лучше, завтра хуже, а в кино сделанное практически невозвратимо. Когда ты несколько дней подряд переделываешь уже отснятое, у тебя появляется чувство отчаяния, которое очень сказывается на дальнейшей работе. Если же ты работаешь с подъемом, потом он передается и зрителям... В театре же тебя поддерживает сама атмосфера сотрудничества. В кино ты в полной изоляции.

— Тем не менее вы бы не согласились на голливудскую систему, где часть работы выполняют помощники.

— Нет, я все делаю сам. Мои фильмы «ручной работы» от начала и до конца...

— Оказала ли влияние на вашу карьеру кинорежиссера ваша убежденность в том, что социальная роль искусства невелика?

— В искусстве значим сам процесс работы, в котором выявляется мой замысел. Я понял это в самом начале своей карьеры. Я не теоретик и не большой интеллектуал. Но очень рано я открыл для себя путь практического творчества — свое понимание работы. Я понял, что она — разновидность ремесла, и я горд тем, что знаю свое дело. Это очень важно. Мне думается, я очень хорошо знаю свое дело. И я счастлив этим сознанием.

◆

Авторы этого номера

АНТАЛ ГИДАШ — ANTAL HIDAS (1899—1980)

Венгерский поэт, романист, эссеист, переводчик. Лауреат премии имени Кошута. Первая книжка переводов стихов Гидаша на русский язык с предисловием А. В. Луначарского вышла в 1930 г. С тех пор его стихи выходили у нас отдельными сборниками («Сад моей тетушки», «Улица жасмина», «Ветви гудели»), печатались в журналах в том числе в «Иностранной литературе», и в антологиях. На русском языке изданы также его романы, составляющие трилогию: «Господин Фицек», «Мартон и его друзья», «Другая музыка нужна», книга «Шандор Петёфи» «Избранные произведения» в двух томах и др. А. Гидашем переведены на венгерский язык многие произведения русской и украинской литературы.

Статья о нем и его творчестве известного венгерского поэта Дюлы Ийеша напечатана в «ИЛ» № 12, 1979 г.

Публикуемая подборка составлена вдовой поэта Агнессой Кун из стихотворений готовящегося к печати в Венгрии посмертного сборника стихов А. Гидаша.

АНГЕЛИКА МЕХТЕЛЬ — ANGELIKA MECHTEL (род. в 1943 г.).

Немецкая писательница (ФРГ). Начала печататься в 60-е годы. Ее первый роман «Проигранные игры» («Kaputte Spiele») появился в 1970 г. и был отмечен тремя литературными премиями. Затем вышли романы «Клюй, птичка, что дают» («Friss Vogel», 1972), «Стеклянный рай» («Das gläserne Paradies», 1973), «Идущая вслепую» («Die Blindgängerin», 1974), «Мы богаты, мы бедны» («Wir sind arm, wir sind reich», 1977). Перу А. Мехтель принадлежат также несколько сборников рассказов, сборник стихов, много радиопьес, публицистические эссе.

Роман «Другая половина мира, или Утренние беседы с Паулой» вышел в Мюнхене в 1980 году («Die andere Hälfte der Welt, oder Frühstücksgespräche mit Paula». München, Paul List Verlag, 1980).

ФЕДОРОВА НИНА НИКОЛАЕВНА.

Советский переводчик с немецкого и шведского языков. В ее переводе издавались произведения писателей ГДР, ФРГ, Австрии, Швеции, в том числе повести Анны Зегерс «Каменный век» и «Снова встреча» («ИЛ», 1975, № 12; 1978, № 11), рассказы З. Ленца, М. Вальзера, А. Мехтель, Р. Вернер, Ф. Фюмана, роман К. Арне Блома «Кто-то дает сдачи», репортажи Г. Вальрафа («ИЛ», 1981, № 6, 10, 11) и др.

АТ-ТАЙИБ САЛИХ (род. в 1929 г.).

Суданский писатель. Окончил Хартумский университет, продолжил образование в Англии, где изучал международное право. Пишет на арабском и английском языках. Его первый рассказ «Финиковая пальма у ручья» был напечатан в 1953 г. В 1960 г. вышел сборник рассказов «Пальма Вад Хамида». Затем последовали повесть «Свадьба Зейна» (1966), роман «Сезон паломничества на Север» (1968), дилогия «Бендершах» — романы «Дауль-Бейт» (1971) и «Марьюд» (1977). «Иностранная литература» познакомила своих читателей с творчеством Ат-Тайиба Салиха, напечатав роман «Сезон паломничества на Север» (1975, № 9, 10).

Повесть «Свадьба Зейна», по которой в Кувейте был создан кинофильм, получивший международную премию на кинофестивале в Канне, печатается по изданию 1970 г., выпущенному в Бейруте издательством Дар аль-Ауда.

ЕРМАКОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1947 г.).

Советский востоковед и переводчик с арабского современной прозы и поэзии. В его переводах публиковалась проза Ат-Тайиба Салиха (Судан) Ат-Тахира Ваттара (Алжир), Закарии Тамера (Сирия), Гассана Канафани (Палестина), Сухейля Идриса (Ливан), стихи Муина Бсису, Махмуда Дервиша (Палестина), Бадра Шахера ас-Сайля (Ирак), Адониса (Ливан) и др.

НИКОЛАЕ ВЕЛЯ — NIKOLAE VELEA (род. в 1936 г.).

Румынский писатель. Окончил филологический факультет Бухарестского универси-

тета. Начал печататься в 1957 г. Первая книга рассказов «Ворота» («Poarta»), за которую Н. Веля был удостоен премии Академии наук Румынии, вышла в 1960 г. Ему принадлежат сборники «Восемь рассказов» («8 povestiri», 1964), «На страже гармонии» («Paznic la armonii», 1965), «Полет вниз» («Zbor jos», 1968), «Делянка цветов во время войны» («În război un pogon de flori», 1972), «Слово угловатое и округлое» («Vorbă-n colţuri şi rotundă», 1973), «Путешествие среди мудростей» («Călător printre înţelepciuni», 1975) и др.

Предлагаемые рассказы взяты из книги «Поздняя встреча», объединяющей лучшие рассказы разных лет («Întîlnire tirzie». Bucureşti, Editura Eminescu, 1981).

ВАСИЛ СТАНИЛОВ (род. в 1933 г.).

Болгарский писатель-юморист, автор рассказов и фельетонов, книг для детей. Публикуемые юморески взяты из сборника «Философия случайностей» («Философия на случайностите». Пловдив, «Христо Г. Данов», 1975).

СТЭН ДРАЙЕР — STAN DRYER.

Современный американский писатель. Рассказ «Покорение монумента Вашингтону» был напечатан в сборнике «Решительные действия» («Great Action Stories». New York, New American Library, William Kittredge and Steven Mn. Krauzer, 1977).

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

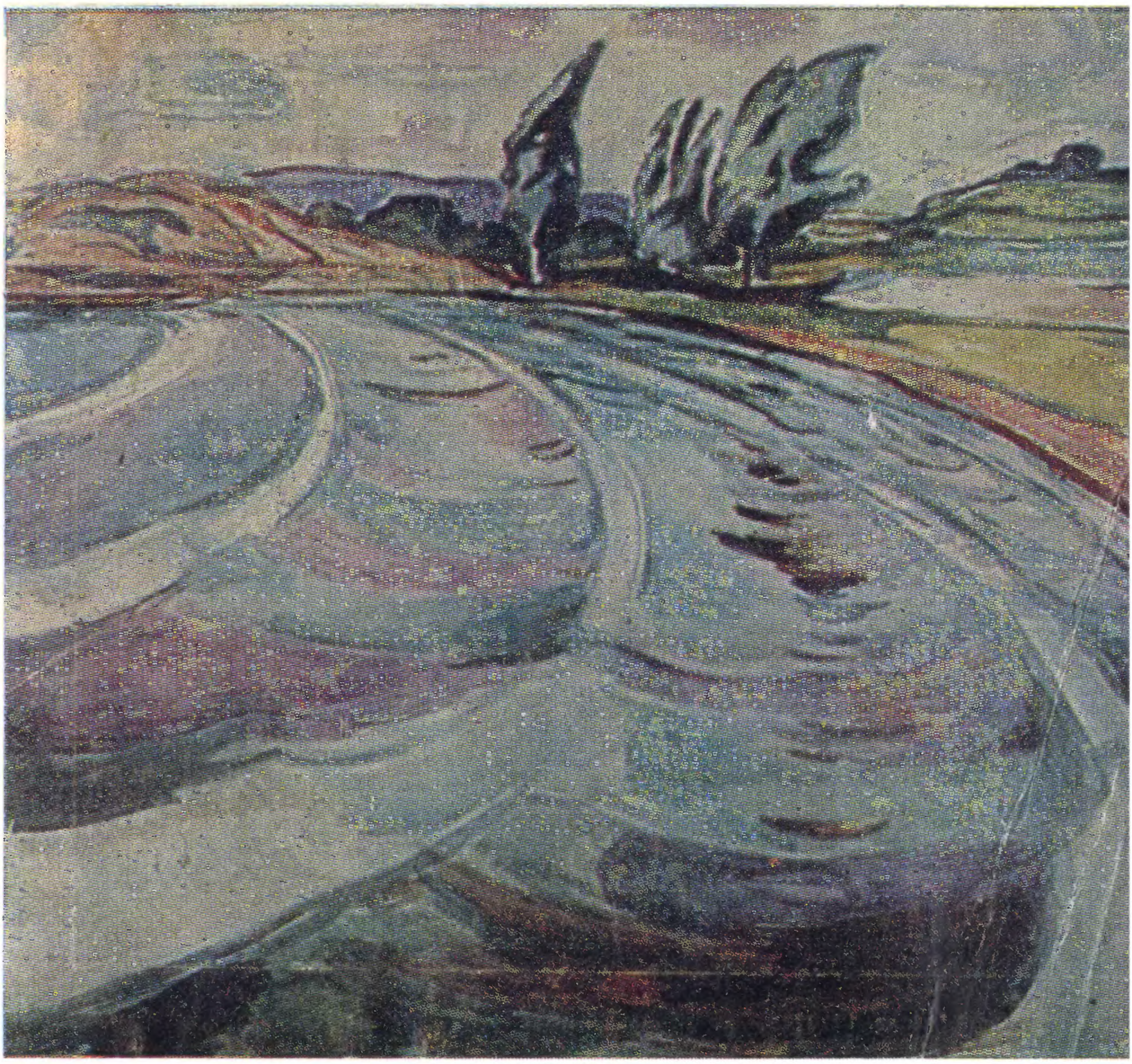
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 03.11.82. Подписано в печать 16.12.82. А 08425. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая, 16 п. л. (22,4) усл. п. л., уч.-изд. л. 29,45.

Тираж 430 000 экз. (1-й завод: 1 — 400.000 экз.) Зак. 3840.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

15 ИЛ № 1

Цена 1 руб. 80 коп. ИНДЕКС 7(